

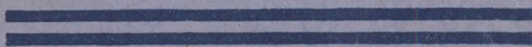
Н О В Ы Й
М И Р

4

Н О В Ы Й
М И Р

1957

4



1957

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 4

Апрель, 1957 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
Е. ПОМЕРАНЦЕВА — В Брянске (Заметки о культуре)	3
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Три стихотворения	22
ЮРИЙ ПОЛУХИН — Суд идет, стихи	24
ИЗ СТИХОВ ТАДЖИКСКИХ ПОЭТОВ	26
Абдусалом Дехоти. Большой снег.— Аширмат Назаров. Чабан.— Народные четверостишия.— Абульхасан Рудаки. Стихотворения. Переводы С. Липкина, Н. Гребнева.	
СЕРГЕЙ СНЕГОВ — В полярной ночи, роман	32
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Утренние стихи. Какое наступает отрезвление.. Со мною вот что происходит... Стихи	75
М. АЛИГЕР — Двое, стихи	79
П. ПАВЛЕНКО — Кавказская повесть. Окончание	80
ХО УН ПЭ — Робкая Наташа. Как я изучал русский язык. Детский сад, стихи. Перевод с корейского Ярослава Смелякова	116
СОРОК ЛЕТ НАЗАД. АПРЕЛЬ, 1917 год...	120
М. ГОБЕРМАН — В Россию...	
И. ЕРЕМЕЕВ — В апрельские дни	
С. ХОДАКОВА — Живая вода революции	
В. АЛЕКСЕЕВА — На Апрельской конференции ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ	
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
ИЗ ЖИЗНИ СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ В КАЗАНИ И САМАРЕ	145
ЛЕВ ЛЮБИМОВ — На чужбине. Окончание	153
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ГЕННАДИЙ ФИШ — На переднем крае (Заметки писателя)	195
З. ПАПЕРНЫЙ — Маяковский сегодня	222

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	246
Е. Книпович. Дыхание времени.— А. Берзер. Конь в яблоках...— Ф. Вигдорова. В трудные дни.— И. Рахтанов. Лоцман Кембрийского моря.— Ел. Ржевская. Повесть о детстве.— А. Илупина. Хмелев-режиссер.— А. Письменный. Симфония большого города.	
<i>Политика и наука</i>	261
Г. Петровский. Жизнь, отданная борьбе рабочего класса.— Кандидат исторических наук А. Байкова. Ирландия борется за независимость.— Д. Заславский. Газетная армия «холодной войны».— Д. Данин. Верный путь нового журнала.— Я. Свет. На Коморском архипелаге.	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	274
Г. Скороходов. Письмо М. Кольцова.— Научный сотрудник Музея Л. Н. Толстого А. Шифман. В. В. Стасов и Л. Н. Толстой.	
РЕПЛИКИ	277
Ив. Рахилло. О фасонах платьев.— Г. Рыклин. Покупайте мороженое!...— Группа авторов. Поездка в Дубровицы.	
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	280
Виктор Типот. Замечания о примечаниях.— Сергей Юткевич. Вместо рецензии.	
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Е. ПОМЕРАНЦЕВА

★

В БРЯНСКЕ

(Заметки о культуре)

Мы накопили немалые культурные силы. Отличные инженеры, пытливые ученые, умные учителя, интересные художники, одаренные актеры есть в любом городе. Но бывает, что культурная жизнь его напоминает оркестр, где один музыкант играет, не слыша другого. Есть культурные люди — и нет атмосферы культуры, потому что усилия их никем не объединены, и тем самым приглушено влияние культурной среды, которая выпрямляет человека, отшелушивает наносные, вульгарные привычки и вкусы, облегчает путь к науке и искусству, способствует расцвету дарований.

Завтрашний день культуры — в трудах и талантах художников и ученых. Здесь есть обширные резервы, здесь идет своего рода цепная реакция: каждый вклад в культуру влечет за собой пробуждение и приток свежих сил, которые в свою очередь расшевелият новый, еще больший круг людей.

Завтра начинается сегодня. В тесной мастерской безвестного скульптора, на страничках затрепанного блокнота корреспондента районной газеты рождается наша будущая слава. Робкое пламя неокрепшего таланта гаснет на холодном ветру. Но если его заметят, дадут разгореться, он может осветить жизнь многих.

Вероятно, эти заметки не стоило бы писать, если бы проводники на дорогах культуры — критики, ведомственные работники, журналисты — неотступно следили за тем, чтобы она шла единым, непрерывным потоком, заботливо убирали косность, бюрократизм, равнодушие с пути завтрашнего дня.

Олень в позолоте

Тот, кто хочет вырастить добрый урожай, должен постоянно, упорно уничтожать сорняки на своем поле. Культура не может привиться там, где дикая поросль ремесленных поделок вытесняет подлинное искусство.

...Воскресенье. Торгует, клянется, обманывает, трясет обносками брянская толкучка. Валенки, стеганые бурки, утюг дедовских времен и рядом дань нынешнему дню — самодельный проигрыватель для патефонных пластинок. Три старые гармоники надрываются одновременно, будто хвалятся одна перед другой пропитыми голосами порядком пожившие на свете бабы.

— Ну чего ты его вертишь! — корит торговка девушку, приценивающуюся к платью. Платьишко бедненькое, наспех, для базара шитое. — Чего ты его рассматриваешь? Это ж тут, на свету, все видно, а надеешься — никто ничего не заметит. Чего ж его тут на свету и вертеть!

Сотни людей побывают в базарный день на толкучке. Кто — купить, кто — продать, кто — просто поглазеть. И каждого — сколько уже говорилось об этом! — подстерегают на пути творцы потрясающих по безвкусице бумажных «ковров» и «занавесок», всюду развесившие свои художества. Лебеди и цветы, пейзажи, от которых потом долго еще в глазах расплываются малиновые круги, переезжают отсюда в дома и общежития, убивая врожденный вкус, воспитанный редкой по красоте природой Брянщины.

Немного поодаль устроился аристократ кустарных промыслов, создатель гипсовых «барельефов»: на фоне альпийского пейзажа коричневый олень — обведенное позолотой, аляповатое, увесистое уродство. У аристократа глаза пуганой собаки и ухватки зрелого дельца. Двадцатипятирублевые бумажки плывут, плывут в его карман — каждому хочется украсить свой дом к Новому году.

Знают ли в городе о том, как неуклонно и бойко день ото дня уродуют вкус целых поколений поставщики «ковров» и «картин»?

— Знаем! — с горечью признаются работники отдела агитации и пропаганды Брянского обкома партии. — И бороться пробовали, да сладу нет с базарной «живописью»! Запретили было торговлю этой дрянью — пришлось отступить. Кустари-то — инвалиды, им по закону кустарничать разрешается. Тогда надумали мы выпускать гипсовые статуэтки по хорошим образцам. И тут не выгорело: подсчитали мастера, что останется после уплаты авторского гонорара за эталон, — и отказались. Нерентабельно!

И вот все общественные организации города — от управления культуры облисполкома до обкома партии — оказались бессильными изгнать базарных «художников». Дома жителей отданы на откуп «лебедям» и «оленьям» с толкучки. Ими поневоле удовлетворяют потребность украсить комнату — так затыкают тряпкой дыру в окне, если нет стекла. Это беда не одного только Брянска. Но в Брянске она особенно наглядно видна: здесь нет своих художественных промыслов, таких, как палехский, федоскинский. Как ни странно, в области, богатой лесом, мастерство отдельных резчиков и выпилщиков не выросло в массовое народное искусство. Кустарной халтуре здесь нечего противопоставить.

А полиграфическая промышленность? Разве мало выпущено репродукций картин известных художников? Разве их нет в городе? В городе они есть. Но Айвазовскому, Поленову, Нестерову везет куда меньше, чем предприимчивому отливщику гипсовых «барельефов».

Что привлекает покупателя базарной «живописи»? Яркость красок, дешевизна и возможность практически использовать тот же «ковер». И, конечно, то, что купить их можно мимоходом, больше того, их трудно не купить — они кричат, зовут, манят со стенки тут же, на базаре, от них никуда не денешься, на них натыкаешься невольно. Такой «художник» умеет развесить свой товар, показать его. Он точно знает, какой величины нужно сделать коврик для детской кроватки и какого размера дорожку предпочитает приколоть над своей постелью колхозница.

А издательства? С поразительным равнодушием из года в год выпускаются репродукции одного формата. Окаймленные большими белыми полями, они требуют рамки, то есть дополнительной заботы. На рынке репродукцию не купишь, за ней надо специально идти в книжный магазин и потом где-то в другом месте искать рамку. Впрочем, кое-где можно купить репродукцию в раме. Но за какую цену! Втиснутый в грубо позолоченный, изготовленный брянскими живописными мастерскими багет, «Витязь на распутье» стбит уже не два, а двадцать семь рублей!

Хорошо, что репродукций появляется все больше (разговор о качестве их — особая важная тема). Плохо другое: в работе над репродукцией даже не заложена мысль о борьбе с образцами дурного вкуса.

Иначе работники полиграфической промышленности давно нашли бы возможность в здоровом соревновании уничтожить навсегда рыночную халтуру. Появись на базаре... Да, да, на базаре, в этом нет ничего унижительного для искусства. Нет ничего зазорного в том, чтобы сделать шаг навстречу, а не дожидаться, пока покупатель хлынет толпой в салоны и художественные отделы книжных магазинов. Более того — иначе нам и не дождаться такого счастливого времени. Так вот, появись на базаре хорошо выполненные репродукции чудесных рисунков Рачева или Жукова, Дубинского или Каневского, увеличенные до такого размера, чтобы заменить бездарно размалеванный коврик, — и любая мать с радостью купила бы их своему малышу. Неужели живые краски «Цветов» Кончаловского не смогли бы переспорить убогую базарную мазню? Неужели шишкинские, левитановские, васнецовские картины не завоевали бы покупателя?

Если бы работники полиграфической промышленности дали себе труд побывать в сельских избах, в рабочих общежитиях, не погнушались потолкаться на периферийных базарах, пригляделись к тому, что ищет покупатель, если бы их заработок зависел от сбыта так же, как карман торгашей «ковриками», тогда они поняли бы: нужно найти верный размер, решить (может быть, типографски) вопрос о рамке, подумать о том, как подать репродукцию покупателю. И, конечно, чтобы она была дешевой и хорошей по качеству.

И еще — вкус необходимо развивать, воспитывать, совершенствовать.

— Есть у нас мысль: устроить в одном из дворцов культуры вечер, поговорить о красоте, вытащить на свет эти «коврики», — рассказывают в обкоме партии и прибавляют с виноватой улыбкой: — Руки не доходят!

— Надо бы провести специальный рейд, посмотреть, чем украшены, к примеру, наши клубы, — подсказывают управлению культуры облисполкома брянские интеллигенты.

Хорошие идеи! Но существуют и другие пути. Почему от большой, важной темы эстетического воспитания начисто отстранилось кино? Разве нельзя выпустить цветной сатирический фельетон в киножурнале, беспощадно выставить на посмешище художественную халтуру, помочь пропаганде подлинного искусства? Почему бы Обществу по распространению научных и политических знаний не включить в свой план лекцию о красоте в быту? Думается, что, много и однообразно говоря о культуре поведения, мы все еще недооцениваем влияние искусства, его возможности.

Не оттого ли с таким трудом приходится завоевывать право на творчество молодым художникам?

Базарные торговцы процветают в Брянске. А художники? Есть же в городе свои художники? Уже за неделю до Нового года на центральном сквере появились палатки для праздничной торговли, украшенные хорошо, со вкусом выполненными сценами на сюжеты детских сказок. Целыми днями ребятишки толпились около, узнавали старых знакомых.

— Буратино, видишь, Буратино! — на всю площадь визжит малыши, по самую шапку утонувший в старых, унаследованных от старшего брата валенках. Он рад безмерно неожиданной встрече. — Бур-р-ра-тино!

И взрослые прохожие замедляют шаг, разглядывают рисунки, расцветают милыми, чуть снисходительными улыбками: все-таки немаложно неудобно, пустяк такой, детские картинки, но и не улыбнуться нельзя — очень уж забавны и серый волк и эти зайки.

Это работа Брянских художественных мастерских (не путайте их с мастерскими живописными, которые поставляют вывески, багет к репродукциям и т. п.). Занимают художественные мастерские два «помещения»: контора — хибару-развалюху, студия — часть дома, очень похожего на избу, в которой Суриков изобразил «Меншикова в Березове».

Единственная комната вся заставлена, затиснута — живут брянские художники надеждой: в одном из строящихся домов им обещано помещение под мастерскую.

Но дело не только в мастерских. О положении художников наших, еще не именитых, но упорных в своем желании работать творчески, следует серьезно призадуматься. Копиисты живут несравненно лучше, чем люди, творчески одаренные, которые не хотят тратить талант и время на работу ради заработка.

Молодой художник окончил высшее учебное заведение. В течение шести лет его сурово, придирчиво, взыскательно учили мастерству. Он сделал дипломную работу на «отлично» и, наконец, вышел из института, чтобы начать самостоятельную работу. Он не цепляется за столицы, он согласен ехать, скажем, в Брянск. Ему нужно совсем немного: место, где можно работать, и сама работа, творческий заказ или хотя бы какая-то гарантия, что замысел, который он лелеял в студенческие годы, заветная вещь, которую теперь-то, встав на ноги, и начать, — что замысел этот кому-то нужен. Он давно носится с ним, у него руки просят, а глаз живет в этой картине. Но не тут-то было. Захлопнулась дверь института, получена и истрачена последняя стипендия, а дальше — как хочешь.

Надо снимать квартиру в чужом городе, надо кормить семью — значит приходится хвататься за любую работу: за копии, за оформление. А заветный замысел? Потом, когда-нибудь потом, когда будет немножко легче. А обещанной комнаты все нет, под творческие заказы аванса не получишь — и «потом» растягивается на долгие годы. Но известно — искусство мстит за невнимание к нему: притупляется глаз, рука привыкает к шаблону, и еще один талант, сверкнувший при защите дипломной работы, еще одно обещание стать гордостью страны, еще один человек, который мог бы овладеть нашим умом и чувствами, стал в строй ремесленников-копиистов.

Удивительно нерасчетливо ведем мы свое хозяйство в этой области искусства. Не так много выпускают художников высшие учебные заведения. Пусть не пугаются работники финансовых органов, но неужели, потратив немалые деньги на обучение художников, мы не можем себе позволить взять на дотацию хотя бы лучших из них года на два, на три, обеспечить им сносный прожиточный уровень, чтобы они могли творчески окрепнуть?

Ни для кого не секрет, что творческая работа выполняется молодыми художниками между заказами на копии портретов и пейзажей. Те, кто внимательно следит за выставками молодых, знают, как часто хороший замысел бывает испорчен поспешностью, недостаточно продуман, небрежно выполнен. Надо бы подождать, поработать еще, не выставлять. А как не выставить? Одна надежда заявить о себе — выставка. Особенно для художника, работающего на периферии. Глядишь, и пошла по городу слава: он даже в Москве выставлялся! И наконец придет долгожданный аванс на творческий заказ.

Кто из периферийных художников не мечтал о творческом заказе! А ведь спрос на живопись не так уж мал. В каждом Доме культуры, в каждом клубе, в каждой столовой, в гостинице и детском саду висят написанные маслом картины. Чаще всего это копии с копий или репродукций одних и тех же произведений больших мастеров.

Никто не позволил бы артисту со сцены спеть партию Онегина фистулой, фальшивя и коверкая стих. Его прогнали бы дружным свистом, осмеяли, уничтожили презрением. Кто же допустит, чтобы бездарный, недобросовестный певец осмелился надругаться над творением Пушкина, над музыкой Чайковского!

И вместе с тем мы терпим много лет подряд, как целая армия ремес-

ленников опошляет произведения знаменитых художников в дурных, безликих копиях. Примером тому может служить невинноубиенное «Утро в сосновом лесу» Шишкина, или «Охотники на привале» Перова, или «Богатыри» Васнецова. Художников перевирают беззастенчиво, безжалостно. Никто не требует точности в цвете, в рисунке (да и о какой точности может идти разговор, когда копия делается с репродукции, а репродукции тоже не всегда верно передают колорит подлинника). Маломальски похожая на оригинал мазня занимает место во Дворце культуры, в гостиной дома отдыха, над столиком в чайной. Она ничему не научит, не отточит вкус, и если вызовет размышление, то разве только о том, что «ковры», которыми торгуют на базаре, право же, не намного хуже, да к тому же дешевле.

Могут возразить: где взять, скажем, заведующему клубом талантливому художнику, который сделает работу хотя бы честно? Да и не всегда может — зачем обманывать себя? — завклубом или завчайной судить о художественных достоинствах вещи. Написано маслом, размер — ничего, подходящий, не мелочь какая-нибудь, рама в золоте и выглядит убедительно — покупай и вешай! Ежегодно на подобную мазню тратятся деньги, и немалые. Они попадают в руки ремесленников, а не художников.

Сентябрьское постановление Совета Министров об оказании помощи художникам — документ очень важный, он поможет подняться многим. Но ведь помимо прямых субсидий у государства есть и другие средства, которые сейчас, к сожалению, расходуются не по-хозяйски.

Разве нельзя вместо мертвых копий в клубах, гостиницах, чайных повесить живые произведения местных художников? Разве не разумно было бы, например, для новой брянской гостиницы заказать пейзажи Брянщины, а школы, цехи заводов украсить портретами героев партизанского движения — славой области?

Наше хозяйство строится по плану. Нельзя планировать творческие замыслы художников, но можно и нужно планировать сбыт.

В настоящее время брянские художники продают свои картины через салон-магазин. В салоне (кстати, нетопленное, темное помещение магазина окрестили салоном, верно, в очень шутовском настроении) всегда пусто. Картины развешаны небрежно, подаются так невкусно, что едва переступишь порог магазина, как хочется поскорее выбраться оттуда. А под стеклом прилавка на видном месте устроилась большая золоченая черепаха, прямая родственница базарного оленя.

— Кто это делает у вас подобные вещи?

— А это не у нас. Привезли откуда-то давным-давно, покупать ее никто не покупает, вот она и лежит, — равнодушно ответят вам.

Картины висят в салоне подолгу, пока, на счастье художника, в конце года не забредет сюда какой-нибудь руководитель предприятия, у которого остались неизрасходованные капиталы, и не купит по-купечески, оптом, штук пять-шесть картин — все равно, мол, деньги спишут!

При строительстве клубов, домов культуры отпускаются специальные средства «на оборудование». Дело руководителя, истратит ли он их на диван или на картины. Но если дефекты дивана становятся видны сразу, то для оценки качества картины, как известно, нужен еще вкус и даже соответствующее образование. Не пора ли все средства на оформление общественных зданий сосредоточить в руках областных управлений культуры, которые вместе с художественным советом местной организации художников и должны рекомендовать те или иные вещи при оформлении учреждений? Это единственный способ избавиться от ремесленных, халтурных копий, реальный путь борьбы за высокие эстетические нормы и вместе с тем хорошее, действенное средство поддерживать творчески работающих художников.

Мне могут заметить, что копия стбит намного дешевле оригинала. Но право же, лучше повесить два талантливо написанных пейзажных этюда по шестьсот рублей, чем одну махину-копию за тысячу двести.

Возможно, что брянские руководители разведут руками и скажут: нет у наших художников достаточного количества хороших вещей. Может быть, и нет, потому что у местных художников нет перспективы. Но они, несомненно, будут, если у художников появится ощущение, что они нужны городу.

Не надо далеко ходить, чтобы судить о том, как важна для творческого работника перспектива,— жизнь брянской литературной организации может служить наглядным тому примером.

Дикая редакция

Зал Карачевского районного Дома культуры полон. Объявлен вечер брянских писателей, и зритель рассматривает свою живую областную литературу с тем любопытством, с каким Тарас Бульба оглядывал детей: — А поворотись-ка, сын...

Писатели волнуются. Леонид Мирошин тискает собственные пальцы трудолюбиво и старательно, будто добрая хозяйка месит тесто. Виктор Сафонов и вовсе сбежал, не вышел в президиум, приткнулся в заднем ряду среди земляков, но глаза все равно выдают его: на весь зал светятся тревожным блеском. Один только Алексей Владимирович Федосов спокоен. Заведующему кафедрой лесохозяйственного института, ему, конечно, не страшна никакая трибуна. Вот он начал свой охотничий рассказ. Зал замер, стал похож на коллективную фотографию, потом поймал веселое словцо, зашумел, засмеялся и снова затих, вместе с героем рассказа поджидая медведя... Аплодисменты. Стихи Мирошина. Опять аплодисменты. Одноактная пьеса Козина, шутки Швеца, отрывок из романа Сафонова. Благодарная, горячая аудитория...

Кого тут только нет! Старуха, закутанная в платки по самые глаза,— не поймешь, дремлет она или слушает. Нет, не спит, рассмеялась, показала желтый зуб. Молодежь — парни, готовые на лету подхватить острую шутку, девушки с затаенной просьбой в глазах: «Нам про любовь, про любовь читайте!» Солидные, серьезные люди, из которых не сразу выжмешь одобрительную улыбку. И уже кто-то из карачевцев, кого одолевает литературный зуд, шлет записку: «Можно ли писать рассказ со слов очевидца?» Глядишь, через год-другой и ему будет что сказать землякам.

Вечер писателей в районном Доме культуры — событие само по себе любопытное. Но важно другое: несколько лет назад его просто не могло быть — брянская литература еще не существовала.

Историю появления первой книжки брянской поэзии называют здесь комической. При областной газете была создана «кличная редакция» — издавать брошюры, обобщающие опыт передовиков промышленности и сельского хозяйства. Постепенно около газеты стали собираться пишущие люди. Читают, обсуждают свои стихи и рассказы, чувствуют — на ноги становятся, а голос подать неоткуда. Журнала в городе нет, издательства — тоже, а в книжной редакции отвечают: «Что вы, что вы! Наш квас не про вас. Какие могут быть в Брянске писатели?» Тогда пустились брянские литераторы на хитрость. Дождались, пока главный редактор книжной редакции уедет в командировку, и потихоньку напечатали два сборника стихов, величиной в ладошку. Теперь эти книжки брянцы показывают так, как взрослый свои младенческие фотографии: «Смешной был малец, а?» Зато, говорят, бывший главный редактор

около года потом в командировки ездить не решался: чего доброго, без тебя заместители целую антологию выпустят.

А литературное объединение и впрямь стало подумывать о сборнике. В 1949 году появился первый альманах «Край родной». История его уже не комична, а скорее печальна. И во всяком случае поучительна. Пример брянских литераторов очень ясно обнажает уязвимые места, как принято называть, «работы с молодыми» или, глубже, заботы о будущем литературы.

Известно, что критика наша сосредоточивает свои силы в основном на произведениях, опубликованных в столичных журналах и издательствах, а в потоке книг, выходящих на периферии, замечает часто вещи случайные, еще чаще — юбилейные. Человек, который решился бы изучать сегодняшнюю литературу, основываясь на критических статьях, уподобился бы приезжему в большом городе, где нерадивые градоначальники удосужились кое-как осветить главную улицу, а стоит свернуть с нее в сторону, и сразу тонешь в сплошной тьме. Где ж тут судить об архитектуре города, остается только махнуть рукой и опять выйти на главный, уже знакомый проспект.

Пишутся рецензии на книги областных авторов обычно так: берет критик (чаще всего — начинающий) областное издание и разбирает его по косточкам в связи с приближением очередной декады, конференции или еще какого-нибудь «мероприятия», на которое надо «откликнуться» газете, заказавшей статью. До сих пор он литературной жизнью этой области не занимался, авторов в глаза не видал, но воспитывали и учили его на образцах классики, и сказать свое решительное слово он, конечно, может. И вряд ли потом придет рецензенту в голову позвонить, или написать, или поехать к тем людям, которых он судил с высокой трибуны. Или хотя бы просто поинтересоваться: а что выросло из его критики?

Первому брянскому альманаху попало в «Известиях» крепко и за дело. («Представляете, там у нас такая строка была, просто перл: «Гвардеец отходил назад», — что ж ему, вперед, что ли, отходить было?» — смеются над собой брянцы, оглядывая прошлое с новой ступеньки, повыше.) Но, к сожалению, на этом иссяк интерес и кончилась забота критики о брянских литераторах. Прошло семь лет. Выпущены уже четыре книжки альманаха, но ни одна из них не получила оценки в центральной печати.

Бесконечно увлекательно для родителей наблюдать развитие ребенка, для педагога — рост ученика, для критика — движение писателя. Если рассматривать книгу как общественное явление, судить жизнь по книге, а не книгу по заранее заданной схеме, то четыре брянских альманаха дадут любопытный материал для раздумий о тех творческих резервах, о тех скрытых ресурсах культуры, которые, очевидно, можно обнаружить всюду, если в них поверить и позаботиться о них.

Моим гидом на путях брянской литературы был Алексей Семенович Козин, нынешний главный редактор книжной редакции. Большая комната редакции не слишком уютна — вешалка в углу, диван с давно уставшими пружинами, несколько стульев у стены. Но народ тянется сюда. Заходят ученые — доктор биологических наук Гроздов поговорить о новом издании популярной книжки о тайнах и чудесах леса; заходят музыканты — кое-какие стихи брянских поэтов положены на музыку; заходят художники — показать эскиз обложки к новому сборничку стихов. И, конечно, у членов литобъединения всегда есть неотложные дела в редакции: принести рукопись, почитать гранки. Поэтому разговор о прошлом и будущем получился общим.

— Альманах — наш коллективный разведчик, — говорят в бюро лит-объединения. — Надо было попробовать, можем ли мы что-нибудь сделать.

Просматривая оглавления трех первых альманахов, видишь, что около десятка имен систематически переходит из одного в другой. К ним прибавляется еще два-три имени, против которых редакторская рука ставит галочку: «Это — наше открытие». В четвертом альманахе число галочек огромно: «Тогда мы только на ноги становились, и теперь у нас уже двадцать человек новых». Среди них — агрономы, учителя, работники районных газет. Многие живут в других городах и селах области.

От альманаха к альманаху все больше имен подчеркнуто — это те, кто «дорос» до книжки. Тоненькие сборнички стихов, рассказов, пьес: у кого — один, у кого — два, у некоторых — три. Первая попытка лит-объединения выпустить в свет своих солистов.

Коллектив крепнет. Строже идет отбор вещей. Возникает необходимость серьезного разговора между собой — недавно в Брянске собиралось областное совещание местных литераторов; появляется желание встретиться с читателем — на литературном вечере, в книжном магазине, на читательской конференции. Читатель оказался тонок, наблюдателен и придирчив: созвали конференцию по четвертому альманаху, а припомнили писателям все — и первый, и второй, и третий.

Вместе с тем очень нужно брянцам слово критика-профессионала, деловая беседа о мастерстве, критика требовательного, но не с дубинкой в руке, человека с чутким слухом, способного не только судить о сделанном, но и сберечь то, что есть у коллектива в перспективе. Каждый раз такое внимание со стороны более опытных писателей, несомненно, окупается. Переписка с Б. Лавреневым помогла А. Козину в работе над пьесой. Н. Грибачев и А. Кривицкий ознакомили читателей художественных журналов со стихами брянских поэтов. Н. Томан и А. Марков, побывав в Брянске на совещании литераторов, привлекли внимание комиссии Союза писателей по русской литературе к роману В. Сафонова.

Пусть не поймут меня так, будто эти заметки — открытие драгоценной россыпи литературных талантов в Брянской области. Нет, речь пока идет о другом. О скрытых возможностях, о завтрашнем дне. Золотоискатель начинает промывку песка, веря, что, отбирая крупинки золота, он наткнется здесь и на самородок. Искрами таланта и сейчас радуют некоторые брянские писатели. Блеснет ли самородок из душевных глубин уже печатающихся товарищей или нас одарит кто-то новый, отмеченный галочкой, как находка, в следующем альманахе — дело будущего. Главное — разработка жилы уже начата. Главное — возникла и существует творческая группа со своими планами, перспективой, со своим вкладом в культуру области.

Существует... незаконно. Созданная вскоре после войны решением обкома, книжная редакция до сих пор не может добиться признания во всех необходимых инстанциях. По-прежнему ей вменяется в обязанность передавать опыт новаторов промышленности и сельского хозяйства, а все остальное — художественная литература, песни местных композиторов, научные труды преподавателей брянских институтов — результат стихийных вылазок в обход бюрократических форпостов. Не случайно ее так и называют в Брянске «дикой редакцией».

Не признают? Ну что ж. Приходится полагаться на собственную инициативу. Брянская типография не в состоянии обслужить редакцию, и где только не печатают свои книжки брянцы — и в Калуге, и в Орле, и даже в Ленинграде. Существует редакция на энтузиазме, патриотизме и хозрасчете, работает с прибылью и ощущает тяготы своего незаконного положения главным образом тогда, когда речь идет об увеличении штатов или когда приходится изыскивать бумагу.

— Мы нужны области,— коротко и убедительно формулируют приверженцы редакции ее право на существование.

Очевидно, жизненность брянской литературной организации в том и заключается, что она растет, опирается на резерв еще неизвестных дарований, в том, что, не замыкаясь в себе, она, несомненно, стала для области общественным явлением. Больше того, она помогает проявить свои способности работникам смежных видов искусства. Областной театр с успехом поставил пьесу Козина; сцены из спектакля передавало Всесоюзное радио. Имя композитора Долгова стало известным, когда он выступил как автор песен на слова брянских поэтов. Художник Сергеев переживает второе рождение: будучи раньше оформителем, он теперь пробует себя в книжной графике.

В молодой области создается своя культура.

Прокатная контора искусств

Когда человек не знает музыки, его трудно назвать вполне культурным, но это только его беда. Когда же музыки нет в целом городе, это беда общественная, за которую к тому же приходится расплачиваться нераскрытыми дарованиями исполнителей, несостоявшимися талантами композиторов.

Можно сказать, что голос литераторов уже слышен в области, можно надеяться, что скоро, когда кончится период устройства, с переездом в новые мастерские заявят о себе художники. Куда сложнее обстоит дело с музыкальной жизнью города. У писателей есть бюро литобъединения, у художников — художественный совет. У музыкантов нет никакой организации. Есть КЭБ — концертно-эстрадное бюро — или, как с невеселой усмешкой называют его, «прокатная контора». В обязанности КЭБа входит музыкально-художественная пропаганда, он должен воспитывать вкус к музыке, литературе, нести зрителю лекции на музыкально-литературные темы, организовывать концерты и детские утренники. Но ни по структуре своей, ни по силам, которыми располагает, КЭБ не может быть центром музыкальной жизни города.

При КЭБе существует труппа эстрадных артистов. В сущности, неверно называть их труппой. Каждый из них приезжает в область на год, на полгода со своей программой, с готовыми номерами, и дело КЭБа — тасовать и перетасовывать их из бригады в бригаду, чтобы отправить в такие города, районы, где этот артист еще не был. Кто, когда работал с актером над номером — это никого не касается. Номер сделан — и будет ездить, затертый, старый, из одной области в другую, потому что актеру выгоднее эксплуатировать его в новом месте, чем работать над новой программой в городе, где он уже выступал.

Странствующие актеры движутся во всех направлениях, заполняя эстраду, районный Дом культуры, клуб. Среди них есть талантливые артисты и бездарности, честные работники и халтурщики. Эта армия странствующих эстрадников никем не учтена (достаточно сказать, что тарификация артистов эстрады не было много лет), никто не работает с ними творчески, никто, по сути дела, их не контролирует.

...Субботний вечер. На сцену концертного зала Бежицкого дворца культуры выходит конференсье и объявляет:

— Начинаем концерт артистов эстрады. В концерте принимают участие... Ведущий концерт — я. Вы удивлены? Вы знаете, что ведущий концерт называется конференсье? Но конференсье должен быть толстым или умным. А я — ни то и ни другое...

Смешно? Нет. И зал очень скуп на ответную улыбку.

В другой субботний вечер, проведив со сцены акробатическую пару, другой конференсье тоже угощает публику затасканной «остротой»:

— Видали, как он ее на руках носит? А будет мужем, станет он ее носить, как же!

Потом оказывается, что и первый и второй — неплохие куплетисты, что в своем жанре они проявляют вкус и такт. Но, выходя в качестве конферансье, то ли не верят в себя, то ли не верят в публику.

В брянском КЭБе есть художественный руководитель, режиссер по образованию. Он, конечно, может убрать из конферанса пошлости, он обязан это сделать. Но он не может поставить танец, — а балетмейстера при КЭБе нет, не может помочь певице, — концертмейстера тоже нет в Брянске. Местные концертные бюро, такие, как брянское, не в состоянии держать на хозрасчетных началах своего концертмейстера, балетмейстера и т. п. Очевидно, выход надо искать в том, чтобы создать консультационный пункт на две-три области, чтобы содержание специалистов только частично ложилось на каждую из них. Иначе актеру честному, талантливому, ищущему при всем желании трудно сделать свою программу на том уровне, к которому он стремится. Ему не с кем посоветоваться, не у кого проконсультироваться. В результате интересно задуманный номер бывает поставлен гораздо ниже возможностей, которые в нем кроются.

Выступает в Брянской области артист Морской. В его довольно разнообразном репертуаре есть номер с Петрушкой, который он исполняет на концертах для детей. Он ведет с ним диалог, настолько искусно меняя голос, что после концерта не только от ребят, от взрослых можно слышать:

— Должно быть, за веревочку дергает, вот Петрушка и говорит.

Но поставлен номер плохо, гораздо хуже, чем это можно было бы сделать. Невыразительна кукла, однообразен диалог, актер доносит до зрителя только частицу того хорошего, что таит в себе номер.

А репертуар? Артист эстрады вынужден подбирать крохи, которые случайно перепадут ему на чужом пиру. Услышанные где-то остроты, кем-то исполненная по радио песенка, пойманная на слух. Заказать себе репертуар актер чаще всего не в состоянии, у КЭБа денег на это тоже нет, а сборники, подобные «Молодежной эстраде», для профессионала-эстрадника не годятся: он не может повторять самодеятельность.

А бедность тем! Каждый концерт похож на другой, каждый фельетонист высмеивает ателье мод, где ему изуродовали костюм, стилисту с длинными волосами, модницу, жулика-продавца и зазнавшегося районного руководителя. Побывав на одном-другом концерте, зритель о третьем все знает наперед, и если идет все-таки, то потому только, что все равно деться вечером некуда.

Упорядочить, организовать работу концертных объединений необходимо. Именно они являются посредниками между искусством и народом, они воспитывают — или портят — вкус, ибо у них в руках одно из самых массовых искусств: эстраду слушают, смотрят, любят десятки тысяч людей.

Помимо бригад, работающих в области по договору в течение года, концертно-эстрадное бюро приглашает на кратковременные гастроли крупных артистов разных жанров, мастеров искусств, музыкантов с высокой исполнительской культурой. Но тут-то и обнаруживается прорыв в эстетическом воспитании брянцев: не всякий концерт несет радость зрителям и исполнителям.

Как ни горько признавать это, классическая музыка, балет привлекают в Брянске не много слушателей и зрителей, приносят КЭБу не прибыль, а убыток. Стоит такой концерт дорого, поэтому цены на билеты высокие, а привычки, навыка, тяги к серьезной музыке нет — залы пустуют.

Это не случайность. В городе нет своего оркестра, нет его даже в театре. Музыкальные силы исчерпываются двумя эстрадными ансамблями, из которых один обслуживает по очереди бежицкий и брянский кинотеатры, а другой играет в ресторане. В городе нет филармонии, нет никакой

организации, которая могла бы руководить музыкальной жизнью города, последовательно заниматься пропагандой музыки.

Но не случайно и другое. Еще семь лет назад детская музыкальная школа вынуждена была вербовать учеников, уговаривать родителей, объяснять им пользу музыкального образования. А в этом году конкурс по классу фортепьяно дошел до двенадцати человек на одно место.

Эта цифра — двенадцать человек на место — говорит прежде всего о том, как растет представление о культуре, как нужна музыка городу. Эта цифра зовет к практическим выводам: необходимо организовать школу так, чтобы все, у кого есть на то способности, могли бы здесь учиться. Детская музыкальная школа получает государственную дотацию, которой и определяется число учеников. Но ведь можно было бы применить здесь тот же принцип, что принят сейчас в вузах, чтобы наиболее состоятельные родители полностью взяли на себя обучение своих детей.

В недостатке музыкальной культуры повинна и общеобразовательная школа. Уроков пения в школах часто вообще нет или же их ведут люди без специального музыкального образования. Из года в год школы выпускают молодежь, глухую к музыке, не приученную слушать, понимать ее. Потом мало-мальски музыкально одаренные юноши и девушки тянутся в самодеятельность, на музыкальные курсы для взрослых (кстати, эти курсы строятся на хозрасчетных началах и прием здесь не ограничен). Но слишком много они упустили, то, что не дано было с детства школой, восстанавливать в этой области, может быть, труднее, чем в любой другой.

Не ладится с пропагандой музыки и у Брянского отделения Общества по распространению научных и политических знаний. Оно насчитывает немало лекторов из числа преподавателей институтов, учителей, врачей. Но работа его строится по странной системе. На вопрос о том, какие лекции думает отделение готовить в новом году, здесь отвечают коротко и непонятно:

— Мы еще не знаем. Какие у нас попросят. Мы ведь живем за счет перечислений от организаций. Какие лекции они захотят слушать — пока неизвестно.

Эта система годна, вероятно, там, где речь идет о специальных циклах, связанных с повышением квалификации, в отношении же литературы и искусства ничего хорошего из нее получиться не может. Не удивительно, что на работу Общества жалуются в Бежицком дворце культуры, где распался музыкально-литературный лекторий. В Лесохозхозяйственном институте музыкально-литературный лекторий тоже перестал существовать, потому что уровень лекций не отвечал требованиям аудитории.

Конечно, Брянску нужна своя филармония, свой профессиональный оркестр. Но если исходить из реальных возможностей города, где нет концертного зала, где очень трудно обстоит дело с жилым фондом, то очевидно, что в ближайшее время самое верное — это обратиться к своим внутренним резервам.

Музыканты в городе есть. Наиболее талантливые — а иногда наиболее удачливые — нарахват в клубах и домах культуры: без хорошего руководителя самодеятельность не создашь. Чаще всего каждый из них живет сам по себе, работает на свой риск и совесть. И получается, что бывший военный дирижер руководит хором, а хормейстер ведет занятия по классу фортепьяно.

Среди брянских музыкантов есть люди с хорошей тревогой за культуру города, люди творческие. Ими выпущено несколько сборников песен, организована лекция-концерт «Брянщина родная», которую тепло принимают в клубах. Есть у музыкантов и большая, настоящая мечта: создать своими силами симфонический оркестр, который мог бы поначалу бесплатными концертами приоткрыть для земляков богатства музыкального мира.

И снова речь идет о скрытых возможностях культурного роста. Они

должны стать реальностью. Музыкантам, очевидно, нужно объединиться, как объединились литераторы, управлению культуры следует помочь им достать инструменты для оркестра, отнестись к этому начинанию, как к важному общественному делу. Тогда в Брянске появится не только случайная, взятая напрокат, но и собственная музыка.

Судья или пропагандист?

До сих пор разговор шел главным образом о культурных силах, которые только возникают, голоса которых по-настоящему зазвучат завтра. А как обстоит дело с теми, кто уже сегодня представляет культуру города?

Однажды за обедом в кафе моим соседом оказался молодой человек с преждевременной плешью и уверенными манерами.

— Вы — приезжая, — точно определил он. — Откуда к нам?

Он назвал себя профсоюзным работником, поинтересовался, зачем я приехала, и спросил:

— Ну и как вам у нас в Брянске нравится?

Потом похвалил природу летом, напомнил, что Брянск на год старше Москвы, и одобрительно отозвался о театре:

— Театр у нас хороший. Прекрасное здание!

— А труппа?

— Труппа у нас плохая! — решительно заявил он.

— Что же вы у них видели в этом сезоне?

— Я? Ничего! Я в Москву езжу по работе каждый год на недельку, там и в театр хожу.

Он чувствовал себя ценителем искусств, этакой столичной косточкой. Но, слушая его, я думала о другом: откуда этот дешевый снобизм у образованного и, казалось бы, культурного человека?

Откуда эта манера свысока, пренебрежительно рассуждать о своем театре, которая проскальзывает не только у случайного моего собеседника? Не родится ли она из того, что мы привыкли рекомендовать только апробированную книгу, уважать преподавателя в институте, только если он кандидат наук, творческий коллектив, — если у него есть столичная марка. Как ни талантлив актер, а нет перед его именем заветных букв «засл. арт.», и самому себе не веришь: хорош ли он?

Ошибка наша в том, что мы мало, плохо, неумело пропагандируем свои художественные богатства. И бывает так, что пресса разделяет снобизм молодого человека с уверенными манерами. Особенно наша печать не умеет — или боится — настойчиво рекомендовать творчество молодого художника, артиста, композитора, пока он не станет заслуженным и — зачем лукавить? — не только приобретет, но и утратит что-то с годами. Не потому ли люди искусства, чьи имена становятся известными, чаще всего перешагнули уже на четвертый десяток?

Отголоски этих настроений слышны и в Брянске, они мешают работе Брянского театра.

В театре есть способная молодежь — Зайденберг, Скарга, Перепелова, есть одаренные актеры старшего поколения. На спектакле «Лгунья» зритель смеется так, что тонут в хохоте реплики артистов. Когда Катрин Лэфевр страстной речью, сдобренной крепким простонародным словом, уничтожает надутых аристократок, сестер Наполеона, зал признательно рукоплещет. И горячо сочувствует романтическому порыву Шуры Азаровой — спектакль «Давным-давно» во время школьных каникул шел с аншлагом.

Конечно, можно спорить с трактовкой того или иного образа, можно упрекнуть отдельных актеров за какие-то промахи, можно пожелать театру более равномерного распределения классических и советских произведе-

дений, драмы и комедии в репертуаре, но никак нельзя обвинить театр в безвкусице, в провинциализме. Театр не ищет легких путей — здесь ставили «Короля Лира» и «Детей солнца», в его планах — «Гамлет» или «Ричард III». Коллектив работает серьезно, он заслуживает уважения.

Нельзя сказать, чтобы театр в городе не уважали. Молодые специалисты, приехавшие в Брянск из больших городов с хорошей театральной традицией, преподаватели институтов, художники — те, кто привык в суждениях об искусстве руководствоваться собственным вкусом, отзываются о театре неизменно тепло. А широкий зритель? В субботу и в воскресенье театр бывает полон. Но в будний день зрительный зал напоминает порой подсолнух, из которого семечки основательно повыковыряли.

Работа над спектаклем — большой, нелегкий труд для актера. Если учесть, что Брянский театр ставит ежегодно одиннадцать пьес, что труппа почти ежедневно выступает на двух площадках — на основной сцене и в одном из дворцов культуры, а иногда выезжает и за город, то примерно можно получить представление о том, как напряженно работает коллектив. Наконец, спектакль принят художественным советом, включен в репертуар. Режиссерам и актерам интересно знать мнение общественности. Зритель тоже ждет, что ему подкажет печать. Но пресса... молчит.

Казалось бы, областным газетам надо всячески помогать, поддерживать свой театр. На каждый спектакль давать рецензию, отклики зрителей, время от времени просить режиссеров и актеров высказать свои мысли о работе над пьесой. Это было бы тем более полезно, что в клубах, дворцах культуры работают самостоятельные драматические коллективы.

«Брянский комсомолец» вообще не пишет о театре. Больше половины спектаклей не получает отклика и на страницах «Брянского рабочего». Газета относится к работе театра свысока, избрала для себя роль судьи, а не пропагандиста. Мне не удалось прочитать в газете ни одной рецензии (кроме статьи московского театроведа В. Пименова), которая страстно, горячо, убежденно звала бы читателя в театр.

А как шаблонны эти рецензии, как похожи позиции авторов! В конечном счете смысл статьи обычно сводится к тому, что такого-то актера похвалили, а такого-то поругали. И сколько бы ни вчитывался в рецензию, не поймешь — смеялся или зевал от скуки, сидя в зрительном зале, сам рецензент. Оттого, что рецензии серы, тусклы, тусклым и серым кажется спектакль. «В театр, что ли, пойти? — размышляет иной читатель, возвратясь с работы, и разворачивает газету. — Что ж, спектакль особенно не ругают, но и не то чтобы хвалят. Так себе, наверное, вещичка». И садится резаться в «козла» с соседом.

А чаще всего бывает так. В трудах и волнениях рожден спектакль. Отклика нет. С философским пониманием неизбежного ждут в театре: «Наверное, будут бить». Но проходит месяц, второй, третий. Рецензий все нет. В небольшом городе жизнь спектакля коротка, на смену одному идет уже другой. И приходится признать самое горькое: газеты просто не заметили премьеры.

Но ведь премьера, которую дает единственный в городе театр, должна быть открытием, праздником. Этот праздник надо бы готовить и газетам и, может быть, Обществу по распространению научных и политических знаний. Почему бы, скажем, не почитать в городе лекции о Шекспире, если театр ставит «Короля Лира» и «Укрощение строптивой», или о драматургии Погодина, когда в репертуар включены «Кремлевские куранты»?

Вероятно, работникам печати и в голову не приходит, что они обкрадывают читателя, забывая или не считая нужным пригласить его в театр или на выставку. И ни обком партии, ни обком комсомола не замечают, что областные газеты заняли неверную позицию по отношению к театру, к пропаганде культуры.

Расходуя средства, энергию, время, мы часто не задумываемся о системе в культурной работе, о едином наступлении на бескультурье, предрассудок, безвкусицу.

Эта разобщенность культурных сил видна не только в отношении печати к театру. В декабре в Брянске открылась выставка, посвященная Рембрандту. Как ни мало удачны репродукции, все же это — событие для города, где нет своей картинной галереи. Однако, кроме афиши, по цвету и формату очень похожей на объявление «Производится набор рабочих...», никто никак не удосужился рекомендовать выставку, позвать со страниц газет студентов, школьников, рабочих, никто не подумал организовать лекции и беседы о Рембрандте: работники местного отделения Общества по распространению научных и политических знаний не догадались попросить об этом художников, художники устрашились, видимо, организационных забот. А ведь около четырех месяцев они хлопотали о том, чтобы эти репродукции привезли в Брянск!

Но и для любознательного посетителя, который надумал бы по своей инициативе отправиться на выставку, сделать это не так легко. Уже давно, и непонятно почему, и в Москве и в других городах выставки бывают открыты в то время, когда большая часть жителей города работает, — с 9 утра до 6 часов вечера. Это значит, что человек, любящий живопись, должен правдой или неправдой, путем каких-то уловок ускользнуть с работы, чтобы попасть в выставочные залы. Иначе — иди, толкайся в воскресенье, когда перед каждой картиной натыкаешься на плотную ширму спин. Или же, если выставка закрывается в 7—8 часов, мчаться надо сразу после работы, не отдохнув, когда в голове еще не улеглись заботы рабочего дня.

А разве так уж трудно организовать работу выставок в две смены? Одну — с утра, чтобы те, кто в это время свободен, могли использовать преимущества дневного света. А вторую — часов до десяти вечера, чтобы человек мог не лететь на выставку сломя голову, не бегом бежать по залам, когда по его следу, как облава, движутся вахтеры и зрители, предупреждая:

— Прошу на выход, граждане, прошу на выход!

Возле картины нужно постоять, подумать, может быть, вернуться к ней снова. А что даст часовой пробег по семи-восьми выставочным залам? Равнодушной рукой чиновника, установившего часы работы выставок, ограблены, лишены наслаждения познавать и радоваться искусству тысячи людей — интеллигенция, служащие, рабочие. А казалось бы, все просто: не нужно ни новых средств, ни новых помещений — только доброе желание и немного организаторских способностей.

Не так уже редко случаи, когда большие культурные ценности остаются неиспользованными, оказываются законсервированными. Выставка произведений Рембрандта размещена была в залах Брянского краеведческого музея. Помещение невелико, и так как в городе нет выставочного зала, то всякая выставка разрушает музей: надо снимать экспонаты, освобождать помещение. Работает выставка — музей частично бездействует. Работает полностью музей — нет никаких выставок.

Здание музея находится в аварийном состоянии. Отапливается оно кое-как, в залах так холодно, что не только нет желания подольше, по-подробнее посмотреть экспонаты, но, выйдя оттуда, потом долго не знаешь, как обогреться. И, конечно, ходят посетители в шапках, в пальто.

Однако не это больше всего волнует научных сотрудников музея. В настоящее время он представляет собой гибрид сельскохозяйственно-промышленной выставки и краеведческого музея. Пропагандировать достижение в народном хозяйстве, борьбу за технический прогресс, новаторство необходимо. И музей ищет доходчивые формы пропаганды, в частности одной из них стали выставки для клубов и домов культуры. Вместе с тем научный коллектив музея убежден, что экспозицию надо пере-

строить с тем, чтобы в основу ее легла революционная история области, намного расширить разделы гражданской войны и партизанского движения. Музей располагает интереснейшими материалами, причем постоянно пополняет свои запасы: организует экспедиции по местам партизанских стоянок, собирает воспоминания партизан, дневники, письма.

Но, как ни убедительны доводы работников музея, планы их наталкиваются на непреодолимое пока препятствие в виде всяких положений о краеведческих музеях и инструкций, которые ведут музей по дороге производственных выставок и обзрений. Обязательные для всех, эти инструкции обезличивают краеведческие музеи, лишают их инициативы, мешают им показать своеобразие города, области.

Можно ли допустить, чтобы недоступными для посетителей оставались многие бесконечно ценные свидетельства тяжелых и героических лет Великой Отечественной войны, каждое из которых даст несравненно больше самой лучшей лекции о моральных качествах советского человека?

В двух маленьких комнатках, где сейчас расположены документы военных лет, негде повернуться. А ведь именно здесь, у знамен партизанских отрядов, дают торжественное обещание будущие пионеры, проводят собрания комсомольцы. В этом есть хорошая романтика, она должна стать традицией в городе.

Равнодушие и медведи

В клубе — танцы. В коридоре, в вестибюле — плотный табачный дым. У входа в танцевальный зал вянют безбилетники. В глазах их медленно, как свет в кино перед началом сеанса, гаснет надежда: может быть, кто-нибудь проведет!

— Что ж вы заранее не запаслись билетами?

— Да-а, знаете, как их тут доставать? По головам лезть надо!

Протиснуться из одного конца зала в другой так же трудно, как выйти в часы пик через переднюю дверь автобуса, курсирующего на линии Брянск — Бежица.

А со двора жадными глазами прилипают к дверному стеклу, расплюскав носы, огольцы помоложе. Может, они и не стали бы танцевать, даже наверное — чего хорошего топтаться с девчонкой! — но за дверью свет, музыка...

Говоря о будущем, о ресурсах культуры, нельзя миновать разговора о том, какими дорогами идут к ней люди. Будут ли эти дороги светлы и широки или тернисты и запутаны, — от этого тоже зависит будущий облик города.

Казалось бы, у паренька есть выбор: кино, красный уголок общежития. Но в кинотеатр не так просто попасть, тоже нужно было подумать о билетах с утра, а что касается красного уголка... Обычно это даже предусматривается типовым проектом: самая большая комната в общежитии отдана под красный уголок, — чтобы можно было зайти вечером почитать журнал, газету, послушать лекцию, сыграть партию в шахматы, потанцевать под радио. К сожалению, на деле нередко все выглядит иначе.

Брянский машиностроительный завод — хозяин богатый. У него не клуб, а дворец культуры. И впрямь это великолепное здание иначе, как дворцом, не назовешь. Не то в общежитиях. В красном уголке женского общежития на двух соседних стенах висят две репродукции «Утра в сосновом лесу». Одинаковые, с неприятным синеватым отливом, они повешены здесь равнодушной рукой, — абы что-нибудь налепить на стену. Чтобы не обделит мужчин, в их корпусе в красном уголке приткнули тех же «мишек».

Равнодушный ум, который решил, что три «Утра в сосновом лесу» лучше всего удовлетворяют эстетические запросы рабочих, руководит и их-

чтением. Народ в общежитиях живет главным образом холостой, молодой, но нет тут ни «Комсомольской правды», ни «Техники — молодежи», о которой рабочие давно впустую мечтают, ни журнала «Знание — сила», ни «Смены», ни «Огонька», ни «Юности» — вообще ни одного художественного издания, кроме «Крокодила».

— Лимит! — объясняют руководящие подпиской товарищи. И добавляют для недовольных: — Да вы знаете ли, что у нас лимит в этом году стал вдвое больше?!

— Нет, не знаем, — резонно отвечают те. — Да и не очень понимаем, при чем тут лимит?..

Не для всякого молодого человека путь к серьезной книге, музыке, живописи прост и легок. На этом пути ему нужен проводник, чтобы вечерами в первую неделю после получки проблема — посидеть в читальне или посидеть с товарищами в пивной — не решалась в пользу последней.

По штатному расписанию в рабочем общежитии, кроме коменданта, ответственного за материальную часть, полагается еще и воспитатель, так сказать, ответственный за души. Его обязанность — быть проводником рабочего на путях культуры. Но чаще всего он оказывается в положении скучного экскурсовода, у которого группа разбегается, и каждый начинает бродить по залам музея сам по себе.

Это закономерно. Есть штатное расписание, есть должность, но никто не готовит кадры для этой работы. Больше того, никто толком не представляет себе, что должен знать и что делать воспитатель. Обычно это случайные люди. Иногда они берутся за работу в общежитии, потому что им негде жить, иногда — потому, что не нашли себе другого дела. Оклад у воспитателя небольшой, но кое-как временно перебиться можно.

И получается так, что культурно-просветительной работой занимается человек, сам «кругом непросвещенный». Про одного незадачливого директора клуба рассказывали в Доме народного творчества очень красочно:

— Поставили должность на человека и никак снять с него не решаются. Потому что до него десяток директоров был, и теперь боятся, как бы следующий еще хуже не оказался.

Кадры работников для клубов готовят школы культпросветработы. В школы принимают окончивших семь классов. Поэтому можно заранее сказать, что десятиклассник, пришедший на завод, не получит в клубе особого культурного руководства. Всем практическим работникам ясно, что эти школы не оправдывают себя. Очевидно, пришло время реорганизовать их в училища, куда человек, имеющий соответствующие данные, мог бы поступить после десятилетки. Если бы в училищах были открыты отделения хормейстеров, балетмейстеров, руководителей оркестра народных инструментов, режиссеров, если бы они занимались в течение четырех лет, тогда наши клубы, дворцы культуры, общежития получили бы работников с хорошей квалификацией, с необходимым минимумом знаний в области литературы и искусства.

Нужны новые кадры культурно-просветительных работников. Но очевидно и другое — нужны новые формы работы. В этом нетрудно убедиться на примере расположенного в центре Брянска клуба завода дорожных машин.

Бюджет времени в клубе предопределен финансовыми органами. По плану пятнадцать дней в месяц в зрительном зале крутят кино. Оставшееся время распределяется просто: четыре дня выходных, а остальные одиннадцать растягивай, как хочешь, — зал нужен и для заводской конференции, и для молодежного вечера, и для лекций, и для выступления самодеятельности, и для платных концертов. А так как клуб живет на хозрасчете, то, конечно, предпочтение отдается платным вечерам.

Кино душит клуб. Помещение, которым он располагает, не отвечает его нуждам: комнаты для занятий малы, да и немного их. А в нижнем эта-

же расположены две столовые. Одна — заводская — работает в основном в обеденные перерывы обеих смен. Другая — треста столовых, где торговля идет главным образом по вечерам. Тут продают спиртные напитки, и нередки случаи, когда подвыпившие посетители ее, прорвав кордон контролеров, появляются в фойе среди танцующих, а то и в зрительном зале. Помещение столовых со всеми их службами в два раза превосходит площадь, занятую клубом. Но как ни просит завод выселить детище треста столовых или хотя бы объединить столовые в одном зале и передать помещение клубу — никакого результата эти просьбы не приносят. Ответ бывает равнодушен и категоричен: «Мы не можем сокращать торговую сеть. Есть постановление».

Оттого ли, что слишком часто идет кино, оттого ли, что работники клуба не полновластные хозяева в своем доме, — выглядит он неуютно даже в праздничные новогодние дни. На детские концерты ребятишки идут в пальто, в шапках, тяжело шаркая ногами, обутыми в валенки с галошами, по широкой замурзанной «парадной» лестнице. В фойе они долго бегают вокруг елки, — уши шапок топорщатся и хлопают, пальто распахнуты. Наконец с третьим звонком, взмокшие, втискиваются в кресла зрительного зала. Кое-кто так и парится в шубе до конца, кое-кто подогладливее, сняв ее, подмял под себя. В читальне человек шесть ребят, тоже в пальто и шапках, навалившись животами на стол, читают одну книжку.

— А что дети! Тут и взрослых-то другой раз не заставишь шапку снять, — грустно вздыхают работники клуба.

Невольно на память приходит Бежицкий дворец культуры. Там никогда не увидишь человека в пальто, там каждый выглядит аккуратным и подтянутым, там не запирают на ключ комнату отдыха, как это делают в клубе завода дорожных машин, оберегая белые чехлы на креслах, — там сама обстановка приучила людей к культуре поведения.

— У нас в гардеробе даже мест нет, чтобы всех раздеть, — оправдываются работники клуба.

Дело, конечно, не в том, что невозможно втиснуть в гардероб еще одну вешалку. Дело в другом. Не только на заводе дорожных машин, но и в иных местах клубные работники, с которых «спрашивают самодеятельность», порой видят в ней самоцель. Директор дает средства (с него тоже «спрашивают»), потому что качество самодеятельности будет формой своеобразного отчета его за организацию отдыха рабочих. Иногда из-за увлечения самодеятельностью на второй план отходят задачи куда более важные — задачи воспитания. Иногда работники клубов больше думают о том, как занять молодежь, как ее развлекать, чем о том, как влиять на ее образ мыслей и поведение.

Любопытно привести такие цифры. На Брянском машиностроительном заводе около четырех тысяч комсомольцев и молодежи. Во Дворце культуры занято в самодеятельности человек триста да примерно столько же в цеховых хорах. А остальные? Куда податься вечером девушке или юноше? Особенно если у человека не бог весть какой слух, нет смелости для того, чтобы читать стихи со сцены, нет таланта, чтобы, поработав в хореографическом ансамбле, поразить потом товарищей отчаянной четкой: если он учится в вечерней школе и у него нет времени даже на то, чтобы систематически посещать шахматную секцию или кружок кройки и шитья.

Спору нет, нужно всячески развивать самодеятельность — не случайно из коллектива, работающего в Бежицком дворце культуры, постоянно уходят люди на профессиональную сцену. Но следует подумать и о новых формах клубной работы, чтобы молодежь района имела свой дом, куда она могла бы прийти не только ради лекции или другого «мероприятия», а просто провести вечер, где встречались бы школьники, заводские ребята и студенты, где всем управлял бы совет клуба, а руководство взрослых

было умным и не превращалось в мелочную опеку, подобную той, какую однажды пришлось наблюдать в Брянске.

Во время зимних каникул спектакль «Давным-давно» был закуплен городским отделом народного образования для школьников-старшеклассников. В антракте администраторы театра включили радиолу, вокруг елки начались танцы.

— Выключите, немедленно выключите! — вмешались педагоги. — Нашим детям нельзя танцевать танго и фокстроты.

— Почему нельзя? — удивленные, спросили одну учительницу работники театра, поглядывая на семнадцатилетних «детешек».

— Почему? Ну, потому, что они не умеют танцевать. Вот, посмотрите, это же неприлично!

Два вихрастых паренька на развлечение всем старательно утрировали танец, подражая «стилягам».

— А вы их учите?

— Западным танцам? Нет!

— А вы сами, когда были школьницей, танцевали танго и фоксы?

— Да... но...

— И не скатились в бездну разврата?

— Я???

После краткого педагогического совещания решено было: пусть баянист между балльными танцами сыграет танго. Ничего. Пусть. Что говорить, один такой педагог может убить самую интересную идею, самую буйную инициативу.

А разве не уподобляются этой учительнице те работники Брянского лесохозяйственного института, которые предлагают «закрыть» студенческий джаз или, как его тут стыдливо называют, эстрадный оркестр? И не похож ли на нее декан одного из московских вузов, запретивший дискуссию о выставке работ Пикассо:

— Я сам был на выставке. Такие споры! Молодые люди готовы друг друга из пиджаков вытряхнуть, чтобы свою правду доказать. Разве можно допускать такие вещи?

Можно. И даже нужно. Загляните в любую комнату рабочего общежития, и вас закидают вопросами, трудными, иногда сумбурными. Вопросы буквально распирают молодежь, их не втиснешь в повестку дня комсомольского собрания, а время диспутов никак не вернется к нам. У молодежи должен быть свой дом, где она могла бы собраться и поспорить, куда могли бы прийти — обязательно бесплатно! — с творческим отчетом, с товарищеской беседой писатели, художники, музыканты, помочь ей разобраться в Есенине и Пикассо, куда можно было бы пригласить юристов и офицеров Советской Армии, партийных работников и ученых.

Когда мы заботимся о культуре завтрашнего дня, мы имеем в виду молодого человека, который умеет не только держать вилку в левой руке или пользоваться носовым платком, но и думать о политике и планировании народного хозяйства, о морали и воспитании, о живописи и литературе — обо всем, что он завтра, как эстафету, получит из рук старших, чтобы нести дальше.

Брянские писатели и художники идут со своими творческими нуждами в обком и горком партии. Молодежь обращается в областной и городской комитеты комсомола с просьбами прислать лектора, организовать встречу с ученым, артистом. На управление культуры облисполкома, на работников горсовета ежедневно сыплются десятки вопросов, связанных с культурной жизнью города, которые эти организации решают. Но — в одиночку, каждая в меру своих сил.

Как ни хорош дирижер, а если нет сыгравшихся музыкантов, не будет и музыки. Атмосферу культуры в городе не создашь одними руководящими указаниями. Нужна заинтересованность, поддержка общественности, слаженная совместная работа всех, кто может сказать здесь свое слово.

А если бы обкому партии созвать совещание интеллигенции? На таком совещании, наверное, прозвучало бы немало ценных мыслей и предложений.

Хорошо бы членам обкома и горкома комсомола почаще и подольше бывать в молодежных общежитиях, подумать вместе с рабочими и студентами: действительно ли массовы те «мероприятия», которые обычно фигурируют в отчетах, не устарели ли иные из них?

Почему бы не собрать специальную сессию горсовета, не поговорить по-деловому, конкретно, верно ли используются культурные силы города?

Даже самые большие реки начинаются с родничка. Брянск радуется тем, что здесь, как и везде, можно в любой области культуры разглядеть роднички таланта, а если прислушаться повнимательней, то и журчание подземных ключей, которые еще не пробили себе дорогу и ждут, когда заботливая рука уберет камни, расчистит путь. Хочется думать, что найдутся такие заботливые руки, по-хозяйски объединят разрозненные ручейки, чтобы культура шла по городу мощным и сильным потоком.



ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

НАЧАЛО

Как все это случилось, в самом деле?
Двадцатый век, с чего он начался?
Мелели реки и леса редели,
Но в сизые от дыма небеса
Аэропланы ухитрились взвиться,
И мгла не преградила им пути,
И на земле сумели объявиться
Те, кто решились этот мир спасти,
Чтоб снова плодородной и сырою
Измученная сделалась земля,
И сутью государственного строя
Не мнились бы ни штык и ни петля,
И двери тюрем полетели с петель,
И чтоб искусство не было мертво...
А ты не только этому свидетель —
Свидетелями этого всего
Пусть остаются ветхие бойницы
И рыхлый камень вековых стен,—
Ты не свидетель; ты, как говорится,
Виновник этих самых перемен!
Ведь все ж не вихрь весенний иль осенний
Бесповоротно пробудил умы!
Виновники великих потрясений
И их творцы не кто-нибудь, а мы!

Ш А Г

Сделан шаг.
Еще не отхрустела
Под подошвой попанная пыль,
А земля за это время пролетела
Не один десяток миль...
Множество каких-то древних стадий,
Русских верст, китайских ли —
Все это осталось где-то сзади.
И назад не повернуть земли,
И не забежать, опережая,
И ее в объятиях не сжать;
Умоляя или угрожая,
Все равно ее не задержать,
Эту землю,
Землю, на которой

Захрустел под микропорой шлак,
Землю, послужившую опорой,
Чтобы сделать
Следующий
Шаг!

* *
*

Нет,
Тени
За людьми не гонятся!
От некоторых эти тени,
Когда к закату солнце клонится,
Бегут как будто бы в смятении.

Но вот,
На рубеже грядущего,
Сама себе почти чужая,
Тень человека, в даль идущего,
Плывет, его опережая.

И полны
Дали необъятные
Тенями именно такими,
Которые в часы закатные
Вперед отброшены живыми.

И точно так,
Как тени прошлого
Вдруг возникают между нами,
В грядущем — потому и ждешь его! —
Мы существуем
Временами.



ЮРИЙ ПОЛУХИН

★

СУД ИДЕТ

В 1892—1893 гг. В. И. Ленин работал в Самарском окружном суде помощником присяжного поверенного и выступал защитником по «крестьянским делам».

Председатель суда
Недовольно листает бумаги,
Размышляет лениво,
Платком вытирая лицо:
«И с каких это пор
Деревенщина в потных сермягах
Заявляется в суд,
И не как-нибудь — в роли истцов!»
А истец под скамью
Поджимает промокшие лапти
И трех теребит
В заскорузлых, тяжелых руках.
Самодержец России
С портрета в судебной палате
И брезгливо и зло
Глядит
на того мужика.

Это как же, мужик,
Ты решил бунтовать в одиночку?
Иль совсем невтерпеж,
Иль обида твоя велика?
Вот лежат фолианты,
Е которых каждая строчка,
Каждая буква нацелена
Против тебя, мужика.

В зале шорох вопросов:
— А кто этот, в черном?
— Ульянов,
Вольнодумец, бунтарь,
Мужиков защищает в беде.
— Говорят, под надзором?..
— Конечно, ведь он из смутьянов.
— И зачем только держат
Такого в суде?
Но, окинув весь зал

Внимательным взглядом коротким.
Начинает защитник.
И сразу затих разговор.
Недовольно задвигались
Сытые подбородки.
Настороженно вслушивается прокурор.

.
Долговязый судья
Монотонно читает решение...
Ой, напрасно, мужик,
Приносил ты прошение!
И решает истец,
Равнодушно уставясь в окно:
«Хоть судись, хоть молись — все одно».

А Ульянов из зала
Выходит под взгляды косые.
По вечерним проулкам
Задумчиво, тихо идет.
По судам не спасти
Заплутавшую в горе Россию,
Лишь в открытых боях
Справедливость добудет народ.

Он проходит бульваром
И плечи сутулит устало.
А в домишке над Волгой
Скляренко¹ Ульянова ждет.
И у лампы кружковцы
Склонились над «Капиталом».

Не печалься, истец,
Суд идет!

¹ Скляренко — один из организаторов марксистских кружков в Самаре.



Из стихов таджикских поэтов

АБДУСАЛОМ ДЕХОТИ

★

БОЛЬШОЙ СНЕГ

— Что это значит?
Наступил февраль,
А снега нет!
Какой придумал враль,
Что солнце греет, будто в день весенний?
Не рассердилась ли на нас зима?
Иль, может быть, она сошла с ума? —
Таких немало было рассуждений.

— Свой долг я людям отдала сполна,—
Земля с упреком небу говорила,—
Я принесла им россыпи зерна,
Я горы хлопком людям подарила,
А ты скупишься!

Право, грех и смех!
Скажи мне, скряга-небо:
Где твой снег?
Все время светел был небесный свод,
Когда же услышал землю упреки,
Он сморщился, как будто от невзгод,
Он омрачился, вздох издал глубокий,
И сундуки свои раскрыл скупец,
И выпал снег на землю наконец!

Смотрите же, глаза мои, какая
Повсюду нынче в мире белизна!
Летят снежинки, на лету сверкая,
Как радостные голуби, порхая,—
Зима пришла, морозна и ясна!

Добро пожаловать,
наш запоздалый,
Наш милый гость,
наш белый, белый снег!
Тебя, казалось, ждали целый век,
И вот посыпались твои кристаллы!

Наполнишь снова щедрою водой
Ты русла Вахша и Кафирнигана,
Сухую степь, где влага долгожданна,
Ты превратишь в тенистый сад густой.

Игривы, словно кони, наши реки,
С утесов скачут с пеной на губах.
Теперь мы обуздаем их навеки,
Чтоб свет их засверкал у нас в домах.
Ты видишь: серебрятся ветви сада.
Ужели это яблоневого цвет?
Иль, может, хлопок собирать нам надо?
Какой слепящий, белый-белый свет!

Есть поговорка старая в народе:
«Снег — одеяло зимнее полей».
Он выпал кстати, вестник плодородья,
Теперь пойдет работа веселей!

Вчера уподобляли мы с тобою
Вот это поле хлопка полю боя.
Теперь стоит на поле тишина,
Как в день, когда окончилась война,
Но эта тишина — перед борьбою:
Борьбу за урожай начнет весна!

Земля золотоносная, родная,
Ты нам служила, отдыха не зная,
Так отдохни под мягкой пеленой,
Сверкающей жемчужной белизной,
Чтоб завтра, потрудившись вместе с нами,
Нас одарить чудесными дарами.

Перевод С. Липкина.

АШИРМАТ НАЗАРОВ

★

ЧАБАН

Слагают люди о тебе стихи.
Недаром в каждой песне, в каждой сказке,
Овеяны теплом народной ласки,
Умны и благородны пастухи.

В степи живешь ты в зной и в холода,
Внимателен твой глаз, и слух твой тонок.
Когда не ест хотя б один ягненок,
Какая боль тебя томит тогда!

А в дни весны, когда, как муравьи,
По горным склонам движутся отары,
Тихонько сядешь ты на камень старый,
И запоешь ты песенки свои.

На свет рожденный пять минут назад,
К тебе, шатаясь, тянется ягненок,
Он смотрит на тебя как бы спросонок,—
Как трогательно робок этот взгляд!

Кишлак внизу весною так хорош!
И, опершись на посох из ореха,
Ты согласишься вниз, как будто слышишь эхо:
— Любимый мой, ты скоро ли придешь?

Когда окутывают вечера
Холодной мглой горные поляны,
Прижавшись, дремлют козы и бараны
Вокруг тебя и твоего костра...

Чабан, приятель, здравствуй и живи,
Твоим отарам да не будет счета!
Воистину достоин ты почета
И настоящей песни и любви.

Перевод С. Липкина.

НАРОДНЫЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Придется мне, как всем, на склоне лет, о братья,
Пред совестью своей держать ответ, о братья.
Держать ответ — что сделать я успел,
Какой в сердцах людей оставил след, о братья!

* * *

Мы говорим невнятные слова.
От слез у нас кружится голова...
А для чего глаза, которые не плачут,
И голова, что каждый день трезва?

* * *

Зачах мой лучший друг от горя и трудов.
Мы плачем, а мулла предчувствует улов.
Уже он посох взял, закрыв глаза, он видит
И кучу медяков и поминальный плов.

* * *

Женились мы — вошли под светлый кров.
Но ты ушел, разгневан и суров...
С умершими нас небо разлучает,
С живыми — суесловие врагов...

* * *

Я уходил цветущий, как гранат.
Колючкой желтой я пришел назад.
Кто был в аду, но не был на чужбине,
Откуда знает, что такое ад?

* * *

Прощай, я уйду в далекий путь.
Увидимся ли мы когда-нибудь?
Плохим я был, ну что ж — мы расстаемся,
А если был хорошим, не забудь!

Ко мне пришла беда: ушел любимый друг
Неведомо куда — на север ли, на юг.
Мой друг ушел искать неверное богатство,
А то, чем обладал, сам выпустил из рук.

Между твоих бровей давным-давно
Мне заблудиться было суждено...
Мои глаза виновны, а не сердце,
Так почему ж наказано оно?

Весь день мечусь в сетях, всю ночь горю в огне,
Молвой очернена. Мне тяжело вдвойне.
Но не хочу тебя чернить своею славой,
Ты не спасай меня, не подходи ко мне!

Тебе и невдомек, что я в цепях, мой друг.
Не разогнуть мне ног, не протянуть мне рук.
А ты идешь без пут и так свободно дышишь,
Что о других тебе и думать недосуг.

Ты, девушка в платке, меня свела с ума.
Твой взгляд — зима, а грудь — два снеговых холма.
Я снег твой растоплю горячими губами,
А если тает снег, проходит и зима.

В саду соседнем девушка в слезах.
В ней борются любовь ко мне и страх.
Я вечерком пойду ее утешу:
Велел нам ближних утешать аллах.

Двух женщин этих встретил я опять.
Голубка — дочь, цветок осенний — мать.
Есть руки у меня — цветок сорвать могу я,
Но крыльев нет — голубку не поймать.

Ты не пугай меня, что умертвишь любовь.
Я улыбнусь разок, и ты полюбишь вновь.
Ты не пугай меня, что сам умрешь от горя.
Умрешь, я губ коснусь — в тебе проснется кровь.

Перевод Н. Гребнева.

АБУЛЬХАСАН РУДАКИ

★

СТИХОТВОРЕНИЯ

Рудаки (IX век н. э.) — основоположник ирано-таджикской поэзии.

..*

Просителей иные не выносят,
Не выслушав, на полуслове бросят.
Ты слушаешь, но выслушать не в силах,
А каково же мне, который просит?

..*

Все то, что мир творит, — подобье сна дурного,
Однако мир не спит, он действует сурово.
Там, где должно быть зло, свое он видит благо,
Он радуется там, где боль всего живого.
Так почему на мир зриаешь ты спокойно?
В деяньях мира нет покоя никакого!
Лицо его светло — душа его порочна,
Хотя он и красив — плоха его основа.

..*

Я славлю бога моего,
 который истинно велик:
Ведь от похвал его рабам
 не износился мой язык...

..*

Не для того свои седины я крашу в черный цвет,
Чтоб молодым считаться снова, грешить
 на склоне лет.
Кто скорбно плачет об умершем, тот в черное одет,
Скорбя о юности, седины я крашу в черный цвет.

..*

Всегда дружу я с тем,
 кто осужден толпой,
Зато я не дружу
 с ничтожною судьбой.

..*

На мир взгляни разумным оком,
Не так, как прежде ты глядел.
Мир — это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел.

* * *

Каждый день ты ловишь ухом
 сладких песен звоны,
Но услышать ты не хочешь
 угнетенных стоны...

* * *

Увидев лисью шкуру
 в жилище скорняка,
Пойми, что может кара
 настичь клеветника.

Перевод С. Липкина.



СЕРГЕЙ СНЕГОВ

★

В ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

†

В костер было свалено все, что могло гореть, — обломки бочек, разбитые весла, фанерные ящики и плотный белый мох ягель, покрывавший берега реки. Но костер исходил едким дымом, не давая пламени. Три человека — пожилая женщина, закутанная в платки и шали, девушка с усталым лицом и светлыми детскими глазами, дрогнувшая в легком осеннем пальто, и мужчина лет сорока — молча смотрели, как четвертый спутник, заросший густой рыжеватой бородой, в сапогах и коротком пальто, с ожесточением дул куда-то в недра костра, кашляя от вырывавшегося навстречу дыма.

В стороне, метрах в тридцати, разгружались две баржи недавно пришедшего каравана. По трапу, наспех сколоченному из случайных досок и скрипевшему при каждом шаге, тащились люди, нагруженные мешками и ящиками. На песчаном берегу, рядом с серой водой исполинской реки, выстроились правильные четырехугольники сложенных грузов и около одного из них стоял человек в дохе, с винтовкой в руках.

Широкая волна с шумом набегала на берег и, быстро спадая, шипела в песке. В воздухе крутился крупный мокрый снег.

— Сентябрь! — строго сказал хмурый человек. Он поднял вверх широкоскулое маловыразительное лицо и неприязненно посмотрел на мутное небо и на безбрежную в снежном тумане реку. Помолчав, он повторил осуждающе: — Начало сентября, а снег. Ад, а не климат.

Женщина вздохнула, а тот, что раздувал костер, выпрямился и оглянулся. У него были темные, полные хмурого веселья глаза, лицо его в разговоре мгновенно менялось, было то жестким, то внимательным и добрым, то вдруг становилось злым и ироническим. Девушка мельком взглянула на это подвижное, сразу запоминавшееся лицо и отвернулась — ей не хотелось, чтобы ее взгляд заметили.

— Это еще ничего, — сказал он с мрачной издевкой. — Наука точно установила, что ад не здесь. Это только преддверие, небольшое курортное отделение ада, для грешников, которые не могут вынести основного расписания вечных мук. Конечно, раки здесь не зимуют, и Макар сюда телят не гонял, но человеку выжить можно.

На трапе появился грузчик с большим ящиком на плечах. Сгибаясь и пошатываясь, он шел медленно и неуверенно, и от этого сходни раскачивались еще сильнее.

— Упадет! — уверенно сказал человек, раздувавший костер, и, приставив руку ко рту, крикнул: — Ходи веселее, милоч! Не задерживайся! Но грузчик уже сделал неверный шаг, быстро и неудержимо нахло-

нился в сторону и на мгновение повис над рекой. Потом он разжал руки, и ящик с плеском упал в воду.

Сейчас же из-за одного из складов, установленных на берегу реки, ругаясь и размахивая руками, побежали к трапу два человека. Один был лет тридцати, высокий, гладко выбритый, в военной шинели и в фуражке. Другому, толстому и неряшливому, было под пятьдесят. Они кричали на грузчика и грозили ему, а он молчал, вытирая рукой пот с лица.

— Я прошу вас, товарищ Парамонов, установить за этим типом особое наблюдение,— быстро, отрывисто, словно отплевываясь, говорил толстый, пряча злое лицо с желчно искривленным ртом в бобровый воротник.— Он мне не понравился еще при погрузке. И потом — знаю я эти штучки! Сегодня похоронил на дне ящик консервов, через месяц вытащит его баграми — и будь здоров: сыт всю зиму.

— Будет исполнено, товарищ Зарубин! — по-военному четко ответил Парамонов.

Они подошли к костру и молча кивнули. Люди у костра ответили таким же молчаливым приветствием. Зарубин присел на корточки, стащил перчатки с рук и сунул пальцы прямо в костер. Пальцы были красные, опухшие, и по тому, как настойчиво он совал их прямо в белый удушливый дым и с каким наслаждением вдыхал горький тепловатый воздух, перемешанный с дымом, все поняли, что он давно уже не видел ни огня, ни теплой комнаты.

— Разрешите внести маленькое рационализаторское предложение по разгрузке,— насмешливо проговорил человек, раздувавший костер.— Гарантирую внушительную экономию при незначительных капитальных затратах.

— Говорите,— коротко бросил Зарубин, не поднимая головы от костра.

— Предлагаю взять десяток обыкновенных досок — желательно крепких,— аккуратно сколотить их гвоздями и поставить вместо этого летучего мостика. Ускорите темпы разгрузки, сохраните в целости ваши консервы и не будете подвергать опасности жизнь людей.

Зарубин встал и с силой толкнул ногой тлеющую мокрую клепку от бочки, выпавшую из костра. Людям, стоявшим у костра, показалось, что он начнет сейчас грубо браниться. Но он сдержался; слова и голос его были скорее печальны, чем злобны.

— Для человека с высшим образованием, товарищ Седюк, и для сентября месяца 1942 года ваше предложение несвоевременно и не обнаруживает технической смекалки,— сказал он этим неожиданно печальным голосом.— Вот внесите предложение, как обойтись совсем без леса, а эти доски освободить для строительства дома, в котором вам же придется жить, и цеха, в котором вы будете работать, и мы такое предложение охотно примем. Мы должны были получить по правительственной разрядке тринадцать тысяч восемьсот кубометров пиленого леса, а вместо этого получили три тысячи пятьсот кубометров всякого некондиционного гнилья.

— Как же вы думаете обойтись? — все так же насмешливо улыбаясь, спросил человек, названный Седюком.

Зарубин пожал плечами.

— Под Сталинградом еще труднее,— пробормотал он, снова погружая руки в костер.— Придется как-то выкручиваться.

Он отвернулся, словно показывая, что говорить больше не о чем. Но собеседник его, похоже, был человек общительный и не считал беседу оконченной.

— Кто-нибудь из вас слушал сегодняшнюю сводку? — спросил он.

— Бои у Сталинграда, в районе Новороссийска, ожесточенные бои у Ржева, бои за переправу у Моздока,— ответил Парамонов.

— Вчера была такая же сводка, только без Ржева,— заметил Седюк.— Теперь скажите мне вот что: откуда вы меня знаете?

— Третий день трезвонят по телефону,— устало проговорил Зарубин, не отрываясь от костра.— Будто все наше строительство на вас клином сошлось. Запрашивают из проектного отдела, из мехмонтажа, из строительного управления, референт начальника комбината, даже из техснаба и учкомбината. Описывают наружность, особые приметы, только что любимых кушаний не сообщают. Впрочем, я нашел бы вас и без этих примет. Кстати, познакомимся, товарищи. Я — Зарубин, Иван сын Михайлов, заместитель начальника комбината по снабжению, сейчас организую выгрузку и отправку в Ленинск грузов и пассажиров. Вы — Турчин Иван Кузьмич, землекоп, едете по разнарядке нашего главка. Верно?

— Ну, верно, — недовольно ответил хмурый мужчина, сердито глядя на Зарубина, словно в том, что тот его знал, было что-то плохое.

— А вы — Романова, Анна... Анна... — Зарубин замялся.

— Анна Ильинична, — сказала женщина, закутанная в шали и платки.

— Точно — Анна Ильинична. В этой суматохе и неразберихе память стала слабеть. О вас очень беспокоится ваш муж. Уже два раза звонил. Я запрашивал капитана по радио, ответил — здоровье ваше хорошее, так и передал в Ленинск. А вы... — взгляд Зарубина смягчился, когда он посмотрел на девушку, съездившуюся в своем осеннем пальто, — вы, наверное, тот самый инженер-электрохимик из Тырны-Аузского комбината, который у меня в списках значится, как отправленный две недели назад парохомом «Иван Сусанин»?

— Я болела, меня сняли с парохода, — сказала девушка, краснея.

— Капитан так и сообщил. Простите, я забыл вашу фамилию.

— Кольцова Варвара Петровна.

— Вас тоже ждут. Запрашивал Назаров, начальник медеплавильного завода. Ну, что же, товарищи, теперь мы знакомы и можем, как говорится, держать себя свободно. У вас будут вопросы ко мне?

— Будут, — сказал Седюк. Лицо его стало злым, он весь пригнулся, словно готовился не к разговору, а к драке.— Мы здесь уже два часа, промерзли, голодны как волки. Человек, который тут до вас распоряжался выгрузкой, заявил, что столовой нет и переночевать тоже негде, а когда нас отправят — неизвестно. В вашем проклятом климате даже остры не горят, а глеют. Нас всего четверо, неужели так трудно нас устроить? Я хотел бы знать: когда нас отправят? Можем ли мы поесть чего-нибудь горячего? Можно ли где-нибудь укрыться от снега?

— Вопросы не трудные. Отправят вас сегодня ночью. Здесь имеется однопутка к Ленинску, но поезд с грузами ушел вчера и раньше вечера не вернется. Заранее прошу прощения — ехать придется на открытых платформах, начальник комбината неделю назад тоже так ехал — и ничего. Что касается горячего, я сам неделю не пробовал ничего, кроме конденсата из паровозного котла — этого добра вдоволь. Возможно, у местных работников можно чего-нибудь перехватить, не знаю, не было времени спрашивать. Единственное, что я могу вам посоветовать, — это не стоять зря под снегом, а включиться в работу.

— Мы не возражаем против работы.— Седюк сдвинул брови и смотрел блестящими глазами прямо в лицо Зарубину.— Я приехал сюда против своего желания, но для работы, а не на отдых. Но не вижу, чем могу здесь, в Пинеже, помочь. Может быть, заняться вопросом скоростного рашения мха на берегах Каралака? Или проблемой собирания августовского снега в кучи?

— Работать — это, по-нашему, значит делать то, чего требуют интересы фронта! — желчно сказал Зарубин, снова толкая ногой костер. — А интересы фронта требуют скорейшего пуска нашего завода. Так вот,

дорогой товарищ Седюк, речники взяли на себя обязательство провести один лишний караван в эту навигацию. Каралак встанет через три недели, в конце сентября, им дорог каждый час. Если вы, четыре человека, вытаскиваете хотя бы три сотни мешков и ящиков, вы сократите на час общую разгрузку барж, дадите лишний час речникам. Грузчиков у нас здесь мало. Тот тип, на ваших глазах погубивший шестимесячную норму мяса для взрослого рабочего (товарищ Парамонов, придется ящик доставать баграми!), — он тоже не грузчик, а трубоклад, печник, но мы его приспособили, хотя, кажется, напрасно.

— Что же, предложение вроде подходящее! — Лицо Седюка сразу повеселело. — Закусим нашей любимой свининой с горохом и печеной картошкой и до ночи кое-что сделаем.

— Закусывайте. Свинину с горохом вам придется есть долго, ее отпустили полную норму. А картошку скоро придется только поминать добрым словом — Заполярье не приспособлено для этих нежных плодов, а возить издалека в этом году не придется, для технических грузов судов не хватает.

Никто ему не ответил. Девушка посмотрела на белый от мха и снега берег, на потемневшую, беспокойную, казавшуюся огромной в туманном полумраке реку и подняла кроткие измученные глаза на Зарубина.

— Неужели здесь всегда так? — спросила она. — Вот уже три дня, как мы пересекли Полярный круг, и за эти дни ни разу не выглянуло солнце, все время ветер и снег, ветер и снег. Мне кажется, люди здесь жить не могут.

Когда Зарубин отвечал ей, его лицо и голос снова смягчились. Казалось, он боялся огорчить эту уставшую от трудной дороги девушку не только прямым значением своих слов, но и звуком их. Только что он говорил зло и отрывисто, а теперь в его голосе звучала осторожная настойчивость и убежденность.

— Здесь не так страшно, как вы думаете, товарищ Кольцова. Люди живут, и неплохо живут, поскольку это возможно в нынешних трудных условиях. Тут есть разные кочевые народы — ненцы, нганасаны, саха, тунгусы, — эти прямо в тундре, в чумах, вы же, как-никак, в городе, в Ленинске у нас каменные здания... А насчет солнца не беспокойтесь — скоро оно, конечно, скроется, наступит трехмесячная ночь, но потом оно вам надоест — три месяца ни на минуту не слезет с неба. Весна здесь хороша — цветут разные забавные цветы, шумят водопады, парочки гуляют в тундре. Арктика очень неплохая страна, вот увидите сами.

— Страна неплохая, а все же лучше бы она провалилась к чертям, — проворчал Турчин. Он слушал Зарубина с недоверием, почти с презрением. Зарубин посмотрел на него, но ничего не ответил.

— Ну, товарищи, мы с вами договорились, — сказал он, — я сейчас сообщу Михельсу — он заведует разгрузкой и укажет вам места. Нам с Парамоновым нужно в депо, оно около станции, в палатках, как и все временные сооружения. Пока прощайте.

Когда Зарубин с Парамоновым отошли — фигуры их неясно выступали в снежном, все густевшем тумане, — Седюк, словно что-то вспомнив, сложил руки рупором и крикнул:

— Эй, товарищ Зарубин, а сами-то вы давно в Арктике?

Из тумана донеслись скрипучие, отрывистые слова:

— Давно. Третью неделю.

Люди, собравшиеся у костра, не были знакомы друг с другом. Отстав от пассажирского парохода, они ехали на разных баржах каравана и почти не выходили наружу — первые дни палубу заливали непрерывные

дожди, потом повалил мокрый снег. Два часа назад, в сумрачный, пронзительно холодный полдень, они выгрузились на берег и стали ожидать поезда к месту своего назначения — в заполярный поселок Ленинск. О Ленинске матросы и капитан каравана рассказывали много, но по одним рассказам выходило, что улицы Ленинска занесены вечными снегами и бродят по ним белые медведи, а из других рассказов явствовало, что Ленинск, хотя и не означенный кружком на карте, — крупный центр, столица Заполярья, город с асфальтированными площадями, театрами и работающими всю ночь ресторанами, единственный город в стране, где не экономят электроэнергию. Кому было верить? Даже здесь, на берегу, несмотря на дорожный инстинкт путешественника, заставляющий людейзнакомиться и сходить к нему, спутники вначале расселись на камнях порознь, словно знакомство могло их чем-то стеснить. Только когда пошел густой крупный снег, они сошлись у зажженного кем-то еще до них костра и поделились, все еще не называя себя, своей тревогой и горькими мыслями.

Седюк, вытаскивая из костра почти не пропекшийся картофель, сказал с усмешкой:

— Теперь мы, точно, можем держать себя свободно — этот замнаснаб назвал нам наши фамилии и перезнакомил нас.

Девушка кротко посмотрела на Седюка большими, очень ясными глазами и возразила:

— А мне Зарубин понравился, он хороший.

— Все они хорошие! — непримиримо проговорил Турчин. — Когда отправляли, наговорили семь верст до небес и все лесом, а везли, как собак. Заключенных так не возят, как нас везли. Это что — дело?

Он смотрел на Седюка, словно тот должен был ответить на его вопрос. Обе женщины с удивлением обернулись к Турчину, а Седюк злобно рассмеялся.

— А кому дело до ваших удобств? Скажите спасибо, что вообще доехали, а не остались на пустынном берегу, как случается во время эвакуации. Вы, кстати, знаете, что такое эвакуация? Знаете вы, что иногда это просто бегство под обстрелом, в бомбежку? И женщины теряют детей или дети остаются сиротами, потому что враг не разбирает, мирное население перед ним или воинская часть, а иной раз, — он с гневом и вызовом глянул в лицо Турчину, — найдется трус, паникер или просто дурак, и самое простое дело превращается в дикий хаос. Чуть курица прокудахнет, они кричат: «Самолет!» И все летит прахом — комплектность нарушается, адреса путаются, одни части засылаются сюда, другие — туда... Людей бросают где попало. Что перед этим наша поездка? На нас просто плевали, словно нас и не было!

Турчин некоторое время молчал, недоверчиво глядя на Седюка, потом пробормотал, отворачиваясь от него к костру:

— Так вы бы шли на фронт — поправлять дела. Может, полегчало бы. Глядишь, и эвакуации прекратятся.

— А я шел в армию, — неожиданно весело ответил Седюк. — Четыре раза писал заявления и четыре раза получал отказ. Ну, ладно, подкрепились, теперь пора за работу.

Уже смеркалось, и огромная, блестящая темным блеском река обрушивала на песчаное побережье не по-речному широкие волны. Михельс, командовавший разгрузкой, оказался толстым человеком в роговых очках. Он страдал сильной одышкой, но, казалось, привык к ней. Громко дыша — со стороны худилось, будто он не дышит, а шепчет, — он быстро ходил с места на место и во все вмешивался. Выслушав Седюка, он торопливо сообщил, что очень рад, если число его грузчиков увеличивается, ведь первая баржа должна быть разгружена еще сегодня, так приказал товарищ Зарубин. Он, Михельс, знает, что это приказание — вздор, сущая неле-

пость, баржу не разгрузить и за три дня, но он человек дисциплинированный, он выполняет все, что от него требуется, по-военному, не рассуждая. Пусть дорогие товарищи немедленно отправляются на баржу и включаются в аварийный темп разгрузки.

Во время этого разговора с баржи сошел высокий, худой человек в капитанской форме и подошел к Михельсу. Седюк и его спутники с любопытством смотрели на него, они впервые видели этого человека так близко, хотя во время плавания постоянно слышали его голос в рупоре, — это был капитан парохода «Ленин», буксировавшего их караван, известный на Каралаке Дружин, депутат Верховного Совета РСФСР, лучший водник бассейна.

— Безобразие с выгрузкой, товарищ Михельс, — сердито сказал Дружин. — Я требую от пристани, чтоб караван был разгружен за три дня, а вы поставили на выгрузку пять стариков, десять калек и четырех лентяев. Сколько недель вы собираетесь разгружаться?

— Безобразие, — немедленно согласился Михельс. — А что я могу сделать? Это же север, дикое место, ни кранов, ни автокаров — никакой механизации. И потом — нет людей. Или мне самому стать под мешок?

Дружин сказал еще сердитее:

— Если это поможет, становитесь сами. Надвигается зима, мне нужно уводить баржи на отстой. Вот что — я приказал команде повахтно в полном составе выйти вам на помощь. Распорядитесь, где им становиться.

— Сейчас же всех расставляю, товарищ Дружин, — воскликнул обрадованный Михельс. — А ночью из Ленинска приедут человек сто для подкрепления — уложимся в ваши три дня.

И, смотря вслед уходившему Дружину, дыша еще громче, словно после бега, Михельс сказал с уважением:

— Орел! Слышали? Всю команду, повахтно, в полном составе! Будьте покойны — оба его помшщника, как миленькие, взвалят мешки на спину.

Михельс направил Турчина в трюм — выдавать наружу мешки и ящики, Кольцову и Седюка определил в грузчики, а Романова, как самая пожилая, ушла на склад — помогать в сортировке и оформлении грузов.

Седюк, начав работать, сразу повеселел. Он ловко взваливал себе на спину тяжелые мешки и ящики, быстро сбежал по доскам, которые гудели и скрипели под его торопливым упругим бегом. Казалось, ему доставляло удовольствие обогнать медленно двигавшегося грузчика, с шуткой прыгнуть на берег, с шуткой сбросить на снег принесенный груз. В густеющей тьме, тускло разреженной несколькими керосиновыми фонарями и одной электрической лампочкой, подвешенной высоко на столбе, он ориентировался так легко, словно прогуливался по исхоженным с детства местам.

Но Варю Кольцову первый же мешок пригнул чуть ли не до самой земли — она еле плелась, далеко отставая от других грузчиков. Особенно страшен и труден был ей спуск по трапу. Некрепкие, плохо сколоченные доски поднимались и опускались под ногами того, кто шел впереди, они начинали раскачиваться еще страшнее, когда Варя, замирая, становилась на них; черная вода, простершаяся вокруг нее, то словно поднималась и бежала ей навстречу, то — и это было всего страшнее — стремительно проваливалась куда-то вниз, порождая головокружение и тошноту. Еще не дойдя до склада, Варя совсем измучилась, ноги ее дрожали и ныли, все тело ломило, горло пересохло от жажды. Потом заболело сердце. Вначале это была тупая, ноющая боль, затем она стала острой и непереносимой. Варя застонала и остановилась на трапе. Руки ее ослабели и задрожали, мешок стал вдруг непреодолимо тяжелым, она с ужасом поняла, что через секунду, может быть через две, она уронит его в воду. Вскрикнув от стыда и отчаяния, она ожесточенно цеплялась пальцами за ускользающую парусину. Но мешок снова стал легким, приподнялся и

удобно лег на плечи, а над Варей наклонился, вглядываясь в ее лицо, Седюк. Он спросил весело:

— Тяжело?

— Тяжело,— призналась она и почувствовала, что не только ноша тяжела, но тяжело пошевелить губами, чтобы выговорить это слово.

— Ничего, я вам помогу,— пробормотал он все так же весело и, придерживая одной рукой ее мешок, а другой держа на плечах ящик, помог Варе сойти на берег и дойти до склада.

— Плохой из меня грузчик,— пожаловалась она, отдав мешок и выпрямляясь.

— Вы никогда не занимались физической работой? — спросил Седюк, осторожно беря ее за локоть и идя с ней по берегу.

— Никогда, я ведь все время училась. Только физкультура в школе и институте, да ведь это не труд.

— Придется вас пристроить к другой работе. Постойте у трапа, там движется что-то паровозообразное, это, наверно, Михельс. Я его сейчас обработаю.

Он исчез в темноте — из нее слышались неясные голоса, посапывание и покряхтывание, потом на свет вынырнули Михельс с Седюком. Михельс стремительно шел прямо на Варю, и она в смущении отодвинулась, чтобы дать ему дорогу. Но он остановился и сердито и шумно задышал, всматриваясь в нее зловеще поблескивающими стеклами.

— Все, как один, белоручки,— сказал он хмуро.— Шестого сегодня освобождаю от той работы, которая есть самая необходимая. Я вас спрашиваю, кто будет работать? Папа римский? Так он же в Риме, я ему не скажу: иди, выгружай ящики!

— Нет, я не отказываюсь, я буду работать,— сказала Варя, и слезы обиды горячо подступили ей к горлу.

Она повернулась к трапу, но Михельс неожиданно ласковым и сильным прикосновением остановил ее.

— Я не о вас говорю, девушка,— проговорил он тем же хмурым и недовольным голосом, не вязавшимся с ласковым прикосновением его руки.— Надо же мне кому-нибудь высказать свое возмущение, все на меня в обиде, понимаете? Но вы не думайте, я против вас — ничего! Пойдемте со мной.

— Встретимся в салоне полярного экспресса! — крикнул им вдогонку Седюк.

Варя торопливо бежала за широко шагавшим Михельсом. Он поднимался прямо по крутому откосу; вдали виднелось несколько деревянных строений. До сих пор Варя видела берег только с отмели, от костра. Она шла мимо покосившихся черных изб, сколоченных из разносортного плавника — досок, бревен и горбыля, принесенных с юга рекой,— и всматривалась в тускло освещенные подслеповатые окна, в бедные изгороди, охватывавшие кусок пустыни без деревьев, без огородов, без животных и птиц,— было похоже, что ставили их не из нужды, а по неистребимой хозяйственной привычке окружать себя пристройками и палисадами. И чувство обреченности и одиночества, охватившее Варю, когда она впервые увидела эти черные, голые, лишённые всякой растительности берега, раскинувшиеся под суровым небом у просторов необозримой реки, снова охватило ее, как приступ сердечной боли.

За избами тянулись разбросанные без всякого плана, неровные, наспех сколоченные бараки, а в один из этих бараков вбежал Михельс, показывая Варе рукой, чтобы она шла за ним. Варя потянула закрывшуюся за Михельсом дверь, и та вдруг упала на Варю, с грохотом ударив ее по голове. От испуга и боли она вскрикнула, и в ответ раздался многоголый хохот. В бараке, скудно освещенном пятидесятиваттной лампочкой,

было человек двенадцать, и все они весело смеялись ее испугу. Потом к Варе подскочил невысокий, худой человек, ловко схватил дверь — Варя никак не могла оттолкнуть ее от себя — и осторожно установил на старом месте, так, чтобы она падала на каждого, кто ее потянет снаружи.

— Не беспокойтесь, девушка, все в полном порядке, — слегка картавя, сказал этот человек голосом, показавшимся Варе приятным. — Эта дверь — последнее достижение автоматики. Техника на грани безумия. Четыре доски, скрепленные переключателем и, за отсутствием петель, прикрепленные к переплету просто воздухом. По мнению местного начальства, хорошо конденсированный воздух заменяет лучшие сорта цемента.

— Непомнящий, не болтайте попусту! — недовольно крикнул Михельс откуда-то из глубины барака. — Делайте ваше дело, а не разговоры. Вас ждет картошка.

— Есть, не делать разговоры! — сказал Непомнящий и отошел в сторону, церемонным жестом указывая Варе дорогу. — Идите направо, потом налево, потом направо и прямо — там кабинет уважаемого товарища Михельса, нашего шефа. Полюбуйтесь на его стол из красного дерева. Как говорят дипломаты — примите и прочее.

На полу барака были навалены груды мокрой картошки, издававшей неприятный запах плесени. Человек пять, не торопясь, перелопачивали картофель, подвигая его ближе к двери. Две железные печки — в прошлом бочки из-под бензина: внизу у них были прорезаны отверстия для закладки дров, а сверху вставлены трубы, — ярко светили раскаленными боками и широко распространяли тяжелый, удушливый жар. Вся вторая половина барака была уставлена аккуратно сложенными, насквозь мокрыми мешками, наполненными картофелем. Около этих мешков, ногами в натекшей из них луже, сидел на ящике из-под консервов Михельс. Перед ним стояли уложенные по два и накрытые сверху листом фанеры четыре мешка все той же мокрой картошки. Это странное сооружение, видимо, заменяло ему стол — на фанере были раскиданы в беспорядке бумаги, он их торопливо просматривал, делая пометки карандашом. Он поднял голову и в недоумении смотрел на Варю, словно забыл, зачем она здесь появилась.

— Ага, это вы! — сказал он потом. — Ваша фамилия Кольцова? Так вот, товарищ Кольцова, баржа с картошкой села на мель в тумане, и ее три дня снимали. Поломанную баржу увели на ремонт, а картошка промокла, как щенок на дожде, теперь ее нужно сушить, чтобы она не сгнила. Там ребята, которые покрепче, высыпают картошку на пол и выкручивают мешки. А вы собирайте с пола воду тряпками и перелопачивайте картошку, чтобы она сохла. Я хочу, я очень хочу, товарищ Кольцова, чтоб вы поняли одно. Что это такое, по-вашему? — Он обвел рукой широкий круг.

— Мокрый картофель в мешках, — ответила она, удивляясь его вопросу.

— Это — золото, — печально сказал он и шумно вздохнул. — Я вам сейчас объясню, и вы все поймете, потому что это азбука. Это не просто картофель. Это единственный картофель до следующей навигации. Он будет выдаваться вам по штучке, чтоб спасти вас от цынги, вы будете есть его только по воскресеньям, чтобы был праздник. Поэтому над каждой картофелиной нужно трястись, как над золотой цацей. Вы меня понимаете?

Она сказала несмело:

— Я понимаю вас. Я не понимаю только, почему нельзя привезти еще? Разве мало картофеля?

— Кто говорит, что мало картофеля? В верховьях Каралака картошки сколько угодно. Не хватает дней, понимаете, обыкновенных дней. Через две недели Каралак станет. Мы возьем рельсы, трос, цемент, трансформаторное и смазочное масла, паровозы, краны, лес и еще тысячи разных

вещей. Если мы все это не привезем, восемь месяцев люди ничего не сумеют сделать. Надо идти на жертвы. Тут выбор — или иметь вдоволь картошки, но ничего не делать, или помогать фронту, но несколько месяцев сидеть без картошки. Вы меня понимаете? Именно картошка — это самая грузоемкая часть продовольствия. А теперь идите к Непомнящему, он вам скучать не даст. И скажите ему, что надо работать не только языком, но и лопатой.

Варе, однако, нашлась работа недалеко от Михельса. Одна из женщин вручила ей тряпку и ведро, и Варя стала собирать воду, сочившуюся из мокрых мешков. Это было значительно легче, чем таскать на плечах груз, оступаясь на качающемся трапе, и она работала усердно. Потом она заметила, что в стороне двое мужчин рассматривают ее. Вытирая лоб, она почувствовала стеснение и связанность и, подняв голову, увидела две пары недобрых насмешливых глаз. Мужчины, отдыхая, сидели на мешке картошки и громко говорили о Варе. Один из них был огромен и страшен — худое, широкоскулое лицо казалось длинным и свирепым, нос начинался, как у всех людей, между глаз, но затем круто кривился в сторону, в угол рта, от уха к подбородку тянулся широкий красноватый шрам, а над глазами, маленькими, но колючими и настороженными даже в минуту веселья, нависала широкая полоса бровей. Второй человек был среднего роста, без особых примет, даже без особого выражения, но от его неопределенного лица, от его улыбки, скрипучего голоса и мелких, вкрадчивых движений шло тяжелое ощущение чего-то нечистого и опасного.

— Ничего особенного, Миша, это я тебе точно, — говорил большой густым, неторопливым голосом, бесцеремонно оглядывая Варю. — Девка без сахара, тесто на соде.

— В Заполярье мука — вещь дефицитная, сойдет и тесто, Афанасий Петрович, — ответил другой, названный Мишей, и хихикнул.

Варе стало страшно. Чувство одиночества и обреченности стало таким острым, что она, даже не скрывая своего страха, схватила ведро и отошла в сторону. Она слышала за спиной густой хохот и дребезжащее хихиканье, но лиц смеявшихся не было видно, и это было уже хорошо. На новом месте, куда она отошла, у самой печки, раскаленной и освещавшей своими боками барак ярче, чем лампочка, стоял с лопатой в руке Непомнящий. Он дружески кивнул ей, как старой знакомой.

— Осваиваете передовую технику? — спросил он, показывая на ведро. — Приветствую и одобряю. Вы сейчас мой собрат по прокладыванию новых путей в культуре. Колумб открыл картошку в Новом Свете. Я бросаю новый свет на картошку. Я ее закрываю. Я сегодня узнал потрясающую истину: картошка — это просто комок грязи, заключенный в тонкую кожуру.

Варя слушала его болтовню, и ей становилось легче. Непомнящему было лет двадцать восемь, он был строен и худ, короткие черные усы прикрывали тонкие губы. Он был все время в движении, словно мимика, быстрый шаг давали выход переполнявшей его энергии. Даже голос его казался необычным — он был громок и развязен, в нем как-то по-детски сливались в один звук близкие согласные и только одно «р» резко выделялось своей неправильностью.

Непомнящий так добро смотрел на Варю, что ей захотелось пожаловаться ему, и она сказала, оглядываясь:

— Там сидят два человека, они меня испугали — такие страшные!

— Один с кривым носом, а другой стертый, как старый пятак? — быстро спросил Непомнящий, понизив голос и наклоняясь к Варе. — Один смеется из пивной бочки, другой — из детского пищека? Знаю! Может, я один знаю, что они за люди. Это Жуков и Редько.

— Кто они такие? — спросила Варя.

— На этот вопрос может ответить только нарком НКВД или его первый заместитель. Жуков утверждает, что он сварщик, а Редько пишется слесарем. Они такие же сварщики и слесаря, как я китайский император. Они вряд ли отличат сварочный аппарат от подводной лодки и слесарную пилу от верстака. Это опасные люди. От них нужно держаться в стороне.

— Они говорили что-то нехорошее — так мне показалось.

— Повторяю — держитесь от них в стороне. В панику ударяться не следует. Важнейший девиз Юлиа Цезаря был — холодная кровь и теплые портянки. Этот принцип лежал в основе всех его побед. Если Жуков не бежал из тюрьмы, значит Игорь Маркович Непомнящий ничего не понимает в людях. Берите вторую лопату, сюда со скоростью полярной пурги мчится Михельс.

Михельс, точно, пробежал мимо них, громко дыша. Непомнящий дал Варя лопату, и они перебрасывали картофель, подвигая его ближе к печке. Непомнящий непрерывно болтал, а она с интересом слушала. Он, казалось, не мог прожить минуты неподвижно и молча. Варя еще ни разу не встречала человека, умевшего так весело и бездумно говорить — просто чтобы говорить, не останавливаясь, не подыскивая слов и не интересуясь, слушают ли его. Он немедленно сообщил о себе все, не требуя от нее того же. Она узнала, что он сын ленинградского профессора, в начале первой пятилетки бежал от семьи на Алдан, на золотые прииски. Намыл за год работы почти килограмм золота, но был ограблен на обратном пути. Учился потом два года в Институте инженеров путей сообщения, не поладил с математикой и перешел на филологический факультет университета. Здесь он возненавидел древнюю историю и сравнительную грамматику, что вызвало непоправимые столкновения с профессурой и деканом. Дальнейшая его жизнь представляла сплошные метания по стране: он участвовал в качестве монтажника в пуске одной из домен Запорожстали, вводил механизацию в астраханском совхозе, работал монтером на городской электростанции в провинциальном сибирском городке, а перед самой войной служил секретарем и начальником хозяйственной части какого-то научно-исследовательского института. Во время войны он пристал к южному металлургическому заводу и вместе со многими его работниками отправился на Крайний Север на пуск каких-то, говорят, очень важных промышленных объектов. Другие уехали на Урал, а он не захотел и первый записался на Север.

— Как вы могли решиться? — спросила Варя, с удивлением глядя на него. — Добровольно я бы ни за что не поехала. Мне говорили, здесь три месяца ночь и ничего нет живого — даже ворон.

— Совершенно верно, — согласился он охотно. — Вороны не выдерживают психической атаки климата. Но что такое ворона? Это старая отсталая птица, растерявшаяся в новых условиях. Вороны хороши только в балладах и на картине «Грачи прилетели» или какой-то другой, не помню. А какой от них толк в жизни? Наука точно доказала, что человек может выжить в условиях, в которых погибает всякое другое животное. Только некоторые бактерии и грибные споры выносливее человека.

— Мне от этого не легче. Я с ужасом думаю о полярной зиме.

— Ужас — это рефлективная реакция на грозное неизвестное, — так учила меня одна студентка психологического факультета. Арктика изучена насквозь — от полярного сияния до последнего метра вечной мерзлоты. Я категорически говорю вам: все в полном порядке. И это значит только одно — что все именно в полном порядке.

— А пурга?

— Пургу как серьезный фактор отменили. Она потеряла свое первенствующее значение и сведена на роль досадной помехи. Мне лично никакая пурга не страшна.

— Нет, я очень боюсь, — сказала Варя.

В домике, носившем важное название: «Пассажирская станция Пинежского узла Заполярной железной дороги», было всего две комнаты. В первой, маленькой, без окон, размещались пассажиры, ожидавшие поезда на Ленинск, в другой, побольше и посветлее, осело станционное начальство разных калибров — от самого начальника узла и начальника станции до диспетчера и дежурного осмотрщика вагонов. В обеих комнатах было накурено, шумно и душно. Пассажиры то и дело шли во вторую комнату ругаться со станционным начальством. Варя, пришедшая вместе с Непомнящим — он тащил два ее чемодана, — встретила здесь сидевшего в углу Седюка и так обрадовалась ему, что сама изумилась своей радости. Седюк тоже посветлел, когда она вошла.

— А где Турчин и Романова? — спросила Варя, усаживаясь рядом с Седюком.

— Романова спит в том углу на своих мешках. Турчин ушел гулять и сейчас, вероятно, осматривает какую-нибудь водокачку. А что это за красочный тип, похожий на валета из колоды карт? — Седюк кивнул головой в сторону Непомнящего, продиравшегося сквозь толпу пассажиров в комнату начальства.

— Мы с ним познакомились на картофельном складе, я там работала весь вечер. Он очень интересно рассказывает и многое пережил. Нам еще долго ждать?

— Не знаю, право. Пути железнодорожные неисповедимы. Начальник станции клянется, что через пять часов, ровно в четыре утра, нас отправят. Я думаю, вы можете спокойно спать полных восемь часов, прежде чем паровозу предпишут заправляться водой. Не смущайтесь, здесь все спят как попало. Кладите голову на этот тюк и засыпайте мирным сном. Я сам тоже вздремну. Не бойтесь, я буду рядом.

Было уже светло, когда Варя проснулась. Народу в комнате было не много. Около Вари сидел Турчин и, придерживая мешок с едой, словно боялся, что его украдут, закусывал черным хлебом с заплесневевшей черной колбасой.

— А где люди? — спросила Варя с испугом. Ей казалось, что она проспала и все уехали в Ленинск без нее.

Турчин неторопливо прожевал колбасу, потом ответил:

— Болтаются люди. Развлечений ищут. Делать людям нечего.

Варя, успокоенная, хотела еще спросить, скоро ли они уедут, но передумала. Неразговорчивый Турчин смущал ее. Ей все казалось, что он и на нее за что-то рассержен, так хмуро и недоверчиво он глядел.

Варя вышла наружу. Было темно и сыро. Серое небо низко навалилось на землю, и клочья торопливо проходивших облаков цеплялись за телеграфные столбы и трубы домов. На линии стоял, пыхтя и выпуская клубы белого, медленно оседавшего пара, почти игрушечный паровозик с узкой трубой. Около него стояли люди, среди них Непомнящий. Он пошел к Варе, приветственно махая рукой.

— Идите смотреть! — кричал он. — Последний отчаянный крик техники! Результаты длительных раскопок археологической экспедиции, работавшей на железнодорожном кладбище! Воскрешение мертвых в натуральную величину! Паровоз, каким он был до Черепановых и Стефенсона! Товарищи, прошу не чихать! — строго крикнул он. — От неосторожного чоха может отвалиться труба!

На смех зрителя из окна паровоза высунулось перемазанное углем лицо машиниста — юное, с добрыми наивными глазами. Машинист, похоже, был рассержен. Он крикнул какое-то неразличимое ругательство и потянул рычаги. Паровоз, зарывав, как побитая собака, стал уползать.

— Когда я подошел к вам, вы уже спали,— говорил Непомнящий, идя рядом с Варей.— Вы провалились в сон, как призрак старой графини в открытый люк. Это был снеговой обвал сна, он засыпал вас, как лавина горную деревушку. Расскажите, как вы так ловко делаете?

— Просто я очень устала,— отвечала Варя, смеясь.— А разве вы сами не спали?

— Я положил голову на чьи-то сапоги, и все завертелось. Я так крепко спал, что не успел посмотреть, как я сплю. Но как вам нравится заполярная железная дорога? Идите-ка в наш салон первого класса. Пока вы спали, я достал кусок соленого муксуна, и это на голову выше всего, о чем вы можете мечтать с вашими рейсовыми карточками.

Но Варе не пришлось попробовать муксуна. Когда они подходили к станционному домику, на путях показалось несколько платформ, их подталкивал все тот же старенький паровоз. Началась суматоха, все кинулось к своим узлам и чемоданам. Седюк уже шел навстречу Варе. Он схватил одной рукой два ее чемодана, в другой руке у него был свой чемодан и тюк, на плечах висел дорожный мешок. Она пробовала протестовать, но он шагал так упруго и легко, переноска тяжестей доставляла ему такое видимое удовольствие, что она умолкла.

Для пассажиров подали только одну платформу, остальные были загружены техническими грузами. Варя села рядом с Романовой и Турчиным, угол платформы заняли Седюк с Непомнящим. Посередине разместились незнакомые Варе люди, среди них печник, уронивший ящик консервов в воду. Он казался пожилым, усталым и неразговорчивым. На другом конце платформы, занимая весь край, разлеглись на одеялах Жуков и Редько, напугавшие вчера Варю. Теперь она могла хорошо рассмотреть их; страх и отвращение вновь ожили в ней, хотя оба держали себя вежливо, никого не задирали ни словом, ни взглядом. И, похоже, другие пассажиры испытывали то же, что Варя,— везде была теснота, толкотня, все жались один к другому, а Жуков с Редько лежали свободно и никто не теснил их. Жуков тихо разговаривал с Редько, временами показывая рукой то на станцию, то на скрытую за бараками и высоким берегом реку, откуда доносился мерный шум разгрузочных работ: свистели катера, слышались окрики, с грохотом падали цепи в трюм.

— Раньше была норма — сорок человек или восемь лошадей в товарном вагоне,— весело сообщил Непомнящий, вытягивая ноги вдоль края платформы.— Норма определенно отражает лошадиный период в истории человечества. В ней не учтены чемоданы и тюки.

— А вы не нормировщик? — сухо осведомился Седюк. — Могли бы предложить железной дороге свои услуги для переработки устаревших норм.

— Был и нормировщиком,— еще веселее ответил Непомнящий. — Специальность не пыльная. Три месяца составлял сборник норм по такелажным работам — он был сожжен рукой главного истопника завода, а в местной печати появилась статья под заглавием: «Невежество и отсталость под маской технического нормирования». Хорошая статья, очень убедительная.

У паровоза громко спорили. Дежурный по станции и другой, высокий и грузный человек настойчиво убеждали в чем-то машиниста и при этом грозили ему кулаками. Машинист упорно не соглашался, и хоть его слов не было слышно, но по общему рисунку его жестов и по тому, что сам он в ответ грозил черным кулаком, было ясно, что он не останавливается ни перед какими выражениями.

— Вручают жезл! — прокомментировал их разговор Непомнящий.— На других трассах эта операция совершается просто и без остановки поезда, прямо на ходу. На нашей полярной магистрали вручению жезла

предшествует деликатная обработка машиниста словом и действием. Сейчас доругаются — и поедем.

Его предсказание исполнилось через несколько минут. Дежурный и второй, высокий, видимо, не договорившись, выразительно плюнули, махнули рукой и поплелись в станционный домик. Паровоз пронзительно свистнул, и поезд, полязгав буферами, тронулся.

Пройдя линию станционных построек, поезд свернул к реке и некоторое время шел вдоль берега. Пассажиры на платформе всматривались в великую северную реку — огромную, спокойную и угрюмую. Каралак был так широк, что другой, низкий, берег еле проступал на горизонте. Буксирный пароход «Ленин», пришедший вчера в Пинеж с караваном барж, дымил двумя трубами — дым стлался по течению реки. И лента дыма и самый этот пароход казались крохотными на пустынном просторе реки. Варя, как и остальные, молча глядевшая на реку, вдруг почувствовала волнение. Она как-то внезапно увидела то, чего не видела все дни, проведенные в дороге, — что Каралак не только огромен и суров, не только подавляет воображение пустынностью своих сперва таежных, потом тундровых берегов, но и прекрасен особой, ранее ей незнакомой, величественной красотой. Седюк взглянул на покрасневшее Варино лицо и улыбнулся. Он сказал с доброй мягкостью в голосе:

— Засмотрелись! Есть на что. Какой простор, Варя!

И вдруг все шумно и оживленно заговорили, как будто впечатление от Каралака требовало разрядки в словах.

— Речушка толковая! — воскликнул Непомнящий, с уважением смотря на широко распростертую воду. — Все основные речные показатели явно превзойдены.

— Наша Волга кажется совсем маленькой по сравнению с Каралаком, — сказал Седюк, приподнимаясь на платформе, чтобы лучше видеть реку.

— К Волге продвигаются немцы, — мрачно проговорил Турчин, враждебно глядя на Каралак. — Там города, там сердце страны. А здесь что? Пустыня, тундра, вечные снега. Кому нужна эта ваша красивая пустая вода?

Каралак медленно отодвигался к горизонту, и его высокий правый берег, казалось, наползал на левый и смыкался с ним, стирал и поглощал широкую ленту воды. По обеим сторонам поезда теперь неторопливо бежали многочисленные озерки и небольшие холмики, покрытые серо-зелеными мхами. Все было мрачно, нише и угрюмо — ни деревца, ни кустика. А над нищей, угрюмой землей торопливо проходили угрюмые, плотные тучи. Они цеплялись за вершины холмов и окутывали их непроницаемым туманом. Потом вдруг пошел густой, крупный снег, и все кругом побелело, граница между землей и небом стерлась, и уже на расстоянии трех метров ничего не было видно — только насыпь, придорожные ямы да соседняя платформа. Метнулся сырой, пронзительный ветер, и все превратилось в белую крутящуюся мглу.

— Арктика берет за горло, — промолвил Непомнящий, кутая шею грязным, рваным шарфом.

Снег заваливал платформы, грузы. Ветер усиливался и проникал сквозь одежду. Люди жались друг к другу, чтобы согреться. Варя невольно привалилась спиной к широкой спине Седюка, он отвернулся от нее — может быть, чтобы ей было удобнее. На несколько минут ей стало очень приятно и хорошо. От спины Седюка шло тепло, это тепло проникало сквозь пальто и согревало ее, но она тотчас отодвинулась: Седюк совсем не знал ее и мог подумать о ней плохо.

Поезд торопливо стучал колесами по стыкам рельсов, платформы часто вздрагивали и сталкивались, но по проплывавшим мимо ямам и столбам было видно, что поезд движется медленно и что торопливый стук

обманчив. За каким-то поворотом, когда поезд объезжал широкое пустое озеро, открылся одинокий домик. Возле домика стояла закутанная до глаз женщина с флажком в руках.

— Сколько проехали от Пинежа, мамаша? — крикнул Непомнящий.

— Семь километров, сынок, — ответила женщина глухим, низким голосом.

— Примерно восемь километров в час, — удовлетворенно заметил Непомнящий. — Неплохо. Если дело пойдет так же, мы завтра к утру доберемся до Ленинска.

Километрах в двух от одинокого домика поезд остановился. Он стоял минуты три, двинулся, снова остановился и попятился назад. На этот раз он стоял минут десять, прежде чем двинуться вперед. Было слышно, как с визгом проворачиваются колеса паровоза и пар с шумом вырывается из цилиндров. Паровоз взбирался на подъем и дышал, как человек, измученный тяжким трудом, но полный решимости преодолеть все. Он то продвигался на несколько метров, то замирал, пыхтя и вздрагивая. Потом машинист соскочил с паровоза и пошел вдоль платформы.

— Слезай все! — крикнул он озлобленно.

Седюк соскочил первый и помог слезть Варя и Романовой.

— Давления не хватает? — спросил он у машиниста.

— Какое к черту давление! — отмахнулся машинист. — Привезли пять новых паровозов, и все угнали в Ленинск на заводские линии. А у меня что, профиль легче, что ли, чем там? Здесь подъем двенадцать тысячных, а впереди все пятнадцать. Эта старая ворона сама себя на пятнадцать тысячных еле поднимает, а здесь восемь платформ. Дай покурить, товарищ! — Он жадно затянулся и продолжал: — Бесит не это, а несознательность. У меня перегрузка двадцать тонн, а мне перед отправкой еще две платформы хотели всучить. Я им, как людям, доказываю, а они мне суют, что за фронт не болею, — честное слово, если бы не убрались, я бы их гаечным ключом...

— А что сейчас делать будешь?

— Люди сойдут, все немного легче. Поднакоплю пару, может быть, выжму. Худо вот, что снег пошел, колеса буксуют, а у меня песка мало.

— Может, нам подтолкнуть платформы? Поможем паровозу.

— А вы что можете сделать, когда паровоз не берет?

— Нас человек двадцать. Ты возьми хороший разгон, а мы поможем на подъеме. Все-таки прибыток, а не убыток.

Машинист для разгона дал задний ход — состав медленно прошел назад и скрылся в снеговом тумане. Варя оказалась рядом с пожилым человеком, уронившим в Каралак ящик с консервами, встали и другие пассажиры. Только Жуков и Редько уселись на куче старых шпал и, посмеиваясь, смотрели, как остальные готовятся к работе.

— Устали, ребята? — с сочувствием в голосе и злым блеском в глазах спросил Седюк, подходя к Жукову и Редько.

— В паровозы не договаривались, — вызывающе проговорил Жуков, отворачиваясь от Седюка.

Седюк подошел еще ближе и внимательно посмотрел в лицо Редько и Жукову. Похоже, Редько был более труслив, он колебался. Жуков угрюмо и злобно встретил взгляд Седюка.

— Женщины взялись помогать, а у вас, бедных, ножки побаливают, — сказал Седюк голосом, звенящим от бешенства. — Саженное тельце на ногах не стоит... Встать, когда с вами разговаривают!

Первым, торопливо и покорно, вскочил Редько, а вслед за ним медленно и нехотя поднялся Жуков. Варя с тревогой увидела, что Жуков почти на голову выше Седюка и гораздо шире его в плечах. Седюк широко расставив ноги, продолжал всматриваться в их лица.

— Много вас, командиров! — хмуро сказал Жуков. — Чего уставился?

— Пригодится. Может, на темной улице встретимся, так чтоб сразу признать. Так вот — все будем помогать паровозу. И вы запомните: или будете толкать, как все, или убирайтесь назад в Пинеж. И не думай, что возьмешь горлом, — крика не боюсь. За паровозом побежишь — влезть не дам.

Из тумана донеслось пыхтение паровоза и стук колес о стыки. Когда поезд проходил мимо, все более теряя скорость, Жуков и Редько вместе со всеми ухватились за доски и пошли рядом с поездом, изо всей силы подталкивая его.

— А ну, давай! Крой полным! — оглушительно крикнул Жуков, с таким ожесточением надавливая плечом на платформу, что ноги его выше каблучков ушли в гравий, а лицо покраснело и из худого стало одутловатым.

Паровоз, дыша с усилием и шумом, как больной астмой, рывками продвигался вперед, метр за метром преодолевая подъем. Из кабины высунулся машинист и благодарно кивнул головой. Все нажали еще ожесточеннее. Метров через сто машинист остановил паровоз и еще раз высунулся из кабины.

— Самое трудное свернули, ребята! — прокричал он. — Тут метров двести полегче будет, а там до самой Медвежьей дорога хорошая. Теперь просьба — идите своим ходом минут десяток, а я взберусь на подъем и подожду вас.

Он дал гудок и, медленно набирая скорость, ушел в снежный туман. Варя шла рядом с пожилым соседом, он заговорил с ней о ящике с консервами. Видимо, это происшествие было ему так тягостно и так занимало его мысли, что он не забывал о нем ни на минуту. Он объяснил Варе, что не понимает, как это стряслось, — шел вроде аккуратно, а потом все закачалось в глазах и руки сами разжались.

— У меня так же было, — подтвердила Варя. — Если бы товарищ Седюк не помог, я свалилась бы с мешком в воду.

Пожилый человек сказал с горечью:

— А они меня нечистыми словами, будто я нарочно. Меня, если сказать правду, вся Украина знает, — проговорил он вдруг с гордостью. — Тридцать лет кладу трубы — и ничего, кроме благодарностей. Ефим Корнеич Козюрин, знатный трубоклад республики, — вот как меня расписывали в газетах. — Он помолчал и снова стал оправдываться: — Ослаб в дороге, дочка... И климат какой-то чудной — снег в августе...

Варя с тоской оглядела полотно дороги, побелевшие от снега придорожные ямы, невысокие холмики, тускло и голо встававшие в снежном крутящемся сумраке.

— Какой здесь климат! Здесь растения не выживают, нет птиц, нет зверей, ничего нет, а нам тут жить!

— О чем речь? — спросил Непомнящий, подходя к Варе. — Арктику ругаете?

— Зачем ее ругать? Просто сказать, какая она, — это хуже ругательства. Хоть бы одно дерево!

— Арктика — это подвальное помещение природы, — поучительно заметил Непомнящий. — Когда на дворе тепло, здесь сыро, холодно и темно. Но, между прочим, человек здесь живет. Человек везде живет.

— Вы это уже говорили. Но я лучшего мнения о человеке. Это не место для людей.

Поезд ожидал пассажиров в километре от подъема. Все разместились на платформе по-старому — кучками, прижимаясь один к другому, чтобы было теплее. Жуков, усевшись, заговорил с Седюком.

— А ты сердитый, начальник! — сказал он одобрительно.

— Бываю и сердитый, — коротко ответил Седюк.

Жуков хотел еще что-то сказать, но передумал. Седюк смотрел прямо ему в глаза, и лицо у него было жесткое и грубое — лицо человека, привыкшего добиваться того, что он задумал. Жуков отвернулся и, потеснив соседей, расправил складки одеяла и развалился на нем. Варя с тревогой следила за выражением их лиц. Этот короткий разговор показался ей новой, ожесточенной и беспощадной схваткой — победителем из нее опять вышел Седюк. Слова Жукова, самый одобрительный их тон как будто говорили — ну, смотри, я уступил, нет резона воевать из-за дерьма, но больше ко мне не лезь, на дороге моей не становись — сам сердитый, зашибу ни за копейку. А Седюк, словно бы отвечал — да, уступил, твое счастье, и дальше будешь уступать, будешь делать, что нужно, что все делают, а начнешь отлынивать, на шею садиться — пеняй на себя, пощады не жди. Этот тайный смысл их разговора был так ясен Варе, что она испугалась — сейчас все вырвется наружу и начнется драка. Но Седюк пробрался на свое место и сел рядом с Варей. А Жуков тихо разговаривал с Редько, и лица его не было видно.

4

Через полчаса снег вдруг перестал валить и ветер внезапно оборвался. Сразу стало очень светло, и с платформы открылся вид на отдаленные холмы. С запада шло огромное ослепительное сияние — резкая граница сумрака и света перерезала тундру надвое и бежала за поездом. Последние слои непроницаемых угрюмых туч торопливо обгоняли поезд и уходили на юго-восток, по другую сторону от них простиралось беловато-голубое пустое небо. Солнце взрывом вырвалось из-за туч — все сразу залило ярким сиянием. В снегу вспыхнули маленькие острые огоньки, и воздух наполнился туманом разноцветного торжествующего света. Стало жарко. Пассажиры, отряхивая насевший снег, распахнули шубы, платки и шали.

— Типично арктические штучки, — сообщил с важным видом Непомнящий. — Если через двадцать минут завоет пурга и ударит сорокаградусный мороз, я не удивлюсь. Заполярье противоречит здравому смыслу, смешно искать логики в его явлениях.

Пласт снега, лежащего на земле, становился все тоньше. А через некоторое время — никто не уловил, когда это случилось, — цвет тундры неожиданно изменился. Она была уже не серо-зеленой, не белой, блистающей яркими разноцветными огнями, а глубоко, всеобъемлюще красной. Она вся сверкала и переливалась этим одним цветом во всех его оттенках от рыже-оранжевого до темно-вишневого. Все было красное — холмы, куски ровной земли, растения, покрывавшие землю, даже вода озерков блистала отражением красного сияния. И это красное сияние простиралось в обе стороны от дороги до самого горизонта — его непрерывность, густота, яркость казались неправдоподобными.

Во время минутной остановки поезда на перегоне — машинист накапывал пар — Непомнящий соскочил с платформы, отбежал в сторону, наклонился к земле и, торжествуя, вернулся обратно. В руке у него был измятый стебель какого-то низкорослого растения, крепкого, как канат, и похожего на канат своей гибкостью и сплетением многочисленных волокон. Все в нем было пламенно-красного цвета — тонкие узкие листья, ветки, стебель, даже плотные, жилистые, как руки, корни. Растение передавали из рук в руки, осматривали, мяли, складывали, снова выпрямляли.

— У нас таких не бывает, — с осуждением сказал Турчин, недоверчиво осматривая растение.

Непомнящий, тыкая руками в красный простор, воскликнул голосом ярмарочного зазывалы:

— Фантастичность Арктики, как обыденная реальность! Мир из неведомой планеты, перенесенный на землю. Типичный марсианский пейзаж среднего пошиба. Сейчас появятся сами марсиане с хоботами вместо носов и шупальцами вместо рук. Будьте готовы к борьбе миров!

А Седюк повернулся к Варе и дружески ей улыбнулся.

— У нас тоже леса осенью пламенеют,— сказал он.— Но эта заполярная щедрость превосходит все, что я видел прежде. Нет, знаете, мне даже нравится. Посмотрите на эту пылающую равнину — правда, красиво?

Девушка задумчиво ответила, оглядывая тундру:

— Может быть, это и красиво. Но меня пугает все, даже эта красота. А страшнее всего думать о зиме. Она ведь совсем близко.

Седюк сдвинул брови, сжал губы — он словно думал о чем-то, что не сразу складывалось в отчетливую мысль. И слова его были медленны, будто он раздумывал вслух:

— Люди здесь живут — пусть в чумах из оленьих шкур. А нас ждут квартиры — возможно неблагоустроенные, но все-таки там есть и стены, и пол, и крыша. Меня пугает другое. Вы видели разгрузку. Снабжение этого строительства, как видно, организовано из рук вон плохо. Меня смущает, нет, больше — меня бесит мысль, что едем мы, может быть, напрасно и в то самое время, когда стране, фронту нужен каждый человек, каждая пара рук, мы будем сидеть у печурок и сводить мелкие соседские счета за неисполнением других дел. Вы понимаете? Что, если всем нам нечего будет делать? Это только предположение. Но одно такое предположение приводит меня в бешенство.

Варя слушала Седюка. И ей казалось, что она понимает характер этого человека: он терзается, думает только об одном, все свои поступки, все дела других людей рассматривает в свете этой одной думы. Она, казалось, слышала гневные слова его невысказанных мыслей: ну вот, страна твоя в смертельной опасности, а ты? Ты на передовой? Нет, ты скитаешься по эвакуациям, отлеживаешься в теплушках, месяцы мирно спишь на полустанках — те самые месяцы, что, может быть, решают судьбу твоей Родины...

Варе захотелось сказать ему что-нибудь такое, что могло бы сразу его утешить. Она возразила:

— Но ведь это строительство, куда мы едем, оно очень важное.

— Да, важное,— ответил он с горечью.— В военное время все важно. Привезти дрова из леса на станцию тоже важное военное задание. Все для фронта — вы можете прочитать это на каждой стене. Нет, это меня не успокаивает. Если тот тип — Зарубин — прав и ничего нет, я не лягу в полярную зимовку.

— А что вы можете сделать? — спросила она тихо.

— Уйду,— сказал он жестко, и снова лицо его стало злым и непреклонным. Он теперь смотрел на Варю грозно и насмешливо, словно она была тем самым человеком, что мешал ему уйти и заняться нужным делом.— И пусть меня не пугают ни партвыскаканиями, ни пургой, ни полярной темнотой. Уеду на оленях, на собаках, уйду на лыжах, но бездельничать здесь не буду.

Паровоз снова остановился. Платформы, набегая одна на другую, грохотали буферами. Люди толкались, хватались за борта платформ, чтобы не упасть. Машинист слез с паровоза и шел, всматриваясь в лица людей. Увидев Седюка, он заторопился к нему.

— Что случилось? — спросил Седюк, наклоняясь через борт.

— Путь провалился,— сокрушенно сказал машинист.— Дорога временная, шили на скорую нитку, рельсы клали не на насыпь, а просто на мерзлоту, а она подтаяла. У нас тут в каждом рейсе то в одном, то в другом месте проваливается. Сделай одолжение, друг, организуй ребят, у меня

и лопаты и кирки есть, даже деревянные носилки, в дороге это постоянно требуется. Если навалимся все разом, минут за пятнадцать восстановим.

— Пойдем взглянем.

Седюк спрыгнул на землю. Метрах в тридцати от паровоза на месте насыпи образовалось небольшое болото, и над ним, прямо в воздухе, висели рельсы с прикрепленными к ним шпалами, образуя своеобразный виадук метров в восемь длиной.

— Придется подбивать грунт под шпалы,— сказал Седюк.— Твоя черепаха здесь действительно не пройдет.

— Вот и я так думаю. Когда мы грузы возем, мы с помощниками сами управляемся, только у нас это часа два берет.

Когда Седюк возвратился к платформе, она уже была пуста. Пассажиры соскочили на землю и прохаживались вдоль пути, разминая затекшие ноги. Седюк отобрал десять мужчин, казавшихся более крепкими. У запасливого машиниста, очевидно, не в первый раз «организующего» пассажиров, нашлось пять лопат, три кирки, две пары деревянных носилок. Почему-то остановка в пути вместо досады вызвала общее веселье, и все работало охотно и дружно. Особенно отличался Жуков. Он с такой силой и умением орудовал лопатой, что наполнял носилки землей в два раза быстрее, чем любой другой. Подносчиками у него были Козюрин и Редько. Седюк с Турчиным работали на насыпи. Турчин нагружал носилки, потом относил их с Седюком. Движения его были четки и скупы. Рядом с Жуковым копал землю Непомнящий, и то ли у него сил было совсем мало, то ли не хватало сноровки и привычки к труду, но он чаще прибегал к кирке, чем к лопате. Даже разрыхлив грунт киркой, он набирал на лопату совсем немного земли.

— Тяжелая штука мерзлота,— сказал он, словно оправдываясь, хотя копали они не мерзлоту, а верхний подтаявший слой.

Козюрин посмотрел на него, потом на Жукова, и на лице у него выразилось уважение.

— Хорошо работаете лопатой, товарищ! — сказал он Жукову.— Прямо без кирки — это даже удивительно.

— Руки к лопате привычные,— ответил Жуков, весело подмигивая Козюрину.— С детства работал на себя, потом чужой дядя командовал,— набил руки.

Турчин посмотрел на него и насмешливо улыбнулся.

— Десять минут так проработать можно, а через час сил не останется,— сказал он Седюку с профессиональным презрением мастера.— Пока-зуха, а не дело. Видишь, одной силой берет.

Минут через двадцать насыпь была готова, и все разошлись по своим местам.

Видимо, чтобы наверстать потерянное время, машинист шел на самой большой скорости — платформы дребезжали сильнее, чем раньше, чаще сталкивались буферами, люди хватались за борта и друг за друга, чтобы удержаться. Но долго идти на этой скорости, не пришлось. На горизонте среди красных холмов, затмевая своим блеском лужицы многочисленных озер, появилось сияние большой воды, вода стала расти и превратилась в широкое и длинное озеро. На берегу озера стояли водокачка, деревянная платформа, заваленная углем, и станционный домик — на стене его было выведено мелом крупными буквами: «Станция Медвежья». Навстречу поезду вышел одноглазый, весь заросший серо-черной бородой дежурный.

— Далеко до Ленинска? — крикнули ему с платформы.

— Километров тридцать пять, часа за четыре доедете,— ответил дежурный.— Паровоз подзаправится водой, пропустим встречный, и пойдете напрямиком. Ночью выпитесь в поселке.

Встречный поезд появился минут через пятнадцать. Он состоял из восьми платформ, груженных каменным углем. На многих платформах, прямо на угле, сидели люди с мешками и чемоданами.

— Как в Ленинске? Идет строительство? — спросил одного из них Седюк.

— Какое к черту строительство! — ответил тот сердито, спрыгивая на землю. — Ничего нет, а ты — строительство! До будущей навигации, кроме как клопов давить, ничего не остается. Жрать вволю не дают, одежды нет, а зима катит!

Варя с печалью смотрела на сразу помрачневшего Седюка. Молча они прошли еще несколько шагов.

На последней платформе, подложив под голову мешок с вещами, лежал на угле молодой парень и нежился на солнце. Увидев подхихивших Варю и Седюка, он лениво приподнял голову.

— Скажите, пожалуйста, как дела идут в Ленинске? — спросила Варя.

— А хорошо идут, — с охотой отозвался парень. — Строительство большое, работают тысячи людей, в столовых кормят вволю — никто не жалуется. Если бы не послали на выгрузку, сам ни за что бы не уехал.

— Слышите? — сказала обрадованная Варя. — Приедем, сами все узнаем.

На станции оказался кипяток, в вещах Романовой нашелся вместительный чайник, у каждого были кружки, необходимые в обиходе эвакуации не меньше, чем мыло и полотенце. Пассажиры расселись на бревнах, валявшихся на станции, на кучах угля и просто на траве и распаковали свои припасы. Варя попробовала муксуна, предложенного ей Непомнящим. Муксун оказался жирным, нежным, но чрезмерно соленым — от второго куска она отказалась.

— Пригодится в Ленинске, — сказал Непомнящий, аккуратно заворачивая рыбу. — Не хотите ли прогуляться по саваннам этой марсианской равнины?

— Я охотнее поспала бы, — пожаловалась Варя.

— И хорошо сделаете, если уснете, — сказал Седюк.

— Именно, — подтвердил Непомнящий. — Сон на открытом воздухе укрепляет здоровье. Наука установила, что час сна заменяет триста калорий пищи. До Ленинска вы вполне можете принять полторы тысячи калорий сна. Я сейчас так размещу вещи в вашем углу, что вы заснете, как на пуховой перине, и будете видеть детские сны.

Он, вправду, очень ловко и умело разместил чемоданы, тюки и свертки. Получилось нечто вроде настоящей постели, и Варя с наслаждением на ней вытянулась. Ногам, утомленным от сидения на корточках, стало легко, а в голове от еды и усталости зашумело, как от водки. И, еще не заснув, сквозь дремоту она слышала, как на платформу влезали пассажиры, ощутила по мягкому и широкому теплу, повеявшему от борта, что рядом с ней уселся Седюк. Потом раздались свистки, удары колес о стыки. Свежий ветер мягко обдувал ее лицо. Это была лучшая минута сна, потому что затем все резко изменилось — солнце пропало, полил ледяной дождь, а из туч вырвались черные самолеты со свастикой на крыльях, из брюха у них вываливались похожие издали на личинок, крутящиеся, со свистом падающие бомбы. Она бежала по пустынному бульвару, мимо пустых, закрытых наглухо домов, ноги ее подкашивались от бессилия и ужаса. А кругом взлетали беззвучные, как в немой кинокартине, облачка разрывов и временами — тоже беззвучно — падали стены домов и целые дома. Последнее, что она помнила, было наклонившееся над ней в испуге и смятении доброе, до боли знакомое лицо. Чьи-то руки трясли ее за плечо.

— Вставайте, Варя! Подъезжаем к Ленинску.

Она вскочила, испуганная, ничего не понимающая. Огненно-красная тундра уходила в сторону. Поезд шел по склону горы. Вершина ее больше чем на полкилометра поднималась над равниной. Впереди вставали новые горы, белые от снега. Потом дорога углубилась в лес. Карликовые деревья, искривленные и согнутые, стелющиеся по земле, как сломанные бурей травы, тесно жались, наползали одно на другое, как бы схватившись в ожесточенной драке за место. Но, по мере того как поезд углублялся в горы, лес менялся и вырастал, деревья выпрямлялись, раскрывали свои кроны. И Варя с удивлением и радостью стала узнавать среди них березу, ель, ольху, плакучую иву — знакомый с детства лесной народ.

— Ленинск! — крикнул чей-то голос на платформе.

За поворотом дороги открылся поселок — фабричные здания, каменные и деревянные дома, пожарные вышки, мачты радиостанции. Была видна широкая улица, по ней неслись автомашины, рысцой трусили лошади, впряженные в брички.

Поезд, свистя и сбавляя ход, подкатил к деревянному двухэтажному зданию с вывеской «Ленинск-1». Пассажиры прыгивали на землю, тащили свои вещи, кричали отчаянными голосами, словно они не приехали, а собирались уезжать и могли опоздать к поезду.

У самого вокзала стояло несколько телег и грузовых машин. Встречающих не было, кроме высокого седого человека, сидевшего на телеге. Он всматривался в пассажиров, слезавших с платформы, и, увидев Романову, кинулся к ней, крепко обнял ее, поцеловал в щеки, а она, прижавшись головой к его плечу, заплакала горькими старческими слезами.

— Ничего, Анна Ильинична, ничего! — говорил седой человек, сам всхлипывая. — Не у нас одних горе, тут слезами не поможешь. Успокойся, Анна Ильинична!

На них смотрели с удивлением — встреча больше напоминала горестную разлуку, чем радостное свидание. Потом седой человек взял чемоданы и понес их, идя рядом с женой.

— Это Романов Василий Евграфович, конверторщик с Кавказа, — сказал кто-то громко.

К вокзалу подкатила старенькая «эмка», из нее вылез худой человек в военном кителе и распахнутой шинели и пошел вдоль поезда, внимательно оглядывая пассажиров.

— Скажите, пожалуйста, кто будет Михаил Тарасович Седюк? — спросил он у Вари.

— Вот здесь Седюк, — ответила Варя, указывая на Седюка, снимавшего с платформы ее чемоданы.

Военный подошел к Седюку и поднес руку к фуражке.

— Моя фамилия Григорьев, я референт начальника комбината, полковника Сильченко Бориса Викторовича, — отрекомендовался он. — Прошу немедленно в машину. Вас ждут.

— Через десять минут, не раньше, — сказал Седюк. — Я должен разместить вещи этой девушки и как-нибудь устроить ее.

Референт даже оглянулся, как будто Седюк сказал нечто непозволительное.

— Ни в коем случае! Ни одной минуты! Уже полчаса как началось заседание. Не хватает только вас. Сперва будет информация товарища Сильченко, потом ТЭЦ и ваш завод. Валентин Павлович уже передал по телефону выговор диспетчеру дороги за задержку вашего поезда на станции Медвежьей. Сейчас же садитесь в машину. А о девушке не беспокойтесь, здесь находится комендант Гурко — он на телегах и машинах доставит всех в отведенные им общежития. Все организовано, баня готова, в столовой выписаны продукты, желающим покажут кинокартину, а кто не захочет — может сразу отдыхать.

— Мне тоже нужно помыться и поесть.

— После заседания — пожалуйста. Заседание экстренное, решаются важные вопросы в связи с прилетом Валентина Павловича из Москвы. Да вы не смущайтесь, Михаил Тарасович, у нас это часто, что не успеваешь помыться и поесть. Работа каторжная, все привыкли, вот Валентин Павлович прямо из самолета отправился к себе в кабинет, а потом уже домой. Все это нормально. Идемте, а то мне будут неприятности. О своих вещах тоже не беспокойтесь, их доставят прямо на место — Валентин Павлович сам отдавал распоряжение комендантуре.

— До свидания, Варя, вечером, после заседания, зайду к вам, — сказал Седюк, крепко пожимая руку девушке. — А сейчас надо ехать. Не исключено, что этот неведомый Валентин Павлович влечет выговор и мне, как тому диспетчеру, если я опоздаю на минуту. — И, разместившись на заднем сиденье, он обратился к Григорьеву, усевшемуся рядом с ним: — Кстати, кто этот Валентин Павлович, о котором вы за полторы минуты успели мне столько наговорить?

Григорьев смотрел на Седюка с недоверием и недоумением, казалось, он старался определить, шутит тот или говорит серьезно.

— Вы говорите о товарище Дебреве? Разве вы с ним не знакомы? Это главный инженер комбината. По его просьбе вы откомандированы в Заполярье.

5

Машина остановилась у двухэтажного деревянного дома с ярко освещенными окнами.

Григорьев шел первым и поминутно оглядывался — Седюк не торопился и с любопытством все рассматривал, словно не замечая, что это раздражает референта. Дом был стандартный — коридорная система, множество дверей, дешевая дорожка на полу. Пол, аккуратно выструганный и довольно чистый, был плохо сколочен или сколачивался из сырого дерева: между досками образовались щели и самые доски были изрезаны трещинками (много нужно уборщиц, чтобы держать в чистоте этот некрашенный пол, мельком подумал Седюк). Дом был населен плотно — в нижнем вестибюле, на лестнице, в коридорах толкалось много народу, слышались громкие восклицания, споры. Почти все были одеты в новые стандартные белые полушубки, очевидно недавно полученные со склада. Седюка удивило, что двое из этих людей — он был уверен, что никогда не видел их, — поклонились ему, как старому знакомому, небрежным дружеским поклоном. Еще больше удивился он, когда на втором этаже высокая красивая девушка, тоже одетая в полушубок и шаль, как другие женщины, но в ботах и шелковых чулках, бросила на него быстрый внимательный взгляд и, распространяя запах дорогих духов, пошла рядом с Григорьевым и стала уговаривать его громким отчетливым шепотом:

— Евгений Леонидович, голубчик, вы ведь знаете, как мне это важно. Ну, скажите мне только — это он?

— Отстаньте, Лидия Семеновна, — отвечал Григорьев нарочито сердитым голосом. — Меня Валентин Павлович плеткой прибьет, если мы хоть секунду еще задержимся. Поймите — заседание технического совета!

— Да я сейчас и не буду приставать. Я подожду в проектно-отделе, там работают в две смены. Вы мне только скажите — это Седюк?

— Ну да, конечно, кто же еще!

Она отстала и, прислонясь спиной к стене, пропустила Седюка мимо себя. В ее внимательном серьезном взгляде не было ни праздного любопытства, ни кокетства. Она смотрела деловито, оценивая, как смотрят на новую и действительно нужную вещь, к которой еще не знают, как приступить.

«А пожалуй, этот Зарубин прав и моя особа многих тут занимает, — подумал Седюк иронически. — Странно, очень странно...»

Григорьев вошел в маленькую комнату — основную меблировку ее составляли четыре телефонных аппарата и большая, во всю стену, вешалка, загроможденная пальто и полушубками. У телефонов, читая газету, сидела пожилая женщина.

— Как там, можно, Александра Исаевна? — осторожно спросил Григорьев, сняв шинель и одергивая китель.

— Можно, можно! — поспешно сказала женщина и встала со стула. — Идите скорей, а то Валентин Павлович уже звонил на станцию. Достанется вам!

Григорьев открыл дверь и посторонился, пропуская Седюка. Они вошли в узкий и длинный кабинет. Три четверти его занимали два обширных стола, поставленные в формы буквы «Т», а по обводу этой буквы теснились стулья и кресла, занятые людьми. В комнате было человек двадцать. У стены, увешанной светокопиями чертежей, стоял высокий, худой человек и, докладывая, водил деревянной указкой по чертежам. При появлении Седюка он оборвал свою речь, и все головы повернулись к двери.

Навстречу Седюку поднялся председательствующий. Это был человек лет тридцати пяти, высокий, грузный, полный той нездоровой полнотой, которая отличает людей, много работающих в кабинете и мало бывающих на воздухе. На его неправильном широком лице резче всего выделялись глаза, смотревшие жестким, умным взглядом. Над жидкими бровями широкой плитой нависал лоб. У каждого, кто впервые взглядывал на это лицо, появлялась мысль: «Как некрасив!», зато второй непременно была мысль: «А пожалуй, умен!»

— Проходите, проходите, Михаил Тарасович! — сказал председательствующий так приветливо, словно Седюк был его старым знакомым. — Вы как раз вовремя. Сейчас Семен Ильич Караматин, начальник нашего проектного отдела, закончит свое сообщение о последних проектных данных по строительной площадке ТЭЦ. Вот тут есть местечко. — Он показал на стул у окна. — Прошу, товарищ Караматин.

Седюк пробрался на свободное место и сел. И сейчас же все, словно потеряв к нему всякий интерес, снова повернулись к докладчику. Караматину было лет пятьдесят. Худое лицо его было составлено из крупных деталей — крупен был нос, крупен и широкогуб был рот, огромные уши оттопыривались в стороны, большие роговые очки прикрывали не только глаза, но и мохнатые брови и часть впалых щек.

— Соображения Валентина Павловича, конечно, основательны, — говорил Караматин, продолжая, видимо, мысль, начатую еще до прихода Седюка. — Если бы нам удалось найти в другом месте хорошее скальное основание, можно было бы перенести площадку строительства в сторону. Но таких площадок в долине нет. Они есть на горах, но располагать ТЭЦ на склоне одной из гор мы не можем из-за трудностей в снабжении углем и водой. В долинах, кроме уже выбранной площадки, есть островки таликов в море вечной мерзлоты. Площадь этих таликов слишком мала по сравнению с площадью всех цехов ТЭЦ. Что же касается вечной мерзлоты, то возводить на ней сорокаметровое здание ТЭЦ совершенно немыслимо.

— Этого никто и не предлагает, — сухо заметил председательствующий.

— Совершенно верно, Валентин Павлович, такой глупости никто не предлагает. Я упомянул об этом только в порядке логического рассмотрения всех вариантов. Но в чем суть предложения строителей, которое мы сейчас рассматриваем? Строители предлагают использовать облегченные нормы военного времени, дающие значительную экономию материалов и гарантирующие срок службы порядка шести—восьми лет вместо сорока—

пятидесяти, на которые мы обычно делаем расчеты. В этом случае вполне возможно использовать островки таликов для котельного цеха и машинного зала. Что касается других цехов ТЭЦ — углеподачи, складов, подстанций и прочего, — то их придется разместить на вечной мерзлоте, приняв обычные меры для ее консервации, чтобы она не раскисла и не расплзлась. Надеяться на полную консервацию, конечно, не придется — слишком велики удельные нагрузки, — но несколько лет стены простоят. Я не признаю это решение блестящим, но какой-то выход из создавшегося положения оно дает. Новые сроки пуска ТЭЦ и медеплавильного завода, которые привез с собой из Москвы Валентин Павлович, практически неисполнимы, если ориентироваться на старый технический проект. Делать все солидно, по старому проекту, и пустить ТЭЦ первого февраля 1943 года — несовместимо.

— Допустим, будем делать солидно, по нормам мирного времени, — сказал человек, сидевший рядом с председательствующим. — Какая получается разница при сравнении того, что докладывал Валентин Павлович в правительстве, с тем, что показывают последние изыскания?

Седюк давно обратил внимание на этого пожилого человека — он чем-то выделялся среди других. У него было умное, строгое лицо, его седые коротко подстриженные усы не прикрывали большого рта. Видимо, он был глуховат, так как прислушивался, поднося ладонь к уху. Перед ним на столе лежал блокнот — он иногда делал пометки. В его движениях, четких и скупых, Седюк уловил несомненную военную выправку.

— Кто это? — спросил он шепотом сидевшего рядом с ним Григорьева, указывая на пожилого человека.

— Начальник комбината, полковник Сильченко Борис Викторович. Председательствует главный инженер комбината Дебрев, — прошептал Григорьев.

Караматин ответил на вопрос начальника комбината обстоятельно. Нельзя, конечно, считать ошибкой, что при составлении технического проекта ТЭЦ они приняли среднее углубление фундаментов в девять метров. Для своего времени это было правильно. Но с тех пор изыскания продвинулись дальше и положение изменилось. Нынешние данные дают двенадцать метров как среднее углубление фундаментов в грунт до скалы, на которую они опираются. Это в свою очередь значительно меняет объем земляных и бетонировочных работ и расход цемента и железной арматуры.

— Скала углубилась в землю за это время? — иронически спросил Дебрев. — Или, может быть, ваши изыскатели научились немного работать, а не только ягоды собирать?

Караматин покраснел. Нет, скала не углубилась. Скала стоит на своем месте и будет стоять там тысячи лет. Но условия военного времени известны, все делалось в спешке. Когда составлялся технический проект, данные охватывали пятнадцать шурфов, а сейчас их тридцать семь. Оказалось, что у скалы очень сложные обводы, неравномерная кривизна вершины, крутое падение по склонам. Нельзя от инженера требовать, чтобы он был пророком или гадателем.

— Но предвидеть и учитывать он должен, — негромко заметил Седюк. — Этим, собственно, инженер и отличается от простого практика-мастера, который исходит только из того, что у него в руках или под руками.

По залу пронесся легкий шум, все оглянулись на Седюка. Он видел одобрительный и насмешливый взгляд Дебрева, строгий взгляд Сильченко, сердитый — Караматина.

— Конечно, соображения товарища Седюка бесспорны, как всякое общее место, — возразил Караматин, и голос его звучал раздраженно. —

Сейчас легко ругать нас за просчеты. Я, впрочем, не уверен, что сам строгий товарищ Седюк, имея те материалы, что были у нас полгода назад, решил бы иначе. Мне кажется, внесенное строителями предложение применить упрощенные нормы военного времени надо внимательно рассмотреть. Иначе пустить ТЭЦ в новый срок будет трудно.

— У вас все? — спросил Дебрев.

— Все, — сказал Караматин, садясь.

— Тогда я скажу. — Дебрев встал и выпрямился перед собранием, как бы для того, чтобы всех видеть. Как после узнал Седюк, он всегда говорил стоя — ему было трудно напрягать свой хриловатый, несильный голос. — С точки зрения инженерной формы, товарищи, все в порядке — вот как следует понимать сообщение Семена Ильича. Были одни данные — делали одни расчеты. Получили новые данные — сделали новый расчет. Ну, а во всякие расчеты неизбежно вкрадываются просчеты. Я, товарищи, узнал недавно, что в проектных организациях даже планируется специальный фонд на недорасчеты, перерасчеты и недоучеты. Суммы из этого фонда присчитываются к смете проекта как некоторая резервная величина. И строители очень довольны: можно экономить и получать премии за то, что ты не оказался таким дураком, каким тебя представляли и проектировали. Что и говорить, очень удобное проектирование. Я не спорю, может, по статистике так и полагается, что неизбежно бывает какой-то средний процент дураков, неучей и недобросовестных людей, но средние нормы нашей статистики не могут быть распространены на Заполярье. И они не имеют права действовать во время войны. Я совершенно согласен с товарищем Седюком — инженер должен предвидеть все существенное, что может встретиться, на то он и инженер, а не кустарь. У настоящего инженера нет крупных просчетов. Я вам всем, товарищи, скажу прямо: у многих из нас есть такая прищечка — недоучитывать, напортить, опростоволоситься в расчете, а потом мобилизоваться, пойти на героические решения и ценой невероятных трудов исправить то, что спокойно можно было с самого начала не портить. Но такая практика, хоть она многим и кажется достойной, порочна и отвратительна. И я вам прямо говорю: пока я здесь, в Ленинске, я не помирюсь с тем безобразием, о котором нам так обстоятельно и логично докладывал товарищ Караматин. Как все это звучит убедительно — пятнадцать шурфов дали одно, ну а дополнительные двадцать два внесли некоторые вполне естественные изменения. А почему, товарищ Караматин, ваши пятнадцать шурфов не были заложены так, чтобы они заранее дали хотя бы приблизительно правильную картину? Этого вы нам не докладывали. Так я вам это доложу, если не знаете. К вашему сведению, товарищ Караматин, именно вами был подписан генеральный план разведки площадки ТЭЦ, и на этом плане значатся как раз эти тридцать семь шурфов. Но вы не установили очередности бурения скважин, хотя обязаны были это сделать. И те самые ротозеи, которых вы считаете специалистами, вам не подсказали — может быть, чтобы не утруждать своих мозгов расчетами. А товарищ Зеленский, который сидит вот там в углу и мило улыбается... — Все обернулись и посмотрели на широкоплечего красивого брюнета, красного от раздражения, который скорее гримасничал, словно от зубной боли, чем улыбался. — Очевидно, он обдумывает свои гениальные предложения и героические решения, — беспощадно продолжал Дебрев, — этот самый товарищ Зеленский, начальник строительного управления, проходил шурфы не по строго рассчитанному плану, по всей площадке, а тремя кучками всего в трех местах. Так ему с его маленькой строительной колокольни было удобнее — не нужно станок перетаскивать с места на место, строить навесы и тянуть кабель, ну и метпражом проходки в отчете блеснуть.

Что при такой постановке изысканий никакие данные не дадут даже отдаленно точной картины, пока не будут пройдены все запланированные шурфы, это, видимо, никого не беспокоило. А так как в связи с войной технический проект ТЭЦ пришлось делать на год скорее срока, то в основание его положили заведомо неграмотные, заведомо неточные цифры, которые заведомо могли измениться. И на особом птичьем языке наших проектантов и строителей — не дергайтесь, товарищ Зеленский, я до вас по существу еще не добрался, имейте терпение, — на их птичьем языке это было названо благородным словом «технический риск». Я хочу вас спросить, товарищи Караматин и Зеленский: если вот это называется техническим риском, то что именно вы назовете инженерной безграмотностью, административной нераспорядительностью, головопательством, граничащим с преступлением против интересов государства? И до каких пор вы напряжением всех сил тысяч людей, их подлинным героизмом, их страстным желанием пойти на любые жертвы, на любые трудности, чтобы помочь Родине в час опасности, будете покрывать ваше равнодушие, ваше неумение работать как подлинны инженеры, руководить как подлинны большевики?

Дебрев остановился, широко вдыхая воздух, которого ему не хватало. Лицо его, побагровевшее от гнева, было страшно.

Седюк видел, что большинство присутствующих потупило головы. Никто не смотрел соседу в глаза, как будто открытый взгляд мог обнаружить таящуюся в нем вину. Духота, до сих пор никем не замечаемая, хотя в комнате было сильно накурено, вдруг стала ощутимой, плотной, как вода.

— Теперь смотрите, что получается, — продолжал Дебрев. — Москва утверждает технический проект, начинается разработка рабочих чертежей. Государственный Комитет Оборона принимает важнейшее для нас решение — сократить срок, данный на строительство ТЭЦ и медеплавильного завода, на полгода. ТЭЦ по этому решению должна быть пущена первого февраля, медеплавильный завод — первого мая. Я даю об этом телеграмму из Москвы, а мне отвечают, что обнаружены новые данные и что в связи с этим строительство ТЭЦ стоит под угрозой срыва. Между тем решение ГКО претворяется в жизнь. Нам из самых строгих государственных резервов, тех самых, что берутся в последнюю очередь, выделяется железная арматура, несколько тысяч тонн цемента, бензин, продовольствие, люди, монтажники, даются пароходы для забрасывания всего этого на Север. А вы здесь спокойно ликвидируете все эти усилия и жертвы. Вы с безмятежным спокойствием заявляете, что угловые фундаменты будут глубиной двадцать восемь — тридцать метров вместо ожидавшихся пятнадцати, что объем земляных работ увеличивается на тридцать процентов, на столько же увеличивается объем бетонировочных работ. Требуется лишняя арматура, почти две с половиной тысячи тонн цемента дополнительно. А где взять этот цемент, когда враг подступает к Сталинграду и Новороссийску и половина наших цементных заводов взорвана или эвакуирована? А если и достанем, если нам выделят эти дополнительные две с половиной тысячи тонн, то как вы их забросите на Север, когда Каралак встанет через две недели? И чем вы их забросите, разрешите узнать? На помощь большую, чем нам оказана, мы рассчитывать не можем. Страна пошла на серьезные жертвы, чтобы снабдить нас, большего мы требовать не вправе. Все обстоятельства складываются против нас, начиная от наступления немцев и кончая приближающейся полярной зимой. И скажу вам откровенно — может быть, вас это мало задевает, но я не поставлю свою подпись под телеграммой, в которой будет признание, что мы все оказались шляпами. Решение ГКО — закон.

Его нельзя отвергать, нельзя оспаривать, его нужно выполнять, чего бы это ни стоило. И тут появляется товарищ Зеленский со своим гениальным предложением. В чем суть этого предложения? Он рассуждает так: раз от нас требуют строить скоро, значит будем строить плохо.

— Военные нормы — не значит плохие нормы! — крикнул с места Зеленский.

— Военные нормы — вынужденные нормы, — сурово возразил Дебрев. — Они так и называются — временные. А применение их в жестких условиях Заполярья приведет к тому, что построенная вами ТЭЦ будет не столько давать энергию, сколько сидеть в авариях. Вы рассуждаете об этих нормах теоретически, товарищ Зеленский, а я зимой этого года построил целый завод, применяя эти нормы. Завод работает, дает продукцию фронту, но я не уверен, что через год он не рассыплется. Здесь, в Ленинске, военные нормы внедрены не будут. Применение их в Заполярье с его морозами и пургами грозит катастрофой. Мы должны строить только прочно, только солидно, только по постоянным нормам. Итак, еще раз формулирую тему нашего совещания: изыскание средств и возможностей для точного выполнения постановления ГКО. Кто хочет слова?

Слова попросил Караматин. Дебрев, поморщившись, недовольно бросил:

— Вы только что говорили. Если с оправданиями, так не стоит задерживать собрание, Семен Ильич.

— Я по другому вопросу, — разъяснил Караматин и, получив слово, поднялся, держась рукой за спинку стула. — Валентин Павлович категорически отводит обсуждение вопроса о применении военных норм. Я продолжаю считать, что многие из этих норм можно применить. Однако в проектно-монтажном отделе мы учитывали, что руководство комбината может на это не пойти, и в связи с этим у нас возник вариант, который я хочу вам доложить. Основная трудность, очевидно, в нехватке цемента. Наше предложение касается именно этого вопроса. По генеральному проекту Ленинска здесь предусматривается свой цементный завод с производством нескольких десятков тысяч тонн цемента в год. Все это в будущем. Мы разработали техническое задание на строительство временного цементного заводика на территории нынешнего кирпичного завода. Этот цементный цех может дать недостающее количество цемента до весны. Основное оборудование можно найти на месте. На базе техснаба имеется вращающаяся печь для сушки медного концентрата. До мая медеплавильный завод не будет пущен, до середины апреля сушильный цех не будет монтироваться. Мы предлагаем смонтировать эту печь во временном цементном цехе, футеровать ее соответствующим огнеупором, немного переделать топку для получения более высоких температур. Известняк и другие материалы для производства цемента есть. А весной оборудование будет демонтировано и возвращено на постоянное место. Высокого качества цемент не гарантируем, даже наверное будет неважный, но дефицит он покроет.

— Собираетесь возводить турбины и генераторы на фундаментах из дрянного цемента? — иронически спросил Дебрев.

— Нисколько, Валентин Павлович, — спокойно возразил Караматин. — На фундаменты основного оборудования ТЭЦ пойдет хороший цемент. А местный цемент будет использован на строительство стен подсобных цехов ТЭЦ и главным образом на строительство коробок медеплавильного завода.

— Я как начальник медеплавильного завода решительно возражаю! — крикнул сидевший недалеко от Седюка человек. — Я эти одолжения знаю — заберете печь на полгода, потом выяснится, что цемента

все-таки не хватает, и печь у вас засохнет. В результате в мае мы не сумеем пустить отделение сушки, и в довершение стены, скрепленные вашим местным цементом, начнут валиться на головы рабочих во время первой же серьезной пурги.

— Как мнение начальника строительства? — спросил Дебрев.

Зеленский встал, откашлялся и заговорил глухим басом — этот бас плохо вязался с его женственным красивым лицом и каждый раз, как он начинал говорить, казался неожиданным.

— Строителям и металлургам, Валентин Павлович, этот вариант не желателен. Наш график так напряжен, что стоит на той грани, где реальность превращается в фантастику. Малейшее новое затруднение самым роковым образом отразится на сроках ввода станции. Прежде всего строительство, монтаж и демонтаж нового цеха, не предусмотренного планом, займут много людей и механизмов. Их придется изымать из основного строительства. Это — главное затруднение. Второе затруднение в том, что местный цемент схватывается значительно медленнее привозного. Прочность у него средняя, вполне достаточная для неотвественных сооружений, но медленное схватывание затрудняет строительство медного завода. Для нас, строителей, принять этот вариант означает пойти на большие новые трудности.

— Конечно, получать все от чужого дяди проще, чем самому все разрабатывать, — зло заметил Дебрев. — Самый нежелательный вариант — это брать на себя ответственность, творчески мыслить, работать с огоньком.

— Я не от ответственности бегу, а указываю на реальные трудности, — огрызнулся вспыхнувший Зеленский. Похоже было, что новая намешка Дебрева совсем вывела его из равновесия.

— Разрешите мне, — сказал Сильченко.

— Слово имеет Борис Викторович, — объявил Дебрев.

Сильченко встал, провел рукой по усам, просмотрел запись в блокноте. Он помолчал, ни на кого не глядя, всматриваясь строгими глазами в какую-то невидимую точку на стене, поверх голов. И голос его, когда он заговорил, был похож, казалось, на его внешний облик — он был так же внешне строг, суховат и четок. Говорил Сильченко медленно, ясно, временами опускал голову. Видно было, что во время речи он не способен откликаться на каждое замечание и живо наблюдать, как это делал Дебрев. Наоборот, сосредоточенный и сдержанный, он словно выключался из всего, что не имело прямого отношения к его мысли.

— Прежде всего о применении временных норм на строительстве, — сказал он. — Я вполне согласен с Валентином Павловичем, что применение этих норм на основных объектах нашего строительства недопустимо. Эти нормы предложены главным образом для тех из эвакуированных предприятий, которые с самого начала строятся как временки и после освобождения временно оккупированных врагом территорий будут возвращены на старые базы. Мы же строим в глубоком тылу, строим на десятилетия, и, хотя Москва разрешила нам в отдельных случаях применять эти нормы, мы как большевики поблажки себе давать не будем. Мы решаем дело государственной важности и должны решать его по-государственному. Но это не значит, что мы вообще зарекаемся от этих норм. По условиям нашего строительства нам придется возводить много вспомогательных объектов — срок службы их исчислен несколькими годами или даже месяцами. К этим объектам нормы военного времени или даже еще более упрощенные нормы обязательно должны быть применены. В частности, я вполне поддерживаю предложение проектантов о строительстве временного цементного цеха. Конечно, цех должен строиться с минимальными затратами труда и материалов, то есть по нормам

военного времени. Тут товарищ Назаров беспокоился, отдадут ли ему печь и выстоят ли стены под давлением пурги. Я лично думаю, что опасения товарища Назарова лишены оснований. Он, видимо, забывает, что основной объект нашего строительства — как раз медеплавильный завод. И если заберут у Назарова сушильную печь, то не для того, чтобы лишить его этой печи, а чтобы создать условия для ее своевременного пуска на медеплавильном.

— Кто еще хочет слова? — спросил Дебрев.

Встал невысокий лысый человек с глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками, с большим носом, мясистыми губами. Григорьев шепнул Седюку, что этого человека зовут Синий, он главный энергетик комбината, работал раньше на самых крупных станциях страны, здесь консультирует проект ТЭЦ и начальствует над ВЭС — временной электростанцией, дающей ток поселку.

— Я очень уважаю товарища Зеленского, товарищ Зеленский — сильный и грамотный строитель, — сказал он. — Его достоинства неоспоримы. Но я хочу, я очень хочу, чтобы товарищ Зеленский понял ту истину, что электростанция — сердце всякого промышленного предприятия. Это сердце должно быть абсолютно здоровым. Если оно хоть немного прихварывает, если оно сжимается судорогой, весь организм болеет. — Он вдруг печально улыбнулся и положил руку на сердце, и по этой улыбке и жесту Седюк понял, что ему самому хорошо известно, что такое больное сердце. — Так вот, я говорю: мы должны сделать все, абсолютно все, понимаете, чтобы сердце нашего заполярного Ленинска билось нормально. Поэтому надо забыть о временных нормах. ТЭЦ должна быть построена солидно.

— Я думаю, больше по этому вопросу говорить не следует, — заключил Дебрев. — Предлагаю следующее решение технического совета при главном инженере. Предложение о применении к строительству ТЭЦ временных строительных норм военного времени отвергается. ТЭЦ строится по постоянным нормам с расчетом службы на долгие годы. В связи с предписанным нам сокращением срока ввода основных объектов в эксплуатацию строители совместно с проектным отделом составляют новый график строительных работ и представляют его мне на утверждение. Основная идея графика — пуск ТЭЦ первого февраля 1943 года. Сегодня — пятое сентября. Проектный отдел обязан выдать технический проект цементного завода к восьмому сентября, а рабочие чертежи закончить к двадцатому.

— Это невозможный срок! — запротестовал Караматин.

Дебрев жестко оборвал протесты:

— Объявите аврал и сидите по две, по три смены. Сами садитесь за чертежные доски, у нас и так слишком много начальников и слишком мало инженеров. Вы в свое время писали книгу о проектно-изыскательских работах, вам и рейсшину в руки. Начальнику строительного управления товарищу Зеленскому приступить к строительству цементного цеха с получением первых чертежей, то есть восьмого, а к пятнадцатому развернуть строительство полным ходом и расставить рабочую силу так, чтобы не пострадали основные строительные объекты. Цементный цех должен быть пущен к первому октября. Предупреждаю, что за исполнением графика я буду наблюдать лично. Есть ли какие-нибудь возражения? Замечания?

Собрание молчало.

— Тогда перейдем ко второму вопросу — положению со строительством медеплавильного завода. По этому пункту я хотел бы заслушать мнение главного инженера медеплавильного завода. — Дебрев улыбнулся и повернулся к Седюку. — Мы слушаем вас, товарищ Седюк.

С той самой минуты, как Седюк приехал в Ленинск, он был уверен, что с ним произойдет какая-то неожиданность. Но как он ни готовился к ней, обращение Дебрева застало его врасплох. Седюк понимал, что вопрос задан из озорства, чтобы посмотреть, как он, Седюк, растеряется и будет выпутываться. Встав, как и другие выступавшие, он спросил:

— Может быть, вы скажете мне, Валентин Павлович, когда я стал главным инженером медеплавильного завода? Как-никак, меня это касается, и любопытно было бы узнать.

— Решение это состоялось три дня назад, после моего прилета из Москвы, — ответил Дебрев, с интересом глядя на Седюка. — Начальник главка пока не утвердил, но, думаю, возражать не будет, в общих чертах мы с ним уже говорили. Вы, конечно, ничего этого знать не могли, так как были в пути. Но сейчас вы знаете.

— Да, сейчас я знаю о своем назначении. И еще я знаю, что завода нет и что по новому решению ГКО он должен быть пущен первого мая. Вот все, что я знаю твердо. А остальное я узнаю, когда посмотрю проект, ознакомлюсь с положением на строительной площадке, увижу людей, запасы материалов и проверю организацию труда.

Дебрев кивнул головой и обратился к Назарову:

— Твой главный инженер в курс дела не вошел, Николай Петрович, будем вводить его тут же. Прошу, товарищ Назаров.

Назаров говорил очень решительно и напористо, ни разу не взглянув в разложенные на столе бумаги. Из его слов явствовало, что комплектация завода в основном закончена — были завезены кирпич для отражательной печи, конверторы, сушильные печи, крановое хозяйство, мощные воздухоудки и все прочее, необходимое для работы завода.

Седюк слушал Назарова с напряженным вниманием — Назаров говорил о хорошо знакомом Седюку производстве. Кроме того, это был его теперешний начальник, с этим человеком ему работать. У Назарова было бледное лицо, эта бледность еще резче подчеркивалась его черными вьющимися волосами. Выражение глаз было доброе: «Рубаха-парень, таким с первой встречи говорят «ты», в институте они заводили в веселой компании, под старость не прочь выпить», — думал Седюк, чувствуя, что в нем растет безотчетная недоброжелательность к этому человеку.

Когда Назаров сел, Седюк сдержанно осведомился, как обстоит дело с электропечами — о них докладчик ничего не сказал, — завезен ли свинец для облицовки ванн, серная кислота и мотор-генераторы. Назаров отвечал быстро, но неясно. Мотор-генераторы завезены, мощностей их он не помнит, но видел — шесть больших моторов стоят на семнадцатом складе. Электропечи тоже значатся в списках завезенных — они, видимо, на складе огнеупоров, под кирпичом, увидеть их трудно, но они есть. Свинцовых листов пока нет, он просто забыл упомянуть о них при перечислении недостающего оборудования.

— Напрасно, — заметил Седюк. — Без облицовки ванн свинцом или винипластом вы не пустите электролиз. Потом я все-таки не понимаю, как с электропечами, я в Пустынном, прямо на берегу, под навесом, видел несколько печей — это не те?

Дебрев, внимательно слушавший доклад Назарова и вопросы Седюка, с удовольствием вмешался в их спор:

— Правильно, тут тебя поймали, Николай Петрович. Электропечи и свинец в Пустынном, на нашей материковой базе. А серная кислота идет морским караваном из Архангельска, там же продовольствие, огнеупоры, горючее, различные химикаты, арматура. Плохо подготовился, Николай Петрович, неполон твой список.

— Всего не облазить, Валентин Павлович, склады забиты сверху донизу, — сказал Назаров, оправдываясь.

— Боюсь, на ваших складах порядка нет, и это главное. Завтра выберемся туда пораньше и все уточним. Ну, с комплектацией дело обстоит более или менее благополучно, особенно тут рассушивать нечего. Перейдем теперь к самому важному вопросу — к строительству медного. Прошу слушать с пристрастием — дело у нас там идет плохо. Вам слово, товарищ Лесин, доложите, какие вами приняты меры для реализации решения ГКО.

По кабинету пронесся шум сдвигаемых стульев, люди поворачивались, рассаживались удобнее. Седюк хорошо знал этот особый шум, временами возникавший на каждом крупном заседании, — он означал, что сейчас пойдет речь о самом важном и самом трудном.

В углу кабинета поднялся человек среднего роста, худой, в пенсне, одетый с подчеркнутым старанием — на нем был пикейный крахмальный воротничок, галстук. Тщательно приглаженные волосы разделял четкий пробор. Среди других участников совещания, одетых с рабочей небрежностью, человек этот выглядел странно и чопорно. Суховатым, бесстрастным голосом Лесин докладывал о положении дел на строительной площадке так ровно, ясно и логично, словно читал лекцию на какую-то далекую, отвлеченную тему. Казалось, он не видел и не понимал, что все напряженно вслушивались в каждое его слово. Из гладких предложений — сам Лесин прямо этого не говорил — с неопровержимой ясностью вытекало, что новые темпы строительства совершенно неосуществимы. Завод ставится на скале, вершина скалы представляет собой удобную площадку, гораздо более удобную, чем на строительстве ТЭЦ, — она обширнее, ровнее, не имеет уклонов. Но скальное основание прикрыто мощными наносами вечной мерзлоты весьма волнистого профиля. Грунт чрезвычайно трудный: вечная мерзлота представляет крупноскелетный диабазовый валунник. Лом не берет этот грунт, кирка не колет, взрывные работы, как показала практика, мало эффективны; кроме того, сама взрывчатка по обстоятельствам военного времени очень дефицитна. Отбойных молотков всего три десятка, и они часто ломаются. Есть хороший экскаватор, но мерзлый грунт ему недоступен.

— Оттаивать надо, — прервал Лесина Дебрев. — Оттаивать покрепче. Лесин хмуро блеснул на него стеклами пенсне.

— Оттаиваем, Валентин Павлович, огнем палением, кострами из угля и дерева. Оттаивает на полметра, не больше, для кирки достаточно, а экскаватор пустить нельзя. Пробовали применить пар, оттаивали паровыми иглами. В мерзлых грунтах на мягкой глинистой основе паровые иглы работают хорошо, а на крупноскелетном валуннике эффективность их ничтожна. Применили электропрогрев напряжением в триста восемьдесят вольт — прогрев не распространяется даже на метр глубины. Пустить трехкубовый экскаватор — значит наверняка вывести его из строя. Электропрогревом руководил кандидат технических наук Газарин, и его вывод таков, что на нашей площадке экскаватору нечего делать. Вот все, что я хотел сказать.

Дебрев, дернувшись на председательском месте, грубо и нетерпеливо бросил Лесину:

— Все? Больше ничего не добавите, Семен Федорович?

— Больше ничего, Валентин Павлович, — бесстрастно ответил Лесин.

Все видели, что Дебрев с трудом сдерживает раздражение: он побагровел, глаза его гневно блестели, брови нахмурились. Он встал, собираясь говорить, но Сильченко мягко дотронулся до его руки. Дебрев молча посмотрел на Сильченко и снова сел. Сильченко обратился к Лесину:

— Я бы все-таки хотел знать, товарищ Лесин, что требуется строительству для выполнения нового задания ГКО?

Лесин, перед тем как ответить, заглянул в записную книжку.

— Если исходить из сегодняшней производительности труда одного рабочего, нам требуется втрое больше рабочей силы и втрое больше взрывчатки. При этих и, к сожалению, только при этих условиях мы можем выполнить решение ГКО о сокращении сроков строительства.

— Фантасты! — сказал кто-то громко и презрительно.

Сильченко с мягкой и ровной настойчивостью продолжал допрашивать Лесина.

— Вы знаете наше положение — людей взять неоткуда, взрывчатки мало. Разве вы не понимаете, что ваше заявление равносильно отказу от выполнения решения ГКО?

Лесин выразительно пожал плечами.

— Ничего другого мы придумать не сумели, — сказал он, помолчав. На этот раз Дебрев не выдержал.

— Ни взрывчатки, ни рабочей силы вы дополнительно не получите, — сказал он решительно. — Вы живете не в безвоздушном пространстве, мне нечего вам напоминать, что немцы подкатываются к Сталинграду. Больше вам скажу — с завтрашнего дня вы будете получать половинную норму взрывчатки сравнительно с тем, что получаете сейчас. Взрывчатка пойдет на строительство ТЭЦ, там скала, скалу ничем другим, кроме взрывчатки, не возьмешь. Я думаю, вы это понимаете не хуже меня. От вас сегодня требовали не заявок на то, чего мы выполнить не можем, а сообщения о новых методах строительства, новых предложений, новых мыслей, которые помогут нам выполнить решения ГКО. Вот чего мы ждали от вас, а вы тут болтали о рабочей силе и взрывчатке.

Лесин сдержанно, с достоинством возразил:

— Тут кто-то крикнул о фантастах. Именно потому, что мы не фантасты, а реалисты, техники-строители, я говорил только о том, что имеет реальное значение. Пыль в глаза высокими фразами я пускать не умею. Вы меня знаете, Валентин Павлович, я говорю то, что исполняю, и исполняю то, что говорю. Без взрывчатки поднять вечную мерзлоту мы не можем, без рабочих строить тоже не умеем.

Он с хмурым вызовом обводил своим пенсне зал. Никто не ответил ему. Дебрев, заметно остывая после вспышки, угрюмо сказал:

— Усильте прогрев, расходуйте больше угля, больше электроэнергии, и этим вы повысите производительность рабочего.

— Не думаю, Валентин Павлович. Избыток тепла уходит в воздух и не проникает в землю. Тут мы ничего не можем сделать, такова природа метода. Не мы одни разрабатываем вечную мерзлоту. Есть книги, статьи. Но во всей мировой литературе еще не предложен более эффективный метод.

— Мировая литература писалась такими же инженерами, как и мы, — прервал его Дебрев непримиримо. — Мы должны вписать новые страницы в мировую литературу, вот как стоит вопрос. Я думаю, спорить тут не о чем. Вот мы с главным инженером медного, — он кивнул головой на Седюка, — приедем к вам и посмотрим, таковы ли действительно ваши трудности, как вы их расписываете. А пока самым категорическим образом требуем от вас ускорения работ по планировке площадки. И предупреждаю, Семен Федорович, от степени перелома, достигнутого в строительстве завода, будет зависеть наша оценка пригодности работников строительства к руководству.

Лесин сказал, пожимая плечами:

— Понимаю ваш намек, Валентин Павлович...

— А я всегда говорю прямо, товарищ Лесин, без намеков — меня не-

трудно понять. Засядьте еще раз с вашими инженерами и завтра к пяти вечера представьте полный перечень мероприятий — только без увеличения рабсилы и взрывчатки, это неосуществимо, — всех возможных мероприятий, чтобы организовать перелом в темпах строительства. Вот пока все по вашему вопросу.

— Будет исполнено, — сказал Лесин.

Снова заговорил начальник комбината.

— Положение на строительной площадке, конечно, трудное. Я вполне согласен с Валентином Павловичем — необходимо в самом срочном, почти в аварийном порядке найти методы эффективной разработки вечной мерзлоты. Этого требует от нас военная обстановка и наша совесть. Я уверен, что вы эту задачу выполните, как она ни сложна, а сейчас я хочу сказать вот о чем — мы плохо готовимся к зиме. На промплощадках нет щитов, навесов от снега над котлованами, нет теплых помещений для отдыха и еды, зимние дороги не подготовлены. Я понимаю — для большинства из вас, только в этом году приехавших с материка и не знающих полярной зимы, многое звучит чисто теоретически, но я в Заполярье провел не один год и знаю, чем грозит такая нераспорядительность. Неделю назад я выпустил приказ, обязывающий начать разработку мероприятий по переводу строительства на зимние методы работы, сегодня напоминаю о том, что этот приказ надо строго выполнять. Я, товарищи, считаю ошибкой и главного инженера, что он на эту сторону дела не обращает достаточно внимания. Боюсь, эта неосмотрительность нам дорого обойдется.

— Вы правы, товарищ полковник, это — наше упущение. И я и все мы теперь займемся реализацией вашего приказа, — сухо сказал Дебрев, и лицо его покраснело.

«Ага, сам-то не любишь получать замечания!» — весело подумал Седюк.

— Основная часть грузов, около двенадцати тысяч тонн, — продолжал Сильченко, — прибывает к нам морским караваном, уже вышедшим из Архангельска. Из Пустынного мы сможем завезти только четыре тысячи тонн. Правда, там на складах грузов лежит много больше, но, очевидно, они прибудут в навигацию 1943 года — речной флот Каралака мал и не рассчитан на размах нашего строительства. Да и не мы одни строимся в бассейне Каралака. Благодаря энергии Зарубина, досрочно разгрузившего предыдущий караван, удастся организовать еще один рейс. Но караван, находящийся в Пинеже, видимо, уйдет на отстой, ни при каких темпах разгрузки использовать его в этом году уже не удастся.

— Зарубин, однако, нажимает на всех, я сам шесть часов мешки таскал, — сказал Седюк.

В зале засмеялись.

— И хорошо делали, — заметил Сильченко, мельком взглянув на Седюка. — Послезавтра утром я вылечу самолетом в Пустынное, чтобы погрузить и отправить последний караван, а вы, Валентин Павлович, меня замените. Я попрошу всех руководителей управлений, отделов и цехов завтра утром составить мне список самых необходимых грузов и доставить его к вечеру товарищу Григорьеву. Не увлекайтесь — только то, без чего строительство идти не может, ничего сверх этого!

Сильченко сел. Дебрев посмотрел на часы.

— Время позднее, товарищи, пора кончать. — Он поднялся вместе с другими и кивнул головой Седюку. — Вы не очень устали с дороги, Михаил Тарасович?

Седюк ответил, вставая:

— Да нет, не устал.

— Я хочу сейчас съездить на площадку медного — не стоит терять времени. Захватим Лесина, а Назарова отпустим — вопросы будут чисто технические. Как ваше мнение?

— Согласен, конечно.

В дверях Седюка остановил Сильченко. Он сказал, пожимая руку:

— Зайдите ко мне завтра, товарищ Седюк, как говорится, есть вопросы.— И, улыбнувшись, он заметил: — Вы так торопились уехать из Пустынного, что опоздали в Ленинск на пять дней.— Седюк в недоумении посмотрел на него. Сильченко пояснил: — Мы послали за вами наш комбинатский самолет, но он пришел через несколько часов после ухода каравана. Ваше присутствие было здесь очень нужно, особенно проектанты настаивали. Вот Караматин стоит — он вас сейчас перехватит.

Караматин действительно ждал Седюка. Он взял его под руку и отвел в сторону.

— Вы нам до зарезу нужны, — сказал он своим странно густым голосом, глядя в сторону; на Седюка блеснули только отсветы его непроницаемых очков. — По плавильному и электролизным цехам есть некоторые варианты — нужно согласовать с вами, наши тут не очень разбираются. Без вашей подписи пустить принципиальные технологические схемы в детализировку не хотелось бы. Как вы сейчас — не устали с дороги? У нас в проекте раньше двух часов не расходятся.

— Я сейчас еду с Дебревым на промплощадку медного.

— В таком случае настоятельно прошу прийти сюда в отдел завтра утром. Будете?

— А куда я денусь? Конечно, буду.

Мимо Седюка прошел Зеленский, беседуя с высоким сутуловатым человеком; крупное, изрезанное глубокими складками лицо этого человека было полно иронии. Склоняясь, он говорил Зеленскому с почтительным сожалением:

— Вот и похоронили вашу блестящую идею, Александр Аполлонович. Закрыто наглухо великое открытие Зеленского — как делать скоро и плохо и получать благодарности за быстрые темпы ничегонеделания.

— Отстань, Ян, не до тебя, — отмахнулся Зеленский.

В коридоре прохаживалась красивая девушка, та, что расспрашивала Григорьева о Седюке. Зеленский и его спутник остановились возле нее, но она с досадой отвернулась.

Выходя на лестницу, Седюк пропустил вперед Дебрева и оглянулся. Девушка стояла все на том же месте у стены и разговаривала с Караматиным.

— Ты что здесь делаешь, Лидия? — спрашивал Караматин.

— Просто прогуливаюсь, и все! Почему это всех интересует? — с досадой отвечала девушка.



На улице была уже ночь и шел холодный дождь. Люди, выходя из управления, торопливо поднимали воротники, прятали руки в карманы и наклоняли головы, чтобы смягчить удары дождя.

Дебрев сел на переднее сиденье «эмки», Седюк с Лесиным разместились сзади. Седюк весело заметил:

— Три погоды за один день. Утром валил снег, днем мы загорали на ярком солнце, а вечером нас поливает дождь, о каком я прежде и не слышал, — морозный дождь!

Но чопорный Лесин ничего не ответил.

Седюк, касаясь лбом холодного стекла, с интересом рассматривал поселок. Улицы были ярко освещены — это казалось странным. Еще совсем недавно он видел города, погруженные в глубокую тьму.

За линией домов вставали невидимые сейчас в темноте горы — они угадывались по электрическим огням, разбросанным на склонах. Горы теснили поселок, кривили его улицы. Проехав последний ярко освещенный дом, машина некоторое время шла в полной темноте, прорезанной

только светом фар. Она шла тяжело, сипло дышал мотор — по-видимому, машина преодолевала крутой подъем. Затем сразу открылись многочисленные огни, показались разбросанные кругом палатки, навесы, какие-то деревянные строения, похожие на бараки. Машина проезжала мимо железнодорожных платформ, мимо людей с лопатами и кирками, мимо костров и стоявших под паром паровозов.

Лесин сказал бесстрастно:

— Площадка медеплавильного.

Дебрев вылез первым и потопал затекшими ногами. С того места, где остановилась машина, площадка была видна отчетливо. Седюк не был строителем, но одного взгляда на эту площадку было достаточно, чтобы понять — Лесин прав: планировка ее требовала выемки огромных масс грунта. Площадка расположилась у подошвы круто поднимающейся горы, поверхность ее то полого падала вниз, то пересекалась бугорками, рытвинами, руслами горных ручьев, то вздымалась холмами.

Дебрев пошел на огни костров, широко шагая по скользкой от дождя земле. У первого костра сидели трое в новых полушубках и сапогах и дремали, склонив головы на руки, чтобы защитить лицо от дождя. Костер, аккуратно сложенный из кусков угля, тлел и парил — лишь изредка в этом пару появлялось красноватое пятнышко жара.

Услышав шаги, рабочие встрепенулись и вскочили.

— Как спится, дорогие товарищи? — с недоброй лаской осведомился Дебрев. — Все ли сны в руку? Не снится ли вам, что даром хлеб едите?

Рабочие растерянно молчали. Дебрев повысил голос.

— Я спрашиваю, как вам отдыхается?

— Плохо отдыхается, — угрюмо ответил один из рабочих, коренастый, с бородатым злым лицом. — И, по-моему, вам тоже понятно, товарищ главный инженер, не до отдыха тут.

— А чем плохо? Огонек разложен, к ветерку спиною — можно отдыхать.

Рабочий наклонил голову вперед и всмотрелся в лицо Дебрева.

— Не отдыхать мы ехали сюда, — сказал он со злобой. — По вашей милости отдыхаем мукой ледяной. Руки ноют по работе, а работы нет! Книжки читали, в институтах учились, в руководители выдвинулись, а для чего? Чтоб болтать на своих заседаниях, мучить людей без толку, когда каждый человек за целый полк идет?

— Брось, Иван, с ума спятил! — послышался испуганный шепот.

— А чего еще бросать? — уже с яростью крикнул бородатый. — Что, мы не одно дело делаем? Это они должны работу организовывать, так пусть знают, чего стоят. «Как вам спится, ребятки? — передразнил он Дебрева. — Все ли, мол, сны в руку?» Один сон снится! — крикнул он с вызовом. — Сплю и вижу, что начальники мои работать научились и меня ставят не на безделье, а на дело.

Дебрев молча смотрел на него тяжелым, испытующим взглядом, и рабочий встретил этот взгляд прямо и дерзко. Когда Дебрев заговорил, голос его был хмур и спокоен. Он спросил:

— Оттаиваете грунт?

— Оттаиваем, товарищ главный инженер, — поспешно сказал маленький худой человечек, отталкивая бородатого и выступая вперед.

— Всегда так плохо костер горит?

— Сегодня, однако, дождь — хуже обычного. Но и так штука мало-пользительная. Час раскладываем, пять часов оттаиваем, часок кайлим. Вот взгляните, товарищ начальник, третий час уголь жжем.

Рабочий перебрал лопатой горящий уголь и с силой ударил киркой в нагретое место. Острие кирки углубилось на несколько сантиметров и застряло. Быстро раскайлив тонкий слой нагретого грунта, он подбросил

его лопатой. Дебрев взял кирку и ударил. Кирка звенела и упруго отскакивала, как при ударе о монолитный камень.

— На мягких грунтах, например на песке, рабочий вырабатывает в день семь кубометров,— сказал Лесин спокойным голосом лектора.— На крупносkeletalных грунтах один кубометр — это уже хорошая норма. А на этой вечной мерзлоте и двух десятых куба не выработаешь!

Дебрев повернул к нему вспыхнувшее гневом лицо, но сдержался и снова обратился к рабочим:

— Вот вы жалуетесь, что работы нет. А почему вы не работаете в другом месте, где уже оттаяло, пока тут оттаивает? Ведь не везде земля сразу поспевает.

— Вы же сами не разрешаете,— возразил бородатый,— обезлички боитесь. Наши прорабы день готовы морить нас без толку, чтоб только в обезличку не впасть. За тремя закреплено двадцать костров, мы их обслуживаем, а если ходить с места на место, работы каждого не учтешь. А по-моему, товарищ начальник,— добавил он насмешливо,— назови хоть обезличкой, хоть певчей птичкой, а только чтобы дело шло.

— Как твоя фамилия? — спросил Дебрев, помолчав.

— Бугров,— ответил рабочий и подозрительно посмотрел на Дебрева.— На карандаш возьмешь?

— Может, возьму. Член партии?

— Однако беспартийный.

— Почему?

— Достойней меня имеются — работают лучше, начальству не грубят, в политике разбираются.

— Сейчас у всех одна политика — помогать фронту. И без книжек можно разобраться.— Дебрев молча прошелся вдоль линии костров, потолкал уголь ногой.— Вот что, товарищи, завтра ваш начальник будет проводить совещание с инженерами и стахановцами — приходите на это совещание. И не стесняйтесь, ругайте покрепче, говорите все, что вот тут нам сказали. И сами подумайте, как работу организовать получше.

— Это можно,— ворчливо сказал Бугров. Он с недоверием переводил взгляд с Дебрева на Лесина и обратно.— Насчет ругани мы сумеем — пока сидишь тут без дела, много зла нахватаешься. Вот и вам досталось...

— Ничего, не обидчивый. По существу ты прав, товарищ Бугров. Прощайте, товарищи! До завтра!

Дебрев пошел от костра. Он проваливался в ямы, спотыкался о камни, но, казалось, не замечал этого. Лесин торопился за ним, мелко шагая, прыгивая и наклоняясь, чтобы разглядеть дорогу.

Метрах в ста от линии костров Дебрева остановил человек, выбежавший ему навстречу из-за укрытия.

— Дальше нельзя, товарищ! — крикнул он повелительно.— Прощу возвратиться назад.

— Почему нельзя? — грубо спросил Дебрев.— Я главный инженер комбината.

— Все равно нельзя, товарищ главный инженер.— Голос охранника смягчился и звучал почтительно.— Зона высокого напряжения — идет электропрогрев.

— Это тот самый участок, который мы оттаиваем при помощи электричества,— пояснил Лесин. И, обратившись к охраннику, он приказал: — Вызови дежурного электрика, мы подождем здесь.

Охранник исчез в темноте, а через две минуты послышались торопливые шаги нескольких человек. К Дебреву в сопровождении охранника подошли дежурный электрик и прораб участка электромонтажа.

— Давно прогреваете? — спросил Дебрев.

— Скоро сутки,— ответил прораб.

— Результат?

— Пока неважный, товарищ главный инженер. На полметра, может быть, прогрели.

— Что мешает прогреву?

— Сопротивление грунта очень высокое,— пояснил электрик.— Какой тут пойдет ток? Комариный! Когда подольем около электродов соленой воды, сопротивление уменьшается, зато потери тепла в воздух увеличиваются.

— Можно на полчаса снять напряжение? — спросил Дебрев.

— Конечно, можно,— сказал электрик, поспешно уходя.

Через некоторое время он снова вынырнул из темноты.

— Можете идти, товарищи, напряжение снято.

Участок прогрева находился за холмом и был освещен двумя большими лампами. Вся площадка была густо покрыта забитыми в землю ломami. В стороне на деревянном помосте стоял трансформатор — от него шли три медные шины, питающие электроэнергией вбитые в землю электроды. Дебрев шел между тесно установленными рядами электродов и освещал их ручным фонарем. Земля вокруг электродов была засыпана опилками и шлаком, чтобы тепло не уходило в воздух. Но от каждой линии электродов, несмотря на холодный, резкий дождь, шло тяжелое дыхание сырой теплоты. Капли дождя превращались в пар и тонкими струйками поднимались вверх.

— Тундру греют,— со злостью сказал Дебрев, пнув ногой вбитый в землю лом. — Сейчас дождь выпаривают, а снег пойдет — снег будут плавить, климат улучшать. Работнички!

Он повернулся и пошел из зоны прогрева. Подойдя к месту, где стоял охранник, он обратился к Седюку.

— Сам теперь видишь, Михаил Тарасович, все их безобразие,— сказал он, незаметно для себя переходя на ты.— Люди у них дремлют у костров, целые бригады сидят часами в обогревалке, ожидая, когда им удастся разок ударить кувалдой по ломику, электричество на три четверти работает на улучшение кондиций полярного воздуха, а они еще имеют наглость требовать дополнительной рабочей силы.

— Я не понимаю вашего тона, Валентин Павлович,— оскорбленно проговорил Лесин.— Организация труда придумана не нами. И обезличка не нами отменена — есть отдел организации труда и зарплаты, он наблюдает за расстановкой людей и дает указания, как рассчитывать их выработку и зарплату. А что касается того, что ток стелется по поверхности, то не в нашей власти загнать его в глубину — еще никто в мире не научился этого делать.

Очевидно, слова Лесина были тем последним толчком, который требовался, чтобы Дебрев вышел из себя.

— Кто вы такой — начальник строительной площадки, член партии большевиков, или чиновник, работающий от девяти до шести? — вдруг закричал Дебрев, размахивая руками и наступая на перепуганного Лесина. Он не обращал внимания на то, что электрик, прораб и охранник, немного отойдя, чтобы и им не попало, с видимым удовольствием слушают, как разносят их начальника. — Как вы смеете так рассуждать об обезличке? Вы, только вы организуете труд на своей площадке, и если вы не умеете это делать, то вы не руководитель, а шляпа! Обезличка была отменена, потому что она понижала производительность труда. А если у вас создались такие особые условия, если у вас, черт подери, такой климат, и такой грунт, и такая организация работ, что обезличка может повысить эту производительность, то вводите ее немедленно, каким бы страшным словом она ни называлась! Учитесь у беспартийного рабочего Бугрова — он лучше вас разбирается и в политике и в организации труда. Мне плевать на все ваши инструкции и запреты, если они не помогают строительству и не работают на нужды фронта. А если они мешают строительству,

так ломайте их, как врага, кто бы за ними ни стоял. А не будете ломать, будете чиновничать, относиться к делу без души — сами убирайтесь прочь!

Наступило молчание.

— Можно продолжать электропрогрев? — почтительно спросил прораб чуть погодя.

— Включайте ваш дождевой кипятильник, — с досадой ответил Дебрев.

— Выписывай наряд на включение, — весело сказал прораб электрику, и оба скрылись в темноте.

— Я вас больше не задерживаю, Семен Федорович. — Дебрев снова повернулся к Лесину. — Вам, наверное, хочется побродить по площадке и получше разглядеть те безобразия, преступную халатность и глупость в организации работ, которые вы, занятый более важными делами, все как-то не успеваете заметить при дневном свете. Не смею мешать вам. А мы с товарищем Седюком отправимся отдохнуть.

Не подавая Лесину руки, он повернулся и пошел, шлепая башмаками по раскисшей от дождя земле.

— Часто вам так достается? — спросил Седюк, прощаясь с Лесиным и стараясь тоном и пожатием руки показать ему, что дело не так плохо и не стоит терять бодрости.

— Каждый раз, как Дебрев тут появляется, — раздраженно ответил Лесин. Он стоял согнувшись и совал обнаженные, дрожащие руки в карманы мокрого пальто. И вид у него теперь был не чопорный, а унылый и обиженный. — Все его поведение — одна грубость и бестактность. Он не считается ни с чьим самолюбием и забывает правила простого приличия. Разговаривает, словно с преступниками. Погодите, вам еще тоже достанется — исключений у него нет ни для кого. Вот вам мелочь, но характерная — бросает меня ночью под дождем на площадке. Теперь мне придется добираться до прорабской, звонить в гараж, поднимать с постели спящего шофера — разве это дело?

— Это-то так. Но ведь, если говорить о существе, Дебрев прав.

— А кто с этим спорит? — вдруг вспыхнул Лесин. — Если бы он был хоть немного не прав, неужели я стоял бы тут молча, как мальчишка, и слушал его. Но найти и облаять непорядок — это совсем не то, что предложить правильный план. Не он один замечает, что теплота при электропрогреве в основном уходит в воздух. А что он сможет предложить? Может быть, укутывать землю ватными одеялами и пуховыми перинами? У меня нет возможности изменить законы физики, я могу только ими воспользоваться.

— Не огорчайтесь, — повторил Седюк сочувственно. — Будем думать — что-нибудь придумаем.

Дебрев ожидал Седюка в машине. Он был зол и молчалив. Только когда машина въехала в темноту пустынной тундры, окружавшей поселок, Дебрев словно стряхнул с себя мрачное раздумье и обернулся к Седюку.

— Основная твоя задача — изыскать технически осуществимые методы ускорения строительства. Лесину нужна помощь. Но вообще-то у тебя есть особое задание. Тебе в наркомате ничего не говорили?

— Ничего, — ответил Седюк. Разговор его интересовал, он придвинулся ближе к переднему сиденью, чтобы лучше слышать Дебрева. — Скажи, что еду в Ленинск, даже должности не назвали.

— Правильно. Должность твою оговорили позже. Ты где работал — на уральских заводах?

— После института на уральском — в Пышме, потом на Кавказе.

— Расскажи, что ты делал с обжиговой печью.

Удивленный, что Дебрев знает и об этом, Седюк рассказал о своих работах по обжигу медных концентратов. Их заводу на Кавказе предпри-

сали наладить изготовление медного купороса — он требовался для опрыскивания виноградников. Дело оказалось сложным — пришлось прежде всего организовать на месте производство серной кислоты, необходимой для получения купороса. Проектировщики предлагали изготавливать серную кислоту из привозной серы — так, конечно, было проще. Седюк решил пустить на приготовление кислоты отходящие газы своей обжиговой печи. Мучились они несколько месяцев, пока наладили процесс, — то газ был бедный и кислота не шла, то пережигали концентрат и в последующих пределах теряли много меди. Впрочем, потом дело пошло.

— Именно так мне и говорили, — задумчиво сказал Дебрев. — Профессора Сурикова знаешь? Он мне рассказывал о тебе.

— Он первый поддержал меня, когда все кругом сомневались, — вспомнил Седюк. — Схема была новая, своеобразная, проектировщики много мне крови испортили. Они прямо удивились: «Зачем вам эту новую тяжесть на себя наваливать, когда есть схема подороже, но попроще?»

— Знаю. Это мне и понравилось.

— Что понравилось? Что мне много крови испортили? — со смехом спросил Седюк.

— Смелость мысли понравилась, — сурово ответил Дебрев. — Заказ тебе был каков? Выдавать кислоту, когда построят печь и привезут сырье. Другой на твоём месте так бы и рассуждал — пусть мне обеспечат условия, я начну работать. А ты добровольно усложнил свою работу, начал бой за новую схему, выступил против чинуш и технических бюрократов и добился своего.

Седюк молчал — ему была приятна похвала Дебрева.

— Вот тогда я и решил взять тебя, — продолжал Дебрев. — Мне уже было ясно, что наш медный завод легко не пойдёт, встретятся трудности и технологические, и организационные, и всякие иные, придется искать новых путей — то ломать все, лезть напролом, то пробираться по кривушкам. Начальник твой, Назаров, человек дельный, ничего не скажу, но перестраховщик и узок — пороку не выдумает. А тут требуется именно выдумщик, спорщик, человек с инициативой и кулаком — светлая голова и собачий характер.

— Спасибо за комплимент, — рассмеялся Седюк.

Дебрев продолжал, хмурясь:

— Именно — собачий характер! Ты что думаешь, без характера сквозь всю эту бюрократию инструкций и отработанных схем можно новое провести? Семь шишек на лбу набьешь, прежде чем тебя выслушают. Так вот, Суриков все это мне о тебе нарасказал, и я пошел прямо к наркому требовать тебя на Север. Три недели тебя разыскивали по телеграфу, ты в это время путался с эвакуацией своего южного заводика. Потом ты появился и сразу исчез. Сколько ты времени пробыл в Москве?

— В тот же день уехал. Так в чем же мое особое задание, Валентин Павлович?

Дебрев подумал.

— Понимаешь, — продолжал он, — внешне у нас с проектированием завода как будто все благополучно — бюрократическая форма соблюдена, есть исходные данные, анализы, эксперименты, на всем этом построено проектное задание, технический проект, теперь вот рабочие чертежи дорабатывают. А за этой формой, в самом существе дела — много неясностей. Боюсь, будут и неожиданности, неприятные неожиданности, меняющие все расчеты и планы, вот вроде той, что у них получилась с инженерной разведкой на площадке ТЭЦ. Вот я и хочу — свяжись с Караматиным, придиричиво проконтролируй проект, слов их оправдательных не слушай, а вникай в существо: маленькая ошибка в чертеже или схеме тебе же потом ляжет на плечи каменной плитой, а они останутся в стороне.

— Понятно, — сказал Седюк.

Дебрев шумно вздохнул и вдруг, повернувшись к Седюку, сказал:

— Ты вот думаешь, наверное: «Что это он одни недостатки в людях видит?» Если хочешь знать, я лучше всех вижу не только недостатки, но и достоинства того же Лесина. Строитель он опытный, еще до войны о нем слышал, строит по-серьезному, без очковтирательства и этой парадной показухи. Думаю, медный завод, если он его построит, в строительной части будет одним из лучших предприятий в стране.

— А чего еще желать? — отозвался Седюк, удивляясь, что Дебрев может так хорошо отзываться о человеке, которого только что нещадно разносил.

Дебрев, словно угадывая его мысли, продолжал:

— Но не верю я ему, понимаешь, не верю. Не знаю, что кроется за всей этой его аккуратностью, неторопливостью и крахмальными воротничками. И Зеленскому не верю. Вижу, что он новатор, что его хлебом не корми, а дай ему что-нибудь по-своему, по-особому сделать, и ценю это, не думай, — ценю! А вот попадаются такие штучки, вроде этой ошибки с шурфами, глупой, наглой, непоправимой ошибки, и невольно думаешь — что же это, просто ошибка или что похуже?

Он пристально, подозрительно взглянул на Седюка. Тот молчал. Дебрев, как ни был занят своими мыслями, уловил в его молчании несогласие. Помолчав, он проговорил с глубокой убежденностью:

— Сейчас никому нельзя верить. На каждом шагу самые страшные неожиданности. Скажи, кто мог ожидать, что будем воевать не на территории врага, а в сталинградской степи? И кто виноват в этом? А виновники есть, не беспокойся. И по виду не определишь, тайный это враг или нет, — рожа как рожа; глаза, нос — все на месте. Я тебе скажу вот что — был у меня начальник, в прошлом рабочий, рабфак кончил, потом вуз, умница, первоклассный работник, отзывчивый человек. И что же? Все это была маска — поймали на прямом вредительстве и арестовали. Ночи я тогда не спал, честное слово, думал: не может быть, он же лучше меня! После двух-трех таких случаев собственную бабушку начнешь подозревать, не то что Лесина. А здесь особая обстановка, ты в ней еще не разобрался, а я тут уже третий месяц и вижу — безобразия на безобразии. И безобразиям попустительствуют, людей по головке гладят, когда их надо за уши драть, — есть у нас такие гнилые либералы, ты скоро с ними ближе познакомишься. — Он опять помолчал и, охваченный новым приступом гнева, произнес со злобой: — Ну, возьми хоть сегодняшнее заседание — дело катится к провалу, все графики — и старые и новые — срываются, а они безмятежно прогуливаются по промплощадке, в речи подбирают деликатные выражения, округляют периоды — этикие заповядные олимпийцы! Хоть бы раз поднял скандал, пришел выматерился, стукнул кулаком по столу!

Седюк почувствовал, что молчать дальше нельзя. Он сказал с улыбкой, дружески, — этот неожиданный разговор и признание Дебрева сами по себе исключали какой-либо другой тон:

— Проверять людей, конечно, надо. Но знаете, Валентин Павлович, такое безотчетное недоверие будет постоянно рождать подозрения, и это ни к чему хорошему не приведет. Это может только оскорбить людей, вот и все. Одного недоверия мало, чтобы обвинить человека.

— В том и дело, — угрюмо согласился Дебрев. — Формальных поводов они не дают — все заглажено. Но и о том, что война идет на берегах Волги, а не Эльбы, я забывать не собираюсь. Я об этом помню постоянно — и днем и ночью. И с людьми, у которых мирная психология, которые плюют на это, у меня один метод обращения — через два часа по палке.

— Жесткий рецепт, — усмехнулся Седюк.

— Жесткий, конечно. Но ничего — помогает.

Машина поехала по ярко освещенной, пустой улице поселка. Дебрез внезапно спросил:

— Ты не голоден? Тебя ведь забрабастали на совещание прямо с дороги.

— Голоден. У меня в чемодане есть еда. Как, кстати, я найду свои вещи?

— Их комендант Гурко должен был забрать в общежитие. Сегодня поешь своего, завтра в торговделе получишь карточки. Снабжение у нас хорошее, а вот с квартирами хуже, живем как попало. Придется месяца два перебедовать в общежитии. Я бы взял тебя к себе, у меня две комнаты, но пока я был в Москве в командировке, жена приютила Караматина с дочерью, неудобно их стеснять.

— И не надо,— сказал Седюк.— Мне и в общежитии будет хорошо.

— Придется поставить тебе телефон, начальники связи сами не догадуются. А вот и мой дом. Я сейчас вылезу, а шофер доставит тебя прямо в общежитие, я ему говорил. Ну, до свидания, Михаил Тарасович.

— До свидания, Валентин Павлович.

Машина повернула обратно и помчалась к двухэтажному каменному дому, стоявшему в самом конце улицы. Шофер высунулся из окна и показал рукой на второй этаж, светивший рядом окон.

— Здесь. Комната номер пять. Комендант знает. Все на месте. Идите отдыхайте, товарищ Седюк.

— А ты откуда знаешь, что все на месте? — спросил Седюк, засмеявшись. И шофер, похоже, принадлежал к числу людей, интересовавшихся им и знавших о нем то, чего он сам о себе не знал.

— Валентин Павлович распоряжался, я слышал. А если он скажет — закон!

— Грозный у тебя хозяин.

— Грозный. Иначе нельзя. Время трудное.

8

Седюк поднялся на второй этаж. На площадку выходили четыре двери, на одной углем была нарисована пятерка. Седюк поискал звонок, потом постучал и, не получив ответа, потянул дверь. Она оказалась незапертой. Он осторожно вошел в прихожую и остановился в раздумье. В прихожей было три двери — надо было выяснить, куда постучать, чтобы не беспокоить в поздний час посторонних людей. Но дверь распахнулась сама, в ней возник, широко зевая, молодой человек с черными глазами и нечесаной пышной шевелюрой.

— Ага, товарищ Седюк, появились наконец,— сказал он так сердечно, словно они были старые знакомые и расстались всего день назад.— Сказать по-честному, я уже начинал сердиться — спать все-таки надо. Ну, здравствуйте! — Он с силой тряхнул руку Седюка.

Седюк сухо заметил, сбрасывая мокрое пальто:

— Простите, я вас не знаю.

Парень с шевелюрой довольно улыбнулся.

— Это ничего. Главное, чтобы я вас знал. Моя фамилия Гурко, я комендант этого района. Идемте, я вас поселю. Для начала в компании, а дальше — как добьетесь.

Они вошли в маленькую комнату с одним окном. Вдоль стен стояли две кровати, застланные чистым бельем. В головах каждой кровати, отделяя ее от окна, размещались тумбочки. Еще в комнате были стол и два стула. На одной из кроватей сидел Непомнящий и просматривал с рассеянным видом обтрепанную газету.

— Вот ваше место,— сказал Гурко, показывая на кровать у окна.— Ваши вещи под кроватью, я сам присматривал за доставкой — ничего не

пропало. Полотенце под подушкой, умывальник на кухне — из прихожей вторая дверь. Уборная на улице за домами. Место в квартире для уборной и ванной предусмотрено, но труб не завезли — война. Отопление водяное. Уборщица приходит утром, вы можете оставлять для нее ключ у сторожа — комната номер один, на первом этаже. Какие будут ко мне вопросы по квартире?

— Будут, но не по квартире,— сказал Седюк, вытаскивая чемодан из-под кровати.— Вы должны были, кажется, поселить девушку, по фамилии Кольцова?

— Поселил. Дом номер шесть, третий за вами, образцовое женское общежитие. Комната семнадцатая. Можете зайти к ней в гости, но пребывание после двенадцати часов ночи воспрещается. Больше вопросов не будет?

— Пока нет.

— Тогда покойной ночи. Счастливо оставаться!

Комендант ушел. Седюк разделся, вышел на кухню, с наслаждением умылся и вытер спину мокрым полотенцем. Когда он, надев чистое белье, возвратился в комнату, Непомнящий развешивал на батарее его пальто.

— Все мокрое,— пояснил он.— Если не положить тут, к утру не высохнет. Долго шли под дождем?

— Долго, всю площадку медного завода облазили,— ответил Седюк, принимаясь за ужин.— Что это у вас за газета?

Газета была старая, еще августовская. Непомнящий узнал, что более свежие газеты в Ленинск не поступали. Эту ему выдали из читалки после долгих колебаний, под честное слово, что завтра он принесет обратно.

— Хотите муксуна? — предложил Непомнящий, сочувственно глядевший, как Седюк уплетает черствый дорожный хлеб и банку свинины с горохом. — Великолепное творение природы. Король местных рыб.

— Знаю я вашего короля,— усмехнулся Седюк.— На фунт мяса два фунта соли.

— Королевское мясо — скоропортящееся,— философски заметил Непомнящий.— А знаете, пока вы где-то разгуливали, мы божественно провели время. Прежде всего — баня. Это не баня, а храм пара и мыльной пены. Там была вода — знаете, какая?

— Мокрая,— предположил Седюк.

— Лучше. Газированная. Она булькала от жары. Я еще нигде не встречал такой хорошо выделанной воды. Потом мы пошли в столовую. Вы спрашивали о Варе Кольцовой? Она сидела веселая и счастливая после бани и с наслаждением ела борщ из сухой капусты. Я только сегодня узнал, что сухая капуста — это настоящая вещь. Потом мы все смотрели в кино «Подкидыша». Вы видели?

— Кажется, видел. Напомните, о чем там речь?

— Если бы вы видели, то не спрашивали бы, о чем там речь. Такие картины запоминаются на всю жизнь. Непременно пойдите.

— Непременно пойду.

В дверь громко, настойчиво постучали. Непомнящий быстро сказал:

— Идет раздраженный человек, пожилой, злой и толстый — сейчас сами увидите!

— Войдите! — крикнул Седюк.

Вошел молодой парень, почти мальчик, в руках у него был телефонный аппарат и моток гибкого провода. Он недружелюбно осмотрелся.

— Кто здесь Седюк? — спросил он, хмурясь и стараясь придать своему открытому лицу суровое и недовольное выражение.

— Я Седюк. Что случилось?

— У нас ничего не случилось. У вас что-то случилось — во втором часу ночи загорелось... Звонили от главного инженера к Еременко, нашему

начальнику, и приказали сегодня же ночью поставить вам телефон. А Михеев, заведующий складом, вечером ушел к знакомым на именины, а куда — неизвестно. Еременко приказал мне временно снять аппарат у Норцова, заведующего конбазой, он в этом же доме живет. Норцов так перепугался, когда я ночью поднял его с постели, что и слова не сказал против. У него даже руки дрожали. — Монтер засмеялся, вспомнив Норцова, и тотчас же снова нахмурился. — Вам куда ставить аппарат?

— Давайте сюда, на тумбочку. Я только не понимаю, к чему такая спешка? Можно бы сделать завтра утром, взять аппарат со склада и не беспокоить никаких Норцовых.

— Сказано — сейчас же. Наш Еременко — вы его знаете? Он, однако, человек умный. Если звонит главный инженер, он не переспрашивает.

Разговаривая, монтер раскручивал провод, потом подставил стул и стал прилаживать провод к стене, прихватывая металлическими скобками.

— Можете разговаривать, сколько влезет, — сказал он, соскакивая со стула. — Я пока перебросил времянку от основной линии, там у вас в двери есть щелочка, я просунул провод туда. Завтра приду, сделаю по-хорошему. Ваш номер 3-14. Сейчас проверю, как работает.

— Алло! Кто это? Валя, ты? — Монтер искоса посмотрел на Непомнящего, повернулся к нему спиной и прикрыл рукой трубку. — Это я, Миша, проверяю линию. Как ты меня слышишь? А я тебя ничего. Слушай, Валя, как ты смотришь завтра насчет кино? У меня два билета заказаны. Почему с Сенькой, я же тебе еще вчера сказал, что достану! Ну, этого я от тебя не ожидал. Ты же обещала. А ты сама говорила, что хочешь пойти со мною! А в субботу? В субботу, говорю! Ну и не надо. Будьте здоровы! До свиданья!

Он положил трубку и стал скатывать остатки провода.

— Садись, поужинай с нами, — предложил Седюк.

— Спасибо, товарищи, не голоден. Так ваш номер 3-14. Если что-нибудь испортится, звоните на телефонную станцию, спросите меня — просто Мишу. Покойной ночи вам!

— Покойной ночи, друг!

— Любовь вроде домашней собаки — без нее скучно, с ней хлопотно, — заметил Непомнящий, когда монтер ушел. — Кстати, о влюбленных девушках. Часа два назад заходила чертовски красивая девушка. Такие встречаются раз в столетие, и то случайно. Она очень горевала, что не застала вас. Обещалась прийти утром в девять.

— В восемь меня уже не будет, — ответил Седюк, зевая. — Завтра мне нужно по крайней мере сорок часов нормального рабочего времени. Не до девушек, особенно чертовски красивых.

Он разделся и с наслаждением вытянулся на кровати. Только теперь он почувствовал, как устал. И тотчас над самым ухом оглушительно зазвонил телефон. Непомнящий снял трубку и осведомился, что случилось.

— Вас. — Он протянул трубку Седюку. — Начало плохое. Телефон похож на мартовского кота — его не прогонишь калошей и он не даст спать ночью.

— Вы товарищ Седюк? — спросил голос, показавшийся Седюку знакомым. — Это Янсон, главный диспетчер комбината. Сейчас звонил Валентин Павлович, просил передать вам, чтобы вы завтра зашли в отдел кадров, первый этаж, комната номер девять. Посмотрите намеченный список работников медного завода и доложите свои соображения Валентину Павловичу. Вы меня хорошо слышите?

— Хорошо слышу. Будет исполнено, — ответил Седюк, снова удивляясь неистощимой энергии Дебрева.

Он бросил трубку на рычаг и повернулся на бок. Но, несмотря на усталость, сон не шел. Седюка со всех сторон обступили впечатления сегодняшнего дня, живые, как люди. Он видел красную тундру и горы; дрожа-

шую в осеннем пальто молчаливую девушку с большими детскими глазами; другую девушку, высокую и красивую. Он слышал шум дождя, грубый голос Дебрева, потрескивание заливаемых водой костров. Он хмурил брови, забывая о сне. Нет, здесь будет нелегко. Здесь придется мучиться и драться, каждый шаг добывать усилием и потом. Что же, это не так уж плохо — он и не собирался отлеживаться в постели.

Непомнящий зевнул и осторожно поинтересовался:

— Вы не спите, сосед? На новом месте сон робок, правда? Знаете, местные старожилы, которые живут по году, рассказывали нам сегодня о полярной зиме. Страшная вещь. Солнца не будет три месяца. Сплошная ночь — пятидесятиградусный мороз и пурга во тьме на морозе. Полярная ночь тяжело действует на психику — это знание твердо завоевано медициной и народным опытом. Люди заболевают, сходят с ума, ссорятся с приятелями, расстаются с женами. Дети, родившиеся в полярную ночь, слабы и не приспособлены к жизни.

Седюку не понравились слова Непомнящего. Он сухо возразил:

— А вы уже трясетесь от страха, что попали в такое опасное место?

Но Непомнящий, видимо, не услышал в словах Седюка насмешки. Он ответил веселой и доброй улыбкой.

— Подумаешь, есть от чего огорчаться, — сказал он легкомысленно. — У меня был знакомый моряк, испытавший все штормы. Он любил говорить: «Не дрейфь, Игорь, завтра будет хуже». С тех пор я всегда придерживаюсь этой теории бодрого пессимизма. Зачем мне огорчаться сегодня, если завтра будет еще хуже? Я успею огорчиться завтра.

(Продолжение следует)



ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

УТРЕННИЕ СТИХИ

Я на кровати узкой просыпаюсь
и, полуголый, снегом обсыпаюсь,
и хохочу, и жарко мне в снегу,
и что хочу на свете я смогу!

Люблю я, чтобы мускулы гудели,
чтобы летали черные гантели,
и выбежать, чтоб улицы галдели,
чтоб девушки глядели
на меня!

Приветствую тебя, начало дня!
Приветствую вас, улицы Москвы,
вас, фабрики, троллейбусы,
мосты,

вас, магазины, ателье
и прачечные,
вас, девушки, в глазах смешинки прячущие,
вас, рослые, в ботинках лыжных

парни,
вас, утренние дымчатые парки!
Тебя приветствую, мальчишка с леденцом,
и, верхолаз, тебя — небесный житель,
тебя, пожарник доблестный с лицом
такого цвета, как огнетушитель...

Иду, смеюсь веснушкам чьим-то рыжим,

дышу пургой Садового кольца
и пирожки дымящиеся с рисом
беру с блестящей вилки продавца.
Я чувствую себя
объемной музыкой,
неутомимой,
движущейся,
мускульной.

Люблю заглядывать
в небывшее
и давнее.

Люблю придумывать
и видеть рядом
дальнее.

Причудливая,
пенная,
фонтанная,
цвета меняя,
бьет моя фантазия!

Глаза прищурю,
и сквозь снег я вижу:
вот в куртке замшевой
по пестрому Парижу,
дроздов монмартрских посвистом дразня,
проходит юноша,
похожий на меня.

Я отстраняю снег...
Я вижу Мексику.
Я слышу чью-то тоненькую песенку.
Вот с волосами длинными,
как ливни,
проходит женщина загадочная —
Лили,
смеется,

ничего не говорит,
и роза у нее в зубах горит...
Я, словно по какому-то наитию,
гляжу,
как зачарованный, на Индию.
Я вижу храмы древние
и пагоды,
и бедняков,
уставших после пахоты.
Исполненный смущенья и неловкости,
я трогаю рукой
росу на лотосе...

Я вижу Кипр...
У черных скал в молчанье
винтовки поднимают англичане,
и, головы кудрявой не клоня,
выходит юноша,
похожий на меня.
Он, даже умирая,
ненавидит.

* *
*

Со мною вот что происходит —
ко мне мой старый друг
не ходит,

а ходят
в мелкой суете
разнообразные
не те.

И он
не с теми
ходит где-то

и тоже
понимает
это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучимся мы с ним...

Со мною вот что происходит —
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.

А той —
скажите, бога ради, —
кому на плечи руки класть?!
Та, у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то
дальнего себе...

О, сколько нервных и недужных
ненужных встреч
и дружб ненужных!

О, вдумчивая просветленность,
приди на помощь
и разрушь
чужих людей соединенность
и разобщенность близких душ!



М. АЛИГЕР

★

ДВОЕ

Опять они поссорились в трамвае,
не сдерживаясь, не стыдясь чужих...
Но, зависти невольной не скрывая,
взволнованно глядела я на них.

Они не знают, как они счастливы,
и некому им это подсказать.
Подумать только: рядом, оба живы,
и можно все исправить и понять...

1956 г.



П. ПАВЛЕНКО

★

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ *

Глава 6

Афилон был при Кази-Магоме. Ждали взятия Цинандали, чтобы всей массой конницы ударить на Телав и выйти к Тифлису.

В штабе Кази-Магомы шла усиленная работа; сотнями делались копии с письма имама к закавказским мусульманам, заготавливались речи для Кази-Магомы, обсуждались вопросы довольствия конницы и людей, подсчитывались барыши от возможного грабежа кахетинских имений.

Тревожно и недоверчиво относился Афилон ко всей этой легкомысленной суете. Он не одобрял намеченной экспедиции, но, не будучи в силах переубедить имама, старался принять меры хотя бы к тому, чтобы вывести отряды назад с наименьшими потерями и наименьшим позором.

Никогда еще не предпринимал Шамиль набега, столь рискованного и не обеспеченного ничем, кроме слухов о турках.

Кахетия была христианской, веками боялась горцев и ненавидела их страшную крестьянскую ненавистью. С гор спускались хищники, не имевшие своего хлеба, не знавшие радости пекарей, фанатики скучной и ограниченной веры, приверженцы какого-то сурового рая на своих голых, бесплодных вершинах.

Грузины не ненавидели русских, жили с ними в согласии — единая вера облегчала тяжелый ход их неравноправной дружбы.

Грузинские князья тоже были непохожи на черкесских и кабардинских. Давно превратясь в помещиков и служа царю на военной службе, они уже перестали чувствовать себя вождями собственных деревень. Наконец, и тюрки Закавказья совершенно не напоминали тех мирных горцев Чечни и Дагестана, с которыми так легко удавалось Шамилю сговариваться и блокироваться против российских войск.

Хозяйства кормили их. Ханы, прибранные к рукам русским начальством, бесчинствовали так же, как и это самое начальство, но уже все меньше и меньше решали крестьянские судьбы. Третья власть правила Закавказьем — деньги.

Поход в Кахетию оправдался бы одним лишь соображением — десантом турок, но и ради них не согласен был рисковать Афилон славой своего имама. В ту ночь, когда отряд Исмила захватил Цинандали, а Муса балаханский выходил авангардом к Телаву, Афилон открыл свои мысли Кази-Магоме и Даниэль-беку.

— Ты против турок? — спросил его Даниэль-бек.

— Да. Они вовлекут нас в свои дела, возьмут последние наши силы и уйдут, не сказав доброго слова.

— Ладно. А кто, кроме них, нам поможет?

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 2, 3 с. г.

— Никто. Дело имама сделано. Он дал шариат, дал закон. Теперь нигде, даже под русской властью, не судят более по адатам. Он научил народ управляться джамаатом — и казаки переняли это. Он освободил рабов. Пусть кликнет клич: «Рабы, ко мне!» И русские мужики пойдут к нему тысячами. Они придут с конями, пушками и ружьями. Они приведут с собою жен и детей...

— Гяуры?

— Гяуры!

— Наше дело их не касается, — сказал Кази-Магома, — мы мусульмане.

— А франки помогут нам? — спросил Даниэль-бек.

— Нет.

— Инглизы?

— Нет.

— Валлах, Афилон, слово твое сухое, недоброе. Русский человек в тебе есть, мешает.

На рассвете прискакал гонец от имама. Кази-Магома прочел письмо и выругался. Отряду приказано было вернуться в горы и об отступлении тотчас донести с Афилоном.

— Вы с отцом одной головой думаете, — недовольно сказал Кази-Магома. — Сегодня Телав взяли бы, а через две ночи — Тифлис.

Упустив Цинандали, русские и грузины теперь полрно наседали на горцев, и Кази-Магома в душе очень обрадовался, получив разрешение прекратить опасный рейд, но делал вид, что расстроен.

Он быстро и ловко оторвался от русских, не щадя сил, повернул в горы, велел Афилону заворачивать назад все резервы, еще спускавшиеся с гор, чтобы не произошло толкотни на узких горных тропах.

Афилон вскочил на коня в рваном бешмете, в рваных чувяках. В пути узнал о появлении княгинь Чавчавадзе и распорядился именем Кази-Магомы держать их в особом положении. О важных пленницах он тотчас написал записку Кази-Магоме, так как тот еще ничего не знал, и послал конного вперед, к имаму, с докладом об отступлении и о княгинях. Сам же освобождал дороги, заготовлял в аулах сено и кукурузу и давал указания местным пятисотенным, что делать, если русские двинутся в горы по следам Кази-Магомы.

Во вторую ночь пути его разбудил муртазагет Шамиля.

— Вставай, едем, имам ждет.

Когда Афилон вступил в палатку Шамиля, стало ясно — произошло что-то страшное и на него, Афилона, надвигается, быть может, последнее испытание в жизни.

Бледный, с мутными глазами, Шамиль сидел на дырявом коврике, опершись локтем на затрепанную пчельковую подушку. Он дышал тяжело, хрипло. На ковре перед ним валялась карта Грузии. Цинандали были зачеркнуты.

— Виновный знает свой час, — сказал Шамиль, глядя на Афилона своими страшными зелеными глазами.

— Мой час, Шамиль-эффенди, длится семь лет, — спокойно ответил Афилон. — Зачем звал, имам?

Шамиль насмешливо улыбнулся.

— Не я звал тебя, — сказал он, — это совесть тебя позвала. Говори, в чем виноват.

Афилон промолчал. Не начинал разговора и Шамиль.

— Можно идти, имам?

— Пришел, так держи ответ. Вины на тебе накопилось много.

Шамиль был настроен гневно. Спокойные белые руки его нервно перебирали янтарные четки, губы подергивались судорогой, шевелившей усы и бороду:

— Цинандали Кази-Магома хорошо взял, княгини в плену. Начало доброе,— сказал Афилон, все еще не понимая, зачем он зван.

— Ха! Доброе!

— Туржанский ничего не давал знать?

— Ха! — Шамиль отбросил четки, руки легли на кинжал.— Твой Туржанский — шпион, все вы шпионы. В том году, когда Воронцов шел на Дарго, у меня много русских офицеров было. Я сказал: убить всех. Солдат пусть живет, офицера — убить, и я верно решил. Сегодня скажу: всех кяфыров, какие есть в горах, всех их убить.— Шамиль покачал головой, тихо сказал: — Афилон, Афилон! Я тебе верил, Афилон! — и внимательным взглядом оглядел инженера:

— Мы жили и работали с тобой, имам, семь лет, открой свои мысли, что случилось? Туржанский бежал, изменил? Что такое он сделал? Какую новость привез тебе гонец из Тифлиса?

— Такая новость, что я не могу пойти на Грузию и Кази-Магому не пушу, вот какая у меня новость, Афилон. Двадцать лет дрался я с русскими, не думал, что такой день у меня будет.

— Твое будущее, имам, есть мое будущее. Открой сердце!

Шамиль печально качал головой.

— Кяфыр, Афилон, кяфыр. Голова твоя несет одно горе, один позор. Афилон закрыл лицо руками.

— Княгинь буду менять,— с небольшой надеждой произнес Шамиль, словно был один.— Возьму у царя сына своего Джамалдина, миллион рублей с царя возьму, раздадим деньги народу, опять силы соберем.— Шамиль говорил тихо, бессвязно, яркая, рыжая, с проседью по краям, борода его дрожала:

Афилон молчал.

Замолчал и имам. Потом он ударил рукой по колену, сжал челюсти.

— Много горя ты у меня имел, Афилон, худой стал, старый стал. Трудно тебе воевать, не можешь. Сколько я ни верил тебе — ничего не выходит.

— Имам, хочешь сказать, что я не нужен тебе?

— Кто тебя пожалеет, тот пропадет.

— Так не жалей.

Шамиль промолчал.

— Ты мне за поляка ручался. Я подумаю о тебе,— сказал он тихо.

Никто не знал, что произошло с имамом.

Случилось же следующее: вчера Шамиль получил письмо из Батума от Селяма-паши в ответ на свой план, посланный с Туржанским. Вместо признательности за проявленную имамом готовность содействовать туркам и за быстроту сборов паша делал упрек и даже выговор Шамилю, как простому подчиненному, за действия, которые до времени не должны были иметь наступательного характера. «Русский офицер привез мне письмо, рассказал мне о совершенных тобою ошибках».

Шамиль пришел в ярость.

«Придут, начнут действовать по-своему, нас за людей перестанут считать», — и решил быстро и твердо, как все всегда решал: туркам не помогать, отряды вернуть в аулы. «Это Туржан, аллах его погуби, беду мне наделал», — думал он, ища виноватого, и тогда же приказал явиться Афилону, чтобы отвести на нем душу. Но ни ему, ни даже сыну своему не мог он высказать истинные причины гнева. Они были слишком страшны. Последствия их трудно было представить. Нет и никогда уж отныне не будет той таинственной и могучей силы султана и Турции, которая всегда стояла за спиной Шамиля.

Шамиль отбрасывал неверный, неравный этот союз.

У него сразу же возник план — просить за пленных княгинь сына, отданного царю аманатом в 1839 году в Ахульго, ставшего офицером гвардии.

«Этот будет советником,— думал он ласково и хитро.— У русских вырос, все о них знает».

Да. Вернуть сына и передать ему Кавказ. Если есть люди против Кази-Магомы, то кто будет против Джамалдина? Кто с ним сравняется по опыту, по уму? Никто.

Он отдавал верность султану за верность сыну.

«А самому уехать в Мекку мухаджиром, пасть у гробницы пророка и долго молиться о своей жизни, ни о чем другом не мечтая».

На рассвете прибыл в шатер имама сын его — Кази-Магома — и тотчас вызвал к себе Афилона.

— Алибек, имам присудил тебе смерть, — сказал он быстро, — но я упросил его. Тебя приказано посадить в яму на Гунибе. Молись. Срок испытания твоего не указан. Выпустить, когда русские пойдут на Гуниб.

— Я понял. Это значит — сидеть до смерти.

— Молись, — сказал Кази-Магома.

Четыре дня шли отряды Кази-Магомы, потом остановились на отдых. Никто не знал, что будет дальше. Кази-Магома, сын имама, не распускал людей по домам и был недоволен набегом: много потерь, толку мало. Ожидали второй экспедиции за Алазань.

Бойцы отдыхали. Как всегда в набеге, за отрядами плелись ку-стари — кузнецы, оружейники, лекари. Они суетились теперь с утра возле коней, отпускали шашки, чинили ружья, торговали порохом.

Нежданно-негаданно прошел слух — набег закончен и люди расходятся по домам. Пленных ханш велено было отправить в Дарго, к имаму, с ними всех дворовых людей.

Народ недоумевал. О турках не было никаких слухов. Походы откладывались.

Сурхай, сын его Раджаб и знакомый мюрид Исубилау из Чоха решились, не мешкая, ехать домой. По дороге к ним присоединился под конвоем двух мюридов и Афилон.

Он был угрюм и печален. Его ни о чем не спрашивали, один Сурхай по глазам понял, что дело плохо, но и он не знал, да и не имел досуга помочь ему.

— Опять будем порох делать, — утешил он его наскоро.

— Нет, теперь не до пороха.

— Э-э!..

— Имам должен иметь виновных — иначе нельзя. Сегодня ты несешь позор, завтра — я, одна его голова чиста. Так надо.

— Ты прав, я и не спорю.

Кази-Кумух благословен базарами. В Кази-Кумухе всем торговали. Из Баку сюда привозили на вьюках соль и бязь, из Дербента рыбу. Кубачинские резчики сбывали в Кази-Кумухе чеканные ножны для шашек, серебряные пояса и женские украшения; амузгинцы торговали стальными клинками, схожими с хорасанскими. Они же делали ружья, бьющие дальше русских, так называемые «крымские», и плели красивые и легкие кольчуги. Сюда привозили бурки из Анди и тонкую белую шерсть из Хунзаха, деревянную посуду из Бацады и глиняные горшки из Балхара.

В Кумухе Ак-Сурхай здорово торговал. За персидскую вазу, разбитую на девять кусков, кубачинец дал золоченые ножны для шашки с костяным нежнейшим рисунком, три браслета, вязаных из темной серебряной проволоки, и две папахи пороку. Кубачинцы за всякую вещь, на которой был хороший рисунок, могли дать любую цену. Бычка, выменанного за подковы, тоже продали, а купили ягнят.

Грузинских девок Ак-Сурхай долго не соглашался менять, но, поговорив с сыном, тоскующим по молодой грузинской ханше, одну все-таки выменял, а вторую старик решил взять на мельницу — для сына. Оставили у себя и грузинского старика.

— Хороший давла имели, — говорил теперь Ак-Сурхай. — Хоть пять лет не воевать.

Он хоть и радовался успехам, но не вслух, на людях же помалкивал и ссылался на дряхлость.

Исубилау тоже торговал хорошо.

Один Афилон был мрачен.

В Кумухе на базаре Сурхай встретил ходжалмахинца Юсуфа. Служил он в давние годы у Марьи Андреевны и сам был женат на бывшей русской.

Как только узнал Ак-Сурхай, что жена Юсуфа — русская, сразу решил через нее подыскать жену для Шакро и для Исмила. Тот, уезжая с пленными в Дарго, очень просил Ак-Сурхай найти ему бабу. Требовалась дорогая невеста.

Вечером гости сидели на балкончике впереди сакли, занавешенной от людей кисеей. Пили чихирь. Ак-Сурхай, когда бывал в чужих краях, не дичился, ел, что дают, пил, чем угощают, но сын пробовал вино впервые, стеснялся.

Жена Юсуфа в полугорском костюме сидела в комнате у двери, чуть поодаль от мужчин, как подобает жене горца.

— Сколько туманов дать? — спросила она старика Сурхай, как только услышала его дело.

— За два золотых не сделаем?

— Ех. За два золотых ищи сам. Я тебе женщину предлагаю, а не што. Я одну бабу знаю, — говорила она, — клянусь богом, как персик. Двадцать один год, румянец по всему телу.

— Где? — спросил Ак-Сурхай.

— Здесь. Две недели как в горы привели — кизлярская. Не порчена, ну, конечно, не девушка.

Долго торговались и потом послали за хозяином русской девушки.

С ним покончили быстро, и невеста Исмила, в одной грязной рубаше на черном заскорузлом теле, пришла в саклю. На дворе за саклей развели огонь, вскипятити воду, невеста вымылась и, одевшись в городской костюм, вышла к мужчинам. Она была невысока, но казалась большого роста и тоньше, стройнее, чем горянки, хотя в то же время ничуть не слабее их. Лицо красное, сильное, глаза мягкие, голос очень умеренный.

Она говорила по-кумыкски.

Жена Юсуфа не позвала ее сесть при мужчинах.

— Вот взяли они тебя, Клавдия, в хозяйство, — сказала она. — Они для кунака берут, русского, нашей веры. Слыхала я о нем. Джигит, сукин сын, молодец, оторви башка, любить будет.

— Воля ваша, — сказала девушка. — Спасибочка, теть, что выручили.

— Ничего. Скажи, пусть заезжает, магарыч с ним выпьем. Хозяйство будет, пришлешь чего.

Она покопалась в ковровых сумках, развешанных по стенам сакли, нашла конфетку, дала Клавдии.

— Гости уйдут — кликну, вина выпьешь.

Исубилау, понимавший по-русски, кашлянул.

— Брось, тоже еще мухаммеданин, — сказала ему жена Юсуфа.

Исубилау засмеялся в бороду.

— Да я што. Девка хороша — оттого вздохнул. Не было бы своих трех — ее взял бы.

— Вот за что вас Шамиль, жеребцов, и держит — на баб не скупи-
тись. Тебе хоть десять дай — прокормишь. Твои плодятся?

— Восемь душ, мал мала меньше. Что ни год — три баранчука.

Сурхай поднялся.

— Дело сделано, можно спать, — сказал он, — да и молитву не про-
зевать бы. — И он вышел, а за ним заторопились и Исубилау и сын.

Вечерело. Аул запевал со всех краев печальную мелодию вечерней мо-
литвы. Остро и болезненно зывали тонкие голоса будунов. Было что-то
нечеловеческое в их голосах, словно не живое существо издавало их, а бы-
ла это игра ветра в щелях скал, звук высоко падающего ручья или стон
клинка, звучащего при взмахе.

Скоро из кунацкой послышалось усердное бормотание.

Мужчины молились.

И тотчас за муэдзинами запели пленные грузины. Они пели в яме.
Пели двое мужчин.

Жена Юсуфа и Клавдия стояли на балкончике перед саклей, гости во-
зились возле коней.

Грузины пели великую простую песню, гимн солнцу — «Лиле». Будто
стояли они на высоком утесе и встречали первый рассвет, молодые, силь-
ные и счастливые.

Клавдия заплакала, и, прикрикнув на нее, заплакала жена Юсуфа.
Исубилау покачал головой и надвинул папаху на самые глаза. Старик
Сурхай с сыном стояли и слушали, ничего не говоря. «Хой-да Лиле-да!
Ди-де-би!» — пели грузины сильными, немножко резкими молодыми голо-
сами. Яма была глубока и прикрыта сверху досками, песня шла глухо-
вато, как бы схваченная слезой, но слезе негде было пролиться, так про-
ста и так радостна была мелодия:

Ис-ква-ми бин гой-да ши-ле-да
Ой-да Ли-ле-ге!

Вот мы стоим, встречая солнце, говорили они, и нам ничего не надѐ,
кроме этой безмерной радости. У нас есть все — и молодость и сила, и
это солнце тоже наше.

Но были грузины бедны, несчастны, больны, давно не ели, одежда ви-
села лохмотьями. Да и родина их была не так уж счастлива, и солнце не
так приветливо, но они любили свою родину, свои сады, свои песни — и
эта любовь одна держала их сердца и укрепляла волю.

Многие жители вышли на крыши домов и слушали. Здесь порядки
были свободные, не то что в Аварии, в Хиндаляле, в Андии, где пороли
за всякую вольность.

Никто не прерывал грузин.

Дослушав до конца песню, гости пошли опять на базар. Торговали
при свете костров и сонно галдели.

Разговоры были очень свободные. Кубачинцы, жившие так высоко и
недоступно в горах, что к ним не забирался ни имам, ни русские, — куба-
чинцы народ бывалый. Они везде шлялись, торгуя поясами, браслетами
и кинжалами. Они говорили:

— Исфагань лучше Кази-Кумуха, Тифлис тоже лучше, Астраханы —
плохо, зато Стамбул не город — счастье, или Каир — большое счастье.

Кубачинцы не блюли шариата. Они пили вино и кричали, правда не
громко: «Где молоток в руках — там и мой аул». Им было все равно —
война или не война, работы было по горло. Андийские бурошники под-
ражали им. Раньше они продавали бурки казакам и офицерам, посылали

в Моздок, в Кизляр, в Тифлис, а теперь из гор выхода нет, и они бедствовали.

— Имамат помогает тому, кто сюда товар возит, а кто отсюда вывозит — тому смерть.

Касумкентские турки играли на тарах и пели персидские песни. Раджаб слушал и удивлялся. За такие поступки в Аварии били палками. В Аварии не было ни песен, ни музыки, ни танцев. Только у имама русские пленные играли на барабанах и дули в трубы перед большими сражениями.

Раджаб, видя здешние порядки, и удивлялся им и мрачнел. Молодая грузинская ханша стояла перед глазами. Ее плечи были белы, полны, грудь из-под тонкой рубашки глядела глазасто, ноги длинные, все привлекательно, пышно, больно и сладко глазам.

Раджаб до поздней ночи шатался по затихающему базару, слушал песни, смех, глядел на диковинные товары, приценивался к коням и, вернувшись к отцу, заснул, чтобы наутро вспомнить о вчерашнем, как о выдумке сна. Жизнь, которую сейчас увидел он, понравилась ему. «Уйду к русским... — мелькнуло в уме. — У нас, в горах, никакая жизнь не получится».

Из Кази-Кумуха выехали вчетвером. В пути пристал мастеровой человек, бацадинец, — он делал деревянные чашки с серебряной насечкой. Афилон же остался в Кумухе со своими конвойными, которые хотели побывать в ауле Кубачи и лишь потом двинуться к Гунибу. Сурхай кое-что подарил им, чтобы они не спешили, потому что хотел быть в Гунибе раньше Афилона и, если удастся, облегчить тому дело.

Бацадинец ничего не продал, все вез обратно и жаловался:

— Я косой, и в руках у меня сила малая, — говорил он. — Я в набег не могу ходить. Я чашки делаю, подносы, хороший узор знаю и ловко насекаю его, да кому продать? Нынче стали глиняные горшки делать, дешево стоят, все их берут.

Бацадинец уже решил, что, как вернется домой, уйдет на соль. Кто соль бьет, тому весь почет, на войну не берут, налог малый.

— Порох надо делать, — сказал Исубилау. — Один мой кунак пушки льет. Отлил орудие — получает серебром. Или бомбы лить.

Но старик Сурхай имел опыт во всем. Когда-то он первый стал собирать бомбы после сражения. Четыре сакли доверху набил бомбами. Покойный Хаджи-Мурат приезжал посмотреть и дал серебряный рубль. Потом налетел Кибит-Магома, собрал ишаков со всего аула, велел грузить бомбы, везти в Дарго. Аул собрался, старики сказали Сурхаю: «Хочешь жить, как человек, — оставь такие дела. Смотри сам, у всех хозяйства стоят, а мы бомбы должны возить. Будешь ими заниматься — уьем».

— Сад, сад! — закричал старик, рассказав историю. — Сад надо иметь, кукурузы немножко иметь, ишака надо иметь, три курицы надо иметь, пять овец надо иметь!

— Русские все равно порубили твои деревья, порезали кур, — сказал сын. — Спроси Исубилау, как он поступал, когда у русских был.

— Я ничего, я не грабил, — ответил тот, смущаясь. — Ну есть, конечно, абреки, аллах им судья. Здорово грабить мастера. Я бы генералом был — войска увел бы, лавки открыл. Лавками нашего брата можно легко покорить. Соли б привез, подков — всего, чего надо.

Старик Сурхай при этих словах весьма оживился.

— Это было бы хорошо, — сказал он, — мы бы все лавки тогда сразу ограбили.

Путники рассмеялись.

— Вот если бы я был русским генералом, — продолжал старик, — я бы серебряные абазы раздавал. А то лавки построить... А чем покупать

товар? Вот я сколько везу, — показал он на вьюки, — сколько добра взял, а денег не заплатил ни абаза. А купить я не могу, сил нет. Ты хороший генерал, Исубилау, — закончил он, — иди в Шуру, скажи твое слово, может, вправду лавки построят, тогда далеко в набег перестанем ездить.

Глава 7

Высокий, но тонкий, болезненно бледный уланский корнет, сопровождаемый дежурным офицером, подъехал на извозчике к зданию главного штаба. Едва светало. Дворцовая площадь была пуста. Выстроившись в длинный ряд, дворники дружно подметали ее — со стороны казалось, что они косили. Окна Зимнего дворца блестели бельмами.

— Дошкандалился, видно, — сказал один из дворников, кивая в сторону подъехавшего офицера, бледный и расстроенный вид которого наводил на грустные размышления.

— На Кавказ pošлют — всех и делов-то. А отголь — с крестом, и начинай сначала, — ответил другой.

— Нет, тут дело другое. В секретную взошли... Видать, ждали.

— Ну их к чертям, чего тебе... Нашел тоже заботу.

Дежурный офицер ежеминутно вынимал из карманчика шаровар часы и, внимательно на них поглядывая, торопливо вел бледного корнета по длинным, пустым и гулким коридорам штаба.

— Сюда, пожалуйста... Теперь налево... Прошу сюда... — И наконец ввел его в приемную начальника главного штаба, еще пустую, но уже накуренную табаком. И тотчас вышел навстречу сам Чернышев.

— Здравствуйте, Джамалдин Шамиль. Вызвал вас. По личному желанию государя. Сейчас. Все от него. Я лишь в смысле предверсии. К вам глубочайшее доверие. Глубочайшее. Это иметь в виду.

Корнет еще более побледнел.

— Я всегда, — сказал он на прекраснейшем русском языке, слегка окрашенном едва заметным металлическим акцентом, — считал государя императора своим вторым отцом. Его внимание ко мне...

— Едем. В смысле предверсии — точность и краткость ответа, доверие, что вам желают добра.

Коляска, запряженная тройкой серых, не русской выучки коней, уже ждала их. Чернышев и корнет — это был старший сын Шамиля, сданный заложником в 1839 году, а теперь офицер русской службы, красавец, самый видный жених в Петербурге и будущий крестник самого императора — пересекли в коляске Дворцовую площадь и с набережной подъехали к одному из незаметных служебных входов Зимнего дворца.

— Ваша светлость... Государь получил мое письмо?

Лицо Чернышева покрылось морщинками. Это было улыбкой.

— В смысле предверсии, — сказал он, — вопросы не приняты в стенах дворца.

В темном коридорчике входа их ожидал дежурный лакей.

— Пожалуйста-с, ваша светлость, ожидают-с.

И боковой торопливой походкой он ринулся в глубь длинных и запутанных ходов нижнего, очень низкого и темного этажа.

Откуда-то пахнуло баней и березовым веником, сладким запахом казанского мыла. Слышалось шлепанье домашних туфель. Стоял запах лаковых сапог.

По узкой лестничке они взбежали куда-то очень невысоко, во что-то солнечное, дачное, почти не дворцовое.

Чернышев остановился.

Комнатка выходила на Дворцовую площадь. На стенах — баталии. В воздух, густо наполненный запахами ковров, духов, кожи, просачивался отдаленный аромат щей и ржаного хлеба.

— Да, — негромко раздалось из-за двери.

И через несколько секунд Джамалдин Шамиль вошел в кабинет Николая. Он был угловым, и два света — один, с площади, рассветно-сизый, другой, со стороны сада и Невы, уже солнечный, яркий, — немножко путали глаз. Николай сидел за столом и что-то писал. Он был в халате, в туфлях на босу ногу, с открытой волосатой грудью.

Чернышев почти неслышно приветствовал царя.

— Здравствуй, мой друг! — по-домашнему просто и кратко сказал Николай Джамалдину. — Прости, обеспокоил. Важные новости для тебя.

Он прошелся по кабинету, как бы вспомнил что-то.

— Ты, конечно, знаешь о результатах кахетинской экспедиции твоего батюшки. Так вот. Княжны Чавчавадзе и Орбелиани у него в Ведено. Он готов нам вернуть их, как сообщает Михаил Семенович. В обмен на них нужно тебя, мой друг, и тридцать тысяч серебром.

Офицер закусил губу.

Николай взял его за плечи.

— Знаю, мой друг, твое душевное состояние и разделяю его, поверь, но говорю с тобой, как с человеком государственным. Что делать?.. Я верю в твое благородство, в твою верность... Скажу больше — я крепко на тебя рассчитываю в сем деле.

— Ваше величество, я знаю, что вы не пожелаете мне зла...

Император искоса взглянул на офицера, явно не веря словам его, но запоминая их, чтобы использовать в разговоре, и откровенно радуясь тому, что они произнесены. Он отошел от офицера и, приблизившись к скну, заговорил, глядя на оживающую площадь:

— Я знаю, что у тебя были другие планы. Я одобрял твое намерение принять православие и соединиться с русской девицей. Тебе пора породниться с Россией. Но... это может прийти позднее. Хочу думать, что твой отъезд к отцу будет временным. Говорю как твой опекун, как друг. Я поручаю тебе судьбу Дагестана, Джамалдин, и все свои интересы на Кавказе.

— Я сделаю все, что вы найдете нужным мне поручить...

— Спасибо. Рад, что мы понимаем друг друга. Я ничего не поручу тебе, кроме пожелания: останься верен присяге и не забывай России.

— Могу ли просить вас, государь?

— Скажи...

— Позвольте мне выехать к отцу после принятия православия и...

— Рано, мой друг. Поспешность, ничем не вызванная. Что скажет отец твой, увидя сына христианином? Нет, нет. Ты вернешься домой мусульманином, старшим сыном имама, наследником его власти... Любовь же, я тебе скажу, только выигрывает от кратковременных испытаний. Я сам поспежу тут за твоими делами. Можешь быть совершенно спокоен. Ну, до свидания, мой друг, спасибо. Уверен в тебе. Князь позаботится о твоем отъезде. С богом, родной! — И он отечески поцеловал молодого офицера в бледный, холодный лоб.

Свидание было очень коротким, но, тем не менее, оно сразу сломало всю жизнь молодого Джамалдина Шамиля и, что ни говорил Николай о будущем, не исправляло пока ничего для его будущего. Все кончилось сразу. Джамалдин не знал гор, не помнил родины, он вырос русским. Офицер из него вышел очень эффектный, хотя и чересчур красивый. Не в меру развитой умственно, не зная гор и родины и не чувствуя влечения к ним, а мечтая о будущей жизни русскими мыслями, Джамалдин давно уже затеял переход в православие и женитьбу на Ольге Михайловне Олени-

ной, дочери не крупного орловского помещика, только что окончившей один из столичных институтов.

Царь знал об этом, одобрял и обещал подарок на обустройство хозяйством. Год назад он говорил на приеме во дворце:

— Считай меня, друг мой, крестным отцом, так сказать, посаженным, я буду тебе вместо отца.

Теперь все это счастье рухнуло. Надо было ехать в горы, жить в грязных, нищих аулах и помогать отцу править разорванной страной и воевать с царем.

Слыша много рассказов о Шамиле, Джамалдин боялся его и твердо чувствовал почему-то, что вырваться скоро из Дагестана ему не удастся.

Когда подъехали к штабу, Чернышев нарушил молчание.

— В смысле предуведомления, — сказал он, весь поморщившись, — государь возложил на вас миссию весьма важную. — И галантно пропустил молодого корнета вперед, как уже кого-то другого, нового, не офицера, а наследника имама, не своего подчиненного, а большого и редкого гостя.

Сначала это удивило Джамалдина, но сейчас же понравилось. «В самом деле, — думал он, слыша за собой нежные, легкие шаги Чернышева, — многое можно будет там изменить. Если закончить войну, помирить отца с государем, тогда все уладится. Господи, хоть бы уж скорей все это...»

И, как бы понимая его мысли, Чернышев сказал заботливо:

— Все готово: охрана, фельдъегери, тройки — скакать и скакать. Ни шагу в сторону. Только вперед.

— Мне бы хотелось попрощаться...

— Куда, куда! — замахал на него Чернышев. — Не на смерть едете — к родному отцу. Почет. Слава. Миссия историческая.

И ночью же от здания Главного штаба тронулся экипаж Джамалдина. Приказано было скакать, не жалея коней.

Николай в течение дня несколько раз осведомлялся о состоянии Джамалдина.

— Тоскует, — отвечал Чернышев.

— Отлично. Не размыкайте мне этой тоски. Быстро доставить в горы. А девице прикажи писать ему. С лазутчиком передавать лично Джамалдину. Ну, не мне тебя учить, что там надо... жду и так далее. Письма сам просматривай.

Чернышев поклонился одними глазами.

— Да там этому, брату ее, в Апшеронский полк написать, чтобы дурака не сваял, чего доброго. Не выкрал бы Джамалдина... Что скажешь обо всем?

— Сомнения-с!

— А?

— Слабоват телесно и духом робок.

— Любимый сын, да к тому же старший. Тоска у него, большой... Ну, господь даст, не подведет. А ей сказать — нежности больше в письмах. Ну, да тебя не учить.

Глава 8

План Шамиля потребовать за грузинских княгинь сына Джамалдина и миллион рублей серебром почти удался. Сына русские возвращали, а вместо миллиона пришлось согласиться на тридцать тысяч.

Джамалдин ждал конца переговоров сначала в Грозной, потом в Темир-хан-Шуре. Шамиль не раз присылал стариков проверять, действительно ли русские привезли ему сына, и хотя со времен Ахулько прошло

много времени, в молодом, красивом офицере легко узнали мальчика, сданного генералу Граббе.

Торжественный церемониал обмена должен был состояться на реке Мичик. Старик Сурхай, участник Ахульгинского дела, тоже поплелся на это зрелище, которому имам придавал значение праздника.

Тысяча конных под командой Мусы балаханского, ставшего после измены Хаджи-Мурата старшим кавалерийским начальником, все наибы и все бойцы, имеющие ордена, должны были присутствовать на торжестве возвращения в горы Джамалдина.

Уже подбирали штат для его маленького двора, и Раджаб, как человек, знающий кяфыров и сведущий в их языке, был выделен в ординарцы к Джамалдину.

Сурхай волновался, собираясь на Мичик. После кахетинского набега хозяйство его немножко наладилось. Грузинский старик оказался отличным работником, а грузинская девка стала крепкой хозяйкой. Была она не очень красивая, слов нет, но работала здорово, болтала мало и хоть к мусульманской вере была не очень радива, зато вела себя тихо, задумчиво. Сначала Сурхай хотел было отдать ее сыну Раджабу, но тому было сейчас не до женитьбы, не до семьи. То и дело гонял его старый имам в крепость Шуру с письмами к русским по поводу обмена, и Раджаб стал уже бойко лопотать на солдатском языке. Служба его была очень доходная. Керим Асадуллаев платил десять рублей серебром за хлопоты по делам с заготовками кож и шерсти. Обращались к Раджабу с разными личными просьбами и наибы. Одевался он чисто, красиво, имел богатого коня, раз в неделю видел имама и был у него на хорошем счету. Телесная слабость и раны теперь не мешали Раджабу, а свежая голова его только сейчас почувствовала настоящую жизнь и свою силу в этой новой для себя, но, несомненно, более увлекательной, чем сражения, жизни. Раджаб душился дешевыми духами и чем-то мазал реденькие усы, от чего они делались, как проволочные.

И старик понимал, что отдать сыну грузинку в старшие жены теперь совершенно невыгодно, потому что за Раджаба можно взять дочку любого наиба. Но грузинка была под рукой, и, чтобы много не думать о ней, Сурхай сам женился на ней. Было ей лет семнадцать, имя выбрали ей — Айша.

Хозяйство стало совсем хорошее. В обезлюдевшем Гергебиле было по-прежнему просторно, тихо.

В вырубленных садах грузинский старик развел виноград.

По вечерам, окончив работу, садились они на крыше сакли, ругались, спорили. Сурхай делал ему выговоры, учил.

— Нехорошо себя ведешь, — говорил он грузину. — Наш закон песен не любит. Курить наш закон запрещает, а ты песни поешь, траву куришь, вино тайком делаешь.

— Ты наши места видел, а?.. — отвечал грузин. — Как мы живем, видел? Нравится? А почему у нас хорошо? Что хотим, то и делаем. Хотим — вино пьем, хотим — чачу пьем, хотим — курим, хотим — не курим.

Грузина, хоть он и кяфыр был, в Гергебиле все полюбили — веселый, честный. Сурхай сдружился с ним, как с родным братом.

И вот теперь Ак-Сурхай волновался, не зная, что будет дальше с хозяйством, не зная, что будет с сыном.

Если сын уйдет на имамскую службу и женится в чужом ауле — погибнет гергебильское родное гнездо. Но уговаривать сына вернуться к хозяйству он тоже боялся: большой доход был на службе у имама.

Тут только и вспомнился Афилон. «Свой человек был, все знал, совет мог дать». И старик стал еще взволнованнее собираться на Мичик, надеясь встретить там многих знакомых, получить от них совет и поддержку

и что-нибудь заодно разузнать относительно судьбы Афилона, о котором мельник слышал лишь, что он по прибытии в Гуниб был закован в железо в сакле при пороховом заводе.

Жизнь Афилона перед возвращением в Гуниб была удивительно богата впечатлениями.

В Кази-Кумухе он познакомился с лакцем Сагитом, который за пять рублей серебром обещал познакомить его со всем аулом Кубачи, куда Афилону предстояло заглянуть вместе с конвоирами, сбывавшими грузинские клинки.

Сагит был родом из аула Шовкра, близ Кумуха, но всей жизнью своей связан был с кубачинцами. Только что вернулся из Тифлиса, где прожил с полгода, паяя кастрюли и торгуя на армянском базаре кавказскими поясками. Из Тифлиса привез он с собой четыре сумки вещей, нужных в горах, менял их на кинжалы и пояса или выдавал в виде задатков. Ехать с ним было весело.

Сагит два раза бывал в Стамбуле, раз — в Мекке. Жил работой серебряника и лудильщика, торговал кое-чем.

— Приедем в Кубачи, увидишь, в чем дело, — сказал он Афилону при первом знакомстве. — Мы себя «урбугами» называем, беспокойный народ, мутилы. Тихо жить не умеем. Надир-шах и тот от нас отступился.

Афилон и Сагит, погрузив хурджины на ослов, двинулись в Кубачи через Уркар, конвоиры же, взяв слово с Афилона, отправились другой дорогой. Встретиться условились в Кубачах.

Узкие кривые ущелья с каменной полочкой-дорогой по краям кружили между высокими, частыми, напозающими одна на другую горами. Узкие ущелья были набиты грозами. Все было дико вокруг, почти не тронут человеком. Сильный, коренастый лес грудился на склонах гор и по берегам шумных речушек. Старые деревья могуче торчали из воды, а мелочь поднималась на самых крохотных островках, корягах и чуть посыпанных землей камнях. Реки бежали по лесу.

Уже гора Табакахануза, справа от которой аул Кубачи, почувствовалась впереди, как Афилон и Сагит встретили у родника невысокого старого человека. Свершив молитву, он отдыхал лежа, облокотясь на локоть. Взглянув на старика, Сагит погнал своего ишака рысью.

— Отдыхать не будем? — спросил Афилон.

— Нет, не будем, — махнул рукой Сагит, — нам лучше раньше в ауле быть. — И решил сократить дорогу, миновав стороной аул Кара-Корейш, посмотреть дома которого так когда-то советовал Афилону каменных дел мастер Халил.

В маленьких ущельях уже стояли сумерки, и чем далее, тем становилось темнее. Выползал туман — быстро свежело. Скоро Сагит потерял дорогу.

— Ты мне все дело испортил, — бормотал он Афилону. — Глаз тяжелый имеешь.

— Беды нет, — отвечал Афилон. — Разведем костер, заночуем где-нибудь.

— Э, заночуем! Так все мое дело испортится. Знаешь, это кто был? Наш Абдулла. Он три года как ушел, Стамбул видел, Алжир-город видел, Испань — слышал место такое? Испань тоже видел. Два раза наши возвращались назад из Стамбула. Слух о нем приносили, будто нашел Абдулла большие богатства, сам большим человеком стал.

— Значит, неверно сказали — какой он богатый!

— Э, так про нас нельзя говорить. Кто шел за добром да бедным вернулся, тот свое лицо потерял. Тот домой не вернется. Абдулла знаешь кто такой? В Тифлисе за его работу в пять раз дороже, чем за мою, дают.

В Стамбул приходишь — о нем спрашивают. Был я в Мекке — и там о нем слышал... Если Абдулла товар привез, я ничего не продам, вот чем мое дело плохо.

Но уже быстро темнело в горах. Легкое зеленоватое небо постепенно скрывалось в темноте вокруг частых мелких звезд. В холодном воздухе горной ночи запахло беспризорностью.

Лес кончился, голые, пустынные горы протянулись впереди, тропа исчезла, и возникла страшная, необжитых высот зыбкая тишина. Но вот где-то очень далеко едва-едва дрогнул воздух, неясный шорох коснулся тишины.

— Собаки! — сказал Сагит.

И верно, скоро можно было разобрать громкий лай нескольких псов. Запахло овцами. Мелькнул и погас огонек. Кто-то вскрикнул легко и счастливо в просторной тишине ночи. Но сам аул все еще был невидим. Его не различил Афилон, даже входя в темные проходы между саклями и слыша дробный стук молоточков за каждой стеной. Улицы были грязны и узки, с навесами.

— Э-э-эй! Сагит из Стамбула идет домой! — закричал Сагит. — Э-э-эй! Сагит пришел из Стамбула с товаром!

Все темнело и темнело. Они как бы углублялись в дырявый и узкий туннель со щелями, в которые светили звезды.

Было поздно, но в саклю Сагита быстро сбегались люди.

Войдя к себе, Сагит открыл ногой дверь в кунацкую, опустил хурджин на дырявый палас и что-то крикнул женщинам, будто отлучался лишь по соседству. Звон медной посуды и шепот хозяек родился рядом.

— Садись, отдыхай, — сказал Сагит Афилону. — Сейчас базар сделаем.

Не присев ни на минуту, он стал опорожнять хурджины, осторожно вынимая из них старые толедские клинки, пояса турецкой работы, медные, с резным рисунком кувшины и плитки старого фаянса, обернутые в тряпки.

Разбрасывая товар по коврам, Сагит громко рассказывал о своих приключениях входившим соседям, немилосердно привирая и хвастаясь заработками. Соседи слушали, причмокивая языками, и осторожно приглядывались к вещам или, вернее, к рисункам на них.

— Много лет будет. Китай.

— Да. Много лет. Старше Надир-шаха.

— А таких мы и не видели. Арабский.

— Индия. Не много лет, но красивый.

— Это Индия? Афган это, не Индия. Я знаю.

— Это Бухара, аллах меня ослепи. Я сам такие видел в Бухаре.

Вот они сидели, эти люди, слава которых давно занимала Афилона, и руками, черными от кислот, перебирали вещи, гладили рисунки, любовались раскраской.

Две плитки фаянса завернуты были в печатную бумагу. Афилон протянул к ней руку.

Обрывок французской статьи из неизвестной газеты от неугадываемого числа оказался перед его глазами. Он быстро пробежал едва сохранившийся текст — речь шла о возможной войне на Востоке — и стал разглядывать его с тем же глубоким вниманием, с каким мастера разглядывали рисунок, пытаясь проникнуть в его родословную.

«Ничего не пойму, — сказал он себе, отбрасывая газету, — не помню, не представляю, что там».

Из кунацкой доносились громкие голоса.

— Три барана!

— Три барана, мешок кукурузы за кумган!

Ночь была сыра, прохладна и так далека от всего, что сейчас тревожило Афилона, что чувство сиротства и ненужности своей прохватывало его насквозь. Он заплакал. Он стоял над аулом, пусто и тупо глядел в ночь, и слезы катились по шершавому, обветренному лицу его, пощипывая кожу.

— Один, один,— бормотал он, и ему хотелось сказать это громко, без страха.— Я один! — произнес он глухим голосом.— Я один!

На голос его залаяли псы со двора.

— Посвети ему, чтобы не упал вниз,— сказал в кунацкой Сагит, и мальчуган неловко выбежал на балкон с глиняной чашкой, в которой горело масло.

— Я один,— сказал он мальчику.

Тот, стесняясь, показал ему рукой во двор, где расположен был нужник, и первый спустился вниз по шаткой лестнице, крича на псов. Афилон лег на дырявый палас и, закрыв руками голову, уснул.

Ему снилась жена Шуанат и уже, наверно, родившийся второй сын. Снился Гуниб — его могила. «Быть может, бежать?» — но тотчас он растерзал эту мысль.

Утром он проснулся от криков Сагита.

— Вставай, кунак, вставай! — услышал он и вскочил.— Пойдем смотреть, что привез Абдулла. Сейчас из их сакли голос был... Пойдем, первые будем.

Стояло позднее утро, но аул, как и ночью, стучал молотками. Вереница женщин в красивых костюмах, несхожих с аварскими, с золотыми покрывалами на косах, тянулась к источнику. Кувшины были удивительной формы.

Сагит шел очень быстро, почти бегом, и Афилон едва поспевал за ним. Всюду ковали, резали или точили металл и камни. Мастера работали на крышах домов. Вот карабкалась на гору улочка кузнецов, кующих ножны кинжалов и бляхи поясов, вот улочка токарей, работающих на слоновой кости, вот улочка граверов. Держа в левой руке вещь, а в правой — штихель, мастера неподвижно сидели на крышах домов. Руки их едва двигались, нанося первые контуры будущего орнамента. Прищулив глаза, они вглядываются в грубые тела ножен, блях, придумывая размах рисунка и медленно находя его «картш» — его ритм, его движение. Рисунок еще едва намечен, но все яснее и яснее ведет рука бороздки и штрихи. Если картш найден, глаз смело пронесит его рисунок на данной плоскости. Ошибок почти не бывает, хотя молоток лежит рядом, у ног мастера. Неверная дрожь руки — и, оглядываясь по сторонам, чтобы никто не увидел, мастер берет молоток и с двух ударов превращает вещь в комок металла.

Вот справа протянулся квартал мастеров мархарая, растительного орнамента, слева — квартал тутанакша, орнамента линейного. Там, ниже, мастера женских украшений, а возле мечети мастера, делающие орнаменты для украшения молитвенных столиков и переплетов корана.

Резчики по меди занимали край аула перед ушельем.

Аул работал и пел. В темных глубоких улицах его, крытых переходами из дома в дом, шумели люди. Скупщики готовых вещей и продавцы серебряного и золотого сырья, армяне и турки, кричали на перекрестках. Старики кубачинцы, в чалмах хаджи, посетивших Мекку, в турецких фесках, в кистинских папах или в грузинских широкополых войлочных шляпах, сонно прислушивались к торговой ругани молодых.

— Э, франка! — сказал один из них Афилому. — Коман са ва? Стамбула гедирсан?

Сагит, понимавший, очевидно, о чем тот сказал, быстро ответил:

— У него другой путь, не трогай его.

И они вошли, бесцеремонно расталкивая толпу, в кунацкую Абдуллы. Так же, как и кунацкая Сагита, она была убрана фаянсом и резной медью, оружием и остатками древних вещей, покрытых едва видимым рисунком.

На маленьком столике турецкого стиля лежало добро, привезенное из странствий. Люди, перебирая его, чмокали губами и молча отходили в сторону. Вместе с Сагитом пробился к вещам Афилон и опустился на колени перед столиком.

— Ай-ай-ай! — тихо и страшно прошептал Сагит.

— Что? — спросил Афилон.

Сагит не ответил. Он глядел.

На столике лежала груда мелких фаянсовых черепков. Ничего больше. Пожелтевшие, в трещинах, они еще сияли сине-голубым родосским рисунком. Тут были ручки чаш, носики кувшинов, краешки роскошных блюд. Рисунок то начинался на них, то проходил по обломку средней своей полосой, то едва мелькал среди трещин робкой конечной линией. Но он был весь — от края до края — виден глазам мастеров, которые по первым намекам узора уже схватывали его картш, его ритм, его повторение. Обломки звучали им, как первые аккорды мотива, за которым дальше следило одно воображение.

Афилон один не умел представить себе пышное развертывание граната на блюде, потому что он видел маленький щербатый кусочек этого блюда с тремя неясными линиями рисунка, но мастера видели и форму этого блюда и его рисунок и, взвешивая на руке грязный осколок фаянса, говорили негромко и уважительно:

— Это блюдо. Очень красиво. Это хорошее блюдо.

Сам Абдулла сидел в сторонке, расспрашивая гостей о новостях и не глядя на привезенное добро.

Сагит схватил нос кувшина, потряс им в воздухе.

— Вот мархарай для шашки! — сказал он, задохнувшись. — Лучше надиршаховой шашки будет. Продай!

Абдулла опустил глаза, сказал сухо:

— Для дома привез. Пусть в доме будет.

Сагит робко положил на стол огрызок фарфора. Когда вышли, он сказал Афилону:

— Приданое дочке привез Абдулла. Если б я был молодой, сегодня взял бы ее к себе. А так не отдаст за меня, две жены у меня есть.

Он шел домой злой, молчаливый, часто останавливаясь поговорить на перекрестках.

— Кто ее возьмет! — говорил он. — Таких у нас и мастеров нет, чтобы отдать ему добро с пользой. Такой мархарай один Абдулла взять может, никто другой не умеет.

Придя домой, он схватил ножны кинжала, приготовленные для рисунка, и, выйдя на крышу, пробежал штихелем по белой и тупой голизне серебра, как бы записывая только что взволновавший его картш. Скоро раздался удар молотка. Афилон выглянул из кунацкой. Сагит, накрыв голову буркой, укладывался спать среди бела дня.

Скомканный молотком кусок серебра валялся рядом.

Афилон прибыл в Гуниб, так и не дождавшись своих конвоиров. Старшина уже знал, что надлежит ему делать с пороховщиком. Дав ему час побыть с женой, он пришел объявить свое решение. Днем Афилон может находиться дома, ночи же обязан был проводить в яме, возле старшинной сакли.

— Ладно. Придет, — ответила Шуанат.

Афилон лежал лицом вниз на чистом земляном полу сакли. Лежал, вдыхая запах своего дома, гнезда, где рождались его дети.

Только что он узнал, что умер второй сын Шуанат. Пугливо докладывала она о несчастье, хотя душа давно приняла страшную потерю. Первый сын был наказанием за ее грехи, второй — за отцовы, родится третий — тот будет жив и счастлив. Ее испуг питался другим чувством — вдруг не захочет ее Афилон, отвергнет, прогонит, лишит третьего сына.

Но как он мог бы остаться сейчас один?

— Э-э, алон Афилон!.. Я еще крепкая, посмотри... Вот нога. Вот грудь, а?.. Дай твою руку сюда, нет, сюда, ближе. А?.. Не надо лицо терять. Будет ребенок, аллах покарай. Двоих рожу. Четверых рожу.

— Да. Этого сына не отдадим.

— Я старшину просила — зла делать не будем. Говорит, делайте порох. Порох — ваше спасение. Сурхай был здесь, пешкеш ему тоже сделал.

Афилон встал с полу.

— Иди, я подумаю, как станем жить.

— Мне идти некуда.

— А, верно, сядь рядом, молчи.

Объездив множество аулов и узнав сотни ремесел, питавших народ, Афилон начал теперь понимать — горская судьба шла к гибели. Ничто не могло спасти ее. Страна изнемогала от войны и только ею — войной — кормилась. Нищий Дагестан, никогда не помнивший себя сытым, еще держался, но Чечня, видя поля незасеянными, уже склонялась к миру. Наибы сообщали с мест о нищете и голоде, об усталости, о том, что матери не родят детей, что кумыки посылают послов к сардару, что молодежь завидует веселой жизни под русским законом.

Шамиль оставался непреклонен. Неукротимый в стремительном порыве создать из отдельных племен народ, нацию, он еще верил в будущее. Но уже разуверялись самые твердые. Высокая вера в свою борьбу и ее победный исход держала Шамиля в спокойствии. Курильщикам протыкали гвоздями ноздри. Пьяниц нещадно пороли. Отбирали земли у нерадивых хозяев. Вдов неукоснительно выдавали замуж, если в течение трех месяцев со дня вдовства они сами не находили себе мужей.

В Гунибе, Согратле и Унцукуле строили пушечные заводы.

Народ хотел веселья — имам разрешил конские скачки в Дарго, у себя на глазах. Победитель получал рубль серебром или телку. Никто не скакал на глазах у имама. Народ хотел песен — позволено было распевать зикры и даже допущено исполнение в мечетях религиозных зикристских кружений, но при имаме никто не решался петь. Шамиль посылал лазутчиков к кабардинцам, шапсугам, балкарцам и абадзехам, склонял на свою сторону ногайские племена и вел разговоры с мирными аулами вдоль Кубани и Лабы. Гребенские старoverы рубили скиты в лесах за Дарго. Шамиль обещал им приютить древнюю казачью веру.

Но уже разуверились самые верные. Кибит-Магома был в опале. Инженер Хаджи-Юсуф бежал к русским. Любимый сын Джамалдин, надежда гор, не успел съесть отцова хлеба, стал уговаривать его замириться с русскими.

— Их страна велика. От Темир-хан-Шуры до Петербурга едут верхом месяц.

— Наездники! — иронически замечал имам, отказываясь серьезно обсуждать вопрос о мире, хотя после неудачной крымской войны, ослабившей силы царя, Шамиль мог ожидать хороших для себя условий мира.

Джамалдину был указан для пребывания отдаленный аул Карата и выбрана жена — дочь наиба Талгика, человека большой славы и верности.

— Я не нужен тебе как помощник? — спросил сын.

— Ех. Отдыхай. Здоровье твое плохое.

Впрочем, раз или два Джамалдина вызвали для командования в набегах, сначала под опекунством тестя, затем под контролем самого отца. Славы не получилось.

— Отдыхай! — И больше не вызывали до зимы.

В середине зимы Афилон был препровожден под конвоем к Кази-Магоме.

— Ты брата, Джамалдина, еще не видел? — спросил тот, встретив Афилона приветливо и вместе с тем как бы равнодушно, без вопросов о личной судьбе того, хотя судьба Афилона красноречиво глядела исхудалым зеленым лицом праведника, насквозь иссохшей фигурой и беспокойной сединой в клочковатой, когда-то кудрявой бороде.

— Съездим к нему, он спрашивал о тебе, имам разрешил.

И как Афилон ни отговаривался, заставил его в тот же вечер выехать. Джамалдин жил на положении почетного пленника. Молодая жена его, девочка лет четырнадцати, была сторожем его одиночества.

Наслушавшись во время странствий своих по аулам много сплетен о старшем сыне имама, Афилон рассчитывал увидеть хлышеватого столичного офицера, смеющегося над отцом и его историческими делами, и был сбит с толку, увидя большого юношу с грустным, страдающим лицом, окруженного зачитанными до дыр русскими книгами.

На грубо сколоченной полке возле железной, госпитального типа кровати стояло полсотни книг в переплетах и без них, преимущественно путешествий. Валялась в изобилии газета «Кавказ», с отчеркнутыми статьями. Над изголовьем кровати висела русская военная карта Кавказа с дарственной надписью: «Корнету Джамалледину Шамилю от составителя дружески».

В комнате пахло аптекой. Пузырьки и баночки занимали особую этажерку у низкого, маленького, застекленного окна — новинки в горах.

Большой лежал под мохнатым шведским пледом, похожим на шкуру медведя.

— Гостя к тебе привез, большой мастер рассказывать, — сказал Кази-Магома, входя согнувшись в комнату Джамалдина. — Афилон... знаешь о нем.

— Как же, как же! — весело сказал больной на отличном русском языке, одновременно приветствуя брата на дурном аварском и делая обоим широкий пригласительный жест рукой. — Я вас давно хотел повидать, но вы были неуловимы в последнее время.

Кази-Магома, неуклюжий в сравнении с тонким, изящным братом, с добродушной иронией оглядывал комнату и трогал незнакомые вещи, скептически поджав губы, как взрослый трогает наивные и не всегда понятные игрушки ребенка.

— Рассказывайте, где были, что видели. — Он бегло оглядел Афилона и, поняв, какую жизнь пришлось вести ему, больше не глядел на него.

Афилон стал вяло рассказывать то, что уже рассказывал Кази-Магоме в пути относительно выделки сукон, горшков и оружия. Больной слушал его без особого интереса. Он сам хотел говорить и, как только представился случай, перебил Афилона.

— Вы масон? — спросил он и удивился, получив отрицательный ответ. — Впрочем, я хорошо знаю вашу историю. Она была бы не так уж необыкновенна, если бы произошла с человеком примитивным. Вы давно здесь?

— Я дома уже десять лет, — ответил Афилон.

— Я хорошо представляю, что это такое. Я поэтому и хотел вас видеть. Десять лет в горах! Я могу утешать себя только тем, что столько, конечно, не проживу. Горы — это ужасно, вы не находите?

— Я люблю их.

— Да ведь и я тоже. Но когда отсюда закрыты двери в мир — мне душно.

— Там, в России, у нас, тоже не очень свежо.

— Вы верите в дело отца? — вдруг тихо и ласково спросил Джамалдин.

— Да.

— Вы думаете и теперь так же?

— Да.

— Это ошибка. Вы должны знать, что такое Россия.

— Я знаю.

— И...

— Тем не менее дело вашего отца я считаю беспрюграммным. Конечно, не в том непосредственно прямом смысле, как это считает он сам.

— В каком же тогда?

— Отец ваш создал такую могучую организацию войны, которая не может перестать действовать, даже если бы он этого захотел. Он воспитал поколения героев и создал характеры. Он оказывал и оказывает громадное влияние на российское законодательство, и, если ему не суждено стать вождем Кавказа, он уже стал одним из великих деятелей России, как Болотников, как Пугачев, как...

Афилон хотел привести еще имя. Джамалдин перебил его:

— Да, да, я понимаю...

— Шамиль — явление европейское. Проголосуйте в русской армии имя лучшего военачальника, и солдаты вам назовут Шамиля. Он легенда, и потому уже дело его беспрюграммно.

— Однако свалить Россию...

— Да, он не свалит. Гарибальди сделал для объединения Италии не больше, чем для объединения малых народов России, особенно италийских, сделал Шамиль. Хороший удар, говорят игроки в бильярд, никогда не пропадает даром.

— В таком случае нужно поднимать за собой весь мир, а?

— Согласитесь, не Францию же Наполеона III поднимать ему. А мир феодализма им поднят.

— Вы утопист.

— Нет.

Джамалдин на минуту закрыл глаза.

— Ко мне приходят люди, мне пишут: «Скажи отцу, что мы устали». Я говорил ему. Он: «Русские тоже, наверно, устали, я их бью двадцать пять лет». А ведь можно было бы, пожелай отец, выговорить условия, поистине великолепнейшие, и сохранить за ним и за нами, его наследниками, права управления.

— Царь не может дать Шамилю то, чем не владеет он сам.

— То есть?

— Он не может дать ни Шамилю, ни вам права ссылать и уничтожать ханов, что пока Шамиль делает в полное свое удовольствие. Царь не может позволить, чтобы во владениях Шамиля все религии пользовались уважением, так как этого нет у него самого. Царь не может позволить своим солдатам превращаться в полноправных граждан Кавказа. Царь не может позволить существование режима, который будет являться соблазном для других народов России, хотя бы и стоящих на более высокой ступени развития. Царь может дать Шамилю одно право — стать ханом. Но принять такой подарок — значит сказать себе, что ты не жил.

— Я вижу, что отец воспитал из вас утописта и фанатика по собственному подобию, — по-прежнему ласково улыбаясь, сказал Джамалдин и, откинув плед, перегнувшись с кровати, чтобы взять склянку с каплями.

Рука его была голубой, как бы промерзшей.

— Вы не встречали у нас в горах капитана Оленина? — спросил он после долгого молчания. — Он брат одной очень близкой мне особы, оставшейся там.

— Кажется, возвращен в обмен.

— А-а, хорошо.

Больной устал, его знобило.

Раджаб несколько раз уже заглядывал в комнату с раздраженным лицом, давая знак Афилому, чтоб он кончил разговор.

— Не буду утомлять вас, пойду.

— Одну минуту! Я понимаю, вас не влечет традиционный хинкал, но, может быть, я сумею угостить вас книгами. Не стесняйтесь, смело берите, что понравится.

Афилон подошел к полке.

Повести Гоголя, барон Брамбеус, Пушкин, рукописная тетрадь стихов Лермонтова.

— Нет, благодарю вас. Я... — он обернулся к двери на голос входящего Кази-Магомы, — да, да, сейчас!.. Я затруднен сейчас читать, моя сакля темна для всего этого.

Джамалдин грустными глазами глядел на Афилона, не говоря ни слова.

Начиная с 1856 года дела имама резко пошли на убыль. В том году наместником кавказским назначен был князь Барятинский, друг царя, баловень, генерал, о каком мечтала всегда кавказская военная молодежь, — игрок и позер, игрок беспощадный.

Честолюбие его было ярким, неукротимым, даже рискованным. Он пришел и выдвинул таких же, как сам, беззаботных смельчаков и упрямец.

Со смертью князя Аргутинского легенда о солдатском генерале не имела опоры в жизни, и Барятинский выдвинул имя генерала Евдокимова, выслужившегося из солдатских детей, отчаянного храбреца и человека жестокой, мрачной воли, разрушителя по своему характеру.

Всегда известный как хороший командир, Евдокимов долго не выдвигался, чему мешало его низкое происхождение. Теперь он сразу рванулся к славе. Внезапно занял долину Мичика, ударил на Гудермес. Шамиль выслал против него всех трех сыновей — большого, умирающего Джамалдина, Кази-Магому и Магомета-Шефи, юношу.

Евдокимов разбил их наголову и едва не пленил.

Горцы называли его: Учгез — Трехглазый.

С 1857 года, повторяя метод Ермолова, Евдокимов начал рубить леса, сады, заросли, ставить мосты, вести дороги. Взял Аргунское ущелье, загнав наиба Чечни Талгика в глубину гор. Мичиковский наиб Эски сдался русским с тремя мюридами. Шамиль приказал выселить мичиковские аулы в горы, подальше от русских, — Евдокимов в ответ зажег леса. Теперь он не вырубал, а жег. Огонь достигал людей и уничтожал мирных вместе с немирными. Подобных злодейств не совершал даже покойник Донгуз-Аргут, праху его да не будет покоя.

Пожары шли быстрее драгун и казаков, безмолвно подчиня сожженную землю русскому царю. Огонь работал быстрее топора и лопаты.

Все валилось из рук в горах. Чечня — склад имама, хлеб его армии, — Чечня была в руках русских.

Надо было искать новый хлеб и новые пути войны, и с тем же спокойствием, какое вот уже двадцать пятый год было известно его ближайшим, Шамиль послал людей к ингушам и наэрановцам, под Владикавказ, и поднял их на безумное, не могущее иметь успеха восстание. Никто не смел бы поверить, что в дни неудач найдется еще хоть сотня свежих людей. Шамиль нашел их.

Восемь тысяч аварцев и чеченцев бросились на поддержку восставших ингушей. Судьба русских была на волоске. Уже всем стал ясен дерзкий план Шамиля.

Афилон, зная в Гунибе лишь отдельные звенья этого плана, плакал от возбуждения и восторга.

Великий старец гор волновал его сильнее, чем в прежние годы.

Но разбит у Черного моря Магомет-Эмин, горит Чечня, нет под рукой у имама ни Ахверды-Магомы, ни Шуаиба, ни Хаджи-Мурата, а у русских такая могучая, такая жестокая душа, как Евдокимов.

Шамиль быстро двинулся горами к Владикавказу, обложенному ингушскими отрядами. Евдокимов следом вгрызается во фланги, принуждает измученные переходом войска имама к пяти-шести сражениям в день, разрушает аулы, сравнивает с землей кладбища, вырубает сады, жжет леса и, наконец, рассеивает горцев вблизи Владикавказа. Чужие в этих местах, без языка, без друзей, чеченцы и аварцы разбегаются во все стороны. Их добивают прикладами, вырезают на ночевках местные жители и волокут в кровавых мешках их головы к русским начальникам. Чанто-аргунцы нападают на своего наиба Гамзата. Кистинцы, никогда не знавшие ничьей власти, спускаются с гор изъявить покорность царю. Переходит к русским Сабдулла, наиб гехинский, умирает от чахотки Джамалдин.

Зимой, в декабре, Шамиль внезапно появился в Большой Чечне. Снега еще дышали дымом летних пожаров. Грозя крепости евдокимовской, имам устремился на запад, в центр Кавказа, но вскоре войска имама двинулись назад, в Дагестан, преследуемые Евдокимовым. Они уходили в глубину глухих гор, Учгез шел за ними, не страшась ни холодов, ни гор, ни болезней.

В ротах осталось по тридцати человек.

— Если останется и по одному — все равно буду стремиться вперед, — заявил Евдокимов.

— Пока доберемся до Шамиля, некому будет драться.

— Если останусь я один — и тогда не поверну.

Шамиль распорядился заманивать русских в глубь Ичкерии, отсюда им не было выхода в зимнее время.

Но тут сдался русским собака Даниэль-бек, тесть Кази-Магомы, ханская душа. Сдался наиб Талгик, тесть покойного Джамалдина.

Евдокимов тотчас обложил столицу имама Ведено, взял в кольцо семь тысяч отборных бойцов. Бросив Ичkerию, Шамиль стал пробиваться в андаляльские аулы, посылая приказы укрепить Гуниб. Он тоже решил сражаться до последнего человека.

Чувствуя близкий конец войны, сам Барятинский спешно прибыл на кавказскую линию, хотя подагра еще затрудняла ему езду верхом и подолгу приковывала к постели. В свите его ехали Талгик, малочеченский наиб Дуба, мичиковский Эски, ичкеринский Умалат, тесть Кази-Магомы Даниэль-бек — вся слава и честь имамской войны. Имам велел укрепить правый берег Койсу блиндированными галереями, скрытыми в скалах и недосягаемыми ни с какой стороны. Тут вспомнили, что в Гунибе живет Афилон, которому обещано помилование за сражение на Гунибе, если оно когда-либо будет. Теперь сражение несло к Гунибу. Афилон вызвали в ставку.

— Когда я сплю, и тогда голова твоя в моих руках, — многозначительно сказал ему Шамиль.

— Да, имам.

— Укрепи все, что видишь.

Укрепляли Килитлинскую гору. Строили крепость Ичичали. Но генерал Врангель с налета взял сагрытлохскую переправу в одну ночь. Хунзахцы

и койсубулинцы тотчас изъявили покорность русским. Побросав незаконченные укрепления и оставив в Ичичали одиннадцать пушек, имам ушел в Карату. Каратинцы послали сказать ему, что не хотят драться. Тогда имам повернул к Гунибу и в дороге получил известие, что вышел к русским сам Кибит-Магома с братом Муртузали и двумя мюридами, из которых один был Раджаб, сын Сурхая.

Это был конец всему. Кибит-Магома, четвертый имам, праведник, — у русских!

— Ладно, мы будем драться в Гунибе! — сказал Шамиль. — Афилон, аллах услышал тебя. Видно, я поступил с тобой неверно.

Ночью, вблизи Гуниба, на узкой тропе, люди праведника Кибит-Магомы отбили тридцать выюков из обоза имама — все серебро, все книги, всю казну имамата.

Человек, оспаривавший у Шамиля власть, богомолец и праведник Кибит-Магома, признал русских. Партия мира и капитуляции получила крепкого вождя с именем, почти равным имени Шамиля.

Но Шамиль упрямо собирал последних людей своих в Гуниб. Комендантом крепости был сын, Кази-Магома. Съезжались последние верные. Из Чечни прибыл одноглазый, однорукий и одноногий Байсунгур, с юга — наиб Хосро, из Хунзахского наибства — Доного-Магома, из Хиндалаяля — Закарья, правивший там после гибели Идриса.

С Кегерских высот, занятых русскими, каменный стол Гуниба виден от края до края. Одиноко стоит он в толпе окрестных гор, господствуя над ними, каменный имам Дагестана. Склоны его круты и поднимаются на версту и более, образуя сверху широкое блюдо. Тихо лежит на нем аул. Афилон, не зная сна, перегораживал тропы из ущелья высокими завалами, рвал порохом проходы меж скал, загромождал ущелья битым камнем. При двух тысячах бойцов гора была неприступна. Но Шамиль прибыл всего лишь с четырьмя сотнями вооруженных и тремя пушками. Вспоминались дни Гергебиля, но людей тех лет уже не было. Погиб Халил согратлинский, погиб и Омар чохский, а Байсунгур стал седым, дряхлым. Мельник Сурхай не в силах был поднять шашку — ему поручили хлеб. Он собирал из домов последнюю муку, последнее зерно. Имя его проклинали всюду, но близкий конец имама, как близкая смерть, делал его сухим и жестким. Он как бы поменялся характером с имамом. Тот подобрел, стал нервен, суетлив, а мельник вел себя, как судьба, — молча и строго.

Большой от затыжной бессонницы, постаревший от неудач, спокойно и важно глядел Шамиль на голодные, окровавленные толпы бойцов последнего своего сражения, собиравшиеся к Гунибу.

Никого не было среди них из тех великих храбрецов, имена которых вызывали когда-то восторг и страх.

Десяток абреков из дальних мест, не успевших удрать домой, сельчане Гуниба да сотни две беглых русских, не смевших сдаться своим генералам, составляли гарнизон крепости. Исмил управлял тремя последними пушками. Наиб Закарья стал на первую линию заграждений, Хосро — на вторую, Афилон — на третью. Сыновья Кази-Магома и Магомет-Шефи дрались всюду. Голубой значок имама возил седой Байсунгур, всем известный, как молитва.

В это время многотысячное царское войско, не торопясь, обкладывало Гуниб.

По утру Шамиль выезжал на темно-гнедом кабардинском коне к обрывам перед Кегерскими высотами и подолгу глядел на русский лагерь. С Кегера, отделенного от Гуниба ущельями Кара-Койсу, на сером, в яблоках, коне, сопровождаемый трубачами, офицерами свиты и группой почетных пленников во главе с Кибит-Магомой, показывался Барятинский.

Шамиль с развевающейся по ветру рыже-седой бородой сидел на коне — через пропасть — в одинокой величавости, один среди камней и неба.

— Великий старец гор, великий старец! — задумчиво говорил Барятинский, качая барственной головой.

Третьего дня пришли письма императора и военного министра. Оба писали, что, если представится случай замириться с Шамилем, надо мириться. Надежды на разгром его живы в русском сердце двадцать пять лет и неисполнимы, как чудо. А между тем положение в Европе требует мира. Посол в Турции пишет, что Шамиль зондирует почву о посредничестве султана, готов твердо смириться.

Но Барятинский — баловень жизни, игрок, и, глядя на старика с рыже-седой бородой, в белой чалме, он не хочет мириться с ним. Он хочет взять его живым. Это история. Барятинский знает больше, чем следует знать кавказскому генералу, он знает, что такое игра, он понимает в искусстве и сам когда-то писал недурные стихи. Непримируемость имама волнует его, как охотника, хоть он и понимает, что осторожнее бы, конечно, заключить мир.

Начальники русских отрядов против штурма Гуниба. Эту дьявол-гору можно взять ценой многих тысяч жизней, и все-таки никто не поручится, что в результате штурма Шамиль попадет в их руки. Генералы помнят историю Ахульго, когда Шамиль исчез из горящей крепости, спустившись по веревке в ущелье, и восстал в сиянии новой славы, когда его считали убитым.

Отрядные начальники советовали длительную осаду. Барятинский требовал немедленного штурма. Тогда ему посоветовали передать командование другому генералу, чтобы позор неудачи пал не на его красивую и горячую голову. Он не согласился.

Он сделал больше. Из собственных денег обещал десять тысяч рублей серебром тому, кто приведет к нему живого и невредимого Шамиля. Сто рублей каждому, кто первый взберется на завалы Гуниба, три рубля серебром каждому, кто будет ранен при штурме. Он играл. За сто—двести тысяч рублей стоило приобрести Шамиля.

Двадцать четвертого августа батальоны ширванцев и апшеронцев начали штурм.

Впереди стрелков поползли охотники с лестницами, канатами и железными крючьями. Цепляясь за камни, полезли вверх пластуны. Сверху отвечали градом камней. Юнкер Луговской вскарабкался первым на утесы, трижды был сбит камнями и, окровавленный, потеряв саблю, с голыми руками, в четвертый раз взбирался на крутизну, к последней славе Кавказской армии. Барятинский глядел на него в бинокль, кусая губы.

Юнкер, высокий, мощный юноша, с лицом барса, вбивал кирку в трещину скалы, цеплялся за выступы камней, снова втыкал кирку и подтягивался на ней, висая над ущельем. Горцы не видели его, но камни, скатываемые сверху, то и дело ранили Луговского. Тучи пыли засыпали глаза, но он прилип к отвесной скале, вцепился в нее и висел, изредка делая несколько осторожных ползков вверх. Теперь в него попадал каждый летящий с гребня камень, и скоро белая рубаха юнкера стала розовой на спине и руках.

Глядя на звериное упорство его, пластуны и апшеронцы под жестоким огнем преодолевали крутизну тропы. К первой сотне смельчаков быстрым шагом подходил, затем побсжал, не теряя строя, свежий батальон апшеронцев. Слышно было, как он поет под шаг:

Эх, ма-гушка роди-мая, про-сти, про-сти, про-сти,
Ах, дев-ца-краса-вица, о пав-шем не гру-сти!
Эх, дья-волы, лохма-тые, вставай-те на пу-ти!
И-их, душенька солдат-ская, ра-сти, ра-сти, ра-сти!

Заслышав песню, юнкер в густо покрасневшей рубахе стал карабкаться живее, кирка его заработала с новой силой, но вырвалась из ослабевших рук, когда он вылезал уже на самый гребень, и, мелькнув на солнце, упала на чьи-то солдатские головы внизу.

Главнокомандующий, кусая губы, не отводил бинокль от глаз.

Юнкер подтянулся на руках, лег животом на гребень утеса, потом привстал на колено, потом с трудом поднялся во весь могучий рост и, разведя руки в стороны, как пьяный, шатаясь, пошел навстречу десятку аварцев, сидящих за каменной изгородью. Он шел, махая руками в воздухе, окровавленный с головы до ног, вид его был страшен даже издалека. В него выстрелили. Он закрыл глаза кровавой ладонью и снова стал двигаться на аварцев, ничего не предпринимая для своей защиты. Раздался второй залп, но со стороны — апшеронцы взбегали на гребень, стреляя на бегу. Пятясь от безоружного юнкера и не отвечая на стрельбу, аварцы исчезли один за другим в узких ходах между нагроможденными камнями.

К отвесу скалы, по кровавому следу юнкера, саперы уже крепили лестницы и вбивали железные костыли в трещины камня.

Кази-Магома, Хосро, Афилон, Закарья бросились в шашки. Однорукий и одноногий Байсунгур, сопровождаемый Сурхаем, полз с кинжалом, добивал раненых русских.

— Йа адлах! Йа аллах!

Отбили.

Солдаты катились вниз. Лестницы падали в ущелье.

Глава 9

Безумное движение князя Барятинского в глубь гор волновало Кавказскую армию. Близкая победа радовала и пугала, предрешая конец всему тому героическому бытию, которое в течение десятилетий стало обычной жизнью сотен тысяч людей.

Покорение гор давно уже было единственным содержанием многих жизней, а для генералов являлось единственной школой войны и школой храбрости, без которой войска погрузились бы в сонный казарменный быт.

Победить так скоро и легко никто не хотел, ибо победа была концом веселой и опасной боевой игры, играть в которую привыкло целое поколение офицеров и солдат и без которой все они превращались в нечто обычное, серое, безымянное.

Победа делала их безработными и возвращала из гор в Россию, в бездну мирного быта, где не предвиделось ни орденов, ни выдвижений по службе, ни рискованной, напряженной жизни охотников с отважными приключениями, ни самостоятельности, ни, наконец, славы, потребность в которой была старой чертой кавказского военного характера.

В конечный успех, однако, верили очень немногие. Скорее ожидали катастрофы, вроде даргинской в 1845 году, и ахали и качали головами, где именно случится она и кого захватит в свой гибельный поток.

Двадцать третьего августа лагерь на Кегере, где стоял шатер главнокомандующего, представлял собой большой и шумный город палаток.

Десятки штабных офицеров из Петербурга и Тифлиса, прибывших за орденами, сотни раненых, которых некогда было отправить в Шуру, и тысячи не имевших никакого дела, а слонявшихся в ожидании торжества, с утра заполняли шесть маркитантских палаток Марьи Андреевны и Керима Асадуллаева, пили и плясали под музыку полковых оркестров и под песни легкораненых, тоже хмельных с зари.

Накануне был фельдъегерь из Петербурга с монаршими милостями. Барятинскому пожалован Георгий 2-й степени, Евдокимову и Милютину

(начальнику штаба)—звания генерал-адъютантов. Щедрые награды внушали очень верную мысль, что по взятии Гуниба будет еще не то, и каждый справлял магарыч за будущий орден или чин.

Генерал Милютин, стоявший в ауле у подножия Гуниба, уже двое суток не спал вследствие непрекращающихся и пока что совершенно бесцельных переговоров с Шамилем. Иса трижды доставлял шампанское на конных выюках и сам тоже был хмелен и весел, как давно уже не случилось. В душе он очень жалел имама, но ему до того надоела вся эта война, все эти опасности и такая была охота жить мирно и открыть лавочку в родном ауле, что он всячески превозмогал жалость. Одного ему не хотелось — чтобы имам был убит. Да этого никому не хотелось. Даниэль-бек, тоже хмельной и от хмеля еще более толстый и красный, с тяжелой одышкой, нервно ходил рядом с Милютиным, подолгу беседовал с всадниками мусульманской конницы и, сокрушенно качая головой, соблезновал поражению Шамиля.

Все знали, что его дочь Каримат в Гунибе с мужем и что старик печалится больше всего о ней, но делали вид, что верят его беспокойству за Шамиля.

Как только решен был штурм, все потекло в ущелье, к подножию Гуниба. Кегер опустел.

Барятинский в полной парадной форме сидел на коне в виду собирающихся для штурма колонн.

За штурмовыми отрядами двинулась и Марья Андреевна. Егерь Илюшка, Иса и четверо отставных солдат погоняли лошадей под выюками и стегали быков, запряженных в легкие маленькие арбы, от которых шел кисловатый запах чихиря и сладковато-пряный запах виноградного спирта.

Сама она ехала верхом. В хурджинах попискивали цыплята.

Сердце билось тревогой.

«О господи исусе, кабы не отбили нас!»

Но все-таки мужественно велела разбить палатки в ущелье, у реки, рядом с передовым перевязочным пунктом, Илюшке же приказала держать наготове выюки, чтобы, как начнется штурм, идти вслед за колоннами, не отставая. Она понимала войну и свои арбы считала таким же видом оружия, как и пушки, и сейчас смело и рискованно включила их в сражение, исхода которого предвидеть никто не мог.

Ночь перед двадцать четвертым августа была тихая, лунная.

Штурм был решен твердо на двадцать пятое, и войска стягивались, занимали исходные позиции и вели легкую перестрелку авангардами с первой линией горских завалов, ведя поиски троп и родников.

Ночь постреливала неторопливо, играючи.

Лишь изредка раздавались сухие троекратные залпы — кого-то хоронили из офицеров.

К утру все стихло и вдруг пошло снова, но по-другому, всерьез.

В ночь на двадцать пятое тихо двинулись штурмующие полки.

Марья Андреевна не спала, как и все, и, сонная, желтая, то молясь по-бабьи, со слезой, то ругаясь на все лады, бродила по лагерю, проверяла груз на арбах и прислушивалась к офицерским разговорам.

В полночь полки побежали на приступ.

— Илюшка, чертова совесть!.. Гони за ними!

Отлично выпивший и о многом перетолковавший с приятелями, егерь уже суматошно карабкался на коня.

— Не дунди, Андреевна,— говорил он значительно,— не дунди ты мне. До зари никакого оборота не будет.

Но все же выехал с двумя лошадьми.

Марья Андреевна растюковала одну арбу, зажгла фонарь.

— Раненых не было еще? — спросила доктора.

— Как не быть! — ответил тот. — Должно быть, есть, но мы за ними до света посылать не будем, темнота, черт ее!.. Вот рассветет — тогда вышлю санитаров.

Все-таки кое-кто приплетался сам. Рассказать ничего не могли. Темно!

Не имея сил сидеть в неведении, Марья Андреевна вскочила на коня, выбросила цыплят из хурджинов, сунула в них две четверти спирту и поскакала через мост, по узкой и крутой дороге к Гунибу, уже тут и там заваленной белыми холмиками солдатских тел.

Кругом почему-то били барабаны, гремело и стонало «ура» с правой стороны. С Гуниба вниз дымящимися потоками бежала пыль — горцы сбрасывали на атакующих камни.

— И-ах, душенька солдатская, ра-сти, ра-сти, ра-сти... — крестясь, прошептала Марья Андреевна.

Солдатские души росли и росли впереди нее. Уже не в одиночку лежали они, а вповал, кучками, меж них чернели горские тела. У некоторых несено полчерепа, этот перерублен пополам, у того нет ни головы, ни рук, ни ног. У другого сгорела половина туловища, тот соскользнул со скалы и стоит почти на ногах, вперив глаза в путника и уже весь облепленный мухами. Много было раздавленных камнями, сорвавшимися со скал, — все мертвые.

Раненых либо не было вовсе, либо они успели отползти к своим, либо еще дрались впереди.

Тропа круто ползла вверх, огибая склон Гунибдага, — ущелье исчезало из виду. У ручья, несшегося длинными ступенчатыми водопадами, возле взятого у горцев завала, перевязывали раненых, все больше искромсанных шашками, кинжалами и побитых камнями. Они валялись тут с ночи и были зелено-серы, тихи, почти равнодушны к жизни. Из ущелья то и дело прибывали офицеры штаба и поздравляли с близкой победой. Какой-то молодой поручик раздавал раненым по десяти рублей. Многие не протягивали даже рук. Один — с пробитой головой — протянул, но рука не повиновалась ему. Егерь Илюшка (Марья Андреевна только сейчас узнала его — баки его были в крови и присохли к щекам, он орудовал одной левой рукой) протянул руку вместо умирающего и взял десять целковых.

— Дай, дай! — прохрипел тот.

— Лежи, брат ты мой, лежи, — сказал егерь и побежал за офицером, раздающим деньги.

— Ваше благородие, вон этому еще не давали, — тоненько закричал он, показывая на солдата с пробитой, настежь раскроенной грудью.

— На, передай! — сказал офицер, отворачиваясь от страшной картины, и Илюшка опять схватил десять рублей и, не подумав отдать их, свернул в сторону — поискать, нет ли где еще не награжденного за ранение.

— Сволочь какая! — сказала Марья Андреевна. — А между прочим, где конь, где товар, не вижу.

Были тут и раненые офицеры. Они лежали в сторонке, в тени, курили и, кто был посильнее, разбирали ночное сражение и, прислушиваясь к удаляющейся перестрелке, представляли, где и как развертывается штурм, поздравляли друг друга.

Вдруг вынеслись на белых, заморенных конях казаки конвоя главного командующего.

За ними на великолепном жеребце, убранном, как для парада, в полной форме показался Барятинский.

В свите его ехали, напряженные и молчаливые, с интересом разглядывающие русское сражение, бывшие наибы Шамиля.

Среди них выделялся суровый, строгий Кибит-Магома, полный, с кра-

сивой каштановой бородой Талгик — когда-то знаменитый по всей чеченской линии, затем раненый и еще носивший руку на перевязи Дуба.

Наиб Эски беседовал с Даниэль-беком, который ехал в генеральской шинели, несмотря на жару, и все показывал тому на вершину горы и щелкал языком.

— Здравствуйте, герои! Благодарю за службу! Здравствуйте! Поздравляю! — весело и сердечно закричал Барятинский издалека.

Начальник штаба подошел к раненым офицерам и юнкерам.

— Смирно! — скомандовал какой-то капитан с лицом, ужасно расщепленным шашкой. Нос, губы и подбородок его были раздвоены, и фельдшер не знал, как наложить повязку.

Все, кто мог, стали во фронт.

— Здравствуйте, здравствуйте, Оленин! — сказал, подъехав, Барятинский, обращаясь к раненому. — Поздравляю с Георгием, господин майор, благодарю с победой, господин полковник.

Оленин взял под козырек, пожимая плечами и показывая, что он не может сказать ни слова.

Барятинский улыбнулся.

— Ерунда, полковник, зашьют, лучше прежнего станете, — и тронул повод.

Офицеры закричали «ура».

Начальник штаба обходил их, вешал кресты и поздравлял с повышением.

— Всех юнкеров — в офицеры! — крикнул Барятинский, уже отъехав. Марья Андреевна спешилась.

— Илюшка! Иди-к сюда, прорва!

— С победой, Марья Андреевна!

Хотела стукнуть его по затылку, да пожалела — не ранен ли. И лицо, и бока, и шея его были в крови.

— Кони где?

— Казачки взяли, будь они неладны. Ей-богу!.. Я тогда, слышь, за раненых взялся, все вот мои, — сказал он, обводя руками печальное пристанище у ручья, — семнадцать душ на себе перенес, ей-богу, капитана Оленина разыскал... две сотни как вынет, аллах меня покарай. «На, говорит, Илюшка, чтобы добрался, говорит, я до самого Шамиля».

— И дал?

— Да вот же они, родные, две и есть. Вот победа, так это победа!

— Вино-то сам вылакал?

— Я?.. Ни за что. Это ты брось, Марья Андреевна, что я, нехристь? Раненым, раненым сполл. Дай им господь. За вино я тебе отдам, не бедуй!

— Знаю, отдашь. Видала, как десятки-то собирал подрукавные.

— Марья Андреевна! — закричали заметившие ее офицеры. — Ура! Шампанского!.. — и, окружив Милютина, стали его качать.

— Бери из хурджина кизлярку! — сказала Марья Андреевна Илюшке и, вздрагивая губами, пошла к офицерам. — С победой вас, родные мои!

Милютин, довольный тем, что его качали, и в упоении достигнутого, галантный и худенький, чисто одетый и не по-кавказски бледный, кланялся с прикладыванием руки к сердцу.

— Отпустите, отпустите, — говорил он, — надо вперед ехать, дел еще много...

Марья Андреевна поднесла ему ковшик кизлярки. Он отпил, потрепал ее по плечу.

— И вы многое заслужили, — сказал он, — медаль, во всяком случае, обещаю! — и, неловко сев в седло, поспешил за Барятинским, который невдалеке беседовал с группой встретивших его конных.

Это ехал сдавшийся ночью и указавший русским стрелкам тайную тропу на Гуниб Доного-Магома, короткий и тучный человек с выпуклыми глазами.

Он был при двух серебряных орденах и со значком, который робко держал его нукер.

Магома пышно докладывал Бярятинскому о положении на Гунибе, объяснял систему обороны горы и, не поднимая глаз на окружавших его набобов, своих давних приятелей, много раз повторял, что он нарочно задержался с Шамилем, чтобы отплатить за свои грехи крупным и ценным даром.

Переводчиком его был пленный солдат Гаврилов.

Наибы из свиты Бярятинского слушали Доного-Магому, тоже опустив глаза. Все они сдавались в таком же роде и, сдаваясь, лгали и унижались не хуже Доного-Магомы.

Вся их доблесть была в том, что они сдались раньше, и Доного-Магома теперь пытался убедить сардара, что поздняя сдача и измена имаму в решительный день последнего сражения есть шаг лучший, чем сдача преждевременная.

Но Бярятинский не хотел приписать победу Доного-Магоме и не желал его слушать. Он грубо прерывал его, расспрашивая о силах Шамиля и о том, много ли у него пушек и где они расположены, а затем велел Доного-Магоме примкнуть к свите, так и не сказав ему ни одного ласкового слова.

— Ура, Марья Андреевна! Качать ее!..— кричали офицеры у ручья, но она увернулась от этого неприличного, по ее мнению, акта внимания и, уже вся наполненная торжественным волнением дня, только помахала им рукой, торопясь, как и начальник штаба, туда, в аул, где надлежало решиться последнему часу сражения.

Навстречу толпами, числом не менее двух батальонов, шли раненые солдаты и казаки, за ними устало брели кони без всадников, несли на шинелях и ружьях мертвых и потерявших сознание.

— Водчонки нет ли? — кричали все.

Но Марья Андреевна торопилась вперед.

Когда она миновала палатку Шамиля, брошенную им поутру, а теперь охраняемую казачьим патрулем, ее догнал Иса.

С ним был незнакомый горец.

— Кунак мой,— сказал Иса,— сын мельника из Гергебиля, Раджаб. Знаешь, что говорит?..

— Ну...

— Исмил там! Ночью его видели.

Сердце ее закатилось.

— Жив, нет?

— Кто знает!

— Помощь ему нельзя подать?

Иса мотнул головой.

— У него,— показал он на Раджаба,— отец там, ему будет помогать, Исмилу тоже. Сто рублей хочет.

— За мной никогда не пропадало,— туманно ответила Марья Андреевна,— скажи, пусть выручает... Еще там кто?

— Этот там, Афилон... Аварский фамилия его была... Хотели мы его взять, не вышло...

— Ну, теперь это ни к чему. Не товар нынче.

— Бабы Шамиля там...

— Добра небожь при них... Ну, давай, что ли, быстрее, к разбору, гляди, доедем.

И она поскакала вдоль березовой рощи, ахая, что сражение затихает,

и боясь упустить самое важное, что должно произойти,— смерть или плен имама.

Рано утром двадцать пятого августа беглый русский солдат Гаврилов из отряда наиба Доного-Магомы показал пластуну Тихонову потаенную тропинку меж скал. Сам Доного-Магома тотчас вышел навстречу русским. Если бы вблизи не было офицеров штаба, пластун зарубил бы его. Но через два часа после этого семь батальонов во главе с Тер-Гукасовым и Лазаревым загоняли последних бойцов имама в сакли аула Гуниб, за березовой рощей.

— Имам, надо сдаваться! — крикнул наиб Хосро, подъезжая после полудня к мечети, где был штаб и где имам не переставая молился с ночи.

Наиб Хосро едва сидел на коне. Окровавленной рукой держа поводья, он другой придерживал полутрубленное ухо. Шамиль стоял у окна мечети, прислушиваясь к сражению.

Хосро слез с коня и лег на траву, лицом к земле. В разорванной череске, без папахи, промчался на коне сын Кази-Магома.

— Отец, дело плохо!

Теснили Закарью, теснили Магомета-Шефи. Горели сакли на краю аула. Байсунгур, непримиримый, отступал, не в силах остановить голодных и потерявших силы бойцов.

Шамиль все еще был спокоен. Где-то в конце неудачи еще теплилась победа. Он молчал и не прерывал сражения.

Отряды изнемогали. Орудия, расстреляв последние снаряды, были брошены в реку. Исмил с канонирами сражался пеший. Снова, как тринадцать лет назад, в Дарге, он собрал бывших русских. Деваться было некуда, сдаться не имело смысла; они дрались, чтобы умереть без позора и лишнего мучений.

Сурхай, положив у мечети обессиленного Байсунгура, собирал женщин. Отовсюду сносили хворост, чтобы зажечь аул, когда русские ринутся в последнюю атаку. У моста — единственной дороги в аул — копали яму. Афилон загружал ее порохом. Он был несколько раз ранен, хотя и легко, но предчувствие близкой смерти не покидало его весь день и сообщало всем действиям характер неумолимой ярости.

Все сделал он для защиты. Десять лет думал он о Гунибе, превратил его в орлиное гнездо, верил, что нет силы, способной взять его,— и вот русские уже кричат в березовой роще, и знамена полков колышутся у околиц, и он видит лица давних русских друзей — и Брехниченко, и Оленина, и еще кого-то.

Но есть еще порох. Его запасы громадны. Он лежит в трех местах: на заводе, в сакле Афилона и возле мечети.

Когда русские ворвутся в аул и настанет последний час ручного боя, он велит взорвать все пороховые подвалы, и пусть в огне этого взрыва погибнет вся история гор.

Байсунгур был согласен с таким планом, Исмил тоже. Нужно было сообщить о плане Кази-Магоме, но он находился с отцом в мечети, и сказать ему о пороховой затее поспешил сам Афилон.

Когда он вошел в мечеть, сын Кази-Магома бессвязно произносил одну фразу: «Надо сдаваться! Надо сдаваться!»

Это был человек, которому судьба готовила путь четвертого владыки гор, и на него, бледного, растерзанного, растерянно и недоуменно глядел Шамиль.

— Отец, надо сдаваться, — говорил он. — Пошли двух человек к сардару, пусть скажут, что в его словах — ложь или правда.

Пули уже достигали мечети. Все десять тысяч русских в белых рубашках уже стояли вокруг аула. Валились сады, трещали виноградные лозы, пылало сено на полях за аулом. Раненные ползли в мечеть.

Шамиль поднял глаза на молчаливо стоящего Афилона.

— Виновный знает свой час. Давно ждал тебя. Сказал нам — Гуниб взять нельзя. Смотри, Афилон, его уже взяли, а?

— Не у меня взяли, имам, — у тебя.

— А? — Шамиль прислушивался к крикам в ауле.

— У тебя взяли. Ты отдал Гуниб. Смотри, твои ханы у русских, твои лазутчики у русских...

— Я имел, и я отдал. Ты ничего не имел, ты и отдать ничего не можешь. Верно сказал, Афилон.

— Я взорву Гуниб. Я отдал двух ребят, третий со мной, себя и его тоже отдам. Я не уйду от тебя, мы вместе погибнем.

— Ех.

В ауле кричали женщины. Шамиль прислушивался к крикам, стараясь узнать, чьи это голоса.

— Кто кричит? — спросил он вошедшего Байсунгура.

— Наши кричат, не твои, — сказал тот мрачно. — Храбрый не думает о последствиях! — Такой была надпись на его ордене, когда-то сделанная рукой самого имама.

Шамиль улыбнулся.

— Храбрый думает о последствиях! — И сказал жестко: — Взрывать не будем. Наш народ потерял свою силу. Я отвечу.

— Имам, себя не теряй!

— А?

Байсунгур глядел на него со злобой и раздражением.

— Себя не теряй! Народ везде, а позор — на Гунибе. Не бери позора за всех.

— Да, да, верно сказал. Иди, я отвечу.

— Мы тебя выбирали для себя, но ты взял нас. Решай за всех, за нас тоже.

— Иди, иди, я отвечу.

Афилон взял под руку Байсунгура. Вышли.

— Если с нами останется — взорвем порох. Если уйдет к ним — проклянем! — сказал Байсунгур.

— Я возьму народ, я крикну последних. Э-э!..

— Сдавайся, имам! — кричали отовсюду.

Раненный в руку наиб Закарья, заткнув рану пучком травы, с одним кинжалом бросился в рукопашный бой у моста, где апшеронцы штыками уже прокладывали себе дорогу в аул.

— Эй, Афилон! Взрывай!

— Рано, рано!

Он стоял на крыше сакли, глядя на мечеть. Вот вышел Шамиль. Кругом умирали люди. Женщины с детьми на руках столпились возле имама.

— Ла-хавла-бала!.. — кричали они, завидев его белое лицо и темную бороду. Он быстро поглядел по сторонам и злым движением сел в седло. Никто не знал, на что он решился, кроме Афилона и Байсунгура.

Бой, между тем, затихал. Русские полки, обступив аул, остановились.

— Поглядим, что нам предрешил аллах, — твердо и вызывающе сказал Шамиль и поехал к мосту. На той стороне его стоял собака Даниэль-бек с юнкерами. Они кричали: «Довольно драться! Сдавайтесь!»

На одно мгновение задержал имам — под взглядом Байсунгура — коня у моста и затем смелым аллюром пронесся меж солдат и мюридов, дерущихся на мосту.

— Пахрр! Проклят будешь аллахом! — Это крикнул Байсунгур, и острый, тонкий, плачущий крик его пронесся над многими.

Афилон тряхнул его за руку, но тут подскочила Шуанат и высоко над головой подняла своего сына.

— Шамиль, собака, я проклинаю тебя!

Все расступились.

Раненые сели на землю, опершись на ружья. Солдаты сняли фуражки, мюриды полами бешметов вытерли потные лица. Война прошла. Конечно! Войны больше нет!

Кавказа больше нет!

— Су вар?.. — устало спрашивали солдаты у горцев. — Вода ёх?

— Дайте, господа, хоть кувшинчик воды.

Горцы, отплеываясь, стояли, держа наготове кинжалы.

Полковник Лазарев, армянин, говорящий по-аварски, стоял на мосту, перед кинжалами мюридов.

— Тихо, тихо! — говорил он. — Сейчас имам скажет, что делать, — и глядел, прищурившись, в сторону березовой рощи, на опушке которой Шамиль уже подходил к Барятинскому, сидевшему на широком камне, положив больную ногу на походную табуретку.

Кругом закричали «ура», забили барабаны, заголосили рожки, шум штыкового боя замер.

Афилон упал. «Кажется, все!»

Не было сил жить, но нет сил и умереть.

Он лежал, раскинув руки, на горячей земле... Жена с ребенком на руках сидела возле. Исмил, опустив голову, исподлобья поглядывал на русских. Деваться было некуда. Решившие умереть сходились медленно к Байсунгуру.

— Кто жив останется, соберется в Хорочае, выберем себе имама, и да будет наше дело успешно.

— Жив будешь, ты наш имам.

— Тихо. Я все приму. Через двадцать дней в Хорочае.

Часа через три после отъезда имама выехали к русским и семья его и сыновья, и в аул, окруженные всадниками из Конно-дагестанского полка, осторожно вошли Даниэль-бек, Муртузали, предатель Доного-Магома и несколько русских офицеров, знавших по-аварски.

— Бросайте оружие, имам объявил мир! — весело кричали они.

Начался прием пленных.

Раджаб, бывший нукером при офицерах, увидел Афилона и сказал о нем Муртузали. Покрыв буркой, Афилона перенесли в ближайшую саклю. Исмил, опустив голову, шел рядом. Сурхай вел под руки Шуанат. За спиной ее голосил третий сын.

— Нехорошо вам оставаться тут, — сказал им Муртузали по-приятельски. — Я старых кунаков помню. Я и Байсунгура украл — совсем байгуш стал. Руки нет, ноги нет, глаза нет. Жалко мне старика. Кто кормить, поить будет?

— Я.

Муртузали покачал головой.

— Большой позор себе взял ты, Афилон, ва-алла, большой.

Тем же вечером Исмила и Афилона, спрятав среди нукеров Муртузали, отправили в Гергебиль.

Сурхай с невесткой и внуком прибыли следом.

Аул был тих, сонен.

— Ну? — сказал Афилон. — Если завтра сил хватит, надо бежать. Все равно Раджаб выдаст или другой кто.

— Думаешь, выдаст? — спросил Исмил.

— Ну, не он, так другой.

Шуанат вышла на крышу.

На дороге, за Койсу, солдаты кричали «ура». В горах, испуганные криками, стонали шакалы.

Шуанат высоко подняла ребенка и опять — в страшной темноте ночи — прокляла имама.

Глава 10

Тринадцатого сентября Шамиль прибыл в Чугуев — в тридцати шести верстах от Харькова. С ним были сыновья Кази-Магома и Магомет-Шефи, казначей Хаджио и два приближенных мюрида. Жены же и родственники еще остались в Темир-хан-Шуре.

Толпа народу суетилась у подъезда почтовой станции. Все говорили шепотом. Многие нагигались к замочной скважине и смотрели в комнату.

— Напился чаю и спит, — сказал кто-то.

— Так он и чай пьет? — удивленно спросили из толпы.

Из комнаты, где отдыхал имам, вышел офицер в черкеске.

— Что Шамиль?

— Лег вздремнуть.

— А Кази-Магома?

— Курит папиросу.

— Мариланд Спиглазова? — спросил кто-то.

Офицер вынул пачку из кармана.

— Нет, — сказал он, улыбаясь. — Купили в Бахмуте, крепкие, турецкие.

— Как его взяли? — спрашивал всех молодой армейский офицер. — Говорят, его жена, армянка, стреляла по нашим. Два миллиона серебром и золотом, говорят, осталось.

— Многие говорят, — ответил офицер в черкеске.

— Дюма еще не то напишет!

Тогда француз Дюма только что проехал по России и написал о своем путешествии множество невероятного.

Толпа у дверей засуетилась. Вышел Кази-Магома в черкеске верблюжьего цвета и в черной папахе, сопровождаемый переводчиком.

— Имам проснулся и позволяет войти всем! — объявил переводчик.

Все ринулись в комнату, толкаясь и шепотом говоря друг другу: «Тише, господа, тише, только не вносить беспорядка».

Шамиль сидел на стареньком станционном диване, у ломберного стола, под портретом императора, и сверял свои карманные часы с большими часами, висевшими на стене, при входе в комнату. Вошедшие, толпой человек в тридцать, стали полукругом, шагах в двух от имама, и поклонились. Он спрятал часы в карман под белые костяные газыри на черной черкеске и тихо, более глазами, чем головой, ответил на поклон. Все молча смотрели на него.

Огромная белая чалма покрывала голову Шамиля. Широкая, важная борода подкрашена хной, глаза, будто убегающие от резкого дневного света, были прищурены и опущены книзу. В руках мелькали четки крупного старого янтаря.

Резкая морщина меж бровей изредка вздрагивала. Губы что-то шептали. Шамиль был явно смущен и рассержен любопытством вошедших и не знал, как положить конец этому молчаливому свиданию с незнакомыми и малоприятными ему людьми, нарушившими приятное болезненное оцепенение, в котором он находился со времени сдачи. Воспоминания о прожитом были сейчас единственными его мыслями, и то, что происходит сейчас и будет происходить завтра, уже никак не интересовало его. Он не мог сделать ни одного распоряжения из числа важных, упущенных в свое время, потому что не было уже и народа, которого бы касались его распоряжения. Жизни больше не было.

Толпа смотрела и вполголоса бесцеремонно переговаривалась на его счет, не заботясь о том, слышит ли он и понимает ли, что говорят. Это навевало впечатление несчастья, смерти.

Шамиль вздохнул и стал поправлять белыми небольшими руками перевязь на груди у шашки.

Станционный смотритель, за толпой стоящих тихо рассказывал какому-то приехавшему:

— Приехал это, выслал всех, разостлал коврик, разулся, умылся, молиться начал. Потом напился чаю и лег спать. Да не спал, все ворочался. Потом стал говорить. Я спрашиваю переводчика, о чем это он. Наскучило, говорит, ехать в карете, просится ехать верхом.

Посетители повернулись в сторону смотрителя и стали отходить по одному от имама, окружая рассказчика.

— Вот он какой! Тихий да простой! — задушевно произнес приезжий и, не задерживаясь более в комнате, вышел к подъезду. Там тоже стояли кучкой, беседовали.

— Эх, лев-то, лев! Вот гений — гений царственный, — говорил офицер, видно кавказец по рождению, другому. — Вот бы сюжет Лермонтову. Это не чета Печорину.

На улице тоже шли разговоры, но другого характера. Ямщик, привезший имама, собрал возле себя группу старух и мастеровых, залихватно рассказывал, как они ехали, и через каждые десять слов прибавлял, рисуясь своей храбростью:

— Зверь, чистый зверь! Что на него смотреть!

Приезжий, в дорожном плаще, с небольшим изящным баулом в руках, только что беседовавший со станционным смотрителем, послушав ямщика, опять вернулся в комнату. Офицер на крыльце сказал вслед ему:

— Приглядывается. Это знаете кто? Данилевский. Историк наш, литератор.

— Будет ихнему брату теперь работы, — заметил второй. — Это, батенька мой, уж никогда не повторится.

В станционной комнате было уже просторно. Сын и мюриды окружили имама. Почтительно сняв с него чалму (открылась бритая серебристая голова, прикрытая на затылке тонкой тюбетейкой), мюриды надели ему через плечо шашку. Имам спросил, скоро ли ехать. Лошадей уже подавали к крыльцу.

Шамиль встал, накинул бурку, быстро оглянулся и быстро прошел по комнате, ни на кого не глядя. Севши в карету, тотчас облепленную людьми, он раза три нетерпеливо и раздраженно оглядывался и все спрашивал что-то. Подбежал замешкавшийся Кази-Магома. Ямщик тронул вожжи.

Любопытные, проводив карету, долго еще не расходились.

— В Кочетке, на вокзале, сегодня Юлию Пастрану показывают, — громко сказал приезжий, кого офицер назвал Данилевским. — Вы бы, господа, туда теперь направились. Зрелище хоть куда.

Под вечер из Харькова прискакал фельдъегерь. От него узнали, что государь будет в Чугуеве не шестнадцатого, а пятнадцатого утром и что Шамиль будет сегодня назад из Харькова, так как ему объявлено приказание быть на царском смотре. В доме начальника округа на площади, рядом с корпусным штабом, близ собора, теперь спешно готовили комнаты для нежданного гостя.

Часов с семи вечера разряженная толпа дам уже ожидала имама в сенях подъезда, тускло освещенных несколькими стеариновыми свечами вдоль стен.

Вечер был свеж, ветрен, с улицы в сени несло холодком, свечи то и дело гасли.

— Ах, как же это, — беспокоились дамы, — войдет Шамиль, а мы и не увидим его впотьмах. Нельзя ли лампу?

Сторож солдат, не отвечая, зажигал погасшие свечи.

Вдруг неслышно подъехал экипаж, вышел Кази-Магома с мюридом, и едва прошел по лестнице вверх, появился и сам Шамиль. Многие, в том числе и вчерашний господин в дорожном плаще, прошли за ним наверх. Тотчас подали чай. Шамиль сел на диван и окинул глазами комнату. Три картины, рисованные масляными красками, висели по стенам: две сцены из библейской истории и пожар какого-то города. На пожар он глядел долее. Дамы и офицеры, столпившись полукругом у стола, молчали и смотрели, как и вчера. Служители пронесли две складные кровати. Глаза у Шамиля слипались. Он несколько раз зевнул. На большом пальце правой руки, державшей четки — теперь уже не янтарные, а черные, — блеснуло серебряное, грубой работы, кольцо. Обведя равнодушным невидящим взглядом стоявших возле, он поднялся и стал отстегивать шапку.

Весь день вспоминал он гунибское дело и был утомлен и пристыжен. Назавтра ему предстояла встреча с царем, и он побаивался ее и не умел приготовиться к ней.

Наутро Александр II принимал Шамиля.

Имам шел во временный дворец бледнее обыкновенного и тревожно двигал руками, часто и нервно поглаживая бороду. Потом Шамиль был на смотру, верхом, а вечером посетил бал в дворянском собрании. В белой чалме, в белой шерстяной черкеске, окруженный сыновьями и мюридами, он степенно поднялся по лестнице и, войдя в зал, отшатнулся.

Освещение было действительно необыкновенное. Зала, убранная гербами уездов и усыпанная цветами, сияла. Заиграла музыка, пары двинулись в польском. Шамиль вошел в толпу гостей, прищуренными глазами окидывая костюмы дам и парадные офицерские мундиры.

— Не устал ли, имам? — спросила его через переводчика хозяйка бала, жена губернского предводителя дворянства.

— Нет, я не чувствую усталости.

— А кто вам из наших дам более нравится?

— Все нравятся, — сухо ответил Шамиль, не глядя на предводительшу и не намереваясь продолжать с нею беседу.

— А скажите, мсье Шамиль, позволяет ли закон вашей веры быть в обществе женщин? — все не унималась бойкая хозяйка, рассчитывая вовлечь знаменитого гостя в какой-нибудь подробный исторический разговор.

— Я сам закон моей веры, я могу...

На балу узнали, что Шамилю назначено жить в Калуге. И горячо поздравляли его. Хороший город!

— Как развернутся теперь события на Кавказе? — спросил его молодой, румяный, только что произведенный, видно, офицер в дорогом гвардейском мундире.

— Кавказ теперь в Калуге, — ответил имам, не поднимая глаз, и отошел, чтобы взглянуть в зеркало новой залы, нарочно выстроенной к приезду государя. Ужинать он отказался и попросил разрешения уехать к себе отдохнуть.

— Ну как, можно ли все, что вы видели у нас, сравнить с вашим Кавказом? — спросил его предводитель, сводя за локоть к коляске и все время оборачиваясь к переводчику и улыбаясь иронической улыбкой более умного, чем собеседник, человека.

— Можно, — ответил имам, морщась от скрипа лестничных ступеней. — Кавказ — жизнь, а это... так.

И вдруг неожиданно для окружающих щелкнул предводителя по носу.

— Будь здоров, хозяин!

Кучер, крикнув от растерянности, медленно тронулся.

— Трогай, сукин сын! — шепотом сказал предводитель и, ни на кого не глядя, стал подниматься назад.

Шамиль откинулся на подушки, закрыл глаза.

Пахнуло жаром Гуниба, всплыл сызнова грохот последнего боя, стыд и боль поражения.

Он скрипнул зубами и почти перестал дышать. «Аллах, прости грешного Шамиля».

И, как бы прервав все мысли, ходившие поверх сознания, взвилась тропа из Аварии в Хорочай и вся пробежала перед его глазами — с привалами, родниками, спусками и подъемами, которые помнил он с детства и которых теперь не увидит он до конца, до самого конца своей жизни. И это видение было острым и страшным, как разоблачение в грехе или преступлениях, потому что оно напомнило ему Байсунгура.

Человек этот, любивший имама больше себя, проклял имама в Гунибе. «Очень крепкий был, камень-человек», — с удовольствием сказал Шамиль и даже улыбнулся в совсем уже седые, давно не подкрашенные хной усы, так радостно было чувствовать, что однорукий и одноногий Байсунгур еще живет, еще в горах и никогда не уступит, не выдаст и не простит.

Афилон и Исмил две недели хоронились в ущелье, на развалинах старых мельниц. Вести доходили до них одна другой безнадежнее, и куда деться, что предпринять, было им до сих пор неясно. Жить в горах нельзя, говорили они себе. Да и верно, жить в горах стало неважноту. Тому, кто знал горы еще месяц назад, нынешнее казалось сном. Будто не стало мужчин в аулах, будто ни одна рука никогда не держала ружья и кинжала, будто не было ненависти к завоевателям, а мысли о храбрости никогда не являлись людям. Ушел старый имам и унес с собой всю силу, всю крепость народа. Правда, кое-кто собирал небольшие партии, но серьезных дел от этого нельзя было ждать.

Старые наибы, испытавшие войну, получали наибства от генералов. Сардар велел оставить имамские законы, утвердил наибами многих сподвижников Шамиля и даже беглых русских, не прогоняя сквозь строй, поселил, как горцев, где-то за Терекон, вблизи казачьих станиц. В глуши гор дрались самые отчаянные во главе с Байсунгуром, но верить в их дело никто уж не верил.

Наибствовали от русской власти Доного-Магома, Талгик, Дуба, Кибит-Магома, Закарья и другие. Муртузали начальствовал в Конно-дагестанском полку, ездил в гости на хинкал к мехтулинскому хану, который был на ты с русскими генералами.

Люди вроде Гаврилова получили большую власть. Афилон искали по всем аулам, и уже трижды приезжал андаляльский наиб в Гергебиль, заходил в саклю Сурхая, любопытствовал, где офицер.

— Нечего вам терять время, осень на носу, надо бежать, — говорил им мельник. — Раджаб был вчера у меня, говорит: Исмилу ничего не будет, а Афилоня возьмут.

Давно уже было дано знать кунакам Афилоня — выяснить, где еще остались верные люди. Ответ был — ехать через Кумух, там ждать. Решили выйти тринадцатого сентября поутру и послали вперед, в Согратль, семью Афилоня. Ночь перед уходом провели в горах, над ущельем, развели в ямке костер и, завернувшись в бурки, лежали молча.

В сентябре высок и легок, приятен сердцу Дагестан. Горы стройнее и тоньше, чем летом, краски чуть дымчаты, воздух блестящ и серебрится на легком, долгом ветру, похожем на мертвую воздушную зыбь.

Знойный ветер омывает горы, как дождь, — их рисунок чист и точен, виден далеко. Туманов еще нет, пыль уже улеглась, и воздух стал легким, как бы уставшим от лета. Они стояли, глядя на горы.

...Ну, Дагестан, прощай!

Провожать пришел Сурхай с сыном Раджабом. Тот был почти красив, в великолепной черной черкеске русского сукна, с красным башлыком на спине, весь в серебре. Он был смущен, молчалив.

— Ты был мне, Афилон, как старший брат,— сказал он.— Спасибо, учил меня.

— Ты и сам здорово научился жить, ничего. А будет плохо — вывернешься, у тебя легкий характер.

Сурхай привел двух коней.

— Аллах да продлит твое счастье! — сказал Афилон.

— Горе будет — нам пошлите, счастье будет — себе оставьте,— сказал Исмил. И тронул коней в обход аула, на глухую купчинскую дорогу.

В Согратль добрался без приключений. Здесь, у Афилонова кунака, нашли письмо для Исмила. Байсунгур звал к себе. Уже пятьсот конных стекались к нему с разных сторон.

Афилона не удивило решение Исмила — давно он чувствовал, что путь из гор ему предстоит проделать одному, а к тому же Исмил по-своему был прав. Куда ему нынче стремиться, чего искать? Исмил не такой человек, чтобы проспять хорошее дело.

— Не может так быть, чтобы навек уж все замирилось,— твердил мюрид.— Не здесь, так в другом месте поднимутся.

— Кибит-Магома готовится народ поднять,— осторожно сказал Сурхай.— К нам засылал человека.

— Сволочь твой Кибит. Имама продал, а теперь на свою фамилию дело переписать норовит. Теперь все сначала надо начинать, с абреков, как в старину. Нынче каждый сам себе голова. Нашел десятерых кунаков — и действуй. А насчет имама подождать надо, новый человек пусть придет, старые-то все позор приняли,— говорил Исмил.— Водки бы я нынче выпил. Водки бы я выпил, трубку закурил, плясать пошел бы!.. Поеду в Калугу, зайду к имаму в гости, скажу: вот, отец, чем ныне мы занимаемся! Хочешь, песню тебе сыграю?

В середине октября — уже поздно было для горных переходов — Афилон двинулся с женой и сыном из Согратля через хребет в Нуху. Его гнала тоска. Неясный страх повелевал идти вперед, не зная отдыха. Сначала родился план повернуть на север, к Чечне, и оттуда пройти к Черному морю, но из Чечни путь к морю был долог. Тогда мелькнула мысль пробиться в Грузию. Странствующий ремесленник-горец не мог быть заподозрен ни в чем, но страх предательства отверг и эту дорогу. В Грузии могли выдать его лакские мастера. Куда же тогда? «Ах, все равно, лишь бы дальше отсюда», — подумал он и избрал Нуху. Но время для перехода было тяжелое. В горах выпал снег. Пошли октябрьские ветры. Дороги замело. Иной раз он просыпался и думал, что следует подождать до весны, но тут же опровергал себя. Чего ждать? Чтобы вчерашний кунак донес на него — вот он, вот знаменитый Афилон, вот он с женой и ребенком, берите его.

Россия, как старая мать, снилась ему теперь ежедневно, звала к себе, ласкала.

«Да, путь мой лежит на Запад, — думал Афилон. — То, чего не решили здесь, решат там».

Но иногда, передумав все мысли, замучив ими сердце, он вдруг вскакивал, смятенный новым соображением. Не прав ли Исмил? Не остаться ль в горах? Зарыться в нору, лежать, подобно дикому зверю, до времени, в темноте точить когти!

Он будит Шуанат.

— В горах снега... Не подождать ли весны? — спрашивал он ее.— Тебе будет трудно, жена.

— Душа твоя ушла от всех нас далеко вперед,— просто отвечала

она ему.— Пойдем, ничего.— И, положив его седую голову на свое плечо, убаюкивала, напевая нескладно: «Аллон, Афилон, аллон, Афилон».

И они вышли. Октябрь был, как назло, свиреп. На перевале и летом лежит снег, осенью же и зимой он отрезан от мира. Уже прошли последние стада, едва протащились через перевал нухинские торговцы, но Шуанат не сдавалась: «Идем!»

Погрузили на осла скромный пожиток, Афилон взял на руки сына, Шуанат взвалила на спину вязанку дров. Била тоска, тоска. Она вела неумолимо.

Горы приняли их сурово и сразу бросили в испытания, зарыли в снега, сжали ветрами. Четверо суток шли они, разрывая перед собой снег руками, и наконец выбрались на высоты, с которых ветры снесли последние крохи земли, обнажив скользкие каменные кости гор.

Огонь был неизвестен здешним местам. Он не рождался здесь. Становилось все холоднее. В ноздрях у осла замерзли волосинки, и он дышал ртом, как больной человек, пока не упал и не сдох. Бросили пожиток и пошли дальше. Перевал кончался. Ну, еще день, еще два.

«Только б не спать»,— думал Афилон.

Однажды мелькнуло солнце и что-то черное показалось впереди, внизу. Аул!

— Я слышу дым,— сказала Шуанат.

Они прибавили шаг.

— Аллон, Афилон! — едва дыша, но улыбаясь синими губами, шептала Шуанат.

Так шли, нюхая воздух, еще полдня. Потом сели. Нагребли снегу, укрылись им. Голова кружилась, но горели, раскалялись мысли, и если бы не тоска, не синяя, с обмерзшими ногами Шуанат, не обессилевший ребенок...

— Ничего, Афилон, все хорошо будет, мы завтра придем в аул, я знаю,— твердила она, согревая дыханием переставшего плакать мальчика.— Клянусь аллахом, я слышу дым.

Она гладила его руку. Но уже чувствовал он, что они никуда не дойдут. Жизнь их остановилась, упала, сдыхает, как тот осел. Жизнь их уже умерла.

— Клянусь аллахом, дым близко,— шептала Шуанат. — Мы отдохнем, наберем силы, придем в аул.

— Да, да, Шуанат,— говорил он и ни о чем не в состоянии был подумать. В голове вдруг стало тихо, просторно, темно. Или то наступила ночь. Рука Шуанат, державшая его руку, стала твердой, спокойной. Он попробовал встать. Оперся о ее голову. Да, замерзла. Прислонился к снеговой насыпи. Ноги сразу стали деревянными. Закрыв глаза. Едва успел подумать: «Хорошо, умираю один», как жалость к той, на чью холодную голову опирался он, съежила его с ужасной силой. Он хотел крикнуть или вздохнуть — и это было последнее, что он помнил.

Весной Сагит кубачинский, спеша в Тифлис, увидел Афилона и семью на перевале, в двух часах пути от большого аула. Даже волки не тронули трупов — они сохранили до весны состояние только что прекратившейся жизни. Белый мужчина стоял, опираясь на голову женщины, протянувшей твердую, белую грудь насквозь проледеневшему и блестящему ребенку.

Студеное солнце играло на чешуйчатых от льда лицах, придавая им благословенную светлость, полную счастья и мира.



ХО УН ПЭ

★

РОБКЯЯ НАТАША

Во дворе общежития
много детей:
Коля, Соня, Наташа, Сергей.

Если всех их года
сосчитать,
выйдет столько же лет, сколько мне, —
двадцать пять.

Несмотря на различие это,
мы все без оглядки
вместе в салки играем
и вместе решаем загадки.

Вечерами,
когда я с портфелем иду в общежитье,
ребятишки
меня обступают гурьбой
и во все происшедшие за день
событья
посвящают наперебой:
«Эта гадкая Галина кошка
столкнула со столика вазу!
Миша плакал весь день,
потому что уехала мать...»
А потом без конца
задают мне вопросы —
все сразу:
всё им хочется знать!

«А есть в Корее
слоны и змеи?
А яблоки есть?
Скажите скорее.
А розы у вас растут?
Ответьте...
А голубя как называют в Корее?
А как по-корейски зовут медведя?»

Один карапуз
спросил невинно:
«А как у вас корова мычит?»

И только,
от робости прячась за спины,
одна Наташа всегда молчит.

Когда я глазами
встречаюсь с нею,
она отворачивается и краснеет.

За целый год —
ведь срок немалый —
ни вечером,
ни в начале дня
она ничего мне не рассказала
и ни о чем не спросила меня.

Но сегодня,
в глаза мои издали глядя,
мне навстречу,
сияя,
рванулась она
и еще на бегу
завизжала восторженно:
«Дядя!
Объявляли по радио!
Мир!
Прекратилась в Корее война!»

КАК Я ИЗУЧАЛ РУССКИЙ ЯЗЫК

То на бульваре, а то в электричке,
мчащейся сквозь подмосковный простор,
почтенные старики, веселые студентки
часто затевают со мной разговор.

Меня спрашивают о трехлетней войне,
о новой жизни далекой Кореи
и внимательно слушают, чуть наклонясь,
по-братски сорадуясь и сожалея.

Наверно, товарищи, вам нелегко
косноязычные слушать рассказы:
с трудом произношу я слова,
неумело русские стрю фразы.

Встречал я в поездках далеких своих,
во всех уголках всероссийского края
десятки внимательнейших учителей —
я всех их имен и фамилий не знаю.

Женщина с корзинкою на полустанке,
вы не забыли того юнца,
что стоял растерянно, покупая,
по его выражению, «мать яйца»?

Ах, неужели вы позабыли,
как в толчее, под звонки и гам,
с доброй улыбкой его учили:
«Ку-ри-ца, ку-ри-ца» — по слогам?

Уважаемый садовник в саду цветущем
учил меня тонкостям языка:
«Жук, а не зук» — и для ясности даже
нарисовал на дорожке жука.

За годы жизни в Советской России,
конечно, я много грамотней стал.
Но когда меня хвалят — случилось — за это,
стесняюсь я чрезмерных похвал.

Я объявляю товарищам честно,
наморщив лоб от немалых забот:
я должен знать русский лучше и тоньше,
меня ведь учит весь братский народ.

ДЕТСКИЙ САД

Услышав лепет, я остановился
и приник к щели забора.
Благоухали круглые стойки,
и смола на досках светилась.

Я увидел двор в солнечных бликах,
клумбы цветов и детские группы,
белые платья и синие ленты,
милые праздничные улыбки.

Обступив золотую песчаную горку,
они азартно и весело строят.
Птицы щебечут над ними. И ветер
пляшет над этим мирком ребячьим.

Конечно, они не всегда смеются —
они обижаются, ссорятся, плачут.
Но горести их так быстро проходят!
Я даже люблю эти детские слезы...

Быть может, девушке, идущей мимо,
покажется смешным иностранец,
подглядывающий сквозь шелку забора
за утренней жизнью детского сада.

И старушке, куда-то спешащей с кошелкой,
возможно, покажется просто странным,
что юноша с таким обожаньем
следит за обычной возней ребятишек.

Это, товарищи, верно — я молод,
не так уж давно я живу на свете.
Но я видал, как в моей Корее
от воющих бомб погибали дети.

Поэтому-то с таким восхищеньем,
так увлеченно, с таким вниманьем
я смотрю — хотя бы сквозь шелку забора —
на детишек великолепного мира.

*Перевод с корейского
Ярослава Смелякова.*



С О Р О Ж А Е Т Н А З А Д

Апрель, 1917 год...

Апрель 1917 года Победившая революция смела царское самодержавие. Вооруженный народ, пролетариат и крестьянство, одетое в солдатские шинели, совершили революцию. Однако результатами ее победы воспользовалась в первую очередь буржуазия.

Наряду с организацией Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов как органов народной власти, органов революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства было создано буржуазное Временное правительство

Сложилось невиданное в истории, своеобразное переплетение двух диктатур — диктатуры буржуазии и диктатуры рабочего класса и крестьянства. Получилось двоевластие, причем Советы, руководимые соглашательскими партиями меньшевиков и эсеров, добровольно передали свою власть буржуазии.

Временное правительство опираясь на доверие и поддержку Советов, продолжало империалистическую внутреннюю и внешнюю политику царского правительства, не хотело и не могло дать народу ни мира, ни земли, ни свободы.

Буржуазия считала революцию законченной. Этой же точки зрения придерживались и мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров, выдвигавшие — как первоочередной — лозунг поддержки Временного правительства. Большевицкая партия считала, что свержение царизма не является завершением революции, а лишь началом ее, но конкретные перспективы дальнейшей борьбы партии ясны не были.

Перед партией стояла основная задача: правильно ориентироваться в данных исторических условиях, определить перспективы и наметить план дальнейшей работы.

Эту новую ориентировку и ясную перспективу партия получила в знаменитых Апрельских тезисах Ленина

Сразу же по приезде в Петроград вечером 3 (16) апреля 1917 года, выступая с броневики перед рабочими и солдатами на площади Финляндского вокзала, Ленин провозгласил лозунг социалистической революции, нацелил партию на дальнейшую борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую

Апрельские тезисы определили стратегию и тактику большевицкой партии на новом историческом этапе борьбы за переход к социалистической революции, за диктатуру пролетариата. Партия одобрила и приняла их, несмотря на яростные нападки как со стороны меньшевиков и эсеров, так и со стороны одиночек типа Каменева, Рыкова, Пятакова, пытавшихся остановить, ограничить революцию буржуазными рамками.

Петроградская общегородская партийная конференция положила начало сплочению партии вокруг Апрельских тезисов Ленина, которое завершено было Апрельской конференцией. Большевицкая партия твердо и уверенно шла за Лениным. И дальнейшие события подтвердили правильность позиции партии.

19 апреля в Петрограде стало известно о ноте министра иностранных дел Временного правительства Милюкова, в которой он заявлял союзникам о верности всем договорам царского правительства, о готовности вести войну до победного конца.

Ответом на эту ноту явились многочисленные демонстрации и митинги протеста рабочих и солдат в Петрограде, Москве и других местах. Эти мирные демонстрации, организованные по призыву и под руководством большевиков, проходили под лозунгами «Долой войну!», «Опубликовать тайные договоры!», «Вся власть Советам!». В Петрограде кое-где произошли столкновения рабочих и солдат со сторонниками Временного правительства, которое пыталось организовать военную расправу с демонстрантами.

Апрельская демонстрация способствовала росту классового самосознания пролетариата, сплочению его сил.

Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б), состоявшаяся в конце апреля 1917 года, обсудила все основные вопросы войны и революции, полностью одобрила Апрельские тезисы Ленина и, взяв курс на социалистическую революцию, разработала конкретную программу деятельности партии в новых условиях.

Основываясь на решениях Апрельской конференции, партия развернула огромную политическую и организаторскую работу по завоеванию на свою сторону широких народных масс, по созданию политической армии революции.

Ниже публикуются воспоминания старых большевиков о событиях апреля 1917 года, хотя, конечно, и не претендующие на их полное освещение, а также некоторые документы тех дней — корреспонденции из большевистских газет, резолюции собраний и митингов рабочих и солдат.

М. ГОБЕРМАН,

член КПСС с 1911 года

В РОССИЮ...

Третьего апреля 1917 года в двенадцатом часу ночи к перрону Финляндского вокзала в Петрограде подошел поезд. Невысокий человек в распахнутом темном пальто, из-под которого виднелся серый костюм, появился на подножке одного из вагонов. Он заметно волновался.

В Россию из второй эмиграции вернулся Владимир Ильич Ленин.

Мне довелось вместе с В. И. Лениным быть в эмиграции, вместе с ним в одном вагоне ехать из далекой Швейцарии через Германию, Швецию, Финляндию в кипящий и растерянный Петроград...

Ленин... Ильич... Вождь революции. Создатель Советского государства. Гений, каких не знала история. Человек, необычный во всем, необычный в самом обычном...

Впервые я увидел Ленина в 1914 году в Берне, на квартире Г. Л. Шкловского. Помню, что Шкловский в то время жил в доме № 9 по улице Фалькенвег.

Придя к Шкловскому, еще в передней я услышал глуховатый голос. Вошел. Человек с огромным лбом, стоявший у окна, замолчал, вопросительно посмотрел на меня. Нас познакомили. Он назвал себя:

— Ульянов.

Руку он пожимал крепко, быстро и сильно сдавливая ладонь собеседника.

Говорят: суди о человеке по первому впечатлению. Еще ничего не было сказано, а глуховатый голос приятного мягкого тембра, сильное, по-настоящему мужское рукопожатие как-то сразу расположили меня к новому знакомому.

Усевшись в кресло, я исподтишка рассматривал его. Коренастая, ладно сбитая фигура. Под серым пиджаком чувствуются крепкие плечи. Руки короткие, но, видимо, сильные, мускулистые.

Ленин что-то рассказывал Шкловскому, слегка картавя. Я встретился с его взглядом и уже не мог отвести глаз. Нет, не сократовский лоб был самым замечательным в лице Ленина. Глаза! Небольшие, глубоко впавшие, по-особенному внимательные, они в то же время были полны иронии, блистали умом, а где-то в самой глубине искрились задорным весельем.

Владимир Ильич не вызывал меня на разговор, не обращался ко мне; изредка теребя свою бородку, растущую несколько запущенно и беспорядочно, он говорил со Шкловским. Я не заметил сам, как втянулся в их разговор.

Ленин умел удивительно быстро и незаметно сделать собеседника своим другом. Помню, в Петрограде, уже после революции, я зашел в кабинет к Владимиру Ильичу, когда у него был какой-то рабочий. Рабочий говорил напыщенно, то и дело вставляя «ученые» слова, старательно подделываясь под «высокий штиль». Ленин слушал внимательно, бросал короткие реплики, что-то рассказал, о чем-то спросил. И вдруг рабочий будто преобразился, сбросил с себя напускное, заговорил своим языком, образно, живо. Прощаясь, он долго тряс Ленину руку. А у двери покрутил головой и смущенно промолвил:

— Вы простите, Владимир Ильич, что вначале я с чужого голоса говорил... Кто ж знал, что вы такой... — он повел рукой, — прозрачный. Прозрачный!..

На следующий день по приезде Ленина в Берн в Бернском лесу состоялось собрание. Владимир Ильич выступил со своими знаменитыми тезисами о войне. Это было первое во время войны программное выступление большевизма. В нем с предельной четкостью, ясностью и полнотой были определены характер войны и задачи рабочего класса в текущий момент. Из присутствовавших помню Надежду Константиновну Крупскую, Владислава Минаевича Каспарова, депутата Государственной думы Самойлова.

Поочередно взглядывая на нас, коротко рубя рукой воздух, Ленин говорил о том, что нынешняя война — фактически война за передел колоний, война грабительская. Кажется, именно тогда Ленин впервые назвал империалистическую войну войной грабительской. Владимир Ильич обрушился на вождей II Интернационала, Каутского, Вандервельде.

— Измена, — сказал он об их поведении. — Измена!

Владимир Ильич говорил о необходимости борьбы за республику, за освобождение угнетенных наций, за конфискацию помещичьих земель и восьмичасовой рабочий день. С большой убежденностью он выдвинул лозунг о превращении войны империалистической в войну гражданскую и о необходимости создания нового Интернационала...

Некоторые товарищи пишут в своих воспоминаниях, что Ленин в первые минуты не производил как оратор большого впечатления. Не знаю! Ленина-оратора я слышал впервые в Бернском лесу. И с первой минуты, с первого слова он повел меня за собой. Всегда, о чем бы Владимир Ильич ни говорил, он находил свой необычный и захватывающий поворот, всегда он смело и прямо говорил то, о чем многие и не думали, а кое-кто только робко начинал догадываться. А какой язык! Чистый, ясный, отточенный, такой же прозрачный, как и сам Владимир Ильич. Выслушав Ленина, к иным выводам, кроме тех, которые делал он, прийти было нельзя.

За границей Ленин получал, по его собственному выражению, «архискудные известия» о русской революции. И несмотря на это, еще в первых откликах на революцию Ленин дал исключительно глубокий научный анализ создавшейся исторической обстановки и, исходя из этого, с гениальной прозорливостью определил направление дальнейшего развития

России. Получив первое известие о победе Февральской революции в России, Владимир Ильич писал 3 марта 1917 года: «Этот «первый этап первой (из порождаемых войной) революции» не будет ни последним ни только русским».

В статьях и письмах, написанных в марте 1917 года, Ленин разработал все важнейшие вопросы, связанные с переходом к новому, социалистическому этапу революции: об отношении к Временному правительству, о войне, о Советах, о вооружении рабочих, об отношении к другим партиям и т. д. Все это есть в «Письмах из далека», прологе знаменитых Апрельских тезисов.

В эмиграции я очень часто встречался с Владимиром Ильичем. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что после Февральской революции почти каждый наш разговор так или иначе сводился на возвращение. Ленин рвался в Россию.

Но как это сделать? Все пути сообщения находились в руках Англии и Франции. Правительства этих государств прекрасно понимали, какую опасность несет присутствие Владимира Ильича в революционном Петрограде. В день его приезда английское посольство передало в русское министерство иностранных дел записку. В ней говорилось о том, что Ленин — хороший организатор и крайне опасный человек, и, весьма вероятно, он будет иметь многочисленных последователей в Петрограде.

Просить помощи у Временного правительства было безнадежно. Оставалось только один путь — через Германию.

Наконец удалось добиться разрешения на отъезд в Россию. Фриц Платтен, рабочий — металлист по профессии, секретарь Швейцарской социалистической партии левого крыла, заключил с германскими представителями соглашение. По этому соглашению пропуск давался русским эмигрантам, независимо от их отношения к войне.

Владимир Ильич ходил радостный.

Надежда Константиновна шутила над ним, вспоминая, как Ильич сначала собирался связаться с контрабандистами, а потом, после нескольких бессонных ночей, вдруг заявил, что поедет с паспортом немого шведа. Отговорить его удалось, только сказав, что, если он начнет ночью кричать: «Сволочь меньшевики, сволочь меньшевики!» — все сразу узнают, что он не только не немой, но и не швед.

Владимир Ильич лукаво посмеивался:

— А что? Неверно? Такие они и есть.

И вот мы на вокзале. Третий звонок. Коротко рывкнул паровоз, и медленно поплыло назад светленькое здание вокзала. Тридцать два человека выехали в Россию.

Поезд все убыстрял ход. Покачивался вагон. И, честное слово, всю дорогу колеса стучали одно: в Пет-ро-град, в Пет-ро-град!..

Владимир Ильич стоял у окна, засунув руки под полы расстегнутого серого пиджака, отстукивая колесный такт толстой подошвой тупоносых черных туфель. Уже потом я не раз вспоминал эту сцену: Ленин, сосредоточенный и приподнятый, у грязного, с потеками, окна, за которым виднеются необозримые дали.

Итак, мы едем! С эмиграцией покончено навсегда. Несколько суток и — Россия...

Еще когда я слушал Ленина в Бернском лесу, я сразу понял: это не просто большой человек, это даже не такой большевик, которых я видел раньше. Владимир Ильич обладал необычайным умением все впечатления, все разговоры, все мысли направлять в одно русло: классовый борьбы, пользы делу пролетариата.

Владимир Ильич умел нечеловечески много работать: в одном только Берне он прочел невероятное количество философских трудов.

Владимир Ильич никогда не был аскетом или пуристом. Водки он не пил, не курил, но любил густое черное пиво, не помню сейчас, как оно называлось. О его любви к музыке, знании литературы написано достаточно.

Владимир Ильич любил шутку. Смеялся он так же удивительно, как делал и все остальное. Нельзя было не смеяться вместе с ним. Он вздергивал бородку, лысина его краснела, рыжевато-белокурые волосы вокруг нее чуть топорщились. Это был заразительный смех человека чистой, прозрачной души.

Надо сказать, что Ленин прекрасно плавал, ездил на велосипеде, катался на коньках, стрелял.

В Берне мы обычно собирались в локале — маленькой комнатке при кафе. Однажды Ленин, Арманд, Крыленко, Каспаров и я ждали прихода остальных. Коротая время, мы с Владимиром Ильичем сели играть в шахматы. Я проиграл два раза. И обиделся. Ленин заметил это. Взяв меня за лацкан, он наклонился к моему уху и, мило картавя, сказал:

— Батенька, а знаете, я ведь тоже ужасно азартный. Проиграю — сержусь. — И затеребил бородку смущенно...

Владимир Ильич и Надежда Константиновна ехали в одном купе с Инессой Арманд. Ехал ли с ними кто-нибудь четвертый, я сейчас не помню. В других купе разместились эмигранты, члены их семей. Было много женщин, дети.

В первые часы после отъезда разговор вертелся вокруг оставляемой Швейцарии. Вспоминали две наши «партии»: «прогулистов» и «синемистов»; первые — любители прогулок, вторые — кино. Владимир Ильич был признанным лидером «прогулистов». Велосипедные прогулки, пешая ходьба были его любимым видом отдыха. Сторонников своей «партии» он вербовал всеми правдами и неправдами. Я был ярым «прогулист». Завязался спор. Вмешалась Надежда Константиновна. «Заклеймила» нас как «ортодоксов» партии «прогулистов» и сказала, что в поезде гулять негде и кино смотреть негде, поэтому обе «партии» временно распускаются и между ними заключается перемирие. На том и порешили.

Вскоре Владимир Ильич ушел к себе в купе и сел за книги. Распорядок дня в поезде он сохранил таким же, словно никуда не уезжал из своей квартиры. В дороге Владимир Ильич читал. За время пути, продолжавшегося несколько дней, он прочел столько философской, экономической и политической литературы, сколько другому надо читать год.

Отдыхая, Владимир Ильич выходил в коридорчик и, заложив короткие сильные руки за спину, прохаживался вдоль окон, взглядывая в них, или, наклонив огромный лоб, думал о чем-то.

В это время он разговаривал и с товарищами. Протягивая вперед ладонь и как бы поддерживая на ней что-то, Владимир Ильич говорил о Кларе Цеткин.

Я рассказал ему о том впечатлении, которое произвело на меня выступление Цеткин на международной женской социалистической конференции. Я не все понимал, что говорила на немецком языке эта маленькая и уже седая женщина. Но ее горячая, страстная речь заменяла мне непонятные слова. Я понял ее гнев и презрение к мясникам империалистической бойни.

— Да, да, — Владимир Ильич повернулся на каблуках к окну. — У Клары принципиальный подход и практический опыт... — Он хотел что-то добавить, но взглянул на часы и быстро ушел к себе в купе.

Вместе с нами ехало двое детей. Один из них — парнишка по имени, если не ошибаюсь, Роберт. Владимир Ильич очень любил детей. В Берне он возился с ребятами Шкловского; здесь чуть не все свободное

время отдавал малышам, едущим с нами. Сколько раз можно было видеть такую картину.

Владимир Ильич сидит в купе, на одном его колене — Роберт, на другом — второй малыш. С детьми он умел говорить так, что те сразу же проникались к нему доверием. Владимир Ильич не подлаживался под детский язык, с маленькими он говорил так же, как со взрослыми. И так же, как взрослые, дети сразу верили ему.

Иногда у Владимира Ильича и Роберта возникали какие-то «принципальные» разногласия. Ленин подолгу и серьезно убеждал в чем-то Роберта. И Роберт так же серьезно пытался доказать свою правоту. Бывало, что Роберт и Владимир Ильич и не убеждали друг друга. Тогда Владимир Ильич снимал пиджак, засучивал рукава и говорил:

— Ну, Роберт, давай драться. Чья возьмет?

И они дрались. Пинали один другого кулаками, сопели и сбрасывали на пол одеяла с нижних полок. «Дрались» честно и долго. Обычно побеждал Роберт. Но если Роберт был в чем-то очень неправ и убедить его словами было невозможно, то победителем выходил Владимир Ильич. Тогда он, довольно хмыкая, совал большие ладони под мышки Роберту и спрашивал упорно:

— Ну? Прав я?

И мальчишка соглашался:

— Прав!

До моря оставалось уже несколько часов. И тут, точно не помню с кем, у Владимира Ильича возник спор.

Собеседник Владимира Ильича стоял на позиции условной поддержки Временного правительства.

Ленин разволновался. Человеку, недолго с ним знакомому, трудно было бы это заметить. Волнение Ленина выражалось обычно в большей собранности и в том, что в глазах его пропадали искорки задорного веселья, они серьезнели. Замечу кстати, что Владимир Ильич, человек огромнейшей воли, умел владеть собой, как никто другой.

Коротко подрубая рукой возражения оппонента, Владимир Ильич убеждал, что Временное правительство — орган буржуазии, что война при этом правительстве затеется грабительская и, для того чтобы кончить войну не насильническим, а по-настоящему демократическим миром, надо свергнуть раз и навсегда власть буржуазии.

То, как Ильич картавил, звучало обычно мягко и подкупающе; на этот раз в голосе слышалась неуловимая издевка, короткие жесты только усугубляли это впечатление.

...И вот мы на пароходе. Капитан, выйдя из рубки, спрашивает:

— Кто здесь господин Ульянов?

Владимир Ильич, вышел вперед и сказал:

— Я — Ульянов.

— Вам телеграмма.

Это оказалась телеграмма от ждавшего нас в Швеции Ганецкого. Не зная точного дня нашего приезда, он сбился с ног и, выдав себя за представителя русского Красного Креста, дал нам на пароход телеграмму.

С парохода снова пересели в поезд.

Тридцать первого марта рано утром на небольшой станции, не доезжая Стокгольма, наш вагон осадили неизвестно как прослышавшие о Ленине корреспонденты шведских газет. Ленин отказался их принять.

— Скажите, что потом, в Стокгольме, — просил он.

Девять часов утра. Стокгольм. Корреспондентов пока что нет. Зато трещат кинематографические съемочные аппараты. При всем желании Владимир Ильич не может спрятаться от их тупо поблескивающих глаз.

Наконец и Стокгольм позади.

Владимир Ильич стоял у вагонного окна неподвижно, засунув руки глубоко в карманы, прислонившись лбом к стеклу. И смотрел. Смотрел, как за окном мчалась назад туманная равнина, смотрел на голые черные и такие до боли, до слез родные деревья.

Земля родины. Деревья родины..

Переехали границу. Ленин так же молчит, так же бледен, так же волнуется, но будто расправил плечи. Шире стали плечи! Похоже, выпустили орла на волю, он еще не решается взмахнуть крыльями, но уже поводит ими — вот-вот взмахнет и взовьется в невероятную высь, свободный, гордый.

В Белоостров нас выехали встречать Мария Ильинична Ульянова, Людмила Сталь, сестрорецкие рабочие. Не успел Владимир Ильич выйти из вагона, как его тут же подхватили на руки, понесли. Поезд вскоре отходил. Ленин вернулся. Застучали колеса. Но долго еще вслед нам неслись крики: «Ленин!», «Ленин с нами!»

Петроград!..

Запотевшие стекла окон черны. Ни огонька, ни просвета за ними. Поезд замедляет ход. Все уже одеты. Пиджак и пальто на Владимире Ильиче не застегнуты. Пальцы постукивают по жестким полям светлой, пирожком, шляпы. Вот замелькали в вагоне полосы света. Вагон вздрогнул, остановился. Финляндский вокзал.

С подножки вагона Ленин бросил вниз, собравшимся, призывный лозунг:

— Да здравствует социалистическая революция!

Так начал он свою первую речь в Петрограде.

На перроне был выстроен почетный караул. Ленин стоял с непокрытой головой.

В «царской» комнате вокзала Владимира Ильича ждали меньшевики. Перед самыми дверьми кто-то передал Ленину огромный букет. Становилось холоднее, от цветов сильно пахло сыростью и весной. У Владимира Ильича замерзло лицо. Передав кому-то цветы, он взялся рукой за лоб, потер его и, сильно сдавливая лицо, провел руку вниз, как бы стирая холод, волнение и усталость.

Чхеидзе, приготовивший «приветственную» речь, не улыбнулся, не пожал Ленину руку. Он стоял угрюмый и пасмурный, заложив палец в проему жилета, и ждал. Наконец начал. Говорил он, если не ошибаюсь, от имени «Петроградского Совета и всей революции». Он звал Ленина сплачивать ряды «демократии».

Мы все немножко растерялись, слушая одного из лидеров меньшевиков. Ленин не перебивал. Он стоял с таким видом, словно все происходящее, весь поток слов, выливаемый на него Чхеидзе, как раз его-то ни в малейшей степени не касается, осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок «царской» комнаты.

Чхеидзе кончил. Ленин повернулся от меньшевистской делегации к небольшой кучке матросов и рабочих, стоявших тут же. Обращаясь к ним, Владимир Ильич приветствовал в их лице победившую русскую революцию, приветствовал их как передовой отряд всемирной пролетарской армии. Грабительская империалистическая война, подчеркнул Ильич, есть начало войны пражданской во всей Европе. В Германии все кипит, говорил он, русская революция открыла новую эпоху.

Эту свою речь Владимир Ильич снова закончил словами:

— Да здравствует социалистическая революция!

Стрелки часов двигались к полуночи, когда мы вышли из здания вокзала.

Едва раскрылась дверь, как крики: «Ленин! Ленин!» — встретили нас. Владимира Ильича подхватили на руки и понесли на площадь.

Товарищи, ожидавшие нас в Белоострове, рассказывали нам о готовящейся встрече. Но того, что мы увидели на площади перед Финляндским вокзалом, никто не ожидал увидеть. Это можно сравнить только с морем, с половодьем. Море голов. Половодье рук. Площадь залита огромной толпой. Всюду знамена. На некоторых четко, на некоторых коряво, но на всех одни и те же слова: «Привет Ленину!»

Броневик стоял довольно далеко от вокзала. И пока Владимира Ильича несли к нему, возгласы «ура» перекачивались по площади. Не руки, нет, вслны народной любви несли Ильича по площади.

Но вот Ленин у броневика. Десятки рук поддерживали, помогли взобраться на башенку. Вспыхнули два прожекторных рефлектора. Вздогнули, дернулись голубые лучи. Остановились на коренастой, в распахнутом пальто ленинской фигуре. И одновременно застыло дыхание площади.

Тишина.

Владимир Ильич, чуть потоптавшись на месте, бросил в толпу, к тысячам горящих, ждущих глаз свой призыв к социалистической революции.

Вождь революции занял свое место.
Великий Ленин встал у руля.

И. ЕРЕМЕЕВ,

член КПСС с 1917 года

В АПРЕЛЬСКИЕ ДНИ

Встреча на Финляндском вокзале

В эту пасху яркое весеннее солнышко с самого утра весело ласкало промерзшую за зиму землю.

Прямо напротив проходных ворот нашего Путиловского завода, заканчивая собой Богомоловскую улицу, располагалось в то время просторное Лиговское поле. Оно было обычным местом сборов рабочих в погожие праздничные дни.

На это поле, поросшее травой и высоким бурьяном, люди собирались, захватив с собой все, что может понадобиться для отдыха и веселья: кто — самовар, кто — гармонику, выпивку, закуску, балалайку, городки.

В этот памятный день, 3 апреля 1917 года, вместе с другими путиловцами я тоже отправился на Лиговское поле. Народу собралось очень много.

Пасха по существу была только предлогом. Всем хотелось встретиться с друзьями, приятелями, поговорить по душам о событиях.

Нужно сказать, что в те дни наш завод в известном смысле представлял собой как бы всю Россию в миниатюре. У нас существовало тогда более двадцати партий: меньшевики и эсеры нескольких сортов, кадеты, анархисты, черносотенцы — кого только не было! И каждый тянул рабочих к себе.

Рабочему люду было о чем поспорить. Сходились все на одном: надоели война, голод, неурядицы. Но дальнейшие пути виделись по-разному. Были такие, которые верили во Временное правительство, другие считали, что нужно дождаться Учредительного собрания, некото-

рые даже доказывали необходимость продолжения войны, а кое-кто утверждал, что не нужно ни государства, ни власти, ни войны — живи, мол, сам по себе. Но подавляющее большинство рабочих уважительно говорило о Ленине и большевиках, требовавших немедленного мира, рабочим — фабрики и заводы, землю — крестьянам, хлеб — всем нуждающимся.

Солнце уже склонялось к горизонту, от высоких домов и деревьев потянулись длинные тени. Большая группа людей неожиданно появилась на Лиговском поле. Они быстро рассеялись по кучкам рабочих.

К нам подошел Иван Наумов, член завкома, большевик.

— Товарищи, — взволнованно сказал он, — сегодня вечером в Петроград приезжает Ленин! Будем встречать.

...Старый путиловец коммунист Михаил Войцеховский вызвал две сотни вооруженных красногвардейцев завода.

— Становись по шесть в ряд! — послышалась команда.

Вдоль деревянного забора, ограждавшего завод, вытянулась длинная колонна рабочих. Я оглянулся. Головы, плечи, винтовки занимали все видимое пространство.

Неожиданно там и здесь вспыхнули факелы. Это было очень красиво: ночная темнота, колеблющееся пламя факелов, освещающих массу народа, блеск штыков.

— Смело, товарищи, в ногу,—

запел кто-то в голове колонны.

Духом окрепнем в борьбе;
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе,—

дружно поддержали его соседи...

Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой! —

эти слова песни пропели с особым подъемом, чеканя каждый слог.

Громадная колонна путиловцев двинулась к Финляндскому вокзалу, куда должен был приехать Владимир Ильич. Прохожие, увлеченные необыкновенным зрелищем, спешили узнать, куда мы идем, и вливались в наши ряды.

Привокзальная площадь уже была битком набита другими делегациями, собравшимися сюда со всего города. Тут я понял, что значил поговорка «яблоку некуда упасть», — рабочие, солдаты, матросы стояли вплотную друг к другу.

Мы немного опоздали, и поэтому нам не удалось протиснуться к вокзалу. А тут еще, как назло, прямо перед глазами стоял какой-то броневик, окруженный солдатами.

Никогда я не видел такого. Солдатские папахи, рабочие тужурки, бескозырки матросов, серые шинели, красные полотнища знамен и плакатов, освещенные багровым светом сотен факелов. Гремит музыка нескольких оркестров, с угла на угол площадь рассекают лучи прожекторов. Оживленные разговоры, громкие возгласы, песни.

Вдруг весь этот многоголосый шум разрезал гудок паровоза. Площадь мигот стихла. Заметались, забегали лучи прожекторов и уперлись в маленькое здание вокзала. Наши ребята подняли повыше лозунг, который мы принесли с собой: «Привет товарищу Ленину!»

В томительном ожидании прошло еще немного времени, и вот по всей площади прокатилось мощное «ура-а-а!»

«Далеко, — подумал я, — не услышим ничего».

Но что это? Ленин движется в нашу сторону. Вот он все ближе, ближе. Вверх летят кепки, папахи, бескозырки.

Ленин взбирается на броневик. Десятки рук помогают ему снизу, втаскивают его сверху. Прямо над нашей головой он поднял руку, начал свою речь.

Я успел хорошо рассмотреть его и запомнить этот образ на всю жизнь. Невысокий, с бородкой клинышком, он в этот день был одет в темное пальто, которое было расстегнуто. Серый пиджак, узкие брюки, на ногах черные полуботинки, в руках снятая с головы шляпа. Да, да, шляпа. Потом я видел много рисунков, изображающих Владимира Ильича на броневике. Все почему-то любят рисовать его в кепке, а я прекрасно помню, что Ленин был тогда в шляпе, фетровой шляпе с жесткими полями.

— Да здравствует социалистическая революция! — провозгласил Ленин в заключение своей речи. Эти слова покрыло опять громкое «ура». Солдаты так и не пустили Владимира Ильича с броневика. Они усадили его поудобней, и машина двинулась к дворцу Кшесинской. Мы вместе со всей толпой повалили вслед за броневиком.

— Да здравствует товарищ Ленин!.. Ленину привет! — не смолкали радостные возгласы.

Только под утро, возбужденные, шумные, мы направились к себе на завод. Наши песни будили на утренней заре сладко спавших петроградских обывателей. Не понимая, что происходит, они робко выглядывали из-за занавесок.

— Ленин приехал! — радостно кричали мы в их заспанные лица. — Ленин с нами!

Нам было очень весело видеть, как они испуганно прятались, затагивая поспешно свои кружевные занавески. Так прошел этот полный событий праздничный день.

Бурная демонстрация

Хорошо запомнился мне и еще один апрельский день.

Я работал тогда в старой кузнице Путиловского завода. Помню, 19 апреля, в обеденный перерыв, к нам в цех пришел один из руководителей путиловских большевиков, Иосиф Леошко.

— Слыхали, ребята, — обратился он к нам, — какую штуку отмочило Временное правительство?

Мы мигом собрались вокруг него. Иосиф рассказал, что вчера Миллюков, который в то время был министром иностранных дел Временного правительства, послал союзникам ноту, будто весь народ России хочет продолжать войну до победного конца. А это означало, что мира ждать нечего.

У нас на заводе было много солдат, которые на себе испробовали, что такое война. И уж кто-кто, а мы войны не хотели никак. Послышались крики:

— Как они смели?!

— Пойдемте к этому правительству, спросим, от чьего имени они действуют!

Решено было на следующий день идти в центр города и потребовать отчета от Временного правительства.

Возмущение охватило всех трудящихся Петрограда. Центральный Комитет партии большевиков призвал массы к протесту против империалистической политики Временного правительства.

20 апреля десятитысячная толпа собралась у проходной Путиловского завода. Стихийно вспыхивали митинги.

Мы, красногвардейцы завода, пришли на эту демонстрацию вооруженными. Негодование было всеобщее, атмосфера накалилась до предела. Откуда-то появились лозунги и транспаранты:

«Мы не хотим войны!»

«Долой Милюкова и Гучкова!»

«Хлеба!», «Вся власть Советам!»

«Долой войну!»

В самом воинственном настроении мы двинулись к центру. До тех пор, пока мы шли по рабочим кварталам, все было хорошо. Люди выходили из домов, пристраивались к нашим колоннам и, поддавшись общему настроению, шли вместе с нами. Мне кажется, что эта наша демонстрация была более бурной, чем даже в дни Февральской революции. Власть должна принадлежать нам. Мы ее завоевали, а нас обманули. За нашей спиной творились черные дела.

Миновав окраины, мы вышли в буржуазные кварталы. На Садовой, где преимущественно жила буржуазия, вместе с потоками брани и издевательскими выкриками с верхних этажей в нас летели комки свернутой бумаги. Мы размахивали оружием, грозили кулаками, но никаких решительных действий не предпринимали.

Наконец наше терпение лопнуло. Не доходя Сенной, мы повстречали группку буржуев, прогуливавшихся по тротуару. Увидев нас, они засвистели, заулюлюкали. Особенно старался один из них. Багровый от напряжения, он, надрываясь, кричал: «Хлеба захотели? Мира вам? Немцам продались, сволочи!.. Вот вам!» — и он показал жирный кукиш.

Это переполнило чашу нашего терпения. Кто-то из ребят выскочил на тротуар и толкнул его к нам. Десятки жилистых рабочих рук мгновенно вцепились в эту противную фигуру и втащили буржуя в середину колонны. Девчата-работницы подхватили его под руки и заставили шагать в колонне. Это зрелище вызывало всеобщий смех. Действительно смешно было видеть «господина» в енотовой шубе с бобровым воротником, в шелковом черном цилиндре на затылке под руку с работницами в потрепанной одежде. Девушки держали его крепко. Он все время пытался вырваться и, улучив момент, когда мы проходили мимо какой-то бани, юркнул в ворота. В качестве трофея нам остался черный шелковый цилиндр, который мой друг, Иван Михайлов, насадил на штык и понес в колонне.

Вместе с рабочими других предприятий города мы долго простояли у Таврического дворца, вызывая Милюкова и Гучкова. Народу собралось очень много. Как я узнал уже много позже, нас было больше ста тысяч человек.

Никто из «правителей» к нам так и не вышел—струсили, видно. Лишь время от времени на импровизированных трибунах в середине толпы появлялись меньшевистские и эсеровские ораторы. Они пытались доказать правильность действий Временного правительства. Но их тотчас же стаскивали, не давали говорить.

Убедившись, что руководители Временного правительства не желают разговаривать с народом, демонстранты с революционными песнями и лозунгами двинулись по центральному улицам города.

Несмотря на дождь, демонстрация продолжалась до самого вечера. Бурные митинги разгорелись в этот день у Летнего сада, цирка Чинизелли. Здесь в яростных спорах большевики схватывались с меньшевиками-

соглашателями и теми нашими товарищами, которые, увлекаясь, толкали людей на преждевременное восстание.

Помню, мы, группа красногвардейцев-путиловцев, шли по Лиговской улице. Неожиданно откуда-то со стороны раздались выстрелы. Мы быстро залегли и схватились за винтовки.

— Не стрелять! — крикнул Михаил Войцеховский. — Это провокация.

Мы поворчали, но приказ выполнили. А из невидимой засады продолжали стрелять, пули рикошетом стскакивали от булыжника.

Стрельба по рабочим из засады! Бывало такое не раз при царе. Теперь и Временное правительство раскрывало свое лицо...

Мне живо вспомнились недавние дни. Это произошло дня за три до отправки на фронт Второго пулеметного полка, в котором я тогда служил.

Двадцать восьмого февраля рано утром в местечко Стрельна под Петроградом, где стоял наш полк, ворвался мотоциклист и, мчась во весь дух по улицам, громко кричал:

— Товарищи! В Петрограде революция! Восстали рабочие и солдаты против царя!..

Он взбудоражил весь поселок. Наша маршевая команда бросилась к складам с оружием, выломала двери и, вооружившись карабинами и пулеметами, рассыпалась по улицам.

В местечке шла беспорядочная пулеметная и винтовочная стрельба. Стреляли без всякой цели, вверх, просто для того, чтобы выразить бурлившую в каждом радость.

Мы захватили проезжавший по дороге грузовик. Плотно набившись в его кузов, оцетинившись штыками и пулеметами, двинулись в Петроград. Кто-то притащил красную попону. Быстро соорудили из нее что-то вроде флага и высоко подняли его над головами.

Около одиннадцати утра мы достигли окраины столицы и здесь встретились с путиловскими рабочими. Наш грозный грузовик с алым полотнищем был встречен дружным восторженным «ура».

— Да здравствует революция! Да здравствует дружба рабочих и солдат! Долой царское самодержавие! — кричала толпа.

К нам бросились рабочие и работницы, обнимали, целовали, жали руки. Узнав, что мы проделали многокилометровый марш в морозное февральское утро, нам прямо сюда, к проходным воротам Путиловского завода, принесли горячий чай и белые булки.

Но задерживаться у Путиловского завода было некогда. Посадив к себе в машину нескольких рабочих, мы двинулись дальше. Тут же в машине оказались и вездесущие мальчишки.

Не успели мы отъехать и двухсот шагов, как вдруг откуда-то справа раздалась пулеметная очередь. Стреляли по безоружной толпе. К счастью, предательские пули просвистели высоко над головой.

Один из притаившихся в нашей машине мальчиков дернул меня сзади за шинель.

— Дяденька солдат, стреляют вон откуда... вон — смотри! — и он указал пальцем на трехэтажное кирпичное здание в переулке.

В дом бросилась толпа рабочих и солдат и вытащила оттуда десятка два жандармов.

Теперь мы двигались уже более осторожно. И недаром. До Нарвских ворот оставалось каких-нибудь триста метров, когда к нам подбежали два юных разведчика.

— Дяденьки, — кричали они, — там на балконе сидят городовые с пулеметом! Они сейчас будут стрелять в вас!

В этот день мы побывали у Литовского замка, в Петропавловской крепости, везде помогая уничтожать тайные засады. Вечером, усталые и из-

мученные, направились к Варшавскому вокзалу, рассчитывая там переночевать. Из собора, стоящего на Измайловском проспекте, по нашей машине вдруг ударил залп. Мой друг, Сережа Чаусов, стоявший рядом со мной, беззвучно рухнул на камни мостовой. Наш отряд ринулся навстречу летящим пулям. Я изо всех сил нажал гашетки пулемета. В этот момент грузовик рванулся вперед, потом резко сбавил ход, снова помчался. Пока мы старались понять, в чем дело, машина резко затормозила на площади перед Варшавским вокзалом. Я спрыгнул на мостовую. Наш шофер, солдат Семенов, по прозвищу «дядя Саша ать-два», лежал, склонившись на руль, изо рта ручьем стекала кровь. Другой шофер, тот самый, у которого утром в Стрельне мы взяли грузовик, стонал, прислонив окровавленную голову к дверце кабины.

Мы осторожно перенесли товарищей в вокзал, в медпункт скорой помощи.

...Сережа Чаусов, «дядя Саша», этот шофер-рабочий — сколько простых людей было расстреляно в тот февральский день из тайных засад! Так что, когда теперь, 20 апреля, Временное правительство открыло по безоружной толпе огонь, мы под овечьей шкурой «демократов» быстро разглядели старый волчий оскал царской жандармерии.

Демонстрация продолжалась и на следующий день. Возмущению рабочих не было границ. Нетрудно представить себе наше ликование, когда мы 2 мая прочли в газетах о том, что ненавистные нам Милюков и Гучков выведены из состава правительства. Мы были горды своей победой.

С. ХОДАКОВА,

член КПСС с 1912 года

ЖИВАЯ ВОДА РЕВОЛЮЦИИ

После встречи В. И. Ленина на площади Финляндского вокзала, уже на рассвете, я, взволнованная только что виденным и слышанным, пошла бродить по городу.

Прислонившись к пьедесталу одного из сфинксов, оперев винтовку в буквы надписи: «Из древних Фив в Египте в град святого Петра...», стоял солдат с красным бантом на шинели.

В руку огромной бронзовой Екатерины кто-то воткнул красный флажок.

Город жил двойной жизнью.

В Мариинском театре шли балеты с Карсавиной. Пел Шаляпин. Рассказывали об одном ученике императорского пажееского корпуса: бывая в театре, он во всех антрактах вставал и стоял навтытяжку в своей парадной форме, повернувшись лицом к пустой, с ободранными орлами императорской ложе. Жены чиновников ездили друг к другу на чашку чая. В муфтах они прятали кусочки булки и ювелирные коробочки с сахаром.

А кругом, на тех же улицах, в тех же домах, рождалась новая Россия. На фабриках и заводах закалялись в борьбе со старыми порядками фабрично-заводские комитеты. На фронте солдаты утихомиривали офицеров и горячо выступали в своих комитетах.

Газеты, книги, брошюры издавались в колоссальных количествах. И все это прочитывалось от корки до корки, проглатывалось, — город впитывал печатный материал, как губка воду.

7 апреля в «Правде» я прочитала знаменитые Апрельские тезисы Ленина. Большевики приняли их с огромным удовлетворением. Зато на меньшевиков эти тезисы произвели впечатление разорвавшейся бомбы.

— Вне революции, — вещал Чхеидзе, — останется один Ленин, а мы все пойдем своим путем.

Вскоре я выехала в Ригу. Совсем девчонка — двадцать один год. Но в то время с возрастом не считались. Я уже успела побывать в ссылке и в Петроград вернулась как раз накануне возвращения Ленина из эмиграции.

В Риге большевистская организация только что вышла из подполья. Был избран легальный Рижский комитет социал-демократической партии Латышского края. Я стала председателем русской секции комитета.

И вот здесь, в Риге, и начался мой первый бой за большевистские установки, за установки ленинских Апрельских тезисов. Весной 1917 года к Риге было стянуто значительное количество войск. Керенский отсюда собирался начать наступление на немцев. Главной нашей задачей было провалить лозунг Керенского «За наступление!», отстоять ленинский лозунг «Долой захватническую грабительскую войну!».

Нечего и говорить, что нам, пропагандистам ленинских взглядов, пришлось выдерживать жесточайшую атаку со стороны меньшевиков и эсеров. Помню, как наскакивала на меня, беспорядочно тыча руками во все стороны и бранясь, меньшевичка-интернационастка:

— Вы с вашим Лениным гоните Россию в тупик. Что? Вы хотите уничтожить все завоевания революции? Вы этого хотите, да?

Солдаты приняли нас по-другому. Полки один за другим принимали резолюцию против войны.

Как-то к нам, на Северный фронт, приехали представители «главноуправляющего» Керенского. Я выехала вместе с ними в воинские части. Начал говорить один из представителей. Голос барский, с рокотанием. Говорил он долго. О чем — сейчас, конечно, не помню. Что-то вроде того, что Керенский за народ жизни не пожалеет, что во Временном правительстве лучшие представители народа, что Россия гибнет и т. д. Я посмотрела на солдат. Мои «бородачи», как я их тогда называла, стоят молча, положив ладони на дула винтовок, слушают.

Представитель кончил. И сразу на трибуну вскочил здоровый рыжий солдат.

— Эти, — он махнул рукой на приезжих, — кто они? Скажу. Сволочи! Сидят, зады греют в креслах. А мы?.. Жрать нечего. Вши одолели. Довоевались! Россия гибнет, говоришь? — Солдат сунулся к самому лицу представителя. — Пусть! Не наша Россия гибнет — ихняя. Ты за народ не жизнь отдавай, ты ему жить дай! А наша Россия не погибнет. Подъмается Россия-то!

Представитель озлился:

— Большевистская болтовня!

Солдат посмотрел на него, как на прокаженного, брезгливо:

— Гнида ты, и больше ничего!.. С фронту мы. А фронт, он весь этим занимается. Понял? Большевистской-то «болтовней» занимается!

— Товарищи, — зарокотал представитель снова, — вы не слушайте вот таких! — Он кивнул головой на рыжего солдата. — Большевики зовут вас к братоубийству. У них одно на уме: рвать, ломать, разрушать, критиковать.

И тут собрание не выдержало. Крик, свистки. Кое-где деловито перестукивались затворами.

— Вот что, — сказала я представителям. — Вам надо уходить. Может плохо кончиться.

А вскоре после этого собрания, на котором солдаты приняли резолюцию, поддерживающую большевистскую партию, в мае я уехала из Риги в Саратов по партийному заданию.

Саратов. В те годы захолустный городок. Глушь. Но и здесь повеяло воздухом революции. Перед каждым стоял один вопрос: с кем ты?

Был в Саратове гвоздильный завод Гантке. И вот что творилось на этом заводе. Рабочий Кошкин, вытягивая проволоку, сорвался и упал в чан. Через неделю сорвался и сварился в кипятке рабочий Минаев. В волоочильном цехе однажды проволока соскочила с барабана, обвилась вокруг шеи рабочего и срезала ему голову. Имени рабочего никто не знал: «Беженец был, неизвестный». Не проходило недели, чтобы на заводе не случилось чего-либо подобного. После Февраля рабочие думали, что условия их труда как-то улучшатся. Куда там! Чины администрации Гантке охотно нацепили на лацканы своих пиджаков красные банты, но на заводе все осталось по-старому.

Когда в Саратов пришли Апрельские тезисы Ленина, в городе организовалось около двадцати профсоюзов, охватывающих семнадцать тысяч рабочих и служащих. Передовые рабочие понимали, что наступал новый, социалистический этап революции.

А что происходило в деревне? Помню, как я ездила в село (забыла его название). Приехала туда по делам, ненадолго. Как раз в этот день в селе шумел сход. Я пошла послушать. Прихожу. Села в уголок. Говорили что-то о посевах, выпасах. Знакомые товарищи просят:

— Выступи, расскажи, что на белом свете творится, о революции.

Я вышла.

— Знаете, граждане, хотите слушать — слушайте. Только предупреждаю, я большевичка.

Сход как бы придвинулся ко мне. А из первого ряда встает старик, седой, похожий на Льва Толстого, подходит ко мне и кланяется низко, в ноги.

— Что ты, дедушка, — говорю, — разве можно?

Поднялся старик, посмотрел сурово:

— Молчи, дочка, не тебе кланяюсь. От всего села Ленину поклон.

И зашумел сход. Кричат. Просят: скажи, как жить. Я даже растерялась. Огляделась. Десятки глаз смотрят на меня — девчонку, с верой ждут, что я им сейчас скажу. А я им кому в дочери, кому во внучки гожусь.

Тут я, пожалуй, впервые поняла всем своим существом, как много значит, что за тобой стоит сильная, правильная и народная партия — партия большевиков. Говорила я долго. Рассказывала о Ленине, об Апрельских тезисах, об отношении партии к земельному вопросу. После меня на трибуне появился эсер. Говорить ему не дали. На него не кричали, ему просто сказали: «Уйди!» — и он ушел.

Старик проводил меня до двери и на прощание застенчиво сказал:

— Передай Ленину: все наше село за него. Побеседовать бы с ним. Чать, высокий... Маленький? Ишь ты. Приехал бы к нам, что ль, разок?

Потом я заехала в Юсупово. И здесь приняли резолюцию, поддерживающую Апрельские тезисы, обещали голосовать за большевиков.

Мучительно и трудно решался в Саратове вопрос об отношении к войне. Меньшевики и эсеры прилагали все усилия, чтобы отколоть солдат от рабочих. В некоторых воинских частях они добились того, что солдаты стали враждебно относиться к стремлению рабочих улучшить свое положение. Оборонцы, демагогически играя лозунгом «Отечество в опасности», сбивали рабочих в непатриотизме за их требования восьмичасового рабочего дня.

Однако пропаганда ленинских тезисов все шире и шире проникала в массы. Пришел к большевикам и отдал себя в их распоряжение Третий пулеметный полк под командованием прапорщика В. Соколова. Солдат седьмой роты 92-го полка Л. М. Каганович создал при военной организации большевиков партийные курсы по подготовке кадров руководителей вооруженными силами в предстоящей социалистической революции. Эти курсы работали на основе Апрельских тезисов.

Временное правительство выпустило «Заем свободы», целью которого было удушение свободы, продолжение грабительской войны. Помню бурный митинг в тринадцатой роте 90-го полка. Сменяя друг друга, говорили большевики, меньшевики, эсеры. Оборонцы истекали словами, пытались перетянуть солдат на свою сторону. Наконец солдаты сказали:

— Хватит! Ясно! Даешь резолюцию!

И приняли резолюцию:

«Тринадцатая рота 90-го полка считает, что деньги на снаряды и войну (так называемый «Заем свободы») должны давать не солдаты, а те граждане, которым война выгодна, то есть торгово-промышленники, фабриканты (класс имущих), и поэтому мы, солдаты тринадцатой роты 90-го полка, постановили: вычеты из жалованья или каких-либо других ротных сумм в пользу так называемого «Займа свободы» — не давать».

Что помогало нам так быстро завоевать массы? Апрельские тезисы. Ведь в них на двух страничках Владимир Ильич Ленин дал научное теоретическое освещение стратегии и тактики партии пролетариата и вместе с тем показал нам четкую и ясную практическую программу революционных действий, определил направление главного удара. Ленин выдвинул в Апрельских тезисах свой исторический лозунг об организации Советов как наилучшей формы диктатуры пролетариата.

Лозунг «Вся власть Советам!» резко отделил нас от остальных партий. В лицо большевикам бросили обвинение в шпионаже, пошла в ход легенда о «запломбированном вагоне». Среди обывателей стало модным всячески поносить большевиков.

А вот факты и цифры.

1 марта Саратовский Совет принимает резолюцию. В резолюции приветствуется Временное правительство, предлагается оказывать ему всяческую поддержку.

В составе Саратовского Совета первого созыва 213 депутатов, из них 23 большевика.

23 марта 1917 года вышел первый номер саратовского «Социал-демократа».

Это — в марте, а 10 апреля «Социал-демократ» помещает подробнейший отчет о приезде в Петроград Ленина, подробно, красочно описывает встречу на Финляндском вокзале.

И уже в апреле Саратовская большевистская организация насчитывает полторы тысячи членов партии.

В Саратовском Совете второго созыва около пятнадцати процентов мандатов — большевистские. Выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов Саратова третьего созыва дали большевикам шестьдесят процентов. От бывшего засилия и влияния меньшевиков и эсеров остались одни воспоминания.

Помню, хорошо сказал тогда кто-то из делегатов саратовской общегородской партийной конференции:

— Есть такая легенда о живой и мертвой воде. Если живой водой смочить рану — она заживает. Если живой водой смочить отрубленную руку — рука прирастет на место. Апрельские тезисы — это живая вода нашей революции, живая ее струя.

В. АЛЕКСЕЕВА,
член КПСС с 1914 года

НА АПРЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В апреле 1917 года я, еще молодая курсистка Бестужевских курсов, уже имела трехлетний партийный стаж. Мы, партийная молодежь, горячо брались за всякую работу, и сейчас даже трудно припомнить бесчисленное количество всевозможных партийных поручений, которые мне в то время приходилось выполнять.

Учебу и партийную работу нужно было совмещать с поисками заработка. Родители-буржуа, детям которых я давала уроки, с недоверием и опаской поглядывали на меня. Действительно, в то время мы, революционно настроенные юноши и девушки, резко отличались во всем, даже в одежде.

Помню, в одной семье всерьез обсуждалось: «Ходит ли она (это я, репетитор) с красными флагами?» Причем от решения этого вопроса зависело, могу я продолжать давать уроки или нет. Но эти мелочи не портили нам настроения. Бурные события захватывали целиком.

После приезда Владимира Ильича я работала в отделе печати Центрального Комитета партии. Наш отдел помещался во дворце Кшесинской, в душевой комнате с маленьким окошком вверху. Здесь мы, среди остатков технических приспособлений, в сверкании кафеля, следили за газетами, делали вырезки, систематизировали материал.

Еще шла общегородская Петроградская конференция большевиков, а мы уже начали готовиться к 7-й Всероссийской конференции РСДРП(б). Мне поручили съездить к одной из думских стенографисток и пригласить ее для ведения протоколов конференции. Схватив листок с написанным на нем адресом, я, ни минуты не медля, помчалась на Петроградскую сторону выполнять задание. На мой звонок в дверях показалась сама хозяйка дома. Оглядев меня сверху вниз и узнав, что речь идет о работе на конференции большевиков, она резко ответила, что стенографистки нет дома, и бесцеремонно захлопнула за мной дверь.

Обескураженная, я вернулась в Петербургский комитет. Здесь выяснилось, что такую же неудачу потерпели и другие товарищи, посланные на вербовку стенографисток. Настолько разнузданной была травля буржуазией большевиков, что далеко не всякий из представителей таких «парламентских» профессий, как стенография, решался сотрудничать с нами.

Оставался один только выход, к которому мы и прибегли: вести протоколы конференции самим. Сразу же организовались небольшие группы, в одну из которых вошла и я.

Те апрельские дни памяты мне еще и другим. На конференцию в качестве гости от Московской организации прибыла моя сестра Шура. Вместе с ней, тоже на конференцию, приехала ее подруга по подпольной работе Люся Лисинова. Знакомство с Люсей произвело на меня большое впечатление. В этой очаровательной, необычайно женственной девушке сочетались выдержка подпольного работника, бесстрашие бойца и талант страстного агитатора-пропагандиста. В Люсе поражала цельность натуры, какая-то восторженная верность большевистским идеалам, самозабвенная влюбленность в свою партийную работу.

— Собиралась на летние каникулы к себе на родину, в Армению, — рассказывала она, — а тут вдруг узнала, что есть возможность попасть на партийную конференцию, где будет говорить Ленин. Ну, как пропустишь такой случай!

Горько было узнать впоследствии, что эта чудесная девушка, сыгравшая немаловажную роль в Московском октябрьском восстании, погибла на баррикадах.

Сорок лет прошло с той поры. А каждый раз, когда мне случается идти по Лисиновской улице в Москве, в Замоскворечье, я вспоминаю свою молодость, апрель далекого 1917 года, Люсика Лисинову, приехавшую слушать Ленина...

Несмотря на то, что Временным правительством была объявлена свобода собраний, слова, печати, организаторам конференции пришлось приложить немало усилий для того, чтобы найти подходящее помещение. Как только администрация того или другого здания, куда мы обращались, узнавала, что речь идет о большевистской конференции, следовал отказ. Пришлось пойти на хитрость. Курсистки Женского медицинского института обратились к своей дирекции с просьбой предоставить им зал для студенческого собрания. Разрешение было получено.

И вот 24 апреля утром в большом зале Медицинского института стали собираться делегаты, мало похожие на студентов. Здесь были рабочие, солдаты, профессиональные революционеры из Москвы, с Урала, Донбасса, из Харькова и других городов необъятной России. Многие товарищи знали друг друга по подпольной работе, по тюрьмам, ссылкам. Сейчас люди встретились после многих лет разлуки. Царила празднично возбужденная атмосфера. Отовсюду слышались шутки, приветствия, радостные возгласы. Гул был небообразимый. В центре всех разговоров стояли Апрельские тезисы Ленина.

Десять часов. Окруженный группой товарищей, в зал быстро вошел Владимир Ильич. На какую-то долю секунды все смолкло. Потом — мощная, неопишуемая овация полутораста человек.

Сопровождаемый громом аплодисментов и восторженными криками, Ленин торопливо прошел на трибуну.

— Товарищи, — сказал Владимир Ильич, — наша конференция собирается, как первая конференция пролетарской партии, в условиях не только российской, но и нарастающей международной революции!

Кратко обрисовав роль конференции, он закончил:

— Я объявляю Всероссийское совещание открытым и прошу приступить к выбору президиума.

Первый пункт на повестке дня — «Текущий момент». С докладом выступил В. И. Ленин. С первого же дня работы конференции наметилась оппозиция в лице Каменева и Рыкова. Разгорелись страстные дебаты. Ленин выступал против какого-либо сотрудничества с Временным правительством. Оппортунисты настаивали на необходимости «контролировать» Временное правительство, предлагая, таким образом, сотрудничество с ним.

Докладчики выступали, отстаивая свои взгляды, так страстно и стремительно, что рука не успевала записывать дословно выступления.

Мы с девушками вели запись второго заседания 24 апреля вечером, с 8 часов 15 минут почти до самой полуночи. Наш стол находился сбоку от стола президиума, на небольшом возвышении, так что всех выступающих мы видели в профиль. Но нам было некогда их рассматривать. То и дело мои помощницы опускали онемевшие руки вниз, с мольбой поглядывая на меня.

Горячие схватки продолжались в кулуарах. Участники конференции разделились на две неравные группы: основная масса — ленинцы, незначительная часть — каменевцы. Среди нас, ленинцев, в это время бранным словом было «каменевец».

Припоминается такой случай. Однажды мы с подругами возвращались домой, на Васильевский остров. О чем-то горячо заспорили. Одна из нас, выведенная из терпения доводами другой, запальчиво бросила:

— Нужно быть каменевкой, чтобы утверждать подобное.

Этого оказалось достаточно, чтобы ее оппонентка стушевалась и за всю дорогу больше не открыла рта.

Ленин был душой и мозгом конференции. Он всецело захватывал внимание слушателей, вел за собой. Помню, какое впечатление он произвел на гостивших у меня Люсю и Шуру.

После второго дня работы конференции мы вернулись домой поздно. Уже лежа на тюфяке, который я стелила моим приезжим гостям на полу моей маленькой комнатки, Шура и Люся никак не могли успокоиться.

— Нет, как он говорит! — восторгалась Люся. — Вот вы посмотрите: позицию Каменева Владимир Ильич назвал полуменьшевистской, каутскианской. И все сразу стало ясно. Обнаружились корни этой позиции. Ленин — это сама ясность!

Сестру Шуру восхищало во Владимире Ильиче другое — его вера в будущее. Научно обосновав основные вопросы развития революции, Ленин не боялся, что по некоторым пунктам большевики остаются пока в меньшинстве.

— Как это он сказал? — старалась вспомнить Шура. — Да, вот так: надо разъяснить народу, и мы будем в большинстве.

На Апрельской конференции Ленин все время стремился сплотить делегатов. Своей работы он не прекращал и во время перерывов. В моей памяти сохранился такой эпизод. Ф. Э. Держинский, будучи тогда связанным с социал-демократической партией Польши, не разделял точки зрения В. И. Ленина по вопросу о праве наций на самоопределение. В один из первых дней конференции я была свидетельницей того, как Владимир Ильич, взяв Феликса Эдмундовича под руку, напористо доказывал ему ошибочность его позиции. Вокруг них мигом собралась большая группа делегатов. Видя, что спор привлек много слушателей, Ленин повысил голос, стремясь, чтобы его доводы были слышны всем.

Усилия Ленина не пропали даром. В дальнейшем его резолюция по национальному вопросу, которому он придавал огромное значение, была принята на конференции подавляющим большинством голосов.

Сознавая всю важность этой конференции, Владимир Ильич внимательно следил и за работой секретарей. Однажды он повернулся ко мне, перегнулся через стол и, приложив руку рупором ко рту, тихонько и очень вежливо, как это он всегда умел делать, попросил:

— Дайте-ка мне, пожалуйста, посмотреть, как вы записали речь предыдущего товарища.

Мне стало немножко страшно: «Вдруг что-нибудь напутала! Вдруг что-нибудь не так!» Но Владимир Ильич пробежал глазами страницу и вернул мне ее, удовлетворенно кивнув головой.

В другой раз, 25 апреля, когда Свердлов выступал как делегат от Урала, Владимир Ильич собрал многочисленные записки с вопросами к оратору и передал их мне:

— Подколите их, пожалуйста, к этому протоколу.

Думая о большом, Ленин не забывал и о маленьких технических деталях.

Администрация Медицинского института, обнаружив, что вместо собрания студентов в этом здании проходит большевистская конференция, предложила искать другое помещение. На Естественно-научных курсах това-

рищества профессоров (бывшие Лохвицкой-Скалон) действовала сильная большевистская организация курсисток. В ход пошла испытанная хитрость. Не подозревая подвоха, администрация курсов разрешила провести студенческое собрание.

Пятое заседание конференции 26 апреля состоялось в помещении этих курсов, в доме на углу Кузнечного переулка и Николаевской улицы. В этот день продолжались доклады представителей с мест. Выступали москвичи, саратовцы, казанцы, делегат Поволжья. Заседание проходило в зале на втором этаже. Курсистки завладели Зоологическим кабинетом. Ключ от него был передан Владимиру Ильичу, который, таким образом, мог время от времени уединяться, чтобы поработать над резолюцией. Обстановка была напряженная. На первом этаже здания проходило что-то чужое собрание. В связи с этим курсистки-большевички установили пикеты на лестнице.

Однажды в перерыве между заседаниями делегаты съезда были приятно удивлены. В зале неожиданно появились курсистки и пригласили всех присутствующих в столовую. Там делегаты увидели столы с роскошным по тому времени обедом.

Радужные хозяйки, на какие-то средства устроившие этот обед, наперебой потчевали своих гостей. Но каждой хотелось обслужить именно тот стол, за которым сидели Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Совсем недавно я встретила Нину Богословскую, в то время молодую курсистку, а ныне, разумеется, женщину почтенных лет, и она — в который раз! — рассказывала мне, с каким удовольствием Владимир Ильич ел и похваливал стряпню курсисток. А после обеда он сердечно сказал:

— Спасибо, большое спасибо за совершенно исключительное товарищеское гостеприимство.

Недолго продержались мы и в этом здании. Вскоре администрация раскрыла нашу хитрость, и нас опять, мягко выражаясь, попросили освободить помещение. Мы кочевали, еще раз возвращались в помещении Женского медицинского института, работали в полуметровой аудитории курсов Лесгафта. Последнее заседание нам пришлось тесниться в небольшом зале дворца Кшесинской. Но, несмотря на все трудности, конференция успешно продолжала свою работу. Был избран Центральный Комитет партии во главе с В. И. Лениным, приняты резолюции о войне, об отношении к Временному правительству, по аграрному вопросу, о коалиционном министерстве, по национальному вопросу, о положении в Интернационале и задачах РСДРП (б), о текущем моменте, о пересмотре партийной программы, о Советах рабочих и солдатских депутатов и другие.

Поздно, в ночь с 29 на 30 апреля, В. И. Ленин выступил с заключительным словом. Времени оставалось мало. Делегаты спешили домой, чтобы скорее приступить к борьбе за проведение в жизнь решений, принятых на Апрельской конференции. Подытожив работу этих напряженных дней, Владимир Ильич закончил, насколько мне помнится, так:

— Пролетариат найдет в наших резолюциях руководящий материал к движению по второму этапу нашей революции.

Делегаты стоя запели гимн большевиков — «Интернационал». Седьмая (Апрельская) конференция закончилась.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ

„Нападение буржуазии.

Как очевидец и свидетель событий 21-го апреля с. г., около 4 часов дня, и стрельбы на Невском, не могу молчать о жутком и возмутительном моменте, пережитом мною в этот день. Опишу приблизительно вкратце, как дело было.

К толпе мирных манифестантов, шедших по Б. Сампсониевскому пр. Выб. стороны с флагами и плакатами: «Долой Вр[еменное] Пр[авительство]» и «Да здравствует С[овет] Р[абочих] и С[олдатских] Депутатов», я присоединился и отправился вместе на Петроградскую сторону и далее на Марсово поле. У братских могил борцов, павших за свободу, манифестанты остановились и, обнажив головы, пропели «вечную память» и двинулись дальше. Но вот показался автомобиль от Инженерного замка, с сидящими членами С. Р. и С. Д. во главе с тов. Чхендзе, который приветствовал манифестантов и, узнав о цели последних, произнес речь к рабочим, указывая, что С. Р. и С. Д. не грозит никакая опасность, и, видя наше сегодняшнее выступление, мы надеемся, что, когда потребуется ваша помощь, С. Р. и С. Д. может надеяться, что достаточно будет одного нашего слова и вы, товарищи, выступите на нашу защиту, как один человек, а потому еще раз благодарю вас и повторяю, что С. Р. и С. Д. не грозит никакая опасность, а потому можно спокойно разойтись по домам и продолжать свою работу.

Ему возразил один оратор, говоря, что не затем вышел организованный Выборгский район, чтобы вернуться с пол-сроги. Мы мирно пройдем со своими, кровью пропитанными наших братьев, знаменами и покажем врагам свободы, что мы есть сила, на которую может опираться С. Р. и С. Д. и по первому зову которого выйдем на улицу, в защиту дорогой свободы, добытой кровью павших братьев и потом отцов. Раздалось громовое «ура!» И толпа, расступившись, чтобы пропустить автомобиль, двинулась по направлению к Невскому пр.

На углу Невского и Садовой ул. меня поразило бурное волнение толпы, стоявшей по обе стороны проходивших манифестантов, в которой преобладала «чистая публика», офицеры и солдаты, сомнительные по своей физиономии, не похожей на обыкновенных солдат, что-то больно чисто были выбриты их подбородки, и полны выделявшиеся из-под серых шинелей животы, и красны рожки, скорее от выпитого вина или спирта. Что-то не естественное, не солдатское, бросилось сразу в глаза; слишком яро они набрасывались на проходивших рабочих; слишком страстно они, а в том числе большинство офицеров, толстопузов и «шикарных дам», встретили толпу мирных манифестантов руганью, размахивая сжатыми кулаками, выкрикивая: «Изменники!», «Вы продаете Россию!», «Вы не хотите работать, вы бросили станки, а там солдаты в окопах сидят без снарядов!», «Подождите, придет Вильгельм, он покажет вам, сволочам, своими нагайками!», «Стыдно!»

Я шел в группе завода Барановского, в задних рядах, а потому не мог видеть, что происходило в первых рядах, но потом мне говорили, что то же самое, что мною приведено выше, только с той разницей, что передние тесными рядами прошли в порядке, а наши, не так стройные, задние и поредевшие колонны, они стали сжимать с двух сторон и мы пробивались сквозь шипящую, как гады, толпу, смотревшую полными ненависти глазами, по-трое, по-пяти и по-одиночке. В воздухе висела ругань, женщины товарищи стеснялись, кто как умел, когда их оскорбляли, и кричали в ответ: «Это вы продали Россию и довели до гибели, а не мы; мы ее защитники!» Мужчины рабочие в большинстве молчали, и только слышна была команда: «Вперед, товарищи! Ряды плотнее!»

Видя и слушая такую возмутительную агитацию против рабочих, на сердце закипела злорада и хотелось уничтожить всю эту сытую толпу буржуев и провокаторов, одним взмахом руки и раздавить, как гадину, которая шипя высовывает свое жало, чтобы

отравить своим ядом свободу. Но слава богу прорвались. Бегом, по-одиночке догнали своих передовых товарищей на углу Михайловской улицы. Здесь что-то происходило? Я видел через головы товарищей, как толпа с солдатами сорвала плакаты рабочих фабрики Торшила. Все заволновалось. Раздался предательский выстрел и крики. Бледнеет товарищ Михайлов и начинает качаться из стороны в сторону и тихим голосом шепчет: «Помогите!» Подхватывают несколько рук и несут в лазарет против Михайловского сквера. Предательский выстрел раздался с площадки трамвая, от провокатора и губителя свободы, одетого в офицерскую форму. На помощь спешит Парвняненская заводская милиция, но разобраться трудно. Невинная кровь пролилась от руки предателя. Михайлов ранен в руку и ногу, пуля засела в мякоти ноги.

Отбившихся милиционеров от своего отряда какие-то темные личности и солдаты окружили и обезоружили. Я сопровождал раненого товарища, и что произошло после не знаю, а напишу после, что я видел после этого грустного события, в этот день.

Михаил Яковлевич Польшов,
Рабочий завода Барановского».

(«Солдатская правда», № 18 от 22 (9) мая 1917 года).

„В Иваново-Вознесенске.

30 апр. 1917 г. Собрание рабочих, работниц и солдат в количестве 5.000 человек в помещении цирка Никитина, Вознесенская пл., заслушав доклад товарища Капитанова «Буржуазия и пролетариат» и ряд выступавших ораторов, рабочих, приняло следующую резолюцию:

Буржуазия есть класс эксплуататоров, расхищающих народный труд, рабочую силу, не щадя женщин и детей, она не способна отказаться от грабежа и несет с каждым днем пролетариату все новые и новые разорения и гибель десятков тысяч труженников. Война ради грабежа, займы ради обогащения капиталистов-туенядцев. Мы, рабочие и работницы Иваново-Вознесенска, обнищавшие от грабежа буржуазии, протестуем самым решительным образом против продолжения грабительской войны ради грабежа, против займа ради наживы.

Правительство буржуазии никогда не будет иметь нашего доверия. Если оно дальше будет вести нас к гибели, мы скажем: руки прочь от святого дела русской революции. Шлем свой от чистого пролетарского сердца привет нашему дорогому товарищу Ленину, как выразителю наших чувств и наших стремлений.

Да здравствует дальнейшее развитие русской революции в революцию всех стран!

Да здравствует 3-ий Интернационал!

Собрание продолжалось 6 час. без перерыва, рабочие слушали ораторов с полным вниманием, несмотря на то, что все время пришлось стоять.

По поручению собрания

Искаков».

(Фотокопия документа хранится в Государственном музее революции СССР)

Из воззвания „К солдатам всех воюющих стран“.

«...Русское Временное Правительство 20 апреля опубликовало ноту, в которой оно еще раз подтверждает старые, царем заключенные грабительские договоры и выражает готовность вести войну до полной победы, вызывая этим возмущение даже тех, кто ему до сих пор доверял и оказывал поддержку.

Но русская революция создала, кроме правительства капиталистов, самочинные революционные организации, представляющие громадное большинство рабочих и крестьян, именно: Советы Рабочих и Солдатских Депутатов в Петрограде и в большинстве городов России. До сих пор еще большинство солдат и часть рабочих относится в России — как и очень многие рабочие и солдаты в Германии — с бессознательной доверчивостью к правительству капиталистов, к их пустым и лживым речам о мире без аннексий, об оборонительной войне и тому подобное.

Но рабочие и беднейшие крестьяне, в отличие от капиталистов, не заинтересованы ни в аннексиях, ни в охране прибылей капиталистов. Поэтому каждый день, каждый шаг правительства капиталистов будет, и в России и в Германии, разоблачать обман капиталистов, разоблачать, что пока господство капиталистов продолжается, до тех пор не может быть действительно демократического, не насильнического, мира, основанного на действительном отказе от всех аннексий, т. е. на освобождении всех без исключения колоний, всех без исключения угнетенных, насильственно присоединенных или неполноправных народностей,— до тех пор война будет, по всей вероятности, все обостряться и затягиваться.

Только в том случае, если государственная власть в обоих враждебных ныне государствах, например и в России и в Германии, перейдет всецело и исключительно в руки революционных Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, способных не на словах, а на деле порвать всю сеть отношений и интересов капитала,— только в этом случае рабочие обеих воюющих стран проникнутся доверием друг к другу и смогут быстро положить конец войне на основах действительно демократического, действительно освобождающего все народы и народности мира.

Братья-солдаты!

Сделаем все от нас зависящее, чтобы ускорить наступление этого, чтобы добиться этой цели. Не будем бояться жертв — всякие жертвы на благо рабочей революции будут менее тяжелы, чем жертвы войны. Всякий победный шаг революции спасет сотни тысяч и миллионы людей от смерти, от разорения и голода.

Мир хижинам, война дворцам! Мир рабочим всех стран! Да здравствует братское единство революционных рабочих всех стран! Да здравствует социализм!

Центральный Комитет РСДРП
 Петербургский Комитет РСДРП
 Военная организация при ПК РСДРП
 Редакция «Правды»
 Редакция «Солдатской Правды».

(Подлинник листовки хранится в Государственном музее революции СССР)

«Резолюция Общего собрания солдат и офицеров 16-го Сибирского стрелкового полка 8 апреля 1917 года. Действующая Армия.

Принята единогласно:

I. Мы, солдаты и офицеры, обсудив буржуазную травлю печати на рабочие и крестьянские газеты, глубоко возмущены и протестуем против этой травли, а также протестуем против клеветнической травли нас, солдат, на товарищей рабочих.

II. По отношению к войне. Мы требуем от Временного Правительства опубликовать договор, заключенный старым правительством во главе с Николаем II, с союзниками: Англией, Францией и пр., и требуем от союзных держав, чтобы они отказались от завоевательных целей и контрибуций.

III. Немедленно требуем созыва Всероссийского Совета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов, в котором должны быть представители не только от тыловых частей, но и из фронта.

...К настоящей резолюции присоединяются 15-й Сибирский стрелковый полк, 36-й тяжелый полевой артиллерийский дивизион, 3-я и 5-я батареи, 5-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада, 15-я отдельная позиционная батарея и 17-й мортирный дивизион...»

(«Солдатская правда», № 14 от 15 апреля 1917 года).

«Мы, рабочие завода «Ново-Барановского», обсуждая на общем собрании вопросы о текущем моменте, пришли к следующему заключению: опубликованная нота 20-го апреля с. г. Временного Правительства ясно говорит за то, что правительство изменило народу.

Исходя из того, что какое бы ни было буржуазное правительство, оно не сможет отступить от своих классовых стремлений, по сему требуем от Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, чтобы он в своем лице взял в свои руки бразды правления.

Также требуем:

- 1) Немедленного вооружения народа.
- 2) Немедленного опубликования тайных договоров, заключенных с иностранными государствами».

Петроград.

21 апреля 1917 г.

(Фотокопия документа хранится в Государственном музее революции СССР).

«Мы, рабочие Русско-Французского Общества при станции «Основа», 27 апреля, обсудив ноту Временного Правительства к союзным государствам, постановили выразить порицание и недоверие Временному Правительству, нарушившему в своей ноте волю народную. Мы считаем, что Временное Правительство оказалось недостойным своего призвания. Мы заявляем, что ставленники буржуазии не могут искренне защищать интересы трудового народа».

(«Пролетарий», орган Харьковского комитета РСДРП, № 30 от 12 мая (29 апреля) 1917 года).

„Покушение на свободу.

Вчера, 26 апреля, во всех газетах было напечатано разъяснение Временного Правительства, касающееся того, кто должен в настоящее время распоряжаться войсками. Дело вот в чем.

20 апреля части Финляндского полка, весь 180-й пехотный полк и 2 балтийских флотских экипажа, как известно, выразили свое недовольство нотой Временного Правительства в очень решительной форме.

Как осторожно выражается разъяснение Временного Правительства, эти части вышли на улицу «с плакатами, выражавшими протест против известной ноты», дело же в том, что эти части прямо недвусмысленно выражали негодование рабочих и солдат против капиталистов, помещиков, сидящих во Временном Правительстве и желающих во что бы то ни стало продолжать завоевательную войну, начатую царем.

Понятно, что поведение войск очень не понравилось Временному Правительству.

И вот, на другой день, когда мирные толпы рабочих вышли с протестом на улицу, Временное Правительство попыталось ни больше, ни меньше... как вывести против рабочих войска.

«...В целях обеспечения мирного населения столицы от возможных насилий, главнокомандующий войсками Петроградского военного округа был принужден отдать приказ о вызове на Дворцовую площадь несколько частей гарнизона» (не правда ли, похоже на угрозу низвергнутого царя Николая?). Как известно, войска не послушались главнокомандующего, а потребовали у него разъяснений, согласен ли на это Совет Раб. и Солд. Депутатов и, так как такого согласия не было, то войска на Дворцовую площадь и не пошли.

Вот это обстоятельство, что 180-й полк, Финляндский полк и балтийские экипажи вышли с протестом против Временного Правительства, вышли, как говорится в объявлении Правительства «по приглашению неизвестных лиц», а те части, которые вызывались против рабочих Корниловым, его не послушались, вот это очень сильно и обеспокоило господина Гучкова с компанией.

...Да разве это не бунт! Конечно, бунт!

И Временное Правительство спешит заявить: «что право распоряжения войсковыми частями может быть осуществлено только им», т. е. главнокомандующим войсками Петроградского военного округа.

Товарищи солдаты! Хорошенько прочитайте разъяснение Правительства, напечатанное в газетах 26 апреля.

Прочитайте и поймите, что Временное Правительство хочет отнять право распоряжения войсками у Сов. Раб. и Солд. Депутатов, хочет, значит, обессилить Совет Раб. и Солд. Депутатов...»

(«Солдатская правда», № 9 от 11 мая (28 апреля) 1917 года),

„Разберитесь сами.

...Не далее, как две недели тому назад, 1-го мая, когда солнце возрождающегося Интернационала светило над вами и посылало вам первую ласточку долгожданного мира, когда по всем городам и весям, площадям и улицам всей России и всего мира мощно и гулко звучал ваш голос, голос пролетариата, властно требовавший прекращения этой почти трехлетней бойни,— в этот день в одной из зал Мариинского дворца буржуазное правительство, верховодимое воинственным рыцарем Милюковым, фабриковало вам ко дню вашего праздника «приятный сюрприз» — ноту 18 апреля. В ней с наглой откровенностью буржуазия устами своих представителей вам говорит, что она не отказывается от контрактов, заключенных помимо вашей воли и без вашего ведома «жандармом Европы» Николаем-Кровавым, со ставленниками англо-французской буржуазии, что в угоду алчному аппетиту капитализма союзников она обязывается — опять-таки против вашей воли — продолжать бросать в пасть войны корпуса за корпусами, миллиарды за миллиардами и еще более увеличить за счет нашей крови и пота золотые мешки наших толстосумов...

Этого допустить нельзя было! И рабочие и солдаты вышли на улицу, чтобы заявить Милюкову и его приспешникам, что после свергнутого Романовского ярма они не потерпят никакого другого и заставят считаться с народной волей и уважать ее...

...Как же встретила буржуазия этот единоклассный протест? Встретила она рабочих... выстрелами, криками и улюлюканием.

Рядовой Л. Пахарев».

(«Солдатская правда», №№ 12, 15 (2) мая 1917 года).

„Открытое письмо министру юстиции, гражданину Керенскому.

Гражданин Керенский! Обращаюсь к вам, как к представителю революционного крестьянства, своим словом скрепившего торжественное заявление Временного Правительства о невыводе революционного гарнизона из столицы.

Почему маршевые роты революционного гарнизона отправляются из Петрограда? Почему вы не скажете веского слова о прекращении этого нарушения, обещанного Временным Правительством? Или вы полагаете, что свобода лучше расцветает тогда, когда революционные войска высылаются из очага революции, когда старые порядки продолжают царить в войсковых частях? Или вы думаете, что для сохранения завоеваний революции достаточно эффектно-театральных фраз и театральных поз? Или по вашему мнению дело свободы стоит прочно в то время, когда буржуазная печать злобно клеветает на рабочих и ваши товарищи по кабинету не предпринимают к прекращению клеветы решительно ничего?

Гражданин Керенский! Вы блюститель справедливости, ответьте мне, рядовому борцу за свободу, почему вы молчите и не действуете? Или вы думаете, что нарушение Гучковым и Милюковым обещаний, данных народу, должно совершиться при вашем молчаливом одобрении? Ответьте.

Артиллерист Федоров».

(«Солдатская правда», № 2 от 18 апреля (1 мая) 1917 года).

ИЗ ЖИЗНИ СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ В КАЗАНИ И САМАРЕ

В биографии В. И. Ленина казанский период его жизни имеет особое значение. В это время началось формирование революционного мировоззрения Владимира Ильича. В Казани семнадцатилетний Ленин получил боевое крещение, открыто выступив против царского самодержавия; здесь, за активное участие в студенческом движении, он впервые был арестован полицией и выслан (в деревню Кокушкино Казанской губернии).

Мы предлагаем вниманию читателей ряд ранее не публиковавшихся документов, выявленных и прокомментированных Г. Е. Хаит.

Разумеется, настоящая публикация не претендует на полное освещение жизни В. И. Ленина и его родных в Казани и Самаре. Материалы эти дополняют сведения о семье Ульяновых, помогают полнее изучить обстановку, в которой жил в те годы В. И. Ленин.

В Казани Ульяновы бывали почти каждое лето и до того, как в 1887 году Владимир Ильич поступил в Казанский университет. Они приезжали сюда из Симбирска, направляясь в деревню Кокушкино.

До нас дошло описание одной из таких поездок. Это школьное сочинение Ольги Ульяновой «Поездка на вakat» (на каникулы). Однако ни в этом сочинении, ни в ряде других источников нет указания, где именно останавливалась в Казани семья Ульяновых в те годы (до 1880 года); было известно только, что у сестры Марии Александровны — А. А. Веретенниковой.

Но вот в Центральном историческом архиве Татарской АССР нам в руки попало дело о поступлении в 3-ю Казанскую гимназию Дмитрия Ардашева (двоюродного брата Владимира Ильича). В нем есть обязательство, написанное матерью Ардашева в августе 1875 года, в котором сообщается, что он «жительство будет иметь на Проломной улице (ныне улица Баумана.— Г. Х.), во дворе Богоявленской церкви, у г-жи Веретенниковой».

Таким образом, удалось установить еще один дом, связанный с пребыванием семьи Ульяновых в Казани. Церковь и дом сохранились до сих пор.

По многим причинам Казань была близка родителям Владимира Ильича. Илья Николаевич Ульянов успешно, со степенью кандидата наук, окончил физико-математический факультет Казанского университета. Здесь он близко сошелся с передовой демократической молодежью, и эти студенческие связи не порывал, уже будучи преподавателем. Среди близких знакомых Ильи Николаевича был Каракозов, неудачно покушавшийся в 1866 году на царя Александра II; Илья Николаевич привлекался к допросу по каракозовскому делу. В Кокушкино и в Казани провела свои юные годы Мария Александровна.

Илья Николаевич умер в 1886 году. Спустя полтора года Ульяновы переехали в Казань, так как Владимир Ильич решил поступать в университет. Кроме того, в 1887 году весть о казни Александра Ильича быстро распространилась по Симбирску, и местное «общество», как тогда говорили, отвернулось от семьи Ульяновых.

Вот что рассказывает об этом Ольга Ильинична в письме от 25 сентября 1887 года, адресованном подруге — А. Щербо:

«Я была осенью в Симбирске (она приезжала сюда, чтобы по доверенности получить для Владимира Ильича золотую медаль, которой он был награжден после окончания Симбирской гимназии.— Г. Х.) и не зашла к тебе, на это есть причина, которую ты, вероятно, знаешь и понимаешь... Когда я была в Симбирске, мы с Ниной (дочерью инспектора народных училищ Стржалковского, друга и соратника Ильи Николаевича Ульянова.— Г. Х.) пошли на почту и встретили Годнева, а потом Егорова (Годнев — преподаватель физики, Егоров — преподаватель литературы.— Г. Х.). Оба они кланялись Нине, а меня как будто и не замечали или не узнавали»¹.

Из других писем Ольги Ильиничны можно представить себе, как нелегко было в первое время устроиться Ульяновым в Казани. «Уехав из Симбирска,— пишет она,— мы превратились в каких-то кочевников: нигде не найдем себе места, и все время приходит в том, что мы укладываемся и раскладываемся».

Два месяца прожили Ульяновы в квартире Любови Александровны Пономаревой (ныне улица Ленина, дом № 24), по первому мужу Ардашевой, родной сестры матери В. И. Ленина. А в начале сентября 1887 года они переехали в дом Соловьевой, на Ново-Комиссариатской улице (ныне улица Комлева, дом № 15). О житье на этой квартире Ольга Ильинична сообщает подруге: «Мы сняли квартиру в новом доме, где еще никто не жил. Здесь ужасно холодно, а хозяйка только сегодня дала вставить зимние рамы, мы мерзнем».

В октябре 1887 года из Петербурга в Казанское городское полицейское управление пришел пакет, на котором было написано: «Сей пакет вручить г-же Веретенниковой, проживающей по Профессорскому переулку в доме Завьяловой (куда Веретенниковы переехали с Проломной улицы. Ныне это дом № 12.— Г. Х.), для передачи вдове действительного статского советника Марье Александровне Ульяновой». В этот день Марии Александровны не было в Казани. Как известно из ее прошения на имя министра народного просвещения, она «вследствие болезни старшей дочери, осужденной жить в деревне (Анна Ильинична за участие в подготовке к покушению на Александра III была сослана в деревню Кокушкино под надзор полиции.— Г. Х.), пробыла у нее всю осень и часть зимы». Пакет получила Ольга Ильинична. В нем было, извещение администрации Шлиссельбургской крепости о том, что плед и часы, оставшиеся после казни Александра Ильича, проданы для покрытия расходов по его делу.

Так через пять месяцев после казни Александра Ульянова царские сатрапы еще раз напомнили семье Ульяновых об их тяжелой утрате.

Владимир Ильич стал студентом Казанского университета. В Центральном историческом архиве Татарской АССР имеется документ о его зачислении. Исполняющий должность ректора университета 13 августа 1887 года сообщает декану юридического факультета: «...поименованные ниже лица, кончившие курс в Симбирской гимназии с аттестатом зрелости, согласно их прошениям, мною приняты в число студентов Казанского университета на 1-й семестр юридического факультета: Андреев Владимир, Глядков Константин, Забусов Михаил, Писарев Александр, Разумов Владимир и Ульянов Владимир».

И. д. ректора университета А. Щербаков».

Этот документ интересен, в частности, тем, что он рассказывает, с кем вместе учился Владимир Ульянов и в Симбирске и в Казани.

В делах Центрального исторического архива Татарской АССР обнаружен список студентов, редко посещавших университет в первой половине 1887/88 учебного года. В этом списке упомянут и Владимир Ильич: «Ульянов Владимир, в ноябре не исправно». На другом листе уточняются дни, когда Владимир Ильич бывал в университете: «Ульянов — юр. в ноябре не часто (3, 4, 10, 11, 18, 23, 25, 26)».

Из этого документа видно, что в день торжественного акта 5 ноября 1887 года (годовщина основания Казанского университета) Владимир Ильич вместе с другими передовыми студентами бойкотировал это собрание, на котором воздавалась хвала новому реакционному университетскому уставу.

¹ Это письмо и другие письма Ульяновых хранятся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Чем же, кроме учебы, занимался Владимир Ильич в это время в Казани?

В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (Москва) хранится архив видного общественного деятеля Поволжья Осипа (Иосифа) Вениаминовича Португалова, учившегося вместе с Владимиром Ильичем в Казанском университете. Вот что пишет О. В. Португалов:

«Осенью 1887 года на общем собрании Самарского землячества я единогласно был избран членом общестуденческого суда, где, между прочим, познакомился со всеми представителями землячеств и в том числе Симбирского, членом которого был студент 4-го курса Полянский (из крестьян Симбирской губ.) и его заместителем Тургеньевским-Захаровым, который был близок к Владимиру Ильичу, и на расспросы мои, почему Ульянова не видать на лекциях, объяснил мне, что Владимир Ильич сейчас часто посещает рабочих Алафузовских фабрик».

Известно, что осенью и зимой 1887 года Владимир Ильич участвовал в кружке Лазаря Богораз, брата Владимира Германовича Богораз (Натан Богораз-Тан), известного этнографа, лингвиста и писателя (ум. в 1936 г.). В этот же кружок входили Константин Выгорницкий, Иван Воскресенский, Александр Скворцов, Николай Мотовилов и другие.

В полицейских документах, недавно выявленных нами, об этом кружке говорится: «Кружок, группировавшийся около Богораз и Скворцова, длительное время существовал строго конспиративно... Беспорядки среди учащейся молодежи помешали им проявить активную деятельность и тем доказать, что революционная партия снова возродилась».

Департамент полиции придавал особое значение тесным связям Богораз и Скворцова с некоторыми участниками кружка, в частности с Константином Выгорницким и В. И. Ульяновым. В одном из документов, составленных полицейскими властями уже в январе 1888 года, сказано: «Житель г. Таганрога Лазарь Богораз, проживая в Казани, посещал часто главных руководителей беспорядков в Ветеринарном институте: студентов Константина Выгорницкого, Ивана Воскресенского и Сергея Титова, а также исключенного студента Казанского университета Владимира Ильина Ульянова».

Позднее оставшиеся в Казани участники кружка Богораз, в их числе В. И. Ульянов, вошли в один из кружков, организованных Николаем Евграфовичем Федосеевым, одним из первых пропагандистов марксизма в России.

Нам удалось также установить, где в Казани находилась квартира видной деятельницы народовольческого движения М. П. Четверговой, — Петропавловская улица, ныне улица Мусы Джалиля. Здесь осенью 1888 года Владимир Ильич бывал на занятиях и ее кружка.

Четвертого декабря 1887 года после первых лекций в актовом зале Казанского университета произошла историческая сходка, на которой студенты выдвинули политические требования царю и правительству. Владимир Ильич был одним из активных организаторов и участников сходки.

Девятого декабря 1887 года правление университета прислало на юридический факультет отношение, в котором говорится, что по постановлению правления исключены из Казанского университета за участие в сходке 4 декабря следующие студенты юридического факультета: «Вышенский Николай Алекс., Киреев Дмитрий Кузьм., Осинин Константин Николаев., Сараханов Константин Константинов., Ульянов Владимир Ильин и Алексеев Константин Александров., последний, кроме того, за оскорбление действием инспектора студентов». (В день сходки Константин Алексеев дал пощечину инспектору студентов Потапову, за что был отправлен рядовым в дисциплинарный батальон.)

Интересно отметить, что из выпускников Симбирской гимназии 1887 года только двое — Владимир Ульянов и его бывший одноклассник и однокурсник Константин Глядкин — участвовали в сходке. «Остальные из его (В. И. Ленина. — Г. Х.) товарищей — 13 человек в Казани, один — в С. Петербурге, один — в Ярославле и 8 в Москве остались непричастными безумным затеям университетской молодежи, мятущейся повсюду по причинам, далеким от гимназий», — сообщал попечителю учебного округа директор Симбирской гимназии Ф. Керенский (отец будущего главы Временного правительства А. Ф. Керенского). Многие исключенные тут же получили свиде-

тельства об образовании и об исключении из университета. Но Владимир Ильич был на особой заметке у полиции. В донесении ректора Казанского университета департаменту полиции указывается: «Имеем честь сообщить, что студент Владимир Ульянов, согласно Вашего сношения, был исключен за участие в студенческих волнениях, причем свидетельство было временно задержано согласно указания казанского губернатора».

В свое время в нашей специальной литературе был опубликован документ, о котором уместно сейчас напомнить. Это — письмо начальника Казанского жандармского управления губернатору. В нем жандармский полковник Гангардт сообщает:

«...Состоявший студентом юридического факультета Императорского Казанского университета Владимир Ильин Ульянов, брат казенного по делу 1-го марта 1887 года государственного преступника Ульянова, исключенный из университета за участие в студенческих беспорядках, происшедших 4-го декабря прошлого года и 7 числа того же декабря месяца высланный по распоряжению Вашего Превосходительства в деревню Кокушкино, Ланшевского уезда, принимал и, может быть, продолжает принимать деятельное участие в организации революционных кружков среди казанской учащейся молодежи, вследствие чего Департамент Полиции признает необходимым учреждение надлежащего негласного наблюдения за вышеупомянутым Владимиром Ульяновым. Я, не располагая средствами для достижения этого без огласки, особенно при нахождении Ульянова в деревне (Кокушкино. — Г. Х.), имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего Превосходительства о немедленном же со стороны чинов местной уездной полиции учреждении строжайшего секретного наблюдения за вышеозначенным Ульяновым, причем необходимо иметь в виду не только его самого, но и лиц, его посещающих, а равно необходимо всегда иметь точные и подробные сведения, с кем он ведет и будет вести переписку. При этом покорнейше прошу, чтобы о всем замеченном Ланшевский уездный исправник немедленно же сообщал мне непосредственно».

Известно, что Владимир Ильич обращался к министру народного просвещения с просьбой о восстановлении его в университете. Многие исследователи, приводя этот факт, пишут, что Владимир Ильич послал прошение из Кокушкино, где он отбывал ссылку, указав свой казанский адрес; они исходят из того, что за все время пребывания в деревне Владимир Ильич ни разу оттуда не выезжал. Это не точно. В письме от 20 апреля 1888 года Анна Ильинична пишет: «Нынче Володя, вернувшись из города, сказал мне, что в Петербурге исключены недавно сорок человек, преимущественно юристов III и IV курсов». Как видно из этого письма, Владимир Ильич, несмотря на запрет властей, весной 1888 года все же побывал в Казани.

В одном из номеров журнала «Огонек» за 1925 год была помещена фотокопия интересного документа, названного авторами «Секретной книгой» бывшей конторы Императорских театров. Мы постарались кое-что уточнить в этом важном сообщении. То была фотокопия страниц «Книги лиц, исключенных за различные проступки». Всем попавшим в эту книгу была закрыта дорога на государственную службу. Среди других в книге записан: «Ульянов Владимир Ильин. Студент Казанского Университета, юр. ф. Исключен из университета», а в крайней графе имеется еще одна запись: «Отн. Кабинета от 19 августа 88 г. за № 1363». Расшифруем эту запись.

Девятнадцатого августа 1888 года, в то время когда Владимир Ильич отбывал свою первую ссылку в деревне Кокушкино, административный отдел Кабинета министерства императорского двора разослал по всей России строжайшее предупреждение о запрещении приема на государственную службу «неблагонадежного Владимира Ульянова». Подобные «волчь билеты» были обнаружены и в делах бывшего Павловского военного училища. В реестровой книге этого учебного заведения, куда вносились особо секретные сведения, указано, что воспрещено принимать в военные учебные заведения, как крайне неблагонадежного и исключенного из Казанского университета Владимира Ильина Ульянова. Такой же документ найден и в делах Архангельского торгового порта.

Наступила осень 1888 года. Владимиру Ильичу и Анне Ильиничне разрешили вернуться в Казань.

Снова начались скитания в поисках квартиры. В письме от 2 сентября 1888 года Ольга Ильинична сообщает своей подруге: «Пишу тебе это письмо «на досуге», сидя

в пустой квартире, где нет никого и ничего, кроме стола и стульев, принесенных дворником. Мы с мамой обошли всю Казань, остановились было на этой квартире, да оказалось, что она сырая, и мы на ней не останемся. Беда с этими квартирами!»

О какой квартире упоминает в своем письме Ольга Ильинична? Нам удалось это выяснить. В Центральном государственном историческом архиве СССР (Ленинград) обнаружено прошение Марии Александровны Ульяновой министру народного просвещения с ходатайством о восстановлении Владимира Ильича студентом Казанского университета. Оно датировано 31 августа 1888 года и указан адрес: Казань, Грузинская (ныне Карла Маркса) улица, дом Опъятиной. Это тот самый дом, из которого писала письмо Ольга Ильинична.

Скитаясь по городу в поисках квартиры, еще не обосновавшись как следует, Мария Александровна воспользовалась приездом в Казань министра народного просвещения Делянова и снова обратилась с просьбой дать возможность ее сыну получить высшее образование.

«Если, Ваше Высокопревосходительство, — пишет она, — найдете неудобным позволить сыну моему Владимиру поступить вновь в Казанский университет, то разрешите ему поступление в один из Российских университетов: Московский, Киевский, Харьковский или Дерптский».

Но ни в один из этих университетов, даже в Дерптский (ныне Тартуский), куда были приняты многие «прощенные» участники сходки 4 декабря 1887 года, Владимира Ильича не пустили. Марии Александровне сообщили, что «Г. Министр изволил изложенное ходатайство просительницы отклонить».

После многочисленных попыток вернуться в университет, Владимир Ильич продолжал сам усиленно заниматься, надеясь экстерном сдать экзамены за университетский курс. В одном из писем, посланных Ольгой Ильиничной Владимиру Ильичу, она замечает: «Напиши мне что-нибудь, только уж не о книгах: они мне просто надоест успели ...столько я писала тебе и себе для памяти реэстриков». Нам удалось познакомиться с содержанием некоторых таких «реэстриков». В списке литературы, с которой Владимир Ильич хотел ознакомиться, указаны книги: по истории французской революции, истории Греции, истории цивилизации в Англии, истории русской жизни, новейшие работы по статистике, праву и другим вопросам.

По свидетельству профессора юридического факультета Дормидонтова, лекции которого слушал Владимир Ильич: «В библиотеке университета нет таких капитальных и современных изданий, как «Курс статистики для университетского чтения» А. И. Чупрова, «Лекции по общей истории права» И. Коршунова, «Обзор истории русского права» Владимирского-Буданова». Эти книги упоминаются в одном из «реэстриков», составленных Ольгой Ильиничной.

Мы попытались учесть все произведения, которые упоминались в письмах Ульяновых за время с августа 1887 года по май 1889 года. Этот далеко не полный перечень дал около пятисот названий. Среди прочитанных Ульяновыми книг множество на иностранных языках. Владимир Ильич, Ольга и Анна Ильиничны владели тогда четырьмя-пятью иностранными языками, а их мать Мария Александровна — тремя. Обширная теоретическая подготовка позволила восемнадцатилетнему Владимиру Ильичу заняться глубоким изучением «Капитала» К. Маркса. Позже изучила «Капитал» и Ольга Ильинична, сохранился ее конспект по этому произведению.

В марте 1889 года Ольга Ильинична писала из Казани подруге: «Мы почти каждый день вечером читаем вслух, по большей части новые журналы». Несколько раньше она советует ей же прочитать «Пошехонскую старину» М. Е. Салтыкова-Щедрина, напечатанную в журнале «Вестник Европы». Салтыков-Щедрин был одним из самых любимых писателей в семье Ульяновых. В 1885 году, в день именин писателя, ему был преподнесен адрес, текст которого составила Анна Ильинична. В следующем году, в тот же день, она вместе с Александром Ильичем и другими студентами приветствовала великого сатирика от имени учащейся молодежи Петербурга.

Большое место в жизни семьи Ульяновых в Казани занимала музыка. Ольга Ильинична, например, училась в музыкальной школе Орлова-Соколовского, крупного дирижера и преподавателя. До поступления Ольги Ильиничны в эту школу здесь преподавал талантливый композитор Виктор Никандрович Пасхалов. Его творче-

ство было высоко оценено Мусоргским и Стасовым. Произведения Пасхалова были известны в семье Ульяновых. Сохранился переписанный рукой Ольги Ильиничны его романс «Не молись за меня». Мария Ильинична в одной из неопубликованных рукописей сообщает: «До сих пор сохранилась в нашей семье большая нотная тетрадь, переписанная Ольгой... По этой тетради можно судить до некоторой степени о репертуаре, который они оба (Владимир Ильич и Ольга Ильинична. — Г. Х.) любили». К сожалению, эта тетрадь пока не обнаружена.

В начале мая 1889 года Ульяновы уехали из Казани. Их переезд на хутор Алакаевку, под Самарой, проходил под тщательным наблюдением полиции и чиновников соответствующих ведомств.

В августе того же года Мария Александровна обратилась к попечителю учебного округа с просьбой о переводе сына Дмитрия из Казанской мужской гимназии в Самарскую. Эта, казалось бы незначительная, просьба повлекла за собой обширную секретную переписку попечителя учебного округа с министром просвещения и директором Самарской гимназии.

В этой переписке мы читаем, например, такое сообщение: «Знакомства и связи, которые имела дочь Ульяновой, и знакомства ее исключенного из университета брата, заставляли желать выезда из университетского города семьи Ульяновой».

На хуторе Алакаевка, куда переехали Ульяновы, жили «неблагонадежные» люди, то есть изгнанные с государственной службы или исключенные из высших и военных учебных заведений. Это обстоятельство особенно беспокоило попечителя Казанского учебного округа Масленникова. Он побывал в Самаре, а вернувшись обратно в Казань, сообщил министру народного просвещения: «В бытность мою в Самаре лично просил самарского Губернатора, тайного советника Свербеева иметь через городскую и уездную полицию особый надзор за образом жизни в семье Ульяновых и за их отношением к другим остающимся еще на хуторах подозрительным лицам».

Длительная, скрупулезная слежка за семьей Ульяновых продолжалась и после ее переезда из Алакаевки в Самару. По нескольку раз в месяц являлись к ним в дом непрошенные гости: директор гимназии А. Соколов, и. о. инспектора, он же классный наставник Дмитрия Ильича, некто П. Кочкин. Их «наблюдения», дошедшие до нас, дают возможность восстановить ряд важных моментов жизни семьи Ульяновых в Самаре. Вот что там говорилось (приводим документы с некоторыми сокращениями):

«Ученик 5-го класса Самарской гимназии Дмитрий Ульянов с начала 1889—90 учебного года до 21 сентября проживал у своего зятя Марка Тимофеевича Елизарова, женатого на старшей сестре его (Анне Ильиничне. — Г. Х.). Квартира Елизарова находилась на Дворянской улице, между Успенской и Набережной, в доме мещанина Шорина. В ней, кроме гимназиста Ульянова, вместе с Елизаровым жили: вторая дочь Ульяновой — девица 18 лет (Ольга. — Г. Х.), третья дочь 11-ти лет — ученица 2-го класса женской гимназии (Мария. — Г. Х.) и племянник самого Елизарова, гимназист 4-го класса, Евгений Елизаров. В это время сама госпожа Ульянова, вместе со старшей замужней дочерью (25 лет) и старшим сыном 19-ти лет (Владимиром Ильичем. — Г. Х.), по хозяйственным делам жила на хуторе, находящемся в Самарском уезде в 50-ти верстах от города, в 30-ти верстах от Смышляевки, первой от Самары станции Оренбургской железной дороги...

В квартире Елизарова в течение сентября классный наставник 5-го класса, и. о. инспектора г. Кочкин был три раза — 3, 8 и 17-го сентября. Мои личные наблюдения ограничиваются пока сторонним путем, так как по моему убеждению подобный способ наблюдения, с моей стороны, на первых порах казался мне более целесообразным и лучшим.

...С 21 сентября, по приезде матери и ее детей из деревни, вся семья Ульяновой вместе с зятем и племянником его поселились на одной общей квартире, нанятой за 40 рублей в месяц на Полицейской площади в доме Кулагиной, напротив реки Самарки. В этом помещении г. инспектирующий и классный наставник (он же) был только 1 раз, 26 сентября, и тоже застал Ульянова дома. Г. Ульянова только что вернулась из Казани, куда она ездила для того, чтобы дать распоряжение о перевозке в Самару движимого имущества.

...Елизаров окончил курс наук в Петербургском университете по математическому факультету. Поселившись назад тому года три в Самаре, он уже переменял несколько мест службы. Одно время он служил в конторе богатого самарского землевладельца Сибирякова. В настоящее время он служит по вольному найму помощником секретаря в съезде мировых судей. Можно полагать, что он находится или, по крайней мере, находился под наблюдением тайной полиции. Известно, что когда он изъявил желание баллотироваться в мировые судьи, то был господином губернатором исключен из числа кандидатов.

Может быть это обстоятельство объясняется его перепискою и родственными отношениями с казенным Ульяновым.

Старший сын Ульяновой (Владимир Ильич. — Г. Х.), 19 лет, исключенный за беспорядки из университета без права вторичного поступления, также не представляет благонадежного элемента семьи и ее будущего направления...»

Служба за семьей Ульяновых не прекращалась ни на один день.

«В течение октября месяца 1889 года квартира ученика V класса Самарской гимназии Дмитрия Ульянова, — сообщает директор попечителю, — была посещена 3 раза: 15, 23 и 31-го числа. 10-го октября г-жа Ульянова опять переменяла квартиру и в настоящее время живет на Воскресенской улице в доме Каткова, рядом с редакцией «Самарской газеты», около Волжской набережной.

Причина перехода на новую квартиру была будто бы сырость старой квартиры. Настоящая квартира находится на верхнем этаже... В ней точно так же как и на предыдущей квартире помещаются два семейства: госпожа Ульянова с детьми и зять ее Елизаров с женою... Я и и. о. инспектора посещали квартиру вечером в 5 или 7 часу, когда уже зажигаются огни... О жизни и учении воспитанника Ульянова сказать ничего худого нельзя... Кондуитный список его совершенно чист... В сравнении с началом учебного года он выказывает больше усердия и склонности к учению, и успехи его в науках сделались лучше. Из книг для чтения можно было видеть на учебном столе его сочинения Гоголя. Из гимназической ученической библиотеки ему даны некоторые исторические романы Вальтер Скотта...»

Прошел месяц, и в Казань было послано еще одно донесение о семье Ульяновых:

«В ноябре сего 1889 года, квартира ученика 5-го класса Самарской гимназии Дмитрия Ульянова была посещена 10-го, 19 и 28 числа...»

Старший брат (Владимир Ильич в это время усиленно готовился к экзаменам экстерном за курс университета. — Г. Х.) принял на себя труд выпрашивать уроки по некоторым предметам...»

В этом же донесении сообщается, что «в одно из прежних посещений г. инспектирующим был усмотрен на столе Ульянова один том сочинений Помяловского, признанных вредными для юношеского возраста и запрещенных. Это сочинение было взято воспитанником из домашней библиотеки. Но вина в этом прискорбном обстоятельстве всецело падает на старших членов семьи... По поводу этого случая я беседовал с матерью о вреде книг отрицательного направления для юношеского возраста и просил ее закрыть своему сыну доступ в домашнюю библиотеку, где могут быть и другие книги не соответствующие его возрасту».

О том, что дали занятия Владимира Ильича с его младшим братом, можно судить по донесению директора гимназии 3 декабря 1889 года: «Как видно из выданной перед святками табели об успехах и поведении, Ульянов ведет себя отлично и учится удовлетворительно; его успехи по русской словесности и немецкому языку за последнюю четверть отмечены даже баллом 4».

В заключение приводим документ, находящийся в архиве Литературного музея (Москва).

В 1947 году были переданы музею воспоминания Марии Владимировны Анненковой, названные ею «Пусть догорает свеча». Мария Владимировна — дочь бывшего председателя Самарского окружного суда В. И. Анненкова, того самого суда, где в 1892—1893 годах Владимир Ильич служил помощником присяжного поверенного.

В этих воспоминаниях есть строчки, посвященные самарскому периоду жизни В. И. Ленина (после 1891 года):

«Наш дом часто посещали молодые люди — судебные следователи, присяжные поверенные и т. д. Отец любил молодые свежие мысли. Его ближайшим другом был еврей — судебный следователь Яков Львович Тейтель... В доме Тейтеля отец мой встретил Максима Горького, который в то время был еще неизвестным молодым человеком, сосланным в Самару за либеральный образ мыслей. Молодые люди, посещавшие дом Тейтеля, с интересом слушали рассказы отца о декабристах и Сибири.

Был другой молодой человек, посещавший дом Тейтеля, который с глубочайшим интересом относился к истории восстания декабристов... Он был не особенно большого роста, все черты его лица носили отпечаток не только обширного ума, но и непреклонной энергии. Он в это время был помощником присяжного поверенного популярного адвоката Хардина. Его имя было Владимир Ильич Ульянов, впоследствии он стал известным миру как Ленин».



ЛЕВ ЛЮБИМОВ
★
НА ЧУЖБИНЕ*

Глава 2

ПОД ГРОХОТ НЕМЕЦКИХ ТАНКОВ

Вечером 10 мая я был в театре. Шла новая пьеса, из которой я запомнил лишь то, что меня поразило тогда же. Два мира: гитлеровский и французский. В первом — люди железной воли задумывали преступные планы мирового владычества во имя торжества «избранной расы»; во втором — семья фермера вкусно обедала, похваливая кушанья и вино и выказывая всяческую любовь к своему уюту, к своим вещам и деньгам. Больше всего меня поразило то, что в первом — пьеса показывала идею, пусть и недобрую, во втором же — прославляла всего лишь собственничество да смаковала радости, которые оно доставляет. Вот только это и противопоставлялось миру насилия с его зловещими замыслами. Все в зале смотрели спектакль с особым чувством: в Париже уже было известно, что армии Третьего рейха, покончив с комедией «странной войны», вторглись в Бельгию и Нидерланды.

Эта пьеса осталась у меня в памяти как последний отзвук первого военного полугодия. После 10 мая 1940 года болтовня разом прекратилась. Началось бегство.

В утро 16 мая в «высших сферах» стало известно, что сопротивление сломлено и дорога на Париж открыта. Началась паника, не дошедшая, однако, до широких масс населения. Над министерством иностранных дел поднялись клубы черного дыма: там во дворе лихорадочно сжигали архивы. Очень много дам и господ из «всего Парижа» бежали в этот день из столицы. К вечеру наступило некоторое успокоение. На Париж немцы пока идти не собирались: их механизированные насти все с той же ошеломляющей быстротой устремились к морю, чтобы сначала отрезать и уничтожить лучшие французские и английские дивизии. Но даже этот очень простой стратегический расчет не был вовремя учтен в «высших сферах».

В ясный шоньский день, снуя в разные стороны, бешено помчались по городу огромные машины. Казалось, проносятся черные болиды, подымая вокруг ветер. Это правительство со всем своим аппаратом покидало столицу, спешно захватывая ближайших друзей. Но уже перед тем начался знаменитый «экзод» — что точно переводится русским словом «исход» — французского населения.

С востока и севера кинулись по дорогам Франции несметные толпы и, все возрастая, двинулись через Париж, увлекая за собой и его обитателей — на запад, на юг, а в общем, куда глаза глядят.

Вот он, народ Франции! В «экзод» участвуют чуть ли не десять миллионов человек. Идут угрюмые, все, что можно, унося с собой. Я стою на едва ли не самой нарядной улице мира — Елисейских полях — и гляжу с изумлением на эту бесконечную вереницу.

Старая трясучая машина, вся обвешанная сундуками, тюками, с кроватями и креслами на кузове. За ней, окружив вола, впряженного в деревянную двуколку, идут старик и старуха, молодая женщина с изможденным лицом, вероятно их дочь, и трое-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 2, 3 с. г.

четверо внучат. Еще машина, еще двуколка, а вот простая тачка, груженная всяким скарбом, которую толкает перед собой целая семья. Вот ослик, тоже во что-то впряженный, вот погребальные дроги, на которых люди, ящики да клетка с канарейкой, вот велосипедисты с тяжелыми мешками на ремнях. Толпа движется по Парижу, усталая, запыленная, даже не глядя вокруг себя. Их ждут впереди скитания под бомбами и огнем самолетов, дороги, деревни, города, где станет их еще больше, где почти каждый растеряет половину своего добра, где валяются попорченные машины, двуколки, велосипеды тех толп, что уже прошли вперед, и где они смешаются с такими же усталыми, унылыми людьми, такими же беженцами, но в солдатской форме, брошенными командирами и бросающими оружие.

В несколько дней Париж опустел. Закрытые ставни, забитые двери, безлюдье; только на главных улицах все тот же не прекращающийся поток беженцев. Стояла жара. Затемняя небо, в пригороде горели огромные склады мазута, и лица людей были темны от черного, липкого дождя. А город казался еще прекраснее, чем прежде. В безлюдье выступали еще ярче, яснее величье его памятников и площадей, неповторимая стройность его архитектуры. Я бродил по саду Тюильри, вдоль Лувра, по набережным Сены, по Марсову полю и по площади Согласия, как бродил в 1918 году по петербургскому Марсову полю и вдоль колоннад Зимнего дворца, еще острее ощущая их красоту, тогда — от мысли, что рухнул «наш мир», теперь — что рушится Франция.

13 июня. Последняя суматоха. Еще тысячи людей, засидевшихся в городе, устремляются вон, на дороги. Завтра, говорят, немцы обойдут, отрежут столицу.

В кафе, которое сейчас закроемся (хозяйские вещи уже вынесены в автомобиль), старик, по-видимому, мелкий буржуа, взволнованный и возбужденный, трясет за плечи отставшего от части солдата и говорит ему надрываясь:

— Не унывай, малый! Мы еще победим! Вспомни 1914 год. Накануне Марны ведь тоже казалось, что все пропало. Но мы же французы! Нас не одолеть.

...В этой последней суматохе проносится слух, рожденный отчаянием, вернее — вдруг промелькнувшим сознанием, что есть великая сила, на которую Франция может надеяться. Эту весть я слышу и в потоке беженцев и от буржуа, спешно усаживающегося в автомобиль.

— Вы слышали? Россия объявила войну Германии!

— Да, да, это точно! Русские ударили по немцам, они идут к нам на выручку. Мы спасены!

Я понимаю всю нелепость этого слуха, но эта надежда, этот предсмертный зов, обращенный к моей стране, потрясают меня.

На своем огромном «роллс-ройсе» Гукасов уехал одним из первых на юг. Как и все газеты, «Возрождение» закрылось, закрылось навсегда. Но очень многие русские остались в городе. «Куда бежать и зачем? Влиться в поток беженцев, чтобы немцы все равно обогнали?» К тому же у русских в подавляющем большинстве не было скарба, который хотелось бы спасти любой ценой, и не было родственников и друзей, которые в других городах оказали бы им приют.

Из эмигрантов уехали богатые, у которых были машины (то есть ничтожное число), все те, кто по должности, занимаемой в каком-нибудь учреждении, должны были разделить его судьбу, те (да и то не все), которые опасались «арийских законов», да еще некоторые, уже тогда признавшие в немецком фашизме смертельного врага.

А одним из последних актов убегающего полицейского аппарата были арест и угон по дорогам множества «нежелательных» иностранцев, среди которых сторонники СССР преобладали над германофилами. Были схвачены все «оборонцы» и «возвращенцы», еще находившиеся на свободе...

Объявленный открытым городом, Париж со своими предместьями сдавался врагу без боя. Отступающие войска обходили столицу, у полиции было отобрано оружие.

Но вечером 13 июня французских солдат было еще немало в Париже. Они брели по двсе, по трое, еще чаще в одиночку, расхлябанные, истерзанные, без амуниции, усталые, пьяные, с блуждающими глазами, дикими выкриками и бранью по адресу всего света. Угарное пьянство мало свойственно французам; но эти люди отстали от своих частей, не знали, что им следует делать, и, не находя нигде никакого начальства, вдруг превратились в отчаянных и в то же время каких-то беспомощных, жалких хулиганов.

Я жил в Париже около самого Булонского леса, в архибуржуазном предместьи Нейи, которое всего в полчаса ходьбы от Елисейских полей и лишь по каким-то неясным административным соображениям все еще считается расположенным за городской чертой.

14 июня. Выхожу на улицу с самого утра. Воды Сены кажутся серебристыми в этот час; вдали Триумфальная арка окутана розовой дымкой восходящего солнца. Весь квартал с садиками в цветах вокруг нарядных особняков имеет какой-то необычный, нереальный вид. Лавки закрыты, как закрыты и ставни чуть ли не всех домов; никто не спешит в метро, на базар; прислуга не прогуливает собачонок.

Но какие-то люди все же встречаются.

Вот поперек тротуара лежит безнадежно пьяный солдат. Приставив к стене велосипед, пожилой «ажан» (полицейский) бережно, даже ласково трясет его, приговаривая:

— Вставай, вставай, старина. Он и сейчас появятся, заберут тебя в плен.

Но голова солдата беспомощно свисает на грудь, и в ответ только слышится богатырский храп.

«Ажан» берет солдата под мышки и так же осторожно волочит его по земле в подворотню.

Вот полным ходом въезжает на проспект машина, поворачивает и, тормозя, прямо устремляется на меня. Из нее осторожно выглядывают французские офицеры. Спрашивают отрывисто:

— Где они? Как можно выбраться из города?

— Здесь еще не появлялись. Знаю не больше вашего,— отвечаю я растерянно, глядя на их лица, в которых тревога и душевное напряжение.

Под решеткой маленького особняка собралось несколько обывателей: газетчица, молочник, какая-то старуха — больше никого не осталось из обитателей соседних домов. Вздыхают, разводят руками и сочувственно переглядываются. За решеткой — молоденький солдат.

— Помогите,— говорит он смущенно и жалобно.— Сейчас придут — тогда все пропало! Пока не поздно, помогите.

Он еще сонный, всклокоченный, и глаза его воспалены. Отстал от своей части, шел, шел и оказался в Нейи. Забрел накануне вечером в этот особнячок. Хозяева, состоятельные коммерсанты, впустили его, и он заснул в садике как убитый. Ночью хозяева бежали, о нем не позаботились и крепко заперли свое покинутое жилище. Вот он и остался за высокой решеткой, через которую никак не перелезть.

Он совсем еще мальчик, видно — ему и страшно и немного совестно, что он оказался в таком беспомощном положении.

Молочник вдруг багровеет.

— Сволочи! — говорит он.— Видел, как приезжала за ними военная машина. По знакомству, конечно! Нагрузили ее — и поминай как звали. Нарочно солдатика не разбудили, чтобы не просился с ними в автомобиль. Добра бы меньше удалось увести... Слушай, малый, не волнуйся. Знаю, где есть большая лестница. Эх, черт, вот и они!

Дыхание остановилось в груди. Что-то страшное и чужое ворвется сейчас в опустевшую столицу. В оцепенении мы смотрим на мост через Сену, к которому с противоположной стороны подъезжают уверенно, не торопясь, зеленые статуеобразные мотоциклисты в стальных шлемах.

Как раз в эту минуту меня зовут из дому: срочно, «по важному делу» кто-то требует к телефону.

Не сразу могу сосредоточиться, понять смысл того, что произносит приятной скороговоркой дама из «всего Парижа», с которой я встречался всего два-три раза у общих друзей.

— А, вы не уехали! Очень умно поступили. Мы тоже с мужем решили остаться. Куда ехать? Все равно ведь немцы нагонят... У нас они уже с утра. Разве не слышите шума? Это их танки проходят под моими окнами. Какие танки! Какие танки! Ну, скажите, пожалуйста, на что мы могли рассчитывать? Так вот я звоню всем знакомым, только почти никого не осталось в Париже. Нужно собраться в такой день, поговорить обо всем. Муж к тому же скучает: ведь биржа закрыта. Хочу как-то развлечь его. Но не опаздывайте. Говорят, вечером нельзя будет выходить. Ждем непременно.

Еще неделю назад она заявляла, что немцы будут остановлены, что надо опасаться только одного, как бы продажные политиканы из германофильского лагеря не вздумали подбивать правительство на мир. Но сегодняшние ее речи меня не удивляют. У этой дамы одна страсть: приветствовать каждую очередную сенсацию. В это утро немцы вступали в Париж победителями, как же ей было не восхищаться их танками!

Не успел я повесить трубку, как услышал голос нашей дворничихи, испуганно взывавшей ко мне со двора:

— Мсье, мсье, спросите, ради бога, у этих господ, что им угодно?

Я подошел к окну, и опять что-то кольнуло меня. Во дворе стояли два немецких солдата в ладно скроенной форме и сверкающих сапогах. На их лицах застыла любезная улыбка.

Оказалось, что они осведомлялись, нет ли во дворе уборной.

— Ах, как они корректны! — воскликнула дворничиха, когда я перевел этот вопрос.

Но французский солдат за решеткой исчез. Я узнал, что немцы быстро извлекли его из садика, и их офицер тотчас же отправил его куда-то с конвойным.

.....

Мерными колоннами двигались немецкие части по Парижу. Вытянувшись в струнку, солдаты сидели рядами на грузовиках. Огромные танки громыхали по Елисейским полям, по всем проспектам и улицам, выплывали отовсюду, ныряя хоботом и снова грузно выпрямляясь. Словно какие-то мастодонты вторглись в столицу Франции и наполнили ее своим шумом и тяжестью.

Многие из простых людей, оставшихся в Париже, смотрели на все это с мокрыми от слез глазами; в их чувствах преобладала подавленность, сквозь которую, однако, уже прорывался внутренний пламенный протест.

— ...Какая сила! Не удивительно, что мы разбиты!

— ...Но почему у нас не было такой силы? Ведь мы же Франция!

— ...Значит, мы не были подготовлены к войне! Но почему? С какой целью нас обманывали?

С Триумфальной арки на могилу Неизвестного солдата, павшего за Францию в первую мировую войну, свисало яркое, кровавое полотнище с черной, широко растопыренной свастикой. Больше немцы не могли ранить французское сердце.

Дальше, на улице Риволи, возле статуи Орлеанской девы, встретился мне скромный человечек средних лет, не то лавочник, не то мелкий чиновник. Поравнявшись с памятником, он остановился, торжественно обнажил голову, поклонился национальной героине, затем снова нахлобучил шляпу и сердито зашагал прочь, успев бросить мне полушепотом:

— Это чтобы и м было тошно!

Иная атмосфера царил на обеде, на который я был приглашен в этот день.

«Ура! Война заканчивается! Как хорошо, что мы не бежали, как все эти дураки, которые мечутся сейчас под немецкими бомбами по дорогам Франции! Город занят без боя, и нынче в нем порядок, полнейший порядок. Немцы не дадут разгуляться народному гневу!»

Высказывать прямо такой взгляд было бы неловко, но так или иначе нечто подобное все время проскальзывало в разговоре.

Сначала долго говорил старик маркиз, пользовавшийся репутацией не совсем порядочного дельца, что ничуть не умаляло его престижа. Желтый, скрюченный, он походил на мумию, но вид имел, в общем, довольно представительный. Тонко улыбался собственным словам, как бы приглашая присутствующих отдать должное отменной изысканности его мыслей и переживаний, и порой дряхло разводил морщинистые руки, выражая на лице благопристойнейшее недоумение. В этот день маркиз завтракал в Жокей-клубе — самом аристократическом клубе Парижа, и было там за завтраком всего лишь еще два члена. Неслыханное дело! Даже в «неделю 15 августа», когда «весь Париж» разъезжается по курортам, еще не случалось ничего подобного. Маркиз был искренне потрясен, и, казалось, все существо его говорило: вот до чего довели!

Выслушав маркизову болтовню с таким видом, будто наслаждается каждым его словом, хозяйка заговорила о немецких танках, поразивших ее своей величиной.

— Да, танки, танки! — послышалось со всех сторон.

— А все-таки какой тяжелый день для Франции, — сказал один из обедавших. — Тяжелый и непредвиденный!

— Да, конечно, — возразил другой, — но и хороший урок! Как мы могли вступать в бой с Германией один на один?! Ведь в прошлую войну с нами была Россия...

При этом он любезно посмотрел в мою сторону.

— Позвольте, — заметил первый, — у нас все трубили, что мы куда сильнее немцев и что мы одни победили Германию в ту войну.

Хозяйка перебила его:

— Это говорили глупости. Теперь все ясно, не правда ли?

— Нас побили — и поделом. Однако Англия сдаваться еще не собирается, — заявил долговязый молодой человек с нечесаной шевелюрой, считавшийся литератором. Он недавно поместил в каком-то английском журнале исследование о «мистическом укло-не» современного эротического романа. Немецкие танки явно мешали его дальнейшим успехам в английской прессе, и потому восхищение, которое они вызывали, его несколько раздражало.

— Очень верно, — легко согласилась хозяйка, почувствовав, что рискует погубить свою репутацию тонкой и всегда осведомленной политической дамы, если будет придерживаться немецкой ориентации на все сто процентов.

— Кстати, — заметил мистик-англоман, — подумали ли вы о том, что Париж уже не открытый город?

— Как так? — вскрикнули разом чуть ли не все обедающие, причем в голосе некоторых послышался самый откровенный испуг.

— Очень просто! Он был открытым для немцев, и даже полиция сегодня вышла на улицу безоружной. Но теперь в Париже немецкие танки — значит, это не открытый город для англичан и они вправе его бомбардировать.

Тема была животрепещущей. Со страстью, даже с огнем, каждый начал высказывать доводы за и против возможности налета английской авиации.

Какой-то делец и политикан, упорно молчавший до этого, так как усиленно наполнял красным вином и большими кусками мяса свое грузное тело, решил в свою очередь завладеть разговором. Подчеркнув, что любит «трезво смотреть на вещи», он объявил назидательно:

— Страница перевернута. Начинается новая. Немцы — люди серьезные, они поймут, что Францию нельзя игнорировать. Франция — великая сила, господа! Вы всегда должны это помнить. Орел нашей прекрасной страны не может померкнуть: он сняет в веках, и лучи его ослепительны. — Привычным жестом кандидат в министры приложил руку к сердцу. — Будем же достойны этих лучей!

Сказав это, он, вероятно, вспомнил, что говорит не на предвыборном банкете, и добавил уже в совершенно обыденном тоне, обращаясь в первую очередь к хозяину-биржевику:

— Поверьте, деловая жизнь очень скоро возобновится.

Затем он сказал не громко, но достаточно внушительно, что сейчас каждый «честный» француз должен забыть о своем ущемленном самолюбии и проникнуться сознанием, что Гитлер сумел развеять в своей стране призрак коммунизма.

— Позавидуем же немцам и кое-чему поучимся у них,— заявил он в заключение.

Время летело быстро. Ночь миновала, и настал час, с которого немецкое командование вновь разрешало парижанам появляться на улицах своего города. Прощаясь, гости оживленно благодарили хозяев за очаровательную встречу, столь полезную и живительную в «такой момент».

По улицам все шли немецкие танки. Страшная мысль мелькала в моем сознании: а может быть, Франция и впрямь заслужила свое поражение?

...Да, этот обед был характерен для настроений некоторых французских кругов. Но только некоторых.

Знаменитый хирург де Мартель покончил с собой, увидев первые немецкие части, входившие в Париж.

Главенствующая в то время часть французской буржуазии, та самая, которая давала тон предвоенной Франции и чьи нравы и политические принципы были вскрыты делом Стависского, все подчинила чисто звериному инстинкту самосохранения, постаралась ополшить, свести к простому утилитаризму самые чистые и пламенные порывы, объединить в одно и режим Виши и движение Сопротивления, найдя для этого страшную по своему цинизму, но абсолютно точную, удивительно меткую формулировку, которую я услышал впервые в самом начале оккупации от жены видного чиновника, присягнувшего Петэну, но всем объявлявшего, что он сочувствует де Голлю:

— Все прекрасно: Петэн спасает мебель, а де Голль — честь.

Под мебелью здесь подразумевались кошель, добро, возможность без войны, то есть без разрушений и жертв, жить спокойно, в ладу с немцами, хоть и под их пятой, а под честью — союз с Англией, возможность воспользоваться плодами ее победы, если провалится «новый порядок», устанавливаемый Гитлером.

Тут сказала давнишняя практика буржуазии в хитрой расстановке сил на парламентской шахматной доске.

Чья бы ни взяла, — у власти оставалась по-прежнему буржуазия! Эта политика и получила тогда же название «двойной игры».

Систематическое ограбление Франции гитлеровскими оккупантами началось не сразу, во всяком случае такие цели оставались на первых порах закамуфлированными. Немцы прокатились по Франции победителями, с ничтожными потерями; из их танков неслись звуки гармоники да раскатистый смех, словно война и впрямь представлялась им занимательной, веселой прогулкой. Засахарить французов внешней любезностью да посулами тесного сотрудничества, чтобы включить Францию в орбиту Третьего рейха, а затем выкачать из нее все соки для прокормления «народа господ», — такова была тактика гитлеровских захватчиков.

Оторванность от родины, общее для подавляющего большинства эмигрантов, даже внимательно следящих за международной политикой, незнание общественных законов, определяющих пути родины, порой приводили нас к признанию в фашизме какой-то новой, конструктивной, динамической силы. Немецкая победа над Англией казалась мне поэтому обеспеченной.

В огромный город стали возвращаться жители, но жизнь в Париже не налаживалась.

Скоре начались продовольственные затруднения: все шло на вермахт. Захват Англии откладывался, из чего буржуа-краснобай заключали, что немцы выдохлись и Англия вот-вот спасет Францию от их владычества.

В кино, кажется уже на второй месяц оккупации, я был свидетелем едва ли не первой антигитлеровской демонстрации: когда на экране появились кадры немецкой кинохроники, в темноте раздались шиканье и иронические возгласы. Кинохронику стали с тех пор показывать при полусвете.

Фашистский сапог был пока что на мягкой подошве, но Франция начинала ощущать всю его тяжесть. Все оказывалось задавленным: национальная гордость, живая мысль, сама жизнь. Внешняя корректность победителей уже не скрывала фашистского высокомерия, надменности, презрения к побежденным.

И одновременно чувства французов проявлялись все смелее и все откровеннее.

Как-то на улице ко мне подошел немецкий солдат, откозырял и молча протянул листок бумаги, на котором было написано по-французски: «Если вам не противно, объясните этой скотине, как пройти на такой-то вокзал»...

Шли месяцы. Наступила зима без топлива. Как и в дни «странной войны», Париж охватило смутное нервное ожидание. Один и тот же вопрос вставал для заблудившихся парижан, для всей Франции, для Европы, для всего мира, в том числе и для нас, потерянных в вихре событий, не знающих больше, за кем и куда идти, русских людей, лишившихся родины: что дальше?

Глава 3

22 ИЮНЯ

К концу первой половины июня 1941 года в Париже распространились странные слухи. Общий смысл их сводился к следующему: что-то очень важное не то готовится, не то уже происходит на востоке Европы.

Передавались три версии. Согласно первой, наиболее распространенной, Германия получила от Советской России согласие на прохождение через Кавказ большой армии, которая, действуя одновременно с африканским корпусом Роммеля, должна взять в клещи англичан и сокрушить позиции Британской империи на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно другой, Советский Союз «передавал» Германии на время войны хлебные ресурсы Украины с правом для Германии не то оккупировать всю Украину, не то «контролировать» украинскую экономику. Наконец, согласно третьей, Советский Союз отклонил такие требования Германии относительно Украины, однако этот отказ носил чисто формальный характер, и германская армия уже вступила на Украину, не встречая сопротивления.

Слухи эти передавались и французами и русскими. Слышал я их также в Париже от итальянцев, венгров, румын. Люди, как-то разбирающиеся в политике, понимали их велепость, но придавали значение той настойчивости, с которой они распространялись, указывая, что они пущены, очевидно, не зря.

После нападения Германии на Югославию многим уже стало ясно, что в германо-советских отношениях образовалась трещина. Однако всего за несколько недель до 22 июня один из лидеров французских коллаборационистов Марсель Деа, особенно выдвигаемый немцами и наиболее авторитетно выражающий их точку зрения в печати, выступил со статьей, в которой доказывал неизбежность германо-советского договора.

В эти годы я жил вместе с родителями. Мой брат, женатый на английской подданной, покинул с семьей Париж до прихода немцев и затем перебрался на родину жены — в Индию. Моя мать была поглощена работой по управлению созданным ею большим домом-убежищем для престарелых соотечественников. Мой отец же, написавший в эмиграции интересные воспоминания о первой революции, давно уже отошел не только от политики, но как бы и от самой жизни. Лет ему тогда уже было под восемьдесят.

Было еще совсем рано, когда меня разбудил голос моей матери, спешно звавшей меня к себе. Она сидела у радиоприемника, и я сразу же по ее лицу понял, что произошло что-то исключительное, огромное.

— Немцы начали войну с Россией, — быстро сказала она. — Сейчас передавали речь Геббельса.

В эту минуту мне послышалось всхлипывание. Я не заметил, что вслед за мной вошел мой отец. Он стоял в дверях и судорожно крестился, повторяя сквозь слезы:

— Господи! Господи! Спаси Россию!

Я не знаю, как бы он реагировал на это известие, если бы был на двадцать лет моложе. Он уже не интересовался происходящим, но слова моей матери, очевидно, дошли до него во всем их точном и страшном смысле: немцы напали на Россию! Накипи многолетних эмигрантских расчетов в нем уже не было никакой. В этот час он помнил только одно: он русский.

В памяти своей я храню навсегда образ отца (он скончался в следующем году), каким он запечатлелся тогда вместе со старческим всхлипыванием и мольбой:

— Господи, спаси Россию!

Тогдашний советский посол во Франции А. Е. Богомолов рассказывал впоследствии на собрании новых советских граждан, как 22 июня к нему в Виши явился русский эмигрант молодой князь Оболенский с просьбой отправить его в Красную Армию, чтобы защищать отечество, каковой просьбы посол не мог выполнить, не зная, как с ним самим поступит правительство Петэна.

В Париже другой русский эмигрант, служивший у немцев шофером, не вышел 22 июня на работу. Немцы потребовали у него объяснений. Он заявил, что не большевик, но так как немцы напали на его отечество, он не может дольше служить у них. Остался непреклонным, как немцы ни уговаривали его изменить свое решение. Тогда они арестовали его и посадили в бывшую французскую военную тюрьму Шерши-Миди, где он и умер, кажется, через год. К сожалению, я не помню фамилии этого твердого духом русского человека.

В ночь на 23 июня русский эмигрант Крылов, тоже шофер по профессии, а в прошлом полковник, человек угрюмый и одинокий, застрелился из старого русского нагана, сохранившегося еще с гражданской войны. Оставил письмо, в котором заявлял, что жить больше нет смысла: если старая Россия не была способна один на один бороться с Германией, то где уж Советской России выдержать ее натиск! Писал, что все кончено, так как вермахт разгромит Красную Армию, Россия будет навсегда уничтожена как государство, а русский народ обращен в рабство.

Страшное известие меня ошеломило, как бы придавило все мое существо. Вместе с отцом я повторял мысленно: «Господи, спаси Россию!» Но старая накипь эмигрантских прогнозов, оценок, расчетов мутила мое сознание. Всю жизнь я верил твердо, упрямо, безоговорочно в величие своего народа, своей страны, и эта вера — утверждаю это — была всегда неотделима от моего существа. Но свой народ и страну я считал ослабленными, сбившимися с пути. И потому лишь подсознательно, едва слышно, никак не фиксируясь, проскальзывала мысль: а вдруг устоит перед непобедимым вермахтом эта новая, неизвестная мне, загадочная Россия? И уже тогда на миг становилось ясно: если устоит, значит правда на ее стороне. Но логические выводы из всех предпосылок, утверждавших эмигрантское сознание, слишком отчетливо говорили о другом.

...Значит, мою Родину ожидало страшное, кровавое испытание, дымы пожаров, попрание ее гордости, ее культуры, всего ее национального бытия алчным врагом, который, конечно, проявит себя беспощадным. От людей в эмиграции, ликовавших в тот день, меня отталкивали, отделяли всеми чувствами и помыслами ужас, щемящая тревога перед тем, что должно было совершиться. Но каюсь, и в этот день и еще в течение некоторого времени подлинный патриотизм не определял еще моего сознания. Решительный перелом произошел во мне не сразу, а в результате сложной, хоть и сравнительно быстрой эволюции, о которой я расскажу подробно.

Во дворе русской церкви на улице Дарю всегда в воскресенье толпа. Сюда приходят, как в клуб. Но в это воскресенье народу было вдвое больше, чем обычно: людям хотелось быть вместе в такой час. Когда я подоспел туда, кое-кто уже слышал по радио выступление Молотова, и его знаменитые отныне слова: «Наше дело правое... Победа будет за нами» — передавался в толпе.

Итак, церковный двор был полон русскими эмигрантами, то есть людьми, в большинстве своем полагавшими много лет подряд, что война с СССР будет знаменовать крушение большевистской власти, той власти, которую они не хотели признать и против которой некогда боролись с оружием в руках. Были среди них ликующие, были некоторые, которые даже целовались на радостях друг с другом, но они составляли ничтожное меньшинство. Общее настроение, то самое, что и я ощущал в себе, выражалось тревогой, которая сильнее и убедительнее всех рассуждений вошла в душу людей. Мало кто говорил, понимая, что словами не выразить своих переживаний в такие минуты.

«Что будет с Россией?» — вот вопрос, который впился клещами в сердца очень, очень многих из нас. Впоследствии произошло расслоение, и каждый нашел какую-то

формулировку для своих дум, опасений и надежд. Но в это воскресенье, 22 июня, я наблюдал, ощущал некое единство — единство тревоги.

Вернувшись домой, я узнал по телефону об аресте русских. Несколько сот человек было задержано немцами и в качестве заложников отправлено в лагерь Компьен, недалеко от Парижа. Чем в точности руководствовались немцы при этих арестах, сказать трудно, много в то время гадали на эту тему, но так и не добрались до истины. Впрочем, быть может, и гадать было нечего: немцы попросту пожелали иметь у себя под рукой в качестве заложников представителей самых различных эмигрантских течений. Были арестованы профессор Д. М. Одинец, И. И. Бунаков-Фундаминский, И. А. Кривошеин, занявшие еще до войны патриотическую позицию. Но попали в Компьен и белогвардейские вожаки, даже лица, известные своим германophilством. В числе заложников оказались граф С. Игнатъев, по-видимому потому, что был братом советского генерала; В. Красинский, сын великого князя Андрея Владимировича и М. Ф. Кшесинской, тоже занявший патриотическую позицию, но, кроме них, генеральный секретарь РОВСа полковник Мацылев да бывший начальник штаба Врангеля генерал Шатилов, всегдашний сторонник любой вооруженной акции против Советов.

А в так называемой «свободной зоне» полиция Петэна, перестаравшись, задержала 22 июня чуть ли не всех русских эмигрантов.

Обычно парижане очень неохотно читали газеты, выходящие под немецким контролем, но в этот день у киосков стояли длинные хвосты. Весть ведь была потрясающая, грандиозная — каждому хотелось узнать все подробности хотя бы из вражеского источника.

Многие французские друзья звонили мне в тот день. В их голосе я чувствовал радость двойную, все удобнейшим образом согласующую: у немцев новый противник, значит что-то существенно изменилось в пользу Англии, «от которой придет спасение», и этот противник — советский коммунизм, по которому ненавистные немцы (они только на это и годятся) нанесут «спасительный для европейской цивилизации» удар. Я слушал, угадывал мысли говоривших, отвечал нехотя и вешал трубку с чувством, что физически не могу разговаривать «об этом» с изощренно расчетливыми иностранцами. Что-то свое, глубокое, сокровенное мучило, волновало меня — и весь их мир был для меня уже чужим.

Глава 4

ВОПРЕКИ ПРОШЛОМУ

Да позволит мне читатель отвести первое место в этой главе своим личным переживаниям, той эволюции, которая наполнила новым содержанием всю мою дальнейшую жизнь. Эта эволюция определялась событиями и людьми и потому, как мне кажется, представляет общественный интерес.

Уже 23 июня гитлеровская ставка объявила, что не будет сообщать до поры о ходе военных действий на Востоке, дабы... не давать противнику сведений о продвижении германской армии. При этом пояснялось, что противник дезорганизован и уже не ориентируется в обстановке.

В следующие дни из немецких источников стали распространяться самые сенсационные слухи. Вермахт, дескать, одерживает полную победу! Передавались слова, будто бы сказанные храбрым генералом Ганессе, командующим германскими воздушными силами Парижского района и главным дамским угодником в коллаборационистских салонах.

— Война продлится четыре недели, а то и меньше.

Настроение, которое я наблюдал в церковном дворе в день 22 июня, по-прежнему было характерно для эмигрантской массы. Зато в некоторых, так называемых «светских кругах» эмиграции началось бурное ликование.

...Я сижу у Горчаковых — у внука канцлера, зубра-маньяка, о котором я уже говорил, и жены его, дочери знаменитого некогда сахарозаводчика Харитоненко, простого крестьянского сына, нажившего колоссальное состояние и построившего себе против Кремля, на Софийской набережной, дом-дворец, где ныне помещается английское посольство.

Горчаковы — мои соседи в Нейи. У них большая квартира со старинной мебелью, ценными картинами: какая-то часть горчаковского состояния всегда была за границей. Это люди гостеприимные, общительные, я часто бываю у них, играю в бридж, воспринимая, в общем, как буффонаду, политические разглагольствования хозяина. У них в этот день много народу, и все ликуют. Самого Горчакова разбирает прямо-таки телячий восторг. От какого-то русского, служащего в немецком учреждении, он узнал, будто офицеры вермахта характеризуют следующим образом обстановку на фронте: «Советские войска так бегут, что мы едва поспеваем за ними».

Горчаков повторяет в десятый раз эту фразу, смакует каждое слово и добавляет: — Конец! Конец! Конец! Можете считать, что уже нет большевиков.

Я не располагаю никакими данными, опровергающими его информацию. Но мне не хочется верить такой оценке, и слова его режут мне сердце.

А между тем Горчаков последователен в своей радости, мое же уныние только удивляет собравшихся. «Малейший удар извне — и все там разлетится, как карточный домик», — так ведь твердили из года в год и Семенов, и Муратов, и Головин, и тот же Горчаков. Я так не говорил, но сотрудничал в органе, где это проповедовалось как аксиома. И вот как будто сбывается... В самом деле, почему бы Горчакову не ликовать? Но мне тягостно и неприятно его слушать.

— Гений! Гений! Гений! — вопит про Гитлера Горчаков. — Наведет настоящий порядок! Никакой демократии! Не даст разгуляться какому-нибудь Милюкову. Настало наконец наше время! Воспользуемся благами гитлеровской власти, а там и сами возьмемся за руль.

А затем, поддержанный гостями, Горчаков говорит серьезнейшим тоном, как о чем-то само собой разумеющемся, что скоро во владение земель, заводами и домами вступят вновь их «законные владельцы», то есть они, Горчаковы, Харитоненко и другие еще здесь присутствующие.

Я ввязываюсь в спор, неумный, мучительный, так как почти ни одно мое слово не доходит до тех, у кого даже глаза заискрились от таких радужных перспектив. Говорю, что вряд ли возможно совершить новую социальную революцию. Земли и заводы отняты уже более двадцати лет, в их эксплуатацию вложено столько новых средств и сил, что претензии прежних владельцев были бы уже юридически не оправданы, противны здравому смыслу. С другой стороны, можно как-то понять, что помещик, с юности занимавшийся сельским хозяйством, упорно считал себя прирожденным хлеборобом. Но разве годится для этой важнейшей социальной функции какой-нибудь парижский приказчик, шофер или профессиональный танцор, если даже отец его и владел в России землей? Да, наконец, зачем Гитлеру так стараться для русских эмигрантов? Уж скорей всего он поделит земли и предприятия между своими людьми...

Только последний довод как-то задевает Горчакова.

— Поймет, поймет, Гитлер все поймет! — кричит он. — Ведь у большевиков не осталось и следа культуры. Там нет по-настоящему образованных людей. Такие, как мы, будут редкостью, униками. Без нас не обойтись! Итак, милости просим на Софийскую набережную. Попросторнее будет, чем здесь...

Я прекращаю спор, вспомнив, что Горчаков уже пробыл некоторое время в доме для душевнобольных. Однако прочие гости выражают полное сочувствие его словам.

Пусть Горчаков и был в своем роде живой карикатурой. Надежды, соображения, расчеты, которые он высказывал, еще долгое время пьянили воображение наиболее тупых и алчных эмигрантов из бывших помещиков и капиталистов.

Не менее недели гитлеровское командование медлило с официальным сообщением о положении на фронте. Тем временем слухи становились все сенсационнее: Красная Армия бросает оружие, дороги на Москву, Ленинград и Киев открыты!

Наконец все было объявлено «гуртом», причем специальную радиопередачу немцы оставили с особой торжественностью.

Бравурная музыка, марш — и затем краткое сообщение: «Такого-то числа наши войска заняли такой-то город». Затем опять бравурная музыка, марш — и новое сообщение: «С такого-то числа по такое-то нами сбито столько-то самолетов». И так

в течение получаса о захваченных городах, прорывах, трофеях. Что и говорить, картина получалась внушительная: продвижение было быстрое, занятые территории обширны, успех несомненен. И однако ни о каком «все рассыпалось, разлетелось в прах» говорить не приходилось. Было ясно, что сопротивление не сломлено, Красная Армия оружия не бросает и никакие дороги не открыты. За первую неделю боев на французском фронте гитлеровская армия добилась куда больших результатов. Правильного вывода я еще не сделал из этого, но ясно помню, как чувство национальной гордости стало постепенно наполнять мою душу.

В тот же день я случайно встретил генерала Головина, рассуждения которого о воюющей армии и дикарях в свое время произвели на меня известное впечатление.

— Да, да, внимательно проштудировал немецкую сводку, — сказал этот бывший штабной генерал, профессор, автор многих трудов, которого в эмиграции, да и в некоторых французских кругах, считали выдающимся военным ученым. — Не верю тому, что они сообщают о сбитых советских самолетах.

Я был искренне удивлен, услышав из его уст такое суждение. Головин многозначительно взглянул на меня и тонко улыбнулся.

— Советские летчики массами перелетают на их сторону — вот и все!

Поняв, что я изумлен еще более, он добавил с глубокомысленным видом:

— У Гитлера тут свой политический расчет, на мой взгляд, неверный. Ему, как я полагаю, хотелось бы доказать, что разгром Красной Армии — результат не антисоветских настроений русского народа, а всепокоряющей мощи германской военной машины. Ничего! Немцам все равно придется считаться с этими настроениями...

Я даже не нашел, что ответить, однако подумал: «Какая ахинея!»

А между тем Головин вовсе не был дураком. Очевидно, как специалист военного дела он еще лучше меня понял, что немецкое официальное сообщение опрокидывает все классические эмигрантские прогнозы, но, не имея мужества даже самому себе в этом признаться, предпочел переиначить гитлеровскую сводку на свой лад...

Через месяц, а может, и больше, мне пришлось беседовать с писателем Борисом Зайцевым. Мы сидели в опустевшем при немцах помещении газеты «Возрождение» и обсуждали положение на фронте. К тому времени уже не могло быть никакого сомнения, что идут тяжелые бои и что Красная Армия оказывает упорное сопротивление. Но, теребя бородку и нежно поглаживая тщательно зачесанные волосы, Борис Зайцев как-то задумчиво, неопределенно откликался на мои слова.

— Да нет же, нет же, — вяло говорил он, — это только фикция отпора, фикция сопротивления. Ох, не верю я в новую отечественную войну. Где уж нам, русским, задерживать вермахт!

Головин и Зайцев были людьми различной формации. Первый и видом и убеждениями выкристаллизовался как продукт дворянско-гвардейский, петербургский, при этом высшего сорта — с работоспособностью, начитанностью, даже ученостью. Второй представлял культурнейший слой московской либеральной интеллигенции. Первый питал симпатии к авторитарным формам правления, второй считал фашизм явлением варварским и преходящим. И тем не менее оба представляли старую Россию, пусть и в разных ее аспектах. А потому оба явно не верили в наличие мужественного, волевого, организующего начала у советского народа.

Эти два разговора мне показались особенно типичными, но я мог бы привести еще множество подобных бесед с людьми старого мира как имперской, военно-бюрократической, так и интеллигентской традиции. И вот первое новое убеждение, которое принесла мне война, сводилось к следующему: мы, люди старого мира, мы, бывший правящий класс России, не были бы способны руководить народом в войне с таким могучим противником, как Германия. Значит, мы больше не годились для правления, и хорошо для России, что революция заменила нас другими людьми. Да, будь мы у власти, Россию ожидала бы в этой войне участь Франции, ибо мы выродились, измельчали. Румянцевы и Суворовы уже были для нас только далекими предками.

Шли недели, месяцы. Я думал об этом много, думал иногда целые ночи. уходил в себя, подвергая постепенно новой оценке исторические события, явления, которых я был свидетелем в жизни. И теперь я уже решительно отбрасывал то положение, будто

Россия ослаблена революцией. Но ясности, твердого вывода еще не было в моем сознании.

Париж. Одна из первых ночей декабря 1941 года. На улице ни одного огня. Тихо. В комнате лишь бледное пятно света: диск радиоприемника. «Говорит Москва! Говорит Москва!» Слушающий наклоняется к аппарату: звук слишком силен, услышат соседи, услышат на улице этот язык и эти слова! Вот теперь хорошо — словно шепот, но четко звучит каждое слово на короткой волне. Что принесет она этой ночью? Что долетит по эфиру от туда, сначала сквозь стены, затем сквозь просторы и ночь, и снова сквозь стены сюда, к уху слушающего?

Вот отчет корреспондента, который где-то на фронте разговаривал с генералами тотчас после военного совета. Голос отсюда звучит спокойно, совсем по-обычному: на этом совете обсуждались меры по скорейшему изгнанию немцев из-под Москвы. У слушающего что-то дрогнуло в груди, и бледный свет радиоприемника как-то странно замигал, расплываясь и теплея. Москва спасена! Да, спасена, раз там так уверенно, так спокойно говорят о ее судьбе. Он сидит здесь, в этой парижской комнате, бесильный, тайно, с «опаской» слушающий голос Москвы, но слезы роднят его с теми, кто в этот миг сражается за нее в огне и снегу. И с теми роднят они его, кто пал за Москву прежде в такую же страшную годину.

Год 1812-й перекликался с 1941-м:

«Ребята! Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!»

И — «Велика наша страна, а отступать некуда: позади Москва».

Таким, с такими думами, переживаниями ясно помню себя. То лучшее, что есть в каждом человеке, пробуждалось тогда во мне.

— Я всегда это угадывал, — как-то говорил мне в ту пору Семенов. — В вас никогда не было настоящей ненависти к большевизму. Вот и докатились до того, что желаете победы большевикам!

И такое его суждение мне было приятно.

Мне вспоминалось юношеское, непосредственное мое восприятие революции, ее пафоса, ее бури, мои размышления в те годы, когда я еще не оторвался от Родины. Ведь понимал же я тогда, что нельзя идти против народа, понимал силу народа! Но думал также, что из самых недр революции выйдет смиряющая ее сила.

Первым этапом моей эволюции было признание того, что раз не «рухнуло все», раз, обливаясь кровью, новая Россия обороняется изо всех сил, значит эмигрантские суждения, будто все советские достижения — блеф и будто Советская власть — искусственное, не органическое явление, оказались ложными в корне.

Некоторые это поняли раньше меня, другие позже, третьи, из категории законсервированных или лишенных нравственного мужества, так и не поняли и продолжают мыслить и сейчас, как в 1918 году.

Но мне надо было пройти еще один этап, особенно трудный, потому что в нем предстояло преодолеть расчеты и установки, как-то перекликающиеся с настроениями моих юношеских лет.

«Защищают не власть, а Родину, Россию, а не коммунизм...» Вот такие суждения стали распространяться в эмиграции вместе с надеждой, что волна патриотизма, поднятая войной, обернется против самой власти. Это был старый тезис Деникина, младороссов. На таком представлении, на этой оценке событий застряли многие из привержавших, что социальные завоевания революции и экономическое ее строительство выдержали испытание и укрепили Россию.

Но я не застрял. Каждую ночь я слушал советское радио, слушал все, стараясь постичь тот подлинный дух, который направлял борьбу моего народа. И мало-помалу мне становилось ясно всем нутром, всем сознанием, что русские люди защищают свою страну под знаменем революции, под знаменем коммунизма, более того, что сил а их в той идее, которую они утвердили первыми в мире.

Я думал: «Их дело правое, а значит — и их идея. Да, та самая идея, которую я не хотел признавать годами, от которой отворачивался упрямо, так и не постаравшись вникнуть в ее смысл».

Этот вывод, ставящий крест на всем моем активном прошлом, но проясняющий наконец сомнения былых лет, естественно завершающий все, что отталкивало меня подсознательно от мировоззрения эмигрантских вожakov, подкреплялся примером Франции.

Движение Сопротивления разрасталось в стране. В Париже по ночам стреляли в германских офицеров. Прокламации, листовки, зовущие к борьбе, распространялись по городу. В этом движении участвовали все слои общества, но главенствовал пролетариат. Чувствовалось, что какая-то здоровая сила рвется наружу, обновляя нацию в борьбе. Передавали, что сами нацисты поражены геройством расстреливаемых ими французских коммунистов. Значит Франция — не выродившаяся страна, как я думал, и для нее благотворна обновляющая идея, та самая, что спасает сейчас мою Родину от фашистских поработителей.

Да, не сразу далась мне эта правда. Только торжеством ее в грозную годину подкреплялось во мне новое сознание. Поэтому хвалиться мне нечем. И все же, когда вспоминаю о многих людях, с которыми протекала моя общественная жизнь, мне отраднo думать, что я нашел силы переломить в себе прошлое.

Глаза 5

В РЕШАЮЩИЕ ГОДЫ

Эти записки — не история, а лишь материал для историка. Потому и в этой главе о судьбах русской эмиграции в годы Великой Отечественной войны я дам лишь отдельные зарисовки, наблюдения и выводы.

Начну с предпосылки, как мне кажется, весьма существенной.

Политическое сознание русской эмиграции, воспитанной своими вожаками в слепой ненависти к советскому строю, было затуманено еще и тем обстоятельством, что германская оккупация благоприятствовала значительной части эмигрантов в материальном отношении.

Ксенофобия, в частности русофобия, разгульвавшаяся во Франции во время «странной войны», больно ущемляла русских эмигрантов, законно раздражала их, а часто и озлобляла. Между тем оккупационные власти сразу же предложили русским работу в качестве переводчиков, управляющих реквизированными помещениями, служащих по хозяйственной части, шоферов (а сколько русских шоферов бедствовало после реквизиции такси!), поручили русским организацию военных столовых и т. д. Работа эта оплачивалась хорошо, а кроме того, ставила русских если и не в привилегированное, то во всяком случае особое положение, уже ничего не имевшее общего с тем, которое связывалось так часто с кличкой «паршивого иностранца».

Немецкая военная администрация широко привлекала к работе русских, как людей, знающих французский язык, французские порядки и нравы и в то же время нейтральных. И так, русские могли тешить себя мыслью, что служат посредниками между немцами и французами, помогая последним легче переносить чужеземную власть. Да, безрадостна судьба изгнанника: вечно звучит у него в ушах упрек за съеденный «чужой хлеб», хотя хлеб этот и достается ему тяжким трудом; поэтому ему дорога даже иллюзия морального удовлетворения.

И вот, несмотря на все это, мне кажется, что русская эмиграция в лучшей своей части, можно даже сказать в основной своей массе простых людей, выдержала в годы войны экзамен патриотизма.

Проследить это не так просто. Немецкая власть прекратила деятельность всех старых эмигрантских организаций: не было больше ни собраний, ни диспутов. Вожакам эмиграции приходилось высказываться только в частных беседах. Созданная немцами новая единая организация эмигрантов (о которой речь впереди) объединила только самых верноподанных прислужников фашизма.

И все же в эмиграции обозначились два течения: одно — за Родину и, значит, за Советскую власть, другое — против большевиков.

Были также выжидающие, были и такие, кто, не изменяя своего враждебного отношения к Советской власти, не верил в немецкую победу и возлагал надежду на

американское вмешательство. Некоторые, наконец, желали победы Советской Армии, но воображали, что эта победа приведет к преобразованию социального и политического строя в России.

За отсутствием открытых собраний и нефашистских легальных органов печати первое течение кристаллизировалось в подполье, в борьбе, в участии в движении Сопротивления.

Сперва расскажу о некоторых из наиболее известных эмигрантов.

Шальяпина, Коровина, Ходасевича уже не было к этому времени в живых.

Алехин обосновался в Португалии и там окончил свою жизнь.

Рахманинов находился в Америке, где, как известно, незадолго до кончины передал советскому консулу сбор со своего концерта для раненых советских бойцов.

Иван Бунин прожил почти всю войну в Грассе, на юге Франции, сначала с тревогой, а затем с радостью и надеждой следя за ходом Великой Отечественной войны. Был всем сердцем с Родиной в эти решающие годы и в письмах к друзьям высказывал безоговорочный патриотизм.

Борис Зайцев поверил в конце концов, что Красная Армия может задержать вермахт. Но никакого вывода из этого не сделал. С фашистами не пожелал иметь отношений, но остался верен себе, именно себе, и только. «Всегда восставал против большевиков и буду восставать, что бы ни случилось!» Да, что бы ни случилось... Очевидно, такое слепое постоянство дается некоторым людям легче, чем признание собственных заблуждений.

Алданов успел выехать из Парижа до прихода немцев и переселился в Америку, где, насколько я знаю, тоже остался верен себе — по зайцевскому образцу.

Мережковский незадолго до смерти произнес речь по радио, в которой благословлял немцев «на крестовый поход». Зинаида Гиппиус, умершая после победы, злобствовала против Родины до последнего своего часа. Так же вел себя и Шмелев.

Ремизов сделал вывод, признал свои заблуждения. Во всяком случае мне известно, что он занял в эти годы патриотическую позицию и в 1946 году стал советским гражданином. Как сложилась его жизнь дальше, не знаю.

Ближайшее окружение Милюкова перебралось в США и там заняло позиции, не укладывавшиеся в рамки понятий патриотизма или поражения просто потому, что это были позиции чисто американские. Он же переехал на юг Франции, в Экс-ан-Прованс. Там он написал после Сталинградской битвы статью, разошедшуюся во многих экземплярах, отпечатанных на ротаторе или на машинке и тайно распространявшихся среди русских (в этом деле и я принимал участие). Это была полемика с эсером Марком Вишняком, орудовавшим вместе с Керенским в США. В первой части Милюков высмеивал Вишняка, упорствующего в своем негодовании по поводу германо-советского договора 1939 года. Милюков указывал, что Вишняком руководят соображения, ничего общего не имеющие с государственными интересами России. Договор был нужен, полезен, он дал возможность России усилить свои позиции, и — замечал саркастически Милюков — хорошо, что Марк Вишняк не был дипломатическим советником. Во второй части статьи Милюков признавал, что сталинградская победа обязывает пересмотреть все прежние оценки, что эта победа свидетельствует о плодотворности советских усилий, целесообразности пятилеток, успехах советской промышленности, что многое, казавшееся со стороны чрезмерным, рискованным в советской политике, находит свое полное оправдание в боевой мощи Красной Армии.

Так в глубокой старости, перед смертью, — ему было уже за восемьдесят, — П. Н. Милюков каялся в собственных заблуждениях. Статья эта произвела в эмигрантских кругах очень большое впечатление и благотворно подействовала на многие умы.

Денники остался верен себе согласно формуле, давно принятой такого рода напыщенными людьми: «Если события идут вразрез с моими прогнозами, тем хуже для событий». Был против немцев, но и против Советской власти, так что оставалось загадкой, чей же он сторонник. После победы оказалось, что — США, куда он и поспешил перебраться.

Личность, в историческом плане менее заметная, но зато гнушительная в финансовом, **Абрам Гукасов** тоже остался себе верен. Объяснение военных событий он при-

думал так: «Красная Армия тут ни при чем, ее небоеспособность давно ведь была доказана «Возрождением». Просто США и Великобритания решили поддержать ее против вермахта», — так буквально, с невозмутимейшим видом говорил он мне под самый конец войны.

Кстати, с Гукасовым произошел довольно курьезный случай.

Большую часть войны Гукасов провел в Ницце. Когда в «свободную зону» тоже вошли немцы, гестапо арестовало его как... еврея, очевидно из-за имени и восточного типа. Гукасов, сам яростный антисемит, запротестовал изо всех сил. Из Парижа срочно выслали снимки с увенчанных крестами могил гукасовских родичей. Гукасова довольно быстро освободили, и этот арест ничуть не поколебал его принципиальной симпатии к «любимым формам антибольшевизма», как выражался он сам.

А Семенов, многолетний выразитель в печати гукасовской идеологии?

В конце 1943 года я имел с ним долгую беседу. Бил Семенова его же доводами, цитируя его статьи, выступления о «непригодности Советской Армии для войны» и о том, что при малейшем ударе извне «русский народ, как один человек, поднимется против большевиков». Семенов не обладал циничной гукасовской изворотливостью. Что мог он мне возразить после Сталинграда и Курской дуги? Прижатый, как говорится, к стенке, он в конце концов проговорил вполголоса:

— Но поймите же, я не могу желать победы коммунистам. Ведь они меня повесят!

Последний довод этого, как мне кажется, стопроцентного «антибольшевика» был таким образом чисто шкурный.

Очевидно, подобные опасения сильно тревожили и Головина, ученого царского генерала, мной уже описанного, который даже после Сталинграда продолжал выступать со статьями о «безнадежном положении Советской Армии».

Покушения на германских офицеров и французских коллаборационистов особенно участились после высадки союзников. Коллаборационисты получали по почте посылки с «гробиками» — это было предупреждение от тайной армии Сопротивления: «Вот что тебя ожидает скоро за твое предательство».

Получил такой «гробик» и генерал Головин... и, получив, в тот же день умер от разрыва сердца.

Другой генерал, пресловутый Петр Краснов, бывший донской атаман, еще в 1917 году ходивший походом на красный Петроград, тот дождался возмездия: был повешен по приговору советского суда. До самого конца гитлеризма Красноз оказывал Власову услуги по терроризированию советских военнопленных, из которых они вместе пытались сформировать военные части в помощь вермахту.

С мнением Краснова, преуспевавшего в Берлине, очень считались в реакционных эмигрантских кругах. Помню, летом 1942 года старый генерал читал при мне письмо, только что полученное от Краснова. В нем бывший атаман заверял своего корреспондента, что к концу года советский фронт распадется, фактически перестанет существовать, и «тогда начнется строительство национальной России путем поголовного истребления в стране всех оставшихся большевиков».

Древний был старик, а жил одной ненавистью — личной, злобной, завистливой, — в первую очередь к своему народу.

Еще одно обстоятельство влияло на часть русской эмиграции во Франции, развращало ее в годы оккупации.

Выкачивание из Франции ее добра осуществлялось немцами двумя путями — прямым, в виде контрибуции, обязательных поставок государственного масштаба, реквизиций, и косвенным, при помощи так называемых «закупочных бюро». Печатали специальные оккупационные марки и на эти бумажки скупали все оптом и в розницу. Страну это разоряло, зато сказочно наживались ловкие продавцы вместе с целой армией посредников. Таким путем немцы не только получали без всякого нажима то, что им было нужно, но еще (что их также устраивало) буквально развращали население, особенно молодежь, умышленно создавая условия для бешеной, беспримерной по своим размерам спекуляции.

Французский мыловар рассказывал мне:

— Молодцы ваши русские! Ловко умеют обдeldывать такие дела. Послал я в немецкое учреждение своего агента — француза предложить мыло. Вы знаете, дрянное мыло, после которого кажется, будто вымазал себе руки мокрым песком. Но ведь другого нет! И совсем дешево предложил. Так что же? Возвращается и говорит: «Не берут — дорого!» А на другой день ваш соотечественник по собственной инициативе пролез в то же немецкое учреждение, предложил то же мыло, причем... на двадцать процентов дороже, и принес мне солидный заказ! Теперь буду всегда обращаться к его услугам.

— Но как это ему удалось? — спросил я наивно.

— Да очень просто! Знает немца, которому можно подsunуть! В этом весь секрет!

И вот, так как много эмигрантов работало у немцев, многим эмигрантам удалось и разбогатеть...

Париж годов оккупации — это постоянное недоедание, вытянувшиеся лица, постоянные отправки в Германию рабочей силы, унижение французской нации, сжатые кулаки, промерзшие квартиры, аресты, списки расстрелянных заложников, тяжелые бомбежки пригородов американской авиацией, лихорадочное ожидание спасения, надежды лучших сынов Франции, обращенные на Восток, в сторону великого народа, который, истекая кровью, освободил Европу от рабства, выученные наизубок, хоть и с неверным произношением, названия русских городов и рек, подлинное пробуждение французской гордости, живого духа нации, формирование тайных отрядов Сопротивления, жертвенность, героизм, «Марсельеза» в сердцах, готовых на подвиг.

Но Париж годов оккупации — это также цветник крохотных причудливых шляпок за столиками «Максима», роскошные ночные пиры с окороками (баснословная редкость!), паштетами и шампанским, разговоры в кафе: «Если дело выйдет, каждому по полмиллиона» (часто это говорили мальчишки, бросившие школу, чтобы познать радости «широкой жизни»), быстрая трата колоссальных сумм, так как подобные доходы нельзя объявлять (страх расплаты после войны!) и, значит, надо «обращать» в драгоценности, картины или просто прокучивать при участии несметного количества почтительных прихлебателей — подлинный «пир во время чумы», дикая вакханалия.

Около четырехсот закупочных бюро функционировало в одном Париже. Среди лиц, разбогатевших при немцах, эмигранты составляли значительный процент. Равняясь на пресловутые «двести семейств» французского правящего класса, русские остряки: «У нас тоже теперь свои восемнадцать семейств». Столько примерно насчитывалось русских, вначале скромно работавших у немцев по хозяйственной части, а потом затмивших дурной роскошью многих из французских королей черного рынка. Так кое-кто из мелких эмигрантских делегов, до войны пробавлявшихся чем попало, в годы оккупации стали первыми журирами, первыми денежными магнатами, в огромных роскошных квартирах пропивавшими, не считая, все, что могли, при помощи целой ватаги своих же русских «верноподданных».

Ясно, что и сами эти господа и к ним примазавшиеся соотечественники с тоской и тревогой следили за освободительным шествием Советской Армии.

Итак, по распоряжению немецкого командования эмигрантские организации полностью прекратили свою деятельность. Незадолго до войны против СССР немцы создали вместо них новую, единую, свою собственную организацию — управление по делам русской эмиграции во Франции, — учреждение чисто полицейское, подчиненное эсэсовскому начальству в Париже, и поставили во главе ее некоего молодого человека из так называемой «казацкой аристократии» Юрия Жеребкова. В русском Париже знали только, что он был до войны профессиональным танцором и что он близок к Краснову. Кроме того, передавали, что он сделал карьеру по «особой линии», крепко удерживавшейся в эсэсовском руководстве, несмотря на расстрел Рема и его женоподобных адъютантов.

Про Жеребкова можно сказать, что этот «гаулейтер эмиграции» мог бы оказаться и хуже. Брюссельский его коллега Войцеховский, убитый перед самым уходом гитлеровцев, кажется, советским военнопленным, тот проявил себя подлинным гестаповцем, сажавшим по своей инициативе русских в тюрьму. Жеребков же этой инициативы у эсэсовцев не оспаривал и даже порой старался кое-кого выгородить. Но в том, что

касается образцовой исполнительности, полной готовности приобщить и свои усилия к порабощению России, сулящему такие выгоды ээсовскому начальству, Жеребков, очевидно, оказался вполне на своем месте.

На организованном им эмигрантском собрании он, нервно расхаживая своей развинченной походкой по эстраде и то и дело обмахивая платочком нарумяненное лицо, с места в карьер заявил оторопевшей аудитории:

— Вам всем надлежит понять раз и навсегда, что строить новую Россию будете не вы, а германский солдат, который своей кровью смывает с чела нашей Родины печать красной звезды.

— Как это неудачно! — говорил после собрания даже грузинский меньшевик Гегечкори, всю жизнь ратовавший за расчленение Советского Союза. — Ну, разве можно делать такие заявления, если хочешь покорить страну! А ведь именно так и поступают немцы в занятых областях. Вот что значит отсутствие подлинного опыта в колонизаторстве... Провалятся, дураки, — так им и надо! Но американцы, поверьте, будут действовать более дипломатично...

Жеребковское «управление» реквизировало большой дом в одном из лучших кварталов Парижа, на улице Галлиера, завело обширное делопроизводство, приступило к регистрации эмигрантов со строгой проверкой их «арийского происхождения», стало выпускать на русском языке фашистскую газету под названием «Парижский вестник», сначала печатавшуюся по старой орфографии, а затем перешедшую на новую в расчете на «читателей» из лагерей для советских военнопленных.

Ясно, что после жеребковского заявления немцы не могли ждать особого наплыва эмигрантов. Да они и не очень старались заручиться эмигрантским сотрудничеством, по крайней мере на первых порах, пока были упоены успехами и не скрывали, что идут уничтожать русское государство.

Эмигранты годились лишь в лакси, в шпионы, в диверсанты, а не для политической акции.

К гитлеровцам пошло из среды русских эмигрантов в Париже самое малое число: либо особо ретивые «белые вояки», в большинстве своем очень быстро разочаровавшиеся и отшатнувшиеся от немцев; либо псевдохитрецы, вообразившие, что выйдут сухими из воды, а на самом деле попавшие в помойную яму; либо по духу прирожденные лакси, жаждущие любой подачки; либо, наконец, тупые до отказа, до кретинизма.

Одного из таких, бывшего гвардейского офицера, я встретил в метро в начале 1942 года, когда он приехал в отпуск из захваченных советских областей, где служил у гитлеровцев переводчиком.

— Ну, как? — спросил я его.

— Верю в быструю и полную победу, — гаркнул он чуть ли не на весь вагон.

— Не такую уж быструю, — отвечал я, — раз Гитлер заверяет своих солдат, что они в следующую зиму будут обеспечены теплой одеждой на фронте,

— Кто это сказал?

— Да он сам, Гитлер. Сегодня напечатано.

Я протянул ему немецкую газету и, выходя, увидел, как он с тупым удивлением и тревогой уткнул в нее свою глупую голову.

Были и другие. Они тоже пошли в услужение к гитлеровцам, но вскоре под тем или иным предлогом покинули немецкую службу. Даже людям, готовым на все из ненависти к революции, было невозможно наблюдать, что творили гитлеровцы на русской земле.

В этом отношении примечательна эволюция одного из князей Мещерских, который отправился в первые же месяцы войны в Россию. Это был молодой человек из эмигрантской «верхушки», с большими связями во французских и иностранных кругах. Поехал, как говорили, чтобы поскорее войти во владение своим бывшим именем где-то под Смоленском. Однако очень скоро не только бросил службу у гитлеровцев, но стал их злейшим врагом, вернулся во Францию, поступил в тайную армию Сопротивления, доблестно сражался против фашистов, удостоился высоких французских боевых наград и остался на службе во французской армии.

И так же, как зтот Мещерский, некоторые простые люди, в том числе из казаков, виявших зову Краснова, отправились с гитлеровцами в Россию, а затем вернулись, в ужасе заявляя: «Немцы всех нас хотят обратить в рабов».

Лишь самые подонки до конца связали свою судьбу с фашистами.

Например, Брешко-Брешковский, сын известной некогда эсерки, прозванной своими единомышленниками «бабушкой русской революции», махровый реакционер, самый, кажется, вульгарный, буквально тошнотворный по своему дурному вкусу эмигрантский романист, поспешил в Берлин и там ревностно служил в органах пропаганды, пока не погиб во время бомбежки.

Или бывший фельетонист петербургского «Нового времени» и парижского «Возрождения» Ренников. Этот опубликовал в «Парижском вестнике» накануне Сталинградской битвы статью, в которой радостно объяснял, что «доблестные немцы» готовят советским армиям Канны...

Усердно, последовательно сотрудничали с гитлеровцами на все готовые люди из «Национально-трудового союза нового поколения». Ездили в Германию, «работали» среди советских военнопленных, то есть старались их распропагандировать при помощи угроз и посулов. Выполняли, таким образом, особо грязную работу. Но, принадея к вышесупомянутой категории псевдохитрецов, уверяли, что «русская трясина засосет немца». Приводили такой пример: последняя царица была немкой, а как попала в Россию, стала поклоняться русским иконам да русскому мужику Распутину... Вот и Геринг, чего доброго, сменит фельдмаршальский жезл на посох и пойдет класть земные поклоны по монастырям святой Руси... Предоставили немцам тощий контингент своей организации для любой работы и в первую очередь для «грядущей расправы с комиссарами». Захлебывались в помойной яме, не чувствуя больше зловония, даже собственного...

Племянник Краснова, тоже Краснов (впоследствии повешенный вместе с дядей), бывший гвардейский казачий офицер, человек тупой, ожесточенный и тщеславный, чуть с ума не сошел от радости, когда немцы облачили его в свой полковничий мундир. Как активисты из НТС, он вообразил, что настал его час, и хвалился в Париже, что будет руководить расправой над «комиссарами».

По мере того как их все крепче била Советская Армия, гитлеровцы начали делать некоторые поблажки своим лакеям — русским изменникам. Так, разрешили власовскому начальнику штаба Малышкину сделать публичный доклад в Париже с хитро сфабрикованной критикой немецкой политики и даже намекнуть, что немцам следовало бы несколько смягчить ругань по адресу русского народа и всего русского. Этот доклад был напечатан в «Парижском вестнике», причем редакция объявила, что в следующем номере будут помещены снимки собрания. Эмигрантские германофилы возликовали: немцы, мол, поняли свои ошибки и теперь поручат эмигрантам и власовцам управление занятыми территориями. Но в следующем номере снимков не появилось, и о докладе Малышкина больше никогда не упоминалось. Очевидно, какие-то высшие немецкие органы решили, что и такая «поблажка» чрезмерна для лакеев.

Последним делом жеребковского «управления», перед самым уходом немцев из Парижа, был увоз в Германию «маленького царя», двадцатипятилетнего Владимира, после смерти отца своего, «царя Кирилла», оказавшегося старшим среди Романовых и потому почитавшегося претендентом на русский престол. После крушения гитлеризма «претендент» поспешил перебраться в США и там женился на американской вдове, урожденной Багратион, значит «почти что равной ему по крови» и, что особенно важно, изрядно богатой.

В первый десяток добровольцев, лично явившихся в Лондоне к де Голлю, входил молодой русский парижанин Вырубов (племянник пресловутой Анны Вырубовой), в то время учившийся в Англии. Он затем сражался во французских частях, был тяжело ранен в Северной Африке.

Вильде и Левицкий были французскими гражданами, но детьми русских эмигрантов и русскими по воспитанию (Борис Вильде под псевдонимом «Дикой» помещал стихи в эмигрантской печати), оба были молодыми учеными-этнографами, работавшими в парижском «Музее человека», оба входили до войны в антифашистский русский кружок Бунакова-Фундаминского.

Вильде и Левицкому принадлежит высокая честь, никем у них не оспариваемая: столь громкое впоследствии слово „résistance“ (сопротивление) было употреблено впервые именно ими для обозначения народного движения против фашистских захватчиков. Случилось это так. В музее, где они работали, Вильде и Левицкий в 1940 году создали боевую группу, которая получила название «Группы Музея человека». Задались целью выпустить газету, сначала хотели назвать ее „Libération“ («Освобождение»), но в конце концов решили, что об освобождении говорить преждевременно, и придумали другое название: „Résistance“.

Немцы арестовали обоих, долго держали в тюрьме и наконец расстреляли на площадке Мон-Валерьян. Оба умерли героями.

Вильде вел в тюрьме дневник, опубликованный после освобождения Франции. В последние минуты записывал, мысленно обращаясь к жене (цитирую по памяти): «Прощай, моя дорогая, за мной пришли, — смотрю на себя в зеркало — мое лицо имеет обычный вид».

Имена их высечены в «Музее человека» на мраморной доске с такой эпитафией: «Умерли за Францию».

Да, конечно, и за Францию... Но подвигом их может гордиться и русский народ.

22 июня 1941 года — дата грозная, трагическая в мировой истории. Но как предвестница великого освободительного порыва она явилась также решающей для значительной части русской эмиграции во Франции.

По мере того как Советская Армия крепла в борьбе, крепло и внутреннее сопротивление во всех оккупированных странах. Многие русские за рубежом услышали голос Родины. Эмигрантский поэт Георгий Раевский писал об этой поре:

Да, какие пространства и годы
До тех пор ни лежали меж нас,
Мы детьми одного народа
Оказались в смертельный час.

По ночам над картой России
Мы держали пера острье
И чертили кружки и кривые
С верой, гордостью за нее.

Да, именно с гордостью. И гордость эту питала в нас сама среда, в которой мы жили: Франция, ее народ.

Я выхожу из дому. Консьержка останавливает меня.

— Кажется, хорошие вести, мсье? Вы слышали, освобожден Воронэж?

Я улыбаюсь и радостно передаю последнюю сводку Совинформбюро, тоже произнося название русского города на французский лад.

На улице старик аптекарь трясет мне руку.

— C'est formidable! (Это потрясающе!) Какой вы великий народ!

Ему нет дела до того, что я эмигрант. Я для него прежде всего русский, и потому он уверен, что я достоин его похвалы.

А вот и наш монтер — хороший, толковый парень. Я догадываюсь, что он коммунист, он знает, что я советский, но, как-то глядя у меня на карту фронта, мы поняли, что нас обоих наполняет одна надежда. Он тоже восторженно поздравляет меня с новой советской победой.

Хозяин кафе сообщает мне таинственно:

— Какой-то немец что-то написал сегодня на стене уборной. Не могу понять! Может, вы поможете, мсье? Все-таки интересно...

Большими буквами выведено по-немецки химическим карандашом: «Россия — холодная страна».

Нас обоих одинаково радуют тяжелые раздумья этого бесхитростного солдата вермахта, и мы хохочем громко и весело, воображая, как он выписывал на стене эти простые слова, которыми он пытался объяснить себе то, что случилось с гитлеровцами в России.

На Елисейских полях идет мне навстречу буржуа, солидный, преисполненный собственного достоинства. Я знаком с ним давно и знаю, что он крепко не любит коммунистов. Но и он сияет радостной улыбкой, приветствуя меня.

— Победа! Победа! Слава вашей великой стране, вашей героической армии!

Я чувствую, что он забыл — пусть, быть может, и ненадолго — о своем страхе перед коммунизмом, что в нем пробудился француз, который не может мириться с захватом и осквернением французской земли, и что он понимает, откуда придет избавление.

В этот день еще одной советской победы я чувствую себя именинником, я, эмигрант, столько лет отворачивавшийся от новой России.

Никогда еще не было такого тесного общения с Францией, с ее душой у русских людей, нашедших приют на французской земле, как в эти военные годы. Ведь у тех, кто услышал голос Родины, путь отныне был тот же и тот же враг, что и у французских патриотов.

У меня нет под рукой материалов, которые позволяли бы дать полную картину участия русских в движении Сопротивления. Отмечу лишь то, что запомнилось наиболее точно.

На русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа по соседству с могилами русских воинов, павших в рядах французской армии, покоится прах княгини Оболенской, «Вики», как ее звали в эмигрантском «свете».

Это была молодая, стройная, красивая женщина с одухотворенным, задумчивым и в то же время детски-наивным лицом, любившая элегантно одеваться и часто блиставшая на эмигрантских балах. Про нее говорили, что она очаровательна и умна, но никто, конечно, не догадывался, что ей суждено оставить о себе память, как о подлинной героине.

Во французском движении Сопротивления она выдвинулась как отважная, находчивая связистка, и услуги, ею оказанные, были отмечены затем в приказах о посмертном ее награждении самыми славными французскими боевыми орденами.

Гитлеровцы арестовали ее и судили. На допросе она держала себя с исключительным мужеством. Военный суд вынес ей смертный приговор. Ей было предложено подписать просьбу о помиловании. Оболенская ответила громким, спокойным голосом: «Не подпишу. Я никакой милости не хочу от немцев».

Ей отрубили голову.

А вот еще замечательная русская женщина: мать Мария, в миру — Кузьмина-Караваева. В молодости, в России, она была поэтессой, примыкала к символистам, хорошо знала Блока, Белого, о которых написала интересные воспоминания. В эмиграции, уже пожилой женщиной, стала монахиней. Но деятельность ее была направлена не столько на пропаганду веры или церковность, как на оказание помощи ближним и в первую очередь нуждающимся соотечественникам. Открыла общежитие для престарелых и даровую столовую в Париже на улице Лурмель для всех немущих русских.

В годы войны столовая превратилась в антигитлеровский центр эмигрантов, которым руководила эта полная энергии, всегда веселая, жизнерадостная, всем своим обликом так не похожая на монахиню, крепкая духом русская женщина. Русские люди собирались там у радиоприемника, чтобы услышать голос Москвы, или перед огромной картой СССР, на которой мать Мария каждый день передвигала флажки согласно последней советской сводке; там же укрывала она бежавших из лагерей советских военнопленных.

Гитлеровцы арестовали и ее. Мать Мария умерла в лагере смерти, замученная палачами. В ряде воспоминаний бывших заключенных говорится о ней, о необыкновенном достоинстве и мужестве, с которыми она переносила голод и страдания.

Трудно проследить все пути, которые приводили к Родине многих эмигрантов. Видно, для благородных сердец ее зов часто оказывался сильнее всех привычных условий жизни, всех идеологических норм, диктуемых происхождением или даже материальным благополучием.

Дети царского генерала Максимовича (две дочери и сын). За границей (не знаю уж каким образом) у них оказались средства и связи в самых буржуазных кругах. Одна

дочь вышла замуж за американского дипломата и, кажется, полностью ушла в нерусскую жизнь. Но судьба другой сложилась совсем иначе. Анна Павловна Максимович стала во Франции известным врачом, возглавила одну из лучших клиник для душевнобольных и преуспела на этом поприще. В согласии с традициями семьи входила в одну из эмигрантских монархических организаций. Но ни карьера французского врача, ни эмигрантская политика не приносили ей удовлетворения. Она вошла в организацию «оборонцев», затем включилась в движение Сопротивления и в конце концов, арестованная гитлеровцами, погибла, как передавали в Париже, в фашистском лагере смерти.

Судьба ее брата Василия Павловича тоже известна мне лишь в общих чертах. Это был одаренный математик, которому предсказывали блестящее будущее. Преподавал во французских учебных заведениях, в материальном отношении тоже был вполне обеспечен и тоже, казалось, мог бы связать себя окончательно с французским буржуазным миром. Однако по примеру сестры примкнул к движению «оборонцев». Был заключен французами в лагерь. Выбравшись оттуда, участвовал в движении Сопротивления. Был арестован немцами и, как мне рассказывали, расстрелян за несколько недель до освобождения Парижа.

Я лично не знал Максимовичей. Но вот жизненный путь И. А. Кривошеина, которого я помню еще с детских лет.

Кривошеин еще до войны занял патриотические позиции. Арестованный 22 июня, он был освобожден через несколько месяцев вместе с другими заключенными Компьенского лагеря. Установив при помощи жеребковского «управления» контроль над русской эмиграцией, гитлеровцы сочли, что им больше не нужны заложники из ее среды.

Кривошеин был видным французским инженером, хорошо зарабатывал и не имел никаких оснований жаловаться на свою судьбу. Кроме того, заключение в Компьенском лагере могло бы отбить у него охоту заниматься политикой. Однако он сразу же после своего освобождения ищет возможности включиться в борьбу против гитлеровцев.

Это не так легко. Действовать в одиночку не имеет смысла. Между тем у подавляющего большинства эмигрантов нет никаких связей с ведущей французской подпольной организацией, то есть с организацией компартии, которая к тому же, естественно, относится к ним с недоверием.

Но Кривошеин человек волевой, упорный. После немалых усилий он связывается с видным общественным деятелем и ученым Марселем Пренаном, начальником штаба парижского отделения боевой организации «Вольные стрелки». Действуя по ее заданиям, выполняет самые опасные поручения. Гитлеровцы снова его арестовывают — на этот раз как активного врага, как русского патриота. Подвергают жестоким пыткам: со скованными руками и ногами сажают в ледяную ванну, избивая одновременно резиновыми палками. Но, как отмечалось в приказе о награждении Кривошеина французским военным орденом, никаких сведений им все же не удалось у него исторгнуть. Целый год он томился затем в лагере Бухенвальд и был близок к смерти от истощения, когда его спасла победа над фашизмом.

Вот этот человек и был избран после войны председателем «Содружества русских участников движения Сопротивления во Франции».

В ноябре 1943 года в Париже, на квартире Г. В. Шибанова, собралась группа русских людей, в которую входили, кроме хозяина, как и он, работающие ныне в Советском Союзе, Роллер, Смирягин, Клименюк, Миронов, Алексей Кочетков, Пелехин... К ним примкнули затем тоже вернувшиеся ныне на Родину Качва, Зикер, Покотилов и другие.

За десятилетия своего существования русская эмиграция знала множество съездов, торжественных собраний, страстных диспутов, на которых выступали опытные ораторы, люди с известными именами, общественные деятели, некогда подвизавшиеся на всероссийской политической арене, бывшие министры, главнокомандующие, партийные лидеры, мечтающие стать «вожаками масс». Но все их речи, призывы, постановления (о том, например, признавать или не признавать верховным вождем великого князя Николая Николаевича, зарегистрировать полный или лишь частичный «провал» индустриализации, возлагать все надежды в первую очередь на гитлеровцев или же на

японцев...) всего лишь подогревали в них самих антибольшевистский азарт и, в общем, имели не больше значения, чем жужжание мухи.

Но это конспиративное собрание людей малоизвестных, типичных представителей трудовой эмиграции, так называемых эмигрантских «низов», следует назвать подлинно историческим. Эти люди собрались для создания боевой антифашистской организации «Союз русских патриотов», которой впоследствии было суждено объединить возросшую в несколько раз за время войны патриотическую часть эмиграции и подготовить ее к возвращению на Родину.

Движение, которое они представляли, возникло как раз в тех лагерях, куда правительство Даладье засадило во время «странной войны» иностранцев, признанных французской политической полицией «опасными для Франции».

В 1941 году жизнь в лагерях стала невыносимой (давали 150 граммов хлеба в день и жиденькую овощную похлебку). Люди умирали десятками. К этому времени начались массовые отправки заключенных на работы в Германию. Первая партия, выывшая из лагеря Вернэ, включала примерно 150 эмигрантов, «оборонцев» и членов «Союза друзей Советской Родины». В лагере эти организации объединились.

Бывшие заключенные французских лагерей в большинстве своем перешли на нелегальное положение, остались во Франции или бежали туда из Германии, примкнули к движению Сопротивления, а затем решили объединить свои усилия в русской боевой патриотической организации.

В эти дни вновь, но в еще больших размерах, проявились те настроения, которые так поражали вожаков эмиграции уже в годы гражданской войны в Испании. В помощь фашизму эмиграция выставила тощий контингент убогих прислужников, между тем как на борьбу с фашистами многие отважные бойцы вышли из ее рядов. Имена их тогда не были известны, но об их делах всюду ходили слухи, приводившие в ужас людей из жеребковского «управления». И слухи эти подтверждались фактами, вещественными доказательствами.

Эсэсовское начальство негодовало: несмотря на жеребковский аппарат, которому надлежало взять всю эмиграцию в тиски, несмотря на террор, на расстрелы, в Париже выходил русский подпольный орган «Русский патриот», который печатал сводки Совинформбюро, речи и приказы Сталина, воззвания к русским эмигрантам и советским военнопленным.

Впоследствии Н. Н. Роллер рассказывал мне о технике этой работы. Подпольная типография была им организована в парижском предместье Эрблей в подвале, там печатал он на восковках материал, доставляемый связистом. Это происходило зимой, краска замерзала и слипалась, деревенели руки. Отпечатает несколько десятков листов и пробирается с ними тайком в условленное место, где уже поджидает связист.

В последние месяцы оккупации подпольная борьба расширилась по всей Франции. В больших городах, главным образом в Париже, она принимала совершенно особый характер. Где опасность, где грянет гром? Вот сейчас, в этом проходе метро, или у затемненного фонаря, где назначена встреча? Явки, встречи, вечный риск и неизвестность: «А что дома? Не было ли там уже обыска? Выдал или не выдал тот, которого арестовали вчера?»

Вот к «химчистке» подъезжает машина с гестаповцами. Это крохотное предприятие — оно умещается в одной комнате, разделенной ширмой. Перед ширмой лицом к витрине стоит хозяйка, русская эмигрантка. Она видит гестаповцев и, не оборачиваясь, говорит мужу, подпольщику из «Союза русских патриотов», который тайком зашел к ней на минуту и отдыхает за ширмой: «Беги». Тот как был, без пиджака, выскакивает черным ходом во двор. Обыск. «А это что?» — спрашивает гестаповец, ткнув сапогом в пиджак, который женщина успела сбросить на пол со стула. «Какая-то рухлядь — принесли в чистку», — отвечает она, надсадно кашляя, чтобы заглушить тиканье часов в мужнином пиджаке.

Другой случай.

Двое русских, рядовые эмигранты из бывших шоферов такси, идут по знаменитой улице Руаяль от площади Согласия к бульварам. Один по правой стороне, другой по левой. Улица очень широка, и на ней большое движение, но они не теряют друг друга из виду. У каждого большое количество экземпляров «Русского патриота». На террасах

кафе сидят парижане и парижанки, многие столики заняты немецкими офицерами, за другими совершаются сделки на картины, брильянты, консервы или табак... Это элегантный район и центр черной биржи. И вот на этом обычном для той поры пестром фоне разыгрывается трагедия. К идущему по левой стороне приближается поджидавший его связист и шагает рядом, словно его и не замечает. Все, как было условлено, но в ту же минуту тот видит, вернее угадывает, что его плотным кольцом окружили незнакомые люди. Мгновенно становится ясно: связист — провокатор, бежать некуда. Еще несколько шагов, и человека с экземплярами «Русского патриота» уже крепко схватили за руки. Тот, что на правой стороне, все видел, он спешит в подворотню, уничтожает газеты и мчится на явку, чтобы предупредить о беде.

Однако немцы не успели расстрелять выданного провокатором эмигранта: он был освобожден во время боев за Париж.

На севере Франции погиб в фашистском застенке один из руководителей тамошней группы «Русского патриота», Андрей Лозовой, человек «промежуточного поколения», который мальчиком покинул Россию. Это был подающий надежды писатель, напечатавший в Париже несколько рассказов. Он скоро разочаровался в эмигрантской литературе, признал ее бесплодной и нанялся простым шахтером в Туркуанский район. Там слился с французским рабочим классом и затем весь отдался борьбе с оккупантами.

Поразительные вести доходили в эти месяцы до Парижа, начисто опровергая то представление об эмиграции, которое упорно старались поддерживать ее вожаки.

Во всех частях Франции создавались партизанские отряды из бежавших советских военнопленных. В этой работе значительную роль играли эмигранты, члены «Русского патриота». Зная местные условия, жителей, язык, они были проводниками, связистами, разведчиками, бойцами. Эмигранты организовывали бегство советских военнопленных, месяцами укрывали их у себя на фермах, в частных домах.

Братское, сердечное общение устанавливалось между простыми русскими людьми, которые были некогда мобилизованы в белую армию и вместе со своими частями попали затем в эмиграцию, и захваченными в плен советскими бойцами. Перекинулись две трагедии — былая и нынешняя; голос Родины указывал и тем и другим один путь.

В городе Вьен почти все русские эмигранты пошли в партизаны. Были семьи простых русских людей — батраков, рабочих, иногда мелких фермеров, в которых все мужчины вступили в партизанские отряды, были молодые, родившиеся во Франции и порой даже не говорившие по-русски, но и они сражались в русских подразделениях за далекую Родину, которую никогда не видели.

В Лионе, на территории лагеря для советских военнопленных, был схвачен русский эмигрант Шапошников. После зверских пыток его вместе с другими ста сорока арестованными вывезли за город, заперли в доме и дом этот со всеми арестованными взорвали.

Более ста русских эмигрантов, участников движения Сопротивления во Франции, отдали свою жизнь за Родину.

Несколько русских эмигрантов пали в боях за освобождение Парижа.

Город Ним был освобожден советским партизанским отрядом, в рядах которого находились и эмигранты.

Под Лионом в стычке с немецким патрулем погиб семнадцатилетний эмигрантский юноша О. Качва.

Да, многие русские, по доброй воле или в силу обстоятельств оказавшиеся в изгнании, встали в решающие дни на защиту Родины. Многие обогрили своей кровью французскую землю.

.....

Когда в освобожденный восставшим народом Париж вошла знаменитая французская дивизия Леклера, русским было приятно узнать, что одной из бригад командует подполковник Николай Румянцев, мальчиком попавший в эмиграцию. Румянцев окончил французское военное училище, стал кадровым французским офицером. Я знал его довольно хорошо. Хотя и во французской форме, он всем стилем, да и навыками напоминал лихого русского кавалерийского офицера; боевые ордена — французские, английские и американские — украшали его грудь.

Глава 6

ЕЩЕ О СЕБЕ

Нас не было в тот день — плечом к плечу,—
 Когда враги ломились в наши двери.
 И я, как ты, теперь поволочу
 До гроба нестерпимую потерю.

И только верностью родному краю,
 Предельной верностью своей стране,
 Где б ни был ты—в Нью-Йорке или Шанхае,—
 Смягчим мы память о такой вине.

Так, обращаясь к другу, писал в 1943 году эмигрантский поэт Ю. Софиев, вернувшийся недавно на Родину.

В начале 1943 года я перенес тяжелую болезнь. В долгие бессонные ночи я слушал победные сводки Совинформбюро. Но вместе с гордостью за Россию чувство вины перед ней мучительно охватывало меня. Я был виновен перед ней в том, что неверно, грубо и неумно судил о ее судьбе, что столько лет со многими другими играл на руку злейшим ее врагам.

Во время болезни меня посетил Н. Я. Рошин. Без малого двадцать лет связывала нас совместная литературная работа, однако настоящей близости до сих пор между нами не было. Но, когда он сидел у моего изголовья, мне захотелось высказать чувства, которые волновали меня, так как по некоторым его замечаниям или недомолвкам я смутно догадывался, что этот человек тоже ищет, а быть может, уже и нашел какой-то выход из бесполезного тягостного прозябания.

Я сказал о нашей общей вине перед Родиной и о том, что эту вину мы должны искупить, должны послужить Родине.

По тому, как слушал меня Рошин, как отвечал, как простился со мной, мне стало ясно, что эта беседа установила между нами какую-то новую связь.

Своих переживаний я не скрывал и часто вступал в жаркие споры с эмигрантами типа Горчакова или Семенова. В такой откровенности не было особенного геройства: гитлеровцы уже не могли держать за решеткой всех своих противников — почти вся Франция к тому времени была против них.

По мере того как приближалось освобождение, я все больше думал о том, чем будет завтрашний день для тех русских людей на чужбине, а значит и для меня, которые поняли свое заблуждение и ждут возможности слиться со своей Родиной.

Еще некоторые встречи помогли мне покончить в себе с остатками прежних взглядов.

Конец августа 1944 года. Знойный день. Ярко сияет солнце. Слышны ружейные выстрелы и треск пулеметов. Шуршат по асфальту велосипеды — на них юноши в открытых рубашках и девушки в летних платьях. Метро не работает. Велосипед стал главным средством передвижения для парижан. Настроение праздничное, ликующее. И весь город как бы в ярких цветах: с окон, с балконов свешиваются флаги союзных держав.

Народное восстание победило. В этот день Париж освободился от немецкого ига.

В городе осталось лишь несколько немецких опорных пунктов. Окруженные восставшими, немецкие части уныло отстреливаются, сознавая свою обреченность.

Все рады? Нет, не все.

На улице меня окликнули. Старый знакомый, тот самый осанистый буржуа, который в предыдущем году поздравлял меня с освобождением Воронежа, пыхтя и спотыкаясь от непривычки быстро передвигаться, буквально гнался за мной. За ним спешил незнакомый мне господин, сухопарый, с несколько надменным лицом и розеткой Почетного легиона в петлице. Оба, очевидно, хорошо позавтракали и были в некотором возбуждении.

— Знаете, почему мы бежали за вами? Захотелось поговорить, услышать ваше мнение, — объявил первый. — Вы ведь видели русскую революцию... Как по-вашему, то, что происходит сейчас, это революция или нет? Так ли у вас началось?

Мы немного прошлись и сели на скамейку у самого берега Сены. Восставший Париж бурлил совсем рядом, а здесь, перед уютным зеленым островком посреди реки, было тихо.

Я стал было рассказывать о первых днях революции в Петрограде, но быстро заметил, что все это совершенно непонятно этому типичному французскому буржуа. Немецкая опасность миновала, теперь его беспокоило другое.

— Ведь это ужасно, — говорил он, не слушая меня. — Чернь на улице! Но ничего, все образуется. Завтра войдут американцы, приберут к рукам эту ораву.

— Вряд ли приберут окончательно, — вставил молчавший до этого господин с розеткой. — Де Голлю придется считаться с этими вооруженными юнцами хотя бы на первых порах.

— Мой приятель — префект, — пояснил другой, — честно служил все эти годы. Не понимаю, какая может грозить ему опасность. Разве его вина, что правительство возглавляли Петэн и Лаваль? Кстати, о Петэне. Верно говорят, что спасал мебель... пока де Голль спасал честь! Это очень хорошо, что так получилось.

Вишыйский префект стал излагать свои взгляды. Чувствовалось, что он излагал их уже не раз и самому себе и другим, как бы готовясь к своему будущему процессу. Он чиновник и потому не должен был обсуждать распоряжения правительства. Да, он сажал коммунистов в тюрьму, выдавал их немцам, но ведь американцы не больше Гитлера сочувствуют коммунизму. Однако он был умнее своего приятеля. Чувствовалось, он понимал, что все его доводы — вздор. Он просчитался, сделал ставку не на ту лошадь. Де Голль знает, конечно, что он готов служить и ему столь же ревностно, как перед этим Петэну и Лавалю, знает, что такие люди, как он, в будущем пригодятся. Но дело не в де Голле, а в тех юношах с горящими глазами, которые завладели улицей.

— Выиграть время, вот главное, — нервно говорил префект, — если уцелею в первые месяцы, снова настанет мой час...

— Не волнуйтесь, только не волнуйтесь, — повторял его приятель. — Ведь могло быть гораздо хуже! Слава богу, к нам пришли американцы... А если бы русские?..

Я чувствовал, как накапливается во мне раздражение, и решил оборвать поскорее беседу с этими господами.

— Мне весьма странно от вас это слышать, — сказал я довольно резко. — Помните нашу прошлогоднюю встречу? Вы тогда бурно радовались русским победам...

Он сделал вид, что не заметил моего тона, и упитанное лицо его расплылось в самую любезную улыбку.

— Ну да, конечно, радовался, и все французы очень благодарны русским за их восхитительный героизм. Но Россия уже ведь сделала свое дело. Не обижайтесь, пожалуйста, Россия — это, как-никак, Азия... Все надежды на американцев, не правда ли, мой дорогой префект? Да, да, префект, потому что вы будете снова префектом, верьте моему слову.

С проспекта Нейи доносились выстрелы и радостные крики народа.

Ах, как были отличны от подобных господ простые люди Франции! Новыми глазами смотрел я на них, новыми ушами их слушал. Ведь они, именно они, создавали радостное, светлое настроение этого солнечного дня. В их сердце были порыв и самоотверженность.

— Смотрите, в буржуазных кварталах вывешиваются только американские и английские флаги. Забыли героев Сталинграда! А вот посмотрите у нас: чествуем СССР — в первую очередь, по справедливости, — но не забываем и других.

— Ничего, русские не обидятся, только пожмут плечами!

— Ах, какое счастье, что можно кричать во весь голос: да здравствует Франция! В первый раз, быть может, за все мое пребывание во Франции я ясно понимал, что Франция жива, потому что жив и исполнен по-прежнему отваги и благородства французский народ.

Кажется, в этот же радостный день я пешком отправился через весь Париж к В. А. Маклакову, некогда кадетскому лидеру, знаменитому московскому адвокату и думскому оратору, назначенному Временным правительством послом во Францию и затем в качестве председателя Эмигрантского комитета защищавшему перед французскими властями юридические права эмигрантов. Шел я к нему потому, что считал его человеком умным, вдумчивым, знал о его патриотических настроениях с самого начала войны, и еще потому, что мне передали о его желании встретиться со мной в эти переломные дни.

Высокий, сутулый, сверкающий пронизательными глазами, почти совсем оглохший и потому говорящий слишком громко, при этом с резкими, решительными жестами старого оратора, Маклаков встретил меня, сияя улыбкой.

— Да, какая слава для нашей Родины! — начал он. — Победа теперь уже несомненна. Но этого мало. Советская власть сумеет выиграть войну. А дальше? Дальше ей надо будет выиграть мир. И вот в этом мы должны помочь новой России. Это, как мне кажется, главный наш долг, о котором я и хотел с вами поговорить.

Широким жестом он взял меня за плечи, усадил и стал излагать свои мысли. И вот, по мере того как он говорил, настроение мое менялось, мне делалось неловко, становилась неприятной сама эта встреча.

Этот глубокий старик сохранил полностью свои незаурядные умственные способности. Но, как это часто бывает, в мышлении своем достиг какой-то точки — и законсервировался. Победы Советского Союза радовали его, но в этих победах он видел доказательство того, что новая Россия... отходит от революции. Чтобы защищать свои интересы в переговорах с союзниками, чтобы выиграть мир, ей, по мнению Маклакова, нужно отойти от революции еще дальше, повернуть в сторону форм правления, утвердившихся на Западе, то есть, попросту говоря, — буржуазной демократии. И вот в этом мы, эмигранты, можем служить мостом между новой Россией и Западом, который мы знаем.

Отвечать ему не было возможности из-за его глухоты. И слава Богу! А то мне пришлось бы огорчить этого старика, сказав ему, что он чужден, как ребенок, что он не понял главного, что нужно отдать себя Родине без задних мыслей, признать новую Россию до конца, без оговорок, что ошибка наша была не частичной, а полной, а потому полным должно быть и наше приятие революции.

Слушая уверенную речь Маклакова, который говорил мне, собственно, то, что некогда думал я сам, я ощущал всем существом несостоятельность его позиций, и для меня становилось окончательно ясно, в чем отныне заключается мой долг.

Глава 7

НА ПУТЯХ К РОДИНЕ

Париж был освобожден. «Союз русских патриотов» вышел из подполья, занял помещение бывшего жеребковского «управления» и приступил к работе по объединению патриотической части русской эмиграции. Правление союза обратилось ко мне с просьбой написать статью для первого легального номера своей газеты и помочь в ее редактировании. Это было прямым следствием моей беседы с Рощиным.

Из всех статей, мною написанных, речь шла о самой важной, решающей для всей моей участи. В ней я высказал прямо, безоговорочно созревшее во мне убеждение, что эмиграция должна иметь мужество признать свою ошибку, свою вину, что дальнейшую судьбу нашу определит история, которая давно уже творится не нами.

Статью я так и решил озаглавить: «О наших чувствах и о нашей судьбе». А для чувств наших, гордого сознания, которым отныне нам следовало руководствоваться, я нашел яркое выражение в «Третьей осени» Валерия Брюсова, уже в 1920 году указавшего всем колеблющимся, что «под стягом единым вновь сомкнут древний простор». Его словами я призывал всех русских людей в изгнании понять наконец, что:

...Идет к заповедным победам
 Вся Россия, верна мечте;
 Что прежняя сила жива в ней,
 Что, уже торжествуя, она
 За собой все властней, все державней
 Земные ведет племена!

Слух о том, что я готовлю статью для газеты бывших бойцов интербригад, «возвращенцев», «оборонцев» — всех тех, кого некогда «Возрождение» носило в каждом номере, дошел до правых кругов эмиграции.

Поздно ночью, накануне того дня, когда статья моя должна была идти в набор, меня вызвал к телефону Семенов. Он говорил со мной каким-то надтреснутым голосом, явно волнуясь, путаясь в словах. О, это не был прежний Семенов, высокомерно вещавший о неминуемости краха «всего советского».

— Не торопитесь, — просил он. — Ну, погодите еще хоть немножко. Кто знает, может, все это вздор, наваждение! Нет, не все еще ясно, не все решено. Америка, Америка еще не сказала своего слова... Погодите, заклинаю вас!

Даже после появления моей статьи, которая произвела немалую сенсацию, справа на меня оказывалось давление, меня хотели сбить с новых позиций угрозами (и угрозами) не связываться окончательно с «агентами Советской власти». Но эту власть я уже признавал с в о е й, безоговорочно и твердо знал, что не остановлюсь на полпути.

Что же подкрепляло во мне такое решение?

Память о прошлом, обо всем, что я, «гукасовский любимец», некогда написал ложного, начисто опровергнутого событиями. Желание поставить крест над этим прошлым и тем самым помочь другим, в той или иной мере виновным перед Родиной. И, наконец, еще и то неожиданное для меня обстоятельство, что я сразу нашел общий язык в «Союзе русских патриотов» с людьми, которых прежде совершенно не знал и от которых некогда меня отделяла целая пропасть. Мы были разной формации, жили в эмиграции в разных условиях, круг моих знакомых во Франции был совсем иной, чем у них, я шел много лет совсем другой дорогой, но, как только сошлись мы вместе, стерлись между нами все грани: ведь взоры наши теперь были одинаково обращены к Родине.

А в Париже были новые хозяева. Американцы входили в города Франции, бросая ликующей толпе сигареты. Но такая расточительность длилась только день. На следующий американцы уже торговали сигаретами.

Немцы скупали все оптом. Американцы продавали в розницу все, чего не хватало в опустошенной немцами стране: сигареты, шоколад, тушенку, резиновую жвачку, специальные походные пакетики с набором всякой еды, сахар, сало, ботинки (бывало, что солдаты тут же разувались на улице), чай, кофе, бензин, колбасу. Я слышал даже, что кто-то купил у американского шофера военную легковую машину. Торговали собственным рационом и казенным добром, специально выкраденным с этой целью. Где? И в подворотнях, и в кафе, а то, заранее договорившись, приносили на дом целые тюки с сигаретами или консервами. Новая волна спекуляции пронеслась по всей стране — спекуляции, особенно развращающей, мелкой, доступной самым широким слоям населения.

Сколько французских мальчишек, которые при иных обстоятельствах посещали бы школу, бродило теперь по улицам, лоя американских солдат, чтобы затем перепродать с выгодой их добро!..

Я знал американцев и прежде: их ведь множество перебивало в Европе до войны. Но некоторые черты американского образа жизни открылись мне во всей наготе только в эти дни.

После освобождения Франции патриотические настроения значительной части русской эмиграции полностью вылились наружу, охватывая все более широкие круги. Порой могло даже казаться, что чуть ли не вся эмиграция, ликуя, приветствует великую победу советского оружия.

Не только митрополит Евлогий, возглавлявший большинство русских приходов, но и митрополит Серафим, представлявший до этого наиболее непримиримую часть зару-

бежной церкви, после приезда в Париж митрополита Николая Крутицкого вошел в каноническое подчинение Московской Патриархии. Прослорив два месяца о составе, лидеры эмиграции выделили делегацию для посещения советского посла. Это было уже действительно беспримерным шагом. И вот в эту делегацию вошли не только уже упомянутый адмирал Вердеревский, последний морской министр Временного правительства, безоговорочно занявший патриотическую позицию, не только последний посол старой власти в Париже Маклаков, патриот с оглядкой, но и такая фигура, как адмирал Кедров, заместитель председателя РОВСа, возглавлявший во Франции последние остатки белой армии! Как рассказывали потом, А. Е. Богомолов предложил делегатам выпить за победоносную Советскую Армию и ее вождя И. В. Сталина. Вместе с другими поднял за Сталина свой бокал и этот старик, в течение почти трех десятилетий упорно отстаивавший боевые антисоветские лозунги Корнилова, Врангеля и Колчака.

• • • • •

Это был замечательный, неповторимый порыв. Словно открылось окно и ветром подул на эмиграцию, свежим ветром Родины. И все, что в эмиграции еще теплилось жизнью, потянулось к этому ветру.

...На знаменитом Монпарнасе, в кафе, где собирается русская пишущая братия, первейший эмигрантский литературный критик Георгий Адамович буквально захлебывается от восторга, читая стихи советского поэта о войне.

...В рабочем пригороде Бианкур, где живут самые бедные эмигранты, русские люди обступили советского бойца, бежавшего из гитлеровского лагеря в партизанский отряд, несмелыми руками прикасаются к его гимнастерке, к фуражке его с красной звездой,— как к святыне.

В конце 1944 года весь Париж вновь охватила тревога. Гитлеровцы прорвали фронт в Арденнах, и в министерствах уже суетились чиновные лица, потерявшие голову от испуга. В эти дни взоры не только министров и генералов США, Великобритании и Франции, но и всего французского населения, для которого угроза была особенно страшной, снова обратились в сторону Советского Союза.

— Мы погибли бы без вас!

Эти слова, этот вопль слышал каждый из нас в Париже.

И когда Советская Армия взломала германскую оборонительную линию, заставив гитлеровцев срочно оголить западный фронт, каждый из нас в душе гордо отвечал французам:

— Вот видите: мы опять спасли вас.

Да — мы, мы, мы.

Память о том, что той России, в которой мы выросли, Франция в 1914 году также обязана была своим спасением, теперь приобщала нас к беспримерной славе Советского Союза.

Но пробудившиеся в эмиграции патриотические настроения были все же в значительной степени эмоционального, а не политического характера, потому что такие люди, как Маклаков или эмигрантские обыватели, не делали из них никакого практического вывода.

— Ура Красной Армии! Как приятно теперь быть русским!

Дальше этого не шло ни у Маклакова, ни у обывателя.

Конкретный вывод делали мы в газете «Русский патриот». Но за это как раз нас порицали все наиболее осторожные «общественники» из эмигрантов.

Мне говорил один из видных представителей старого мира, давнишний приятель моей семьи:

— Я к вам питаю симпатию, а потому хочу дать вам совет: не связывайтесь с Советами. Как и вы, я радуюсь победе России. Но не изменяю себе и отделяю Россию от коммунизма.

Я отвечал ему:

— Да, признав свои прежние ошибки, я мог бы попросту отойти от политики, например, заняться коммерцией. Но разве это не было бы малодушием? Через два-три

дня после выхода первого номера «Русского патриота» немцы сообщили по радио, что в Париже уже печатается большевистская газета на русском языке. И мне было приятно это слышать, я горжусь тем, что участвую в этой газете.

Новые течения обозначили перелом во всей истории эмиграции.

Начнем с закоренелых врагов Советской России, притаившихся в первые месяцы после освобождения.

Когда немцы еще сопротивлялись в Париже, то там, то здесь вспыхивала стрельба, мне повстречался эмигрант из самых заядлых «зубров», связанных с пресловутым «Национально-трудовым союзом нового поколения». Он что-то слышал о моей эволюции, но думал, что меня еще можно переубедить, и потому принялся излагать свою точку зрения:

— Не сегодня-завтра войдут американцы. Нам необходимо заручиться их поддержкой. Если мы займем позиции, хоть отдаленно напоминающие советскую, то ничего от них не добьемся. Окажемся какими-то полубольшевиками, то есть людьми, не представляющими решительно никакого интереса. Другое дело, если они увидят в нас русских политических деятелей, мыслящих не по-советски. Это очень важный момент!

Я не считал нужным вступать с ним в дискуссию: ведь человек, как говорится, высказался весь.

Люди с такими принципами тотчас же переключились с немецкой службы на американскую. Когда началась «холодная война», они почувствовали себя, как рыба в воде, оказавшись на тех же лакейских должностях, как в свое время у немцев. Профессиональные активисты, члены так называемого «Национально-трудового союза», были переброшены в качестве агитаторов из лагерей для советских военнопленных в лагерь для «перемещенных лиц». И с тех пор погрязли в работе по вербовке (угрозами и шантажом) шпионов и диверсантов среди советских граждан, насильно задерживаемых на чужбине.

В этих «перемещенных лицах» НТС увидел главный объект своей деятельности. Искусственно созданная «новая эмиграция» стала тем человеческим резервуаром, из которого международные антисоветские силы решили формировать кадры своих приспешников, завершая дело, налаженное еще агентурой Гимmlера и Розенберга.

Надеждой на новую войну, на дождь атомных бомб жили заядлые активисты из НТС, озлобленные гитлеровским поражением, униженные славой Советского Союза.

Не зная, что я стою на советской платформе, ко мне зашел бежавший из новой Польши давнишний мой знакомый Леон Д. До революции он учился в пажеском корпусе и, хоть был польского происхождения, поляком себя тогда отнюдь не считал. Ополячился, когда это стало выгодно. Теперь, дрожа за свою недвижимую под Варшавой, приехал в Париж, чтобы включиться в антисоветскую борьбу.

— Прямо безобразно! — говорил он. — Никого не спрашивая, большевики стали ломиться без передышки на Запад. Между тем, по нашим расчетам, вся их роль должна была бы свестись к изматыванию немецкой военной машины где-то далеко на русской земле.

Он объявил мне откровенно, что цель таких поляков-эмигрантов, как он, — убедить западные державы в необходимости быстро начать войну против СССР.

— Я еще вчера говорил знакомым англичанам: «У Советского Союза через год-два будет атомная бомба, и тогда они уничтожат в два счета ваш остров. Начинайте скорей войну!»

Наконец Д. сообщил мне, что вошел в контакт с людьми из НТС и что с ними у него сразу установилось взаимное понимание.

— В отличие от многих русских, это большие реалисты, — заявил он. — Тоже считают, что надо как можно скорее ударить по СССР. Понимают, что общее благо требует уничтожения советских городов и гибели миллионов советских граждан. Они сказали мне, что направляют все усилия на организацию боевых антисоветских групп из «перемещенных лиц». Делают хорошее дело — и сыты, так как хозяин у них богатый. Что ж, и это умно, ха-ха-ха!

Я выслушал его, так и не сказав ничего о себе. Мне передавали потом, что он чуть ли не рвал на себе волосы, узнав, с кем разговаривал.

В правой французской печати снова начали появляться статьи различных «специалистов по советским делам» из эмигрантов.

Группа эмигрантских журналистов добилась издания в Париже антисоветского листка. Оглушенный и прорванный во время войны фронт антисоветских активистов вспрыгнул духом в надежде на новую мировую бойню.

Послевоенная активизация антисоветских сил эмиграции сопровождалась примечательными сдвигами в кругах тех «общественников», которые в свое время приветствовали советскую победу. Тут сыграли роль два момента: разочарование и нажим международной, в первую очередь американской, реакции. Разочарование тем, например, что введение погон в Советской Армии не означало, даже в минимальной степени, шага назад, к старому режиму. Или тем, что советский патриотизм не оказался в противоречии с пролетарским интернационализмом. Одним словом, тем, что Россия не уходила от революции.

Маклаков побывал в советском посольстве, но советским человеком не стал, увидев, что советские дипломаты не нуждаются в его советах. В последние месяцы своей жизни христианский философ и бывший марксист Бердяев возобновил прекращенную им во время войны критику советской идеологии. После смерти митрополита Евлогия часть подчиненного ему духовенства вновь порвала с Московской Патриархией. Окончательно состарившись и изверившись в возможности «эволюции большевиков», некоторые «общественники» поспешили уйти в частную жизнь. Порыв героических лет войны прошел, настали будни, над которыми повисла угроза атомной войны.

Но порыв этот все же не прошел даром. Кадры антисоветских активистов значительно поределели, включая уже только самых оголтелых. Многие из тех, кто в годы войны желал слиться с Родиной, не дошли до конца в своем перерождении, но и не вернулись в большинстве своем к прежним антисоветским позициям.

И главное — широко развернулось движение за возвращение на Родину. Образовалось крепкое ядро действительно переродившихся людей, которые раз и навсегда порвали со своим эмигрантским прошлым.

Можно сказать, таким образом, что «белая идея», породившая и вдохновлявшая эмиграцию столько лет, не выдержала испытания, спасовала перед действительностью в грозный час. Эта идея означала, в конечном счете, борьбу с Советской властью любой ценой, с любым союзником, при полном подчинении целям этой борьбы национальных интересов России. Ведь Врангель действовал, например, заодно с белополяками. Теперь же в массе своей эмиграция не пошла с гитлеровцами и уклонилась от участия в «холодной войне».

Как политически активная сила старая эмиграция исчерпала себя. Происшедший коренной перелом означал, что она слана окончательно историей в архив. Вымерла, состарилась, в младшем своем поколении денационализировалась. Но, как отрывку прошлого, выделила напоследок ничтожную группу наемников, готовых на любое дело, грязное или мокрое. В самой же живой своей части, не порвавшей с Родиной духовной связи, эмиграция поставила сама над собой крест, переродилась в движение за право участвовать в новой, созидательной жизни своей страны.

Эта старая эмиграция была осколком старой России; ее возникновение и судьба явились логическим следствием революции — она уходила корнями в прошлое.

А новую эмиграцию — из «перемещенных лиц», — искусственно созданную, никакими корнями никуда не уходящую, нужную кое-кому только как пушечное мясо, оживает, вероятно, куда более быстрая самоликвидация.

Родина зовет к себе всех своих сынов. Мы, тысячи бывших эмигрантов, услышали ее зов, и этот зов услышат, конечно, все, кто не разучился ее любить.

Вымерла, состарилась, денационализировалась...

Среди переводчиков при французской делегации на московском совещании министров иностранных дел (в 1947 году) было трое русских эмигрантов, принявших французское гражданство: Стаховичи — отец и сыновья из некогда богатой и знатной дворянской семьи.

Старший Стахович был в молодости офицером Преображенского полка; в эмиграции он политикой, кажется, не занимался, а больше спортом, председательствуя в эми-

грантском объединении теннисистов. Я беседовал с ним по его возвращении из Москвы. Он был взволнован, счастлив, что побывал на Родине. Рассказывал, как бродил в Москве по арбатским переулкам, вспоминал свою юность, перелистывал старые книги у букинистов или осматривал Исторический музей, где, кстати, сообщил хранителям какие-то интересные данные о выставленных знаменах петровских полков. Но новой Москвы, жизни ее, новых зданий и людей он попросту не увидел, не заметил — и не из враждебности, а потому, что это его не интересовало. Годы, проведенные на чужбине, наложили на него свой отпечаток: он утратил живое восприятие родины, действительности.

А с сыновьями его произошло другое: Москва была для них просто большим заграничным городом — и только.

— Горько мне было, — говорил старший Стахович, — мои сыновья и вели себя и рассуждали, как иностранцы. Ничто по-русски не откликнулось в их сердце, даже перед Кремлем.

Увы, они не исключение. При французских учреждениях в Германии работали для связи с Советской администрацией многие эмигранты (некоторые с громкими именами, вписанными в историю России): в большинстве своем это были всего лишь французы, говорящие по-русски. Не в пример тем сыновьям простых русских людей, батрачивших во Франции, которые часто не знали русского языка, но шли в бой с немецкими оккупантами во имя Родины — России!

Но вот явление иного характера.

В 1946 году я встретил сверстника и приятеля, которого не видал с начала войны. Мобилизованный во французскую армию как русский эмигрант, он просидел несколько лет в немецком плену.

Это был довольно курьезный человек. Отец его в Петербурге, в общем, только и делал, что ходил в клуб. Мятлев так в свое время охарактеризовал этого праздного камергера: «Румяный, как яблоко спелое, к тому же в меру глуп, — за что одними белыми прошел он в Новый клуб». У сына не было отцовских средств, но он хорошо одевался и жило в нем упорное желание вращаться, подобно отцу, только в «самом высшем обществе». Ничто, кроме этого, не интересовало его в жизни. Он заводил полезные знакомства, цеплялся за каждую возможность и в конце концов преуспел: получил место секретаря одного из самых известных парижских клубов. Каждый день, каждый вечер общался со «всею Парижем», при этом (что уже было достижением) почти на равной ноге. Предел мечтаний его был, таким образом, достигнут. Но война оборвала клубную жизнь.

Вернулся он новым человеком. В лагере за колючей проволокой он постоянно общался с советскими военнопленными. И вот под влиянием бесед с ними ему открылся мир, дотоле неведомый.

— Ты не знаешь, какие это замечательные люди, — говорил он мне. — У них есть цель, настоящая цель в жизни.

Понял, что вся его жизнь была ошибкой. Служение Родине, труд как дело чести, сила коллектива — эти понятия стали для него близкими.

Я не знаю его дальнейшей судьбы. Быть может, светский Париж опять засосал его. Но достойно быть отмеченным, что общение с простыми советскими людьми хоть на какой-то период переродило даже такого человека.

И, наконец, не все эмигранты, ставшие французскими гражданами, забыли о своем русском происхождении.

Журналист А. Ф. Ступницкий, до войны сотрудничавший с Милюковым, принял уже давно французское гражданство и к этому факту отнесся серьезно, считая, что новое гражданство не только предоставляет права, но и налагает обязательства. Русский по происхождению и по культуре, он захотел быть полезным в Франции и России. После войны всецело посвятил себя изданию «Русских новостей», еженедельной русской газеты, в первую очередь информационного характера, которая во многом помогла русским эмигрантам ближе подойти к советской действительности. Газета высказывалась за франко-советское сближение, и роль ее в этом отношении была высоко оценена прогрессивной французской общественностью.

А. Ф. Ступницкий скончался, когда меня уже не было в Париже. Но я знаю, что советские граждане чтут там его память.

«Союз русских патриотов» был вскоре переименован в «Союз советских патриотов» и орган его, газета «Русский патриот», — в «Советский патриот».

Мечтой членов союза было возвращение на Родину. Но достижение этого рисовалось им в отдаленном будущем, и все они считали, что только долгая патриотическая деятельность за рубежом может дать моральное право на воссоединение с Родиной.

Решение Советского правительства от 14 июня 1946 года, предоставлявшее право на восстановление в советском гражданстве бывшим подданным Российской империи, проживающим во Франции, явилось событием неожиданным и совершенно исключительным по своему значению. Яркое солнце рассеяло вдруг туман, конца которому не было видно. Каждый эмигрант, какова бы ни была его прошлая деятельность (если только он не сражался в рядах гитлеровской армии против СССР), обретал право на получение советского паспорта, выдаваемого немедленно и почти без всяких формальностей. Такие же указы были изданы вскоре и для эмигрантов, проживавших в ряде других стран.

Радость охватила всех патриотов в эмиграции. Великодушие Родины всколыхнуло сердца.

...Торжественное собрание в одном из самых больших залов Парижа. На трибуне — посол СССР во Франции А. Е. Богомолов и его сотрудники. Все полно, в проходах толпа. А две трети вставших на улице в очередь за четыре часа до открытия собрания так и не вместились в зале.

Выдача паспортов первым двадцати новым советским гражданам. Их вызывают поименно, и посол вручает каждому красную книжечку с золотыми серпом и молотом в венке. И каждый раз стены зала потрясают громовые аплодисменты. Среди этих двадцати — профессор и конторский служащий, священник и шофер, старый моряк, защитник Порт-Артура, и девушка, празднующая в этот день свое совершеннолетие. И все в зале понимают умом и сердцем величественность происходящего.

Каждый может сказать теперь не так, как прежде, робко и с пояснением: «Да, я русский, но по паспорту — бесподанный и пользуюсь приютом чужой страны», а гордо и ясно: «Я русский, я гражданин великой страны, которая спасла человечество».

Кончены фальшь и приниженность эмигранткины. Ведь паспорт этот, эта красная книжечка, дает каждому священное право на гордость, прозвучавшую на весь мир в знаменитых стихах Маяковского.

Тысячи русских людей воспрянули душой в этот незабываемый день, как бы очистились сразу от накипи всех годов прозябания и унижения.

• • • • •

Ну, а те русские, которые ушли в иностранный мир, те немногие, в частности, которые в нем преуспели?

Я встретил случайно одного из них как раз в тот день, когда получил советский паспорт. Это был товарищ юности. Он давно поселился в Америке, стал гражданином США и даже «для удобства» переделал свою фамилию на американский лад. Теперь в форме американского офицера он разгуливал победителем по Парижу, где бедствовал на заре эмиграции, и, набравшись худшего в американизме, подчеркнуто презрительно отзывался о Франции, как о стране, где он может себе позволить что хочет.

Он рассказал мне о своей жизни, напирая на выгоды своего нового положения, а затем спросил из вежливости:

— Ну, а ты как?

Я молча вынул из кармана красную книжечку.

Что-то странное промелькнуло на его лице. Он, очевидно, хотел было изобразить негодование, но из этого ничего не вышло, покраснел, отвернулся на миг в смущении, и я понял ясно, что ему вдруг стало неловко, даже совестно за себя..

Еще три встречи.

Лорис-Меликов, «Васька», мой лицейский товарищ. В первые два десятилетия эмиграции беспечно подъезжал на такси, которым сам управлял, к особнякам своих бога-

тых знакомых, чтобы там потанцевать до утра, убеждая себя и других, будто в сущности ничего не изменилось...

— Стареем — вот что плохо, — сказал он мне. — Думаю перебраться в Америку. Там у меня родственники недурно устроились. Как-то доживу свой век...

— Вот как! А у меня все впереди, — отвечал я ему.

Гукасов... Вслед за Семеновым он тоже сделал попытку меня «урезонить».

— Бросьте «Советский патриот», — объявил он назидательно, но уже без прежней твердости в голосе. — Я, вероятно, еще буду издавать газету... Понятно, несколько отличную от «Возрождения». Внутреннюю советскую политику, конечно, будем критиковать, но внешнюю придется поддерживать. Иначе скажут, что и я проданся американцам. Хотите снова со мной сотрудничать?

«Да, — подумал я, — видно, и самого Гукасова проняло...» Но на вопрос его я тоже ответил вопросом:

— А помните, какую мы с вами писали ерунду?..

Гукасов насупился, и разговор как-то оборвался сам собой. Кстати, новой газеты он в то время так и не решился издавать...

Вейдле... Этого способного и начитанного публициста я где-то встретил случайно. Напомнил ему одну из его давнишних статей, в которой он писал, что Советская Россия сильнее, монолитнее царской России.

— В этом вы были правы, — заметил я ему.

Вейдле мне ничего не сказал, нахмурился, и мне показалось, что мое напоминание ему неприятно.

Я вспомнил об этой встрече совсем недавно, узнав, что Вейдле работает в Мюнхене на американской радиостанции, где получает очень внушительный оклад за злостную пропаганду против Советского Союза. Меня это удивило: Вейдле всегда любил кокетничать своим объективизмом, мало занимался политикой, по натуре человек он к тому же флегматичный. Один эмигрант, вернувшийся недавно на Родину, рассказал мне, что Вейдле так объясняет хорошим знакомым свой нынешний оголтелый антикоммунизм: «Устал жить без денег. Работаю, чтобы приобрести виллу на Ривьере. По крайней мере у меня будет обеспеченная старость».

В августе 1947 года «Союз советских патриотов» прекратил свое существование, уступив место новоучрежденному «Союзу советских граждан».

Вместе с советской миссией по репатриации Союз приступил к работе по отправке новых советских граждан на Родину.

Помня о гостеприимстве, которым все мы так долго пользовались в приютившей нас стране, Организационный съезд советских граждан во Франции направил приветствие президенту Французской республики.

В ответ председателем съезда И. А. Кривошеиным было получено следующее письмо:

«Президент Республики.

Париж, 26 августа 1947 г.

Господин председатель,

Меня очень обрадовали пожелания, которые Вам угодно было выразить от имени Съезда советских граждан, собравшегося под почетным председательством г. Богомолова.

Соблаговолите передать съезду, на котором Вы председательствуете, мою самую искреннюю благодарность, равно как и мои наилучшие пожелания в том, что касается поддержания и развития дружбы, столь счастливо объединяющей советский народ и французский.

В. Ориоль».

«Союз советских граждан» возник как крупная организация, насчитывающая около одиннадцати тысяч членов.

Ратуя за франко-советскую дружбу, Союз строго придерживался принципа невмешательства во французскую политическую жизнь. Все новые советские граждане, в качестве бесподанных входившие во Французскую компартию, вышли из ее состава.

.

Просторный особняк на улице Галлиера, некогда реквизированный немцами для жеребковского «управления», стал теперь советским домом. В секциях «Союза советских граждан», в его библиотеке, в редакции «Советского патриота» нам открылся новый мир: Родина. Он открывался в ее изучении, а главное, в общении с советскими людьми, которое не было нам доступно целую вечность.

В этот дом приходили сотрудники посольства, советские офицеры, писатели, артисты, приезжавшие из Москвы. Мы, вероятно, казались им очень восторженными и наивными. Каждого мы засыпали вопросами, желая ясно представить себе во всех подробностях жизнь и интересы советского человека.

В разговоре с этими людьми даже старшие из нас чувствовали себя мальчишками. И жила во всех нас настоящая взволнованность, юный энтузиазм.

Совсем рядом текла Сена, снова текла толпа по Елисейским полям, но нас уже не трогало очарование Парижа; мы жили мечтой о Москве.

В конце сентября 1947 года я провожал до города Сарбурга группу новых советских граждан, возвращавшихся на Родину...

...Поезд ускориł ход. Огни огромного города, мигающие, расплывающиеся в дыму паровоза, — и вот уже исчезает в ночи французская столица, где прошла большая часть жизни многих из тех, кого поезд сейчас везет на Восток.

Но на устах в эти первые минуты пути слышны слова, в которых благодарность и глубокое, сердечное волнение:

— Какие грандиозные, какие чудесные проводы!

Да, они были такими. Невиданную картину являла собой в 8 часов вечера 24 сентября платформа парижского Восточного вокзала. Казалось, весь русский Париж собрался на ней. Тут были и советские граждане и несоветские, и всех их объединяла важность происходящего. Провожаемые на вокзале полномочным послом Советского Союза, генеральным консулом и их сотрудниками в специальном поезде за счет Советского государства отправлялись обратно на Родину люди, покинувшие ее некогда с надорванным сердцем и страхом перед неизвестностью. Слезы стояли на глазах у многих остающихся. Было много цветов и много объятий. И когда поезд тронулся, огромная толпа, точно один человек, на шаг, на другой двинулась вслед за ним, махая платками. Слышались крики: «Пишите, пишите!» или «До скорого!..», «И мы с вами!..», «Да здравствует наша Родина!»

...Ночь проходит в беседах. Почти никто не спит в пути; трудно заснуть, да еще в поезде, когда сердце полно нахлынувшими в эти часы единственными в человеческой жизни по своей остроте и силе переживаниями.

Как выразить их?

— Я горячо люблю Францию, — говорит уже немолодая женщина. — Каждый раз, когда я покидала Париж, даже если уезжала в отпуск, я испытывала смутную печаль — так привыкла к этому чудесному городу. Но теперь совсем другое... Все мои чувства, все мысли устремлены вперед, в будущее. С такой полнотой я этого еще никогда не испытывала. Боже мой! Я увижу вновь мою Родину...

— Чувствую, будто у меня выросли крылья, — говорит другая, и краска радости заливает ее лицо. — Еду в Москву, там много у меня родственников. Но никого не предупредила. В тягость не хочу быть никому. Я много лет была портнихой, у меня хорошее ремесло, нужное, не пропаду с ним.

Вот инженер, преуспевший во Франции. Едет в Орел с женой и дочерью при тридцати чемоданах и сундуках. Решил, что должен работать на Родине, что только там работа имеет настоящий, вдохновляющий смысл.

Один показывает телеграмму из Днепронетровска, где его ждут и где ему обеспечена жилплощадь. Другой заявляет: «У меня никого не осталось на Родине. В Париже тысяча знакомых, а там ни одного! Но только там буду я у себя. С тех пор, как узнал об отъезде, считал дни, часы, под конец даже минуты».

В поезде пятьсот пятьдесят человек. Едут рабочие, шоферы, инженеры, священники, едут простые люди, крестьянские сыновья, оказавшиеся в эмиграции против своей воли, и бывшие белые офицеры, понявшие ложность своих прежних позиций, едет вместе

с женой и сыном, который учился в Париже в советской школе, старший мой товарищ по лицу, потомок Рюрика и правнук знаменитого декабриста...

Восемь пассажирских вагонов, четырнадцать товарных и одна платформа. В багажных — пианино и швейные машины, кастрюли, кровати, радиоприемники, диваны, письменные столы — все «добро», приобретенное в эмигрантские годы.

А из Сарбурга, куда прибыли советские граждане со всех концов Франции, уходит поезд уже в пятьдесят вагонов, украшенных красными полотнищами с надписями: «Настал желанный час!..», «Привет Родине!..», «Мы едем домой!»

«Широка страна моя родная...» — гремит песня во всех вагонах.

Готовилась отправка новых групп. Уже более двух тысяч человек отбыло на Родину. Я тоже собирался в путь.

В доме Союза на улице Галлиера царил радостная атмосфера: каждый ожидал своей очереди ехать домой.

Реакционная часть эмиграции снова пыталась запугать нас «большевистской расправой». Но никто уже не обращал внимания на злобные выкрики. Наш порыв был единодушен.

В Союзе у меня было много работы. Я входил в редколлегия газеты «Советский патриот», где помещал в каждом номере большую статью и вел отдел международной политики. А кроме того, председательствовал в отделе Союза в пригородах Лёваллуа и Нейи.

В тридцатую годовщину Октября я провел у себя в отделе торжественное собрание, на котором выступил с докладом представитель советской миссии по репатриации. Я сидел на эстраде, украшенной красными флагами, под портретами Ленина и Сталина. В кратком слове приветствовал завоевания Октября. Помню, я очень волновался перед началом собрания, но все, кажется, прошло гладко, с подобающей торжественностью.

В эти же дни я написал статью, которая, по-видимому, ускорила неожиданным образом мое возвращение на Родину.

«Русская мысль», новый орган наиболее реакционной части эмиграции, разразилась бранью по адресу Советской России в связи с годовщиной революции.

Я отыскал номер «Парижского вестника», органа эсэсовского «управления» по делам русской эмиграции, где тоже писалось о годовщине Октября.

Статья моя состояла преимущественно из цитат с небольшими комментариями. Приводя выдержку из немецкого фашистского органа, а затем выдержку из органа русских реакционеров, служащих теперь Уолл-стрит и Ватикану, я предлагал читателю догадаться, откуда каждая. Это было невозможно, так как все одинаково хулили Советскую власть, буквально в одних и тех же выражениях.

Действительно, нельзя было отличить вчерашних иностранных наймитов от сегодняшних. Этот номер газеты привел в ярость эмигрантских активистов, связанных с иностранными разведками и полицейскими органами.

Глава 8

В ОТЧИЙ ДОМ

Ноябрьские дни 1947 года были чрезвычайно тревожными во Франции. По стране прокатилась волна забастовок. Росли цены, росло недовольство народных масс. В определенных буржуазных кругах старались выслужиться перед заокеанскими покровителями.

Полицейский налет на советский репатриационный лагерь Борегар (две тысячи полицейских при шести танках против нескольких десятков безоружных людей!) был первым звеном в цепи открытых антисоветских провокаций.

Однако «Союз советских граждан» мирно продолжал свою работу, устраивал докла-

ды, собрания, концерты, все еще не допуская мысли, что французская реакция предпримет против него незаконные действия.

...Во вторник 25 ноября в 7 часов утра меня разбудил продолжительный резкий звонок у входных дверей.

— Полиция, откройте!

Вошли двое молодых людей в штатском, предварительно предъявив полицейские удостоверения. Мои близкие очень взволновались. Молодые люди принялись их успокаивать. Простая формальность, уверяли они, но мне необходимо явиться в комиссариат и ответить на несколько вопросов.

— Это какое-то недоразумение,— сказал я.— Но как быть? В девять часов я должен быть в редакции...

— Одевайтесь скорее, мсье,— отвечали молодые люди,— и вы будете в девять свободны.

Я покинул квартиру, взяв с собой только портфель с газетами для обзора печати в очередном номере «Советского патриота».

Однако моя мать почувствовала недоброе. Она вышла вслед за нами и заявила, что подождет меня в комиссариате.

Это твердо выраженное намерение на секунду озадачило полицейских, но, переглянувшись, они отворили дверцы автомобиля и подчеркнуто любезно предложили ей сесть рядом со мной.

Минуту спустя мы уже подъезжали к комиссариату. Мою мать попросили ожидать в приемной. Меня провели в какую-то комнату, затем в коридор, там полицейские крепко взяли меня под руки, вывели другим ходом на улицу и усадили обратно в машину. Было ясно, что сопротивление бессмысленно.

Тем временем моя мать, догадавшись, в чем дело, сбежала вниз, и, когда мы отъезжали, я увидел ее совсем рядом с машиной. Я показал ей знаками, что не могу выйти. Она замахала мне рукой, и в утреннем полусвете я увидел ее всгровоженное лицо.

Теперь полицейские со мной не церемонились. Я был в их руках.

— Куда вы меня везете?

— Когда приедем, увидите.

Мы подъехали к особняку, расположенному в одном из самых буржуазных кварталов. Рядом жили мои друзья, и я часто проходил мимо этого особняка, похожего на резиденцию богатых людей, совершенно не подозревая его подлинного назначения.

Никакой надписи на дверях не было. Не было и наружной охраны. Но как только мы вошли в переднюю, стало ясно, что это засекреченное помещение французской политической полиции. Под плакатом с надписью «Свобода, равенство, братство» стояли полицейские инспектора. Они плотно окружили меня, быстро проверили, нет ли при мне оружия, и повели куда-то вниз по неосвещенной лестнице.

Я оказался в подвале. В дверях стоял автоматчик, стороживший тех, кого доставили сюда еще до меня. Все это были товарищи, занимавшие руководящие должности в «Союзе советских граждан».

Им откуда-то уже было известно, что все мы в тот же день будем высланы, точнее, выкинуты из Франции.

Как, без вещей, без прощания с родными? Многим все еще казалось, что это недоразумение, которое должно вот-вот рассеяться.

После четырехчасового ожидания в подвале под охраной автоматчика нас повели снова наверх. Там стояло уже десятка два вооруженных до зубов полицейских.

— Вот, значит, какие мы опасные,— пошутил кто-то из нас.

Вызывали поочередно. Коренастый, толсторожий полицейский инспектор, по-видимому, высшего ранга, объявлял каждому, что на основании собранных о нем сведений присутствие его на французской территории признано «опасным для общественного спокойствия», а посему предписано его выслать в «порядке чрезвычайной спешности». Затем он показывал красным жирным пальцем, где надо расписаться. Мы между собой не сговаривались, но все как один отказали ему в этом удовольствии.

Когда подошла моя очередь, я раскрыл портфель и сказал:

— Не могу же я только с этим выехать из Франции. Мне необходимо вернуться домой за вещами.

— Вы это сделаете позднее, — ответил инспектор, отвернувшись.

Председатель Союза Качва потребовал, чтобы ему дали возможность снестись с советским посольством. Ответа не последовало. На вопрос, в чем мы обвиняемся, тоже не было ответа. Мы, собственно, по закону ни в чем не обвинялись, но, как преступники, подверглись унижительным полицейским процедурам. Каждому при этом еще раз совали пояснительный циркуляр, украшенный все теми же словами: «Свобода, равенство, братство».

Нас вывели из особняка. Шпалерами стояли на лестнице полицейские с автоматами. Внизу ждал автобус. Часть полицейских разместились вместе с нами. Автобус тронулся.

— Куда нас везут?

В ответ — угрюмое молчание.

Мы выехали из Парижа через ближайшие городские ворота в западном направлении. Наше недоумение было велико. Оно, однако, вскоре рассеялось: мы повернули обратно и обогнули весь Париж, чтобы затем направиться на восток.

Было ясно, что нас повезли таким круглым путем, чтобы лучше замести следы... Точно так же, как надлежало нас выслать без промедления, с применением грубой силы, чтобы мы не успели обжаловать принятое решение, надлежало и скрыть как можно дольше от наших семей, от наших друзей и, главное, от советского посольства, что именно с нами сделали.

Лишь только мы выехали из Парижа, главный надсмотрщик, рыжий, напомаженный дядя, видимо, очень желавший как-то проявить свое дурное настроение, пересчитал нашу десятку, тыча пальцем в каждого из нас.

— Берегитесь, — объявил он, похлопывая по кобуре. — Если одного не достанет, остальные тотчас же окажутся трупами!

— Да это как в гестапо! — возмутился кто-то из нас.

— Ничего, ничего, — возразил рыжий. — Мы и покруче обращаемся с высылаемыми, особенно бесподанными. Ваше счастье, что у вас советские паспорта!

Автобус вез нас по дорогам Франции, через деревни и города, где с недоумением и жалостью глядело на нас французское население, вез, очевидно, к Рейну, к границе французской земли. Я глядел на мягкие очертания холмов и лесов, на готические колокольни, на обвалившиеся средневековые укрепления, на памятники великой истории и великого искусства, всюду разбросанные на этой благодатной земле, и сердце мое сжималось при мысли, что я так расстаюсь с этой страной и с этим народом. Совсем иначе думал я проститься с Францией, готовясь к возвращению домой! Ведь страну эту и ее народ я полюбил особенно крепко именно тогда, когда почувствовал себя подлинным сыном своей великой страны; раньше любил как изгнанник, а теперь — как равный.

Поздно вечером мы пересекли государственную границу Франции. Страсбург остался позади. Мы были в Келе, первом пункте французской оккупационной зоны Германии.

Нас разместили в заранее подготовленном помещении. По всему было видно, что предпринятая против нас операция была тщательно разработана и что французские власти придавали ей большое значение.

В эту ночь со всех концов Франции доставлялись в Кель на автомобилях руководители провинциальных отделений Союза. Вскоре нас было уже не десять, а двадцать четыре. Почти все руководящие деятели Союза оказались высланными из Франции.

Издательства над нами не прекращались. Две полицейские собаки были приведены к нам в помещение, очевидно, для вящего устрашения. Перед дверьми на лестнице стояли автоматчики. Но при этом нам «разъясняли», что мы не арестованы, мы лишь высылаемся в административном порядке, и полиция нас не задерживает, а... сопровождает. Ехать же отныне мы можем куда пожелаем.

Мы снова потребовали, чтобы нам дали возможность снестись с нашим посольством, составили протест против учиняемого над нами насилия, но мысли наши уже были заняты другим: мы понимали, что приблизился час нашего возвращения на Родину, и это сознание воодушевляло нас. Мы находились на пороге новой жизни.

В Келе мы с изумлением прочли во французских газетах, что нас обвиняют во «вмешательстве во французские внутренние дела», в организации «социальных беспорядков», чуть ли не в подготовке... какого-то заговора против Французской республики. Это было до смешного нелепо.

Меня же, в частности, какая-то американствующая газета объявила «опасным журналистом», видимо, в отместку за разоблачительную статью о ее подголоске на русском языке.

Итак, нас обвиняли во вмешательстве во французские внутренние дела — и многие из нас действительно в этом были «повинны», так как бок о бок с французским народом сражались в рядах армии Сопротивления.

За такое «вмешательство» трое из высылаемых как нежелательные и опасные иностранцы были даже награждены французскими орденами: бывший заключенный лагеря Бухенвальд И. А. Кривошеин, которому всего за три месяца до этого сам президент Французской республики выражал надежду на укрепление франко-советской дружбы; А. П. Покотилов, доблестно сражавшийся в советском партизанском отряде, и А. А. Угримов, укрывавший на мукомольном предприятии, где он был директором, советских бойцов, а также сбитых американских и английских летчиков, за что, кроме французского ордена, удостоился личной благодарности американского главнокомандующего генерала Эйзенхауэра и английского маршала авиации.

В числе высылаемых были: председатель «Союза советских граждан» Н. С. Качва — один из организаторов подпольной борьбы русских патриотов с фашистами; генеральный секретарь Союза А. К. Палеолог — один из старейших «оборонцев», долго томившийся в концентрационном лагере; бывший председатель «Союза советских патриотов», известный журналист С. Н. Сирин; член Центрального правления В. Е. Ковалев, долго сидевший в немецкой тюрьме; 74-летний профессор А. И. Угримов — председатель Союза за дипломированных инженеров во Франции; видные деятели Союза А. Н. Марченко, А. А. Геник; М. Н. Рыгалов — председатель отдела молодежи, брат которого был расстрелян гитлеровцами; Н. В. Беляев, В. В. Толли, И. Ю. Церебеж; уполномоченный по Южному району В. И. Постовский, в прошлом белый генерал, командовавший крупными соединениями Добровольческой армии, который имел мужество понять свои заблуждения и свою вину и честно отдать себя в распоряжение Родины.

Две ночи и день мы провели в Келе в радостном возбуждении. Оно омрачалось лишь беспокойством за судьбу тех, кого мы оставили во Франции, так как в обстановке, сложившейся там, можно было ожидать самого худшего.

Поражая своей бодростью надсмотрщиков, мы хором пели советские песни. Со смехом отвечали на вопрос какого-то полицейского начальника, есть ли среди нас желающие отправиться не в Советский Союз, а в какую-либо буржуазную страну... Требовали, чтобы нам дали возможность скорее двинуться дальше.

И вот, когда все двадцать четыре оказались в сборе, когда закончились какие-то переговоры французских властей с властями тогдашней «Бизони» относительно нашего дальнейшего следования, нас поездом повезли через Германию.

Провожатыми были чины французской полиции. «А что, если американская военная полиция договорится с ними и «перехватит» нас в свои руки?» — спрашивали мы себя.

Особенно тревожны были часы, проведенные при пересадке в Карлсруэ. Мы сидели в зале ожидания — часть провожатых была с нами, другие пошли на очередное совещание с американскими властями. В зал вошел отряд американской военной полиции: десять дюжих молодцов в касках и с винтовками уставились на нас сумрачно, с видом, не предвещавшим ничего хорошего. Однако американские полицейские постояли, о чем-то между собой пошептались и удалились. Очевидно, на этот раз французской полиции было разрешено провести до конца начатую ею операцию...

Этих минут никто из нас не забудет. 29 ноября 1947 года в полдень наш поезд медленно подходил к первому пункту советской зоны.

Французские полицейские рупрошались с нами на предыдущей станции: «Поезжайте теперь одни!» И мы поехали в запертом снаружи вагоне, резко ответив английским офицерам, которые в последний раз пытались уговорить нас остаться в лагере для «перемещенных лиц».

...Лес, пригорки, снова лес. Прильнув к окнам, мы глядели на унылый осенний пейзаж. Наконец поезд остановился. Мы увидели на перроне трех молодых советских солдат. Один из них встретился с нами глазами — мы замахали ему, он понял, что нужен нам, угадал, что мы ему не чужие.

Вот он вскочил на подножку, отворил дверцу вагона. Мы обступаем его, говорим наперебой, и каждому из нас хочется его расцеловать. Волнение наше и радость доходят до него — он широко улыбается.

— Свои, русские... — говорит он, и тепло становится от его слов. — Высланные! На Родину возвращается. Ну что ж, дело хорошее. А, видно, устали очень... И ничего-то с собой у вас нет. Минуточку погодите, доложу начальнику. А пока угощайтесь, наверное, покурить охота.

Оставляет нам пачку папирос и соскакивает на перрон.

Так первым приветствовал нас в новой нашей жизни молодой советский воин.

В радостном возбуждении мы говорили друг другу:

— Да ведь это вылитый Василий Теркин...

...По платформе спешил к поезду майор. Мы сошли, предъявили ему паспорта, принялись объяснять, кто мы такие: «Высланные из Франции, прибыли в зону советской оккупации, хотя и не имеем въездных виз». Случай был исключительный, прецедентов, по-видимому, не имеющий. Майор выслушал нас, распорядился, чтобы задержали поезд, приказал подать нам завтрак.

...Через несколько часов мы подъезжали к ближайшему репатриационному лагерю, возле Бранденбурга.

За высокими соснами мы увидели ярко освещенное кирпичное здание, арку перед главным входом, красные полотнища и большие плакаты с эмблемами Советского государства. Нас встретил комендант.

— Что и говорить, налегке приехали, — пошутил он и затем добавил с теплой ноткой в голосе: — Располагайтесь, товарищи, как дома.

Быстро был приготовлен горячий ужин, а затем, впервые за все эти дни, мы заснули на кроватях, под простынями и одеялами, заснули счастливым сном.

На другой день приехал из Берлина генерал, начальник Отдела репатриации, и подробно расспросил о наших нуждах.

По его распоряжению в одном из лагерных корпусов нам — «группе 24-х» — предоставили целый этаж, разместив по два-три человека в комнате, и зачислили на офицерский паек.

Каждому выдали костюм, зимнее пальто, чемодан, ботинки, теплое белье, туалетные принадлежности и денег на расходы.

Родина заботилась о нас...

В лагере мы жили, как на даче. Гуляли по окрестным селениям и лесам. Часто ездили «в город», то есть в Бранденбург, а то и в Берлин.

Самое яркое воспоминание.

Поздно вечером мы возвращались небольшой группой с прогулки. Как раз когда мы подходили к дому, по репродуктору передавались «последние известия», и мы услышали слова, которые заставили нас остановиться, затаив дыхание:

«Нота Советского Правительства о репрессиях со стороны Французского Правительства в отношении граждан СССР во Франции».

На весь мир передавался протест Советского Правительства против нашей высылки, в котором упоминалась фамилия каждого из нас.

Трудно передать то, что мы испытывали в эту минуту.

А затем в «Известиях» было помещено наше коллективное письмо В. М. Молотову, под которым стояли наши имена.

В этом письме подробно говорилось об обстоятельствах высылки каждого из нас.

Вся моя жизнь вставала в моей памяти, когда я читал в органе Советов депутатов трудящихся СССР, что «сотрудник газеты «Советский патриот» тов. Любимов был увезен только с портфелем, набитым газетами для обзора печати очередного номера».

Да, это было сказано в этом органе обо мне, и правительство моей страны в торжественной форме протестовало против такого обращения со мной!

Вслед за нашей высылкой последовала новая провокация. «Союзу советских граждан» во Франции было предложено ликвидироваться, а орган его—«Советский патриот» был закрыт по приказу полиции. Вскоре затем были высланы все члены последнего правления Союза (образованного уже после нашей высылки): еще одиннадцать человек во главе с председателем профессором Д. М. Одинцом, который был тяжело болен и не мог передвигаться без посторонней помощи. В числе новых высланных были участники движения Сопrotивления С. Б. Долгова, Г. Б. Шеметилло и другие. Все они прибыли в Бранденбург уже после нашего отъезда.

А мы два с половиной месяца ждали, когда приедут из Парижа наши семьи. В феврале выяснилось, что приезд их откладывается, так как французские власти настаивают на выполнении длительных формальностей.

Дальнейшее ожидание в лагере теряло смысл. 17 февраля приехал из Берлина генерал и объявил, что на другой день мы очередным эшелоном можем выехать на Родину через Гродно.

Зима в том году стояла мягкая. Но, как пошутил генерал, мы были людьми, «отвыкшими от русских морозов», и потому он распорядился одеть нас в дорогу теплее.

Мы ехали через Польшу. И чем дальше подвигались на восток, тем явственнее ощущали близость Родины.

У порога отчего дома мы уже чувствовали себя в нем, уже вошли в него душой.

Ночью поезд остановился в поле. Я вышел из вагона. Сошел и капитан, начальник эшелона.

— Уже Россия?

— Нет еще, границу переедем утром. Вам не спится? Я понимаю вас: событие для вас великое. Хотел себе представить, что вот и я не был на Родине тридцать лет, — и не мог. Как это тяжело, вероятно, жить так долго на чужбине...

...Утром 25 февраля, ровно через три месяца после того, как французские полицейские подняли нас с постели, мы пересекли границу Советского Союза.

И вот вдали очертания города Гродно.

Мы сошли с поезда и стоим на советской земле. Глазам больно от ослепительного снега, навертываются слезы, и не разберешь, отчего они. На душе как-то ясно и тихо.

ЭПИЛОГ

Одиссея наша окончилась. Сколько длилась она? Три месяца? Нет, почти три десятилетия. Те, что покинули Родину подростками, вернулись с сединой, а выехавшие в зрелом возрасте состарились на чужбине.

С 29 февраля 1948 года я живу в великой столице моей великой страны, где работаю как публицист и как переводчик. На Родине я нашел и личное счастье: спутницу жизни, семью.

На этом, в сущности, можно было бы поставить точку. Но мне хочется коротко еще рассказать о первых моих двух-трех днях в Москве.

Вместе с несколькими товарищами из нашей группы я приехал в Москву в воскресенье, под вечер. У моих товарищей были в Москве родственники или друзья, у которых они могли остановиться. У меня — никого. В то время репатриантам ведало переселенческое управление при Совете Министров РСФСР. Но идти туда в воскресенье, по моим парижским понятиям, не имело смысла: во Франции все учреждения наглухо закрыты в выходной день. Где же мне переночевать? При мне было несколько десятков рублей, остаток небольшой ссуды, полученной в Гродно. Решил, что в крайнем случае на гостиницу хватит.

...Иду за людьми. Вхожу в здание, над которым красным огнем пылает огромная буква «М». Внизу мягкий, теплый свет, просторный зал. Беру билет, спускаюсь по ступеням и... останавливаюсь пораженный!

Теперь все это для меня стало привычным. Но в тот первый день подземные чертоги с мраморными колоннадами, люстрами, бронзой, изваяниями, сверкающей сталью, эскалаторами, уводящими в глубины, залитые тем же теплым светом, произвели на меня огромное впечатление. Это был какой-то волшебный мир, раскрывшийся передо мной с первых же моих шагов в Москве. Я ехал, пересаживался, подымался к выходу, опьяненный всем виденным, и в сознании моем проносилось: «Теперь все это мое, собственное. Моя гордость! Как бы я сам».

— Гражданин, чье это пальто у вас на руке?

С этим вопросом ко мне обратился у выхода милиционер.

Его любопытство было вызвано, вероятно, моим видом.

На мне была армейская ушанка. Из-под легкого парижского пальто вылезал зеленый ватник, сильно почерневший в дороге. В одной руке у меня был чемодан, выданный в лагере, в другой — тоже выданное в лагере совершенно новое пальто.

— Как — чье? — отвечал я милиционеру. — Мое, конечно!

Милиционер пожелал взглянуть на мои документы. Я протянул ему заграничный паспорт. Это удивило его окончательно.

— Пройдете в отделение милиции, гражданин, — сказал он. — Надо проверить.

— Идете, раз надо, — отвечал я. — Но я уже устал ходить с чемоданом.

— Я поднесу, — предложил милиционер.

И пошли по улице Горького, в сторону Пушкинской площади.

Перед большим домом с колоннами и львами на воротах я остановился.

— Что это?

— Музей Революции, — отвечал милиционер.

«Бывший Английский клуб!» — пронеслось у меня в голове, и я зашагал дальше с задержавшим меня представителем власти.

Начальник отделения милиции просмотрел мои документы, извинился за недоразумение, крепко пожал мне руку и пожелал всяческой удачи в новой моей жизни на Родине.

Но не все сразу пошло гладко. Я вернулся в метро. Посреди ослепительно белой галереи остановился, чтобы передохнуть, и закурил. Опять подошел ко мне милиционер и объявил, что штрафует меня на десять рублей. Тут я взмолился. Долго объяснял, что я не знал, что я из Парижа, где в метро можно курить. Милиционер вначале тарашил глаза от изумления, затем понял, улыбнулся и только сказал:

— Порядку, видно, мало в парижском метро...

Пошел по гостиницам. Но нигде свободного места не оказалось. Уже наступила ночь. Я поехал на вокзал, чтобы сдать в камеру хранения злополучные чемодан и второе пальто.

Вещи сдал, но на самый вокзал, где я надеялся переночевать, меня не пустили, так как у меня не было билета. Растерялся, решительно не зная, что делать. Рассказал какому-то гражданину о своей беде. Тот устроил мне ночлег.

На двух стульях, при ярком электрическом свете, я и провел мою первую ночь в Москве.

А на другой день все устроилось очень быстро. В переселенческом управлении мне выдали деньги, позвонили в учреждения, где для меня могла быть работа, устроили временное жилье. Начальник управления, выслушав рассказ о моих приключениях, улыбнулся и заметил, что если бы я накануне, то есть в воскресенье, пришел сюда, дежурный разрешил бы мне переночевать и я не знал бы никаких мытарств.

В тот же день мне предложили написать серию очерков о нашей высылке для заграничной печати и выдали аванс. Я телеграфировал матери в Париж: «Все хорошо. Работая в Москве».

Знакомых у меня никого еще не было. Но я решил, что приезд в Москву надо отпраздновать. Зашел в ресторан, заказал обед и неожиданно для самого себя выпил один бутылку шампанского.

Эмигрантский поэт Георгий Адамович как-то писал:

Когда мы в Россию вернемся..
Но поздно — окончен уж путь,
Две медных монеты на веки,
Скременные руки на грудь.

А я все же вернуться успел. Нет, путь не окончен. С твердой верой в это я, как зачарованный, люблюсь громадой Кремля, сжимая пустой портфель, с которым вышел из своей парижской квартиры. У меня нет никакого архива, никаких записок. Но я не стар еще, и в памяти живо все, чему я был свидетелем в жизни.

Москва, 1953—1956 гг.

Воспоминания Л. Любимова печатаются в сокращенном виде.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕННАДИЙ ФИШ

★

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

(Заметки писателя)

Наша литература в последнее время, несомненно, вступила в новую полосу развития. Приметы этого нового многочисленны и очевидны — здесь и появление многих талантливых произведений, смело ставящих серьезные проблемы сегодняшнего дня, и определенное оживление критической мысли, стремящейся избавиться от догматизма и схемы; все большее и большее число критиков пишет, не оглядываясь на быстро меняющуюся погоду, а исходя из постоянного советского климата.

Эта статья — не обзор литературы за прошедший год, а несколько мыслей о борьбе нового с инерцией старого, о пропорциях и позициях, о некоторых общих тенденциях, с особой силой проявившихся в нашей литературе за последние годы.

А так как воспоминание о прошлом порой лучше помогает уяснить новое, то я позволю себе начать издали.

1. «ОДНО ЗАБАВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»

В своем «Дневнике писателя» Достоевский в 1877 году отметил: «Вот уже 30 лет как я пишу, и во все эти 30 лет мне постоянно и много раз приходило в голову одно забавное наблюдение. Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали теперь или бывало какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее... то всегда употребляли более или менее, но с великою любовью все одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «в наше время, когда русская литература в таком застое», «в наше литературное безвременье», «странствуя в пустынях русской словесно-

сти» и т. д. и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике. Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе в такой короткий срок не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков. А между тем я даже и теперь чуть не в прошлом месяце читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности».

Это «забавное наблюдение» Достоевского осталось верным и для будущих времен.

И в начале XX века, в те дни, когда на Южном берегу Крыма могли встречаться и в самом деле встречались Лев Толстой и Антон Чехов, Максим Горький и Иван Бунин, Гарин-Михайловский и Леонид Андреев, статьи многих критиков начинались так же, как и во времена Достоевского.

А после революции, в начале двадцатых годов, когда рождалась и расцветала советская литература, разве не была напечатана в одном из журналов статья известного тогда писателя Евгения Замятина «Я боюсь», в которой он писал: «Я боюсь, что будущее русской литературы это ее прошлое».

Не много потребовалось времени для того, чтобы в бурном разливе литературы того десятилетия утонуло это скептическое прорицание. Появился «Железный поток» Серафимовича, вслед за ним — «Моя университет» и «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького, расцвел талант Маяковского, появились замечательные стихи

Есенина, потом «Чапаев» Фурманова, наконец, «Тихий Дон» Шолохова. Блестящий ряд произведений ознаменовал собой это десятилетие, которое иным казалось безнадёжным в отношении литературы, — «Разгром» Фадеева и «Конармия» Бабеля, «Барсуки» Леонова, «Города и годы» Федина, «Как закалялась сталь» Островского и «Педагогическая поэма» Макаренки, стихи молодого Тихонова и зрелого Багрицкого, «Гренада» Светлова и «Время, вперед!» Катаева, «Детство Никиты» Алексея Толстого и «День второй» Эренбурга, «Оптимистическая трагедия» Вишневского и «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Степан Кольчугин» Гроссмана и первые тома «Брускова» Панферова, книги Крымова и Малышкина, Зошенко, Ларисы Рейснер и Артема Веселого — все это было тогда в будущем. Разве в кратком перечне можно рассказать о разнообразии талантливой литературы начальных лет советской эпохи?

Но в ежегодных критических обзорах тех лет неизменно говорилось если не об упадке, то во всяком случае о недопустимом «отставании» литературы.

Однако, отменяя в сторону высказывания людей вроде Замятина, для которых неприятие нашей литературы связано с неприятием Октябрьской революции, надо сказать, что открыто высказываемая неудовлетворенность состоянием художественной литературы — это, по-моему, одно из свидетельств того, что литература жива и что народ вправе ждать от нее открытия глубинных сторон многообразной жизни, а не простой беллетризованной иллюстрации всем известным положений. Если же превыше всего ставится не любовь к единственному герою литературы — «правде», а авторитет какого-нибудь высоко вознесенного литератора или прославление ощутившей себя над народом личности, тогда появляется полная удовлетворенность литературой и сама литературная критика становится олоуписной.

Именно тогда-то и возникает то «литературное идолопоклонство», ратуя против которого Белинский писал: «Да — много, слишком много нужно у нас бескорыстной любви к истине и силы характера, чтобы посягнуть даже на какой-нибудь авторитетик, не только что авторитет: разве приятно вам будет, когда вас во всеуслышание ославят ненавистником отечества, завистником таланта, бездушным зоуплом, желтяком?»

Если «святое недовольство» собой обычно сопутствует годам расцвета литературы, то полное удовлетворение тем, что сделано, как ни странно, господствует в литературной критике именно тогда, когда литература топчется на месте и не только не решает, но даже не решается ставить перед обществом те вопросы, без ответа на которые не может идти дальнейшее развитие и общества и литературы.

Вспомним совсем недавние годы, которые вряд ли могут быть названы годами бурного развития нашей литературы. Разве не тогда появлялись сборники критических статей вроде сборника «Советская литература на подъеме» (1951)?

И вот странная метаморфоза. Многие критики, из чьих статей формировались подобные сборники, ныне, когда действительно появились многообразные черты подъема нашей литературы, словно растерялись и склонны считать истекший литературный год бледным, малозначительным.

Во всяком случае давно не слышали мы так много нареканий, упреков, недовольства работой писателей, состоянием нашей литературы, как в минувшем году, когда в литературе наступила новая трудная весна. Думается, здесь у одних сказалась боязнь нового, непривычного, такого, что не укладывается в догматические нормы вчерашнего литературного дня. У других проявилась в этом несколько замедленная реакция на прошлые грехи, когда топтание на месте выдавалось за очередной подъем, а шаг назад объявлялся порой двумя шагами вперед. Происходит это еще и потому, что, как писал Менделеев, «критическая способность у многих из нас развилась таким образом, что часто налегает на одни недостатки, вовсе умалчивая о достоинствах. По мне, это черта недурных задатков. Она показывает, что русскому критику все хорошее кажется естественным, как естественно, например, иметь волоса на голове. Оттого об этом и не упоминается».

С трибуны XX съезда партии говорилось о неудовлетворительном положении и в исторической науке, и в юридической, и в области философии и раскрывались реальные обстоятельства и причины такого печального состояния. Те же причины и обстоятельства, созданные культом личности, тормозили и развитие нашей литературы, принесли ей много бед и трудностей. Но если и в этих условиях у нас все же появлялись замечательные книги, то какие же глубокие

корни и связи с народом имела и имеет наша многонациональная советская литература.

Вспомним хотя бы такие народные произведения, как поэма «Василий Теркин» Александра Твардовского, роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Сталинградские очерки» и роман «За правое дело» Василия Гроссмана, «С фронтовым приветом» и «Районные будни» Валентина Овечкина, стихи о Ленинграде Ольги Берггольц, книги Аркадия Гайдара, Бориса Горбатова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, сказы Павла Бажова. Благодарная память может подсказать еще и другие имена и другие названия.

Я понадеялся здесь на память потому, что если следовать нашей критике, то мы получим обедненное представление о нашей литературе. Из огромного потока она зачастую вырывает одно, два, три произведения, которые канонизируются, и все разговоры о литературе вращаются уже около этой так называемой «обоймы», где, кстати сказать, часто давно уже стрелянные гильзы числятся по ненаписанной номенклатуре боевыми патронами. Потому-то (хотя большинство выходящих книг остаются даже не отрецензированными) у нас процветает рецензия и так мало критических статей. У нас есть монографии об отдельных писателях, по большей части вырванных из контекста литературы, и все еще нет хорошего очерка истории советской литературы. Получается так, будто в голой и гладкой пустыне возвышаются одинокие пирамиды, в то время когда нашу литературу можно бы уподобить большой горной цепи, над которой эти излюбленные критиком вершины иногда почти и не возвышаются.

Я назвал замечательного уральского писателя-сказочника Павла Бажова только потому, что его от мала до велика знают все. А между тем это только одна из вершин целой горной гряды, где другие писатели, положившие в основу своей работы народное творчество, преображая его силой таланта в оригинальную художественную литературу, создали книги, по моему убеждению, не уступающие ни по силе воздействия, ни по мастерству, ни по глубине народности «Малахитовой шкатулке». И почему-то эти книги незаслуженно обойдены вниманием критики. Память подсказывает «У песенных рек» и «Поморщину-корабельщину» Бориса Шергина, человека, сочетавшего в себе талант старых

знаменитых беломорских сказителей с горячей любовью к сегодняшней колхозной рыбацкой жизни. Его сказ «Матвеева радость» (я слышал, как его читали агитаторы на собраниях рыбацких колхозов в Беломорье) должен, по-моему, стать хрестоматийным. А рядом с шергинской трогательной книгой вспоминается такая на нее не похожая, озорная, брызжущая неумной веселой фантазией, изобретательная, рожденная свободной стихией северной русской речи книга, как «Сказки» Писахова. Каждая из названных книг — оригинальное художественное произведение, связанное глубокими корнями с жизнью народа, написанное мастером, черпающим пригоршнями самоцветы родного языка. В этом же ряду, совсем не похожие ни на Бажова, ни на Шергина, ни на Писахова, хотя во многом уступаая им, стоят и книги сказов ивановских текстильщиков: «Серебряная пряжа» Михаила Кочнева и «Амурские сказки» Нагишкина. А как мало сказано критикой о своеобразных книгах Маремьяны Голубковой и Леонтьева — автобиографических повестях, полных поэзии, и о повести П. Скосырева «Ваш покорный слуга», и о романе Леонида Соловьева «Насреддин в Бухаре».

Если бы наша критика попыталась осмыслить все эти явления советской литературы, связанные с народным творчеством, то разве могла бы она пройти мимо такого интересного, хотя и неровного романа Надежды Чертовой, как «Большая земля», рассказывающего о большой, трудной и счастливой судьбе деревенского поэта-плакальщицы Авдотьи Нужды, пропевшей «отходную старому миру». Главы этого романа — страницы истории не только заброшенной деревушки Утёвки, но и всего русского крестьянства. И все же эта недавно вышедшая в свет книга — итог серьезной двадцатилетней работы писательницы — прошла мимо внимания критики, если не считать одной-двух рецензий.

Вот сколько книг и судеб сразу приходит на память при мысли о том, что заслуженную славу Павла Бажова следует распространить и на других достойных его товарищей, работавших на разных полях той же нивы. И так ведь дело обстоит не только на этой ниве, но и на любой соседней.

За каждой названной ранее книгой-вершиной высится целый горный кряж.

Нет, наша литература значительно шире, богаче и многообразнее, чем это можно по-

думать, читая многие критические статьи или слушая писательские речи, произносимые даже с очень высоких трибун и на очень ответственных совещаниях...

2. УРОЖАЙ ПРОШЛОГО ГОДА

Прошлый год принес не только большой урожай хлебов на полях нашей Родины. Это был год, богатый событиями в литературной жизни и новыми талантливыми произведениями. Советская литература снимала первый урожай после глубокой перепашки последних лет, после того, как стали восстанавливаться ленинские принципы партийной жизни.

Двадцатый съезд Коммунистической партии Советского Союза открыл перед нашей литературой широкие пути движения вперед и тем, что наметил вдохновляющую действенную программу дальнейшего строительства социализма, и тем, что помог освобождению литературы от мешавших ее развитию пут культа личности.

Для нашей литературы за последнее десятилетие не было события более важного и многообещающего, чем XX съезд.

Литературный урожай минувшего года обильнее прошлых, и это также является отражением тех процессов жизни нашего общества, которые предшествовали съезду и течение которых ускорило в результате этого поистине исторического события.

В этом году советской литературе возвращены десятки имен писателей.

Об этом мы узнавали не только по хронике в «Литературной газете», то и дело сообщавшей о создании комиссий по литературному наследию того или иного писателя, чье имя зачастую ничего не говорило молодым литераторам, так как оно много лет было под запретом. Мы прочитали в этом году неопубликованную в свое время поэму Павла Васильева «Христолюбовские ситцы», неоконченный роман Бруно Ясенского «Заговор равнодушных», рассказ Ивана Катаева «Под чистыми звездами». Советскому читателю возвращены роман Виктора Кина «По ту сторону», очерки и фельетоны Михаила Кольцова, стихи Л. Квитко. Готовятся к печати избранные произведения И. Бабеля, С. Третьякова, И. Катаева, А. Веселого.

Переиздания книг, незаслуженно вычеркнутых из истории литературы, занимают большое место в планах Гослитиздата и

«Советского писателя». О первых произведениях советской литературы читатель сможет судить по вновь изданным повестям Юрия Либединского «Неделя» и «Комиссары», в свое время глубоко волновавшим молодежь. По одноименнику Юрия Олеси читатель получит живое представление о книгах, вокруг которых в то время возникали острейшие дискуссии.

В прошлом году трехсоттысячным тиражом вышел одноименник избранных произведений Ивана Бунина, куда включено много рассказов и повестей, ранее в Советском Союзе не публиковавшихся, и массовым тиражом издано пятитомное собрание сочинений этого последнего классика дореволюционной России, книги которого Максим Горький, первый классик послереволюционной литературы, многократно и горячо рекомендовал прочесть молодым писателям, не боясь никаких «идеологических уклонов».

Воскрешение многих имен не только восполнит зияющие пустотами главы истории советской литературы, но обогатит и сегодняшнего читателя десятками полноценных произведений.

Но какое бы богатое наследство ни получила литература, она жива воплощением духа сегодняшнего дня, его болей и радостей, жива теми книгами, которые впервые вышли вчера, теми очерками, романами, стихами, которыми заполняются сегодня журнальные страницы, теми пьесами, перед которыми нынче впервые раскрывается занавес.

И в этом отношении наша литература в минувшем году несравненно больше, чем в недавние годы, удовлетворяла насущнейшие душевные потребности нашего общества и участвовала в повседневной борьбе советского народа.

И разве нужно ждать, покуда наступит 1976 год, чтобы, оглядываясь назад, добрым словом помянуть год 1956? Вспомним, например, что именно в этом году ярко вернулся многообещающий талант В. Тендрякова, опубликовавшего сатирический рассказ «Рыцарь тютельница в тютельница», повесть «Саша отправляется в путь», рассказ «Ухабы».

Сила таланта Тендрякова не только в том, что он раскрывает нам жизнь в ее наиболее острых конфликтах, не только в том, что он показывает точно очерченные и при всей своей типичности полнокровные индивидуализированные характеры,— но и в том, как развиваются эти характеры,

как, сталкиваясь с неожиданными для себя трудностями, изменяются, мужают, растут (Саша и Гмызин в повести; шофер, жена лейтенанта и сам лейтенант в «Ухабах»), как приобретают благородные свойства самоотверженного товарищества, сознательного служения народу, честности, принципиальности. И, напротив, писатель показывает, как логика развития характера карьериста или бюрократа ведет к грубому нарушению этических принципов нашего общества, нарушению, которое юридически хотя и не наказуемо, но по существу ничем не отличается от уголовного преступления, потому что, как говорил Ленин, будучи по форме правильным, по существу является издевательством. Перед читателем возникают не просто недоразумения, не недомолвки, не стечение случайных обстоятельств, но настоящие и грозные конфликты. При всей своей трагичности произведения Тендрякова по самой сути глубоко оптимистичны, жизнеутверждающи, потому что он верит в победу социалистической гуманности и утверждает уверенность в ее неизбежной победе в сердцах читателей.

Эта благородная злость, эта безжалостная острая критика с точным прицелом во имя скорейшего развития того хорошего, что у нас есть, это утверждение принципов социалистической жизни в полной мере определяющей тональность нового, большого произведения Валентина Овечкина «Трудная весна», которое в прошлом году заключило большой цикл его очерков, начатый еще в 1952 году «Районными буднями».

Пять лет следил советский читатель с ослабевающим вниманием за судьбами героев этого цикла, неразрывно связанными с судьбами советской деревни. Пять лет на наших глазах развергивалась борьба передовых людей как «противу вредящих явлений природы, так и противу привычек и предрассудков людских» (Менделеев. Докладная записка «О нуждах русского сельского хозяйства»). Эти предрассудки и привычки чаще всего выражались в бюрократических извращениях, в противоречиях, возникавших из-за несоответствия между возможностями для возрастающей техники и устаревшими формами организации управления, сдерживающими рост народной инициативы. Были трудности и недостатки из-за таких не зависящих от нас объективных обстоятельств, как разрушения, прине-

сенные небывалой войной и вражеской оккупацией; многие просчеты, ошибки происходили оттого, что иногда в спешке, объяснимой исторической обстановкой, в процессе ожесточенной борьбы не на жизнь, а на смерть надо было решать такие вопросы, которые впервые в истории человечества вставали перед нашими людьми. Приходилось самим, без всякого исторического примера, быть разведчиками, прокладывая новые, нехоженые пути. И, наконец, многие тяжкие просчеты возникли как порождение культа личности.

Когда проходит время, когда раны залечены и можно оглянуться на прошедшее и рассудить, «что и как», — многое делается гораздо виднее, яснее и понятнее. Но как это трудно, когда писатель, вместе со своими героями находясь на быстрой жизни, ищет ответов на возникающие вопросы, рискуя сам ошибиться, кое-что не додумав, и может, как далеко ушедший в тыл врага разведчик, иногда попасть и под обстрел своей артиллерии, под бомбежку своих же самолетов. Но какая награда для него, когда его произведения, которые, как многим казалось, написаны лишь на злобу дня, продолжают жить полнокровной жизнью, волновать читателя, учить его и звать вперед по прошествии не только недель, но и лет, хотя на многие поставленные им вопросы уже давно получен ответ.

Очерк «Районные будни», напечатанный еще перед XIX съездом КПСС, более пяти лет назад, не только сохранил свое значение и сегодня, но все больше и больше ощущается как одно из этапных произведений нашего времени, тогда как названия многих романов, пользовавшихся шумной славой пять лет назад, теперь или забыты, или стали синонимами верхоглядства, лакировки и приспособленчества. Какой это урок для тех, кто полагает, что очерк — это литература второго ранга, легкая кавалерия разведки, предваряющая тяжелую поступь романов, и вытесняемая ими. Боюсь, правда, что и этот урок не всем пойдет на пользу. Ведь не так давно на одном из всесоюзных писательских совещаний утверждалось, что работа над очерком для прозаика необходима лишь потому, что это, мол, первый этап творчества, так сказать, эскизы, заготовки, которые потом лягут в основу повесей и романов. А совсем недавно (в февральской книжке «Иностранной литературы») это барско-обывательское отношение к очерку как жанру

второстепенному продемонстрировал в статье «Советская литература сегодня и ее перспективы» директор Института мировой литературы И. Анисимов. Сделав «теоретическое» открытие, находящееся на грани фантастики,— что лакировка это не что иное, как ползучий натурализм,— он заодно объявил очерки Овечкина только «предварительной разведкой», лишь возможной «подготовкой большого произведения», которое, если бы оно появилось, «внесло бы в литературу нечто очень важное»...

Кому не известно, что после «Записок охотника» Тургенев на этом «материале» никакого романа не написал, что после очерков «Крестьянин и крестьянский труд» у Глеба Успенского не появилось постсей на эту тему, и «В голодный год» и «Павлозские очерки» Владимира Короленко так и не легли в основу его других беллетристических произведений.

Но даже в тех редакциях, где очерк объявляют жанром первого ранга, по-прежнему печатают его на задворках и мелким шрифтом, тем самым отделяя его от «художественной прозы». Так, альманах «Литературная Москва» (второй сборник) преподнес своим читателям петитом «Деревенский дневник» Ефима Дороша, чрезвычайно примечательное произведение, заставившее нас вспоминать и деревенские дневники Глеба Успенского, и «Из деревни» Александра Энгельгардта, и «Несколько лет в деревне» Гарина-Михайловского.

Умение увидеть сочетается в «Деревенском дневнике» Дороша с умением изобразить увиденное. Язык повествования скуп и богат, точен и гибок. Писатель одинаково владеет им и тогда, когда прекрасно живописует пейзажи Райгородского района, в котором нетрудно угадать Ростов на озере Неро, и тогда, когда размышляет о неоглядных перспективах развития края и о непорядках, мешающих этому развитию, и тогда, когда стремится проникнуть во внутренний мир встреченных им людей. На страницах «Деревенского дневника» встречаются и некоторые уже известные нам по рассказам Е. Дороша положения и люди, в частности председатель колхоза Иван Федосеевич, и мы видим, насколько полнее здесь изображена действительность, насколько сложнее и острее конфликты, насколько многообразнее, интереснее сама жизнь и люди, описанные в дневниках, чем

то преобразование, которое они получили в рассказах того же писателя.

Как в «Литературной Москве» «Дневник» Е. Дороша, так и в журнале «Знамя» (№ 2 за 1956 год) преподнесен петитом прекрасный очерк украинского писателя Семена Журавовича «Простые заботы», рассказ, одухотворенный душевной любовью к простым советским людям, рядовым колхозникам, подлинным проникновением в глубины их психологии, очерк, свидетельствующий о том, что автор его — художник, любящий и знающий то, о чем он пишет.

В «Простых заботах» С. Журавович снова подходит к теме «вечного передовика», поставленной в свое время Валентином Овечиным в пьесе «Настя Колосова» и затем в повести «Ненужная слава» С. Ворониным... Однако очерк «Простые заботы», несмотря на значительно меньший объем, на мой взгляд, многограннее, психологически более убедителен, жизненно более наполнен, чем интересная, но несколько однолинейная повесть Воронина. Новый председатель колхоза агроном Цымбал сталкивается с необходимостью послать на областное совещание колхозного передовика. И когда «штатная передовая» Ганна Чепурная отказалась ехать, он, разбираясь в том, почему она это сделала, почему отказывается ехать и другая звеньевая — Настасья Гаврилюк, открывает неожиданно для себя много интересных семейных, общественных, производственных обстоятельств, знание которых помогает ему глубже понять тех замечательных людей, которыми он окружен и которыми жив наш колхозный строй.

Точно так же журнал «Октябрь» (№ 8) после уважительного корпуса, отведенного под «чистую беллетристику», как нечто менее важное напечатал петитом очерк-рассказ того же Журавовича «Кочующий Шматюк». Если в талантливой повести Г. Бакланова «В Снегирях» мы встретили Табакова, прекрасного председателя колхоза, который «кочевал» из одного отстающего колхоза в другой, выводя их в передовые, то в очерке С. Журавовича мы знакомимся с администратором, который кочует совсем по другой причине. Шматюк не раз проваливает порученное ему партийей дело, но его, тем не менее, держат на ответственной работе, перебрасывая из одного района в другой. В очерке этот писатель, взяв уже разработа-

тывавшуюся другими тему, нашел для ее решения свои слова, свои свежие краски.

Произведения С. Журавовича свидетельствуют о том, что в украинской литературе раскрылся новый талант, творчество которого помогает глубже понять жизнь людей советской деревни. Читая их, огорчаешься, сочувствуя бедам колхозников, и радуешься тем процессам, которые отодвигают в прошлое причины многих бед.

Взгляд художника, обращенный в будущее, желание сделать нашу жизнь завтра более совершенной, чем сегодня, и пристальное отыскивание того балласта, который нужно выбросить, чтобы подняться выше, характерны и для «Сибирских встреч» Леонида Иванова. И хорошо сделали «Сибирские огни», что именно этими очерками открыли свою четвертую книжку. Повествование в «Сибирских встречах» ведется от лица журналиста, освещающего в газете колхозную жизнь. Он встречается с десятками людей, видит отстающие колхозы там, где ожидал увидеть их цветущими, и, наоборот, к своему удивлению, видит, что те люди, которых, поверхностно судя, считают отстающими, часто оказываются передовиками. Он бывает в колхозах, набирающих силу, и внимательно и заинтересованно отыскивает причины успехов и корни неудач, зная, что «если разобраться в причинах — почему колхоз собрал низкий урожай, — то это будет не менее ценно, чем описать удачу с урожаем».

Ту задачу, которую поставила перед собой Галина Николаева в «Повести о директоре МТС и главном агрономе», — показать, «как в процессе борьбы за крутой всенародный подъем происходит формирование характера советской девушки, как юность и беспомощность постепенно сменяются зрелостью и боеспособностью, стойкостью» (смотри ее статью «За один год» в журнале «Знамя» № 5 за 1956 год), — Леонид Иванов решил по-своему. Молодой агроном Зина Вихрова не менее героична, чем Настя Ковшова, но, как мне кажется, более достоверна, типична. Явившись в колхоз со школьной скамьи, она не только безошибочно учит всех и вся, как Настя, но сама учится и растет, ошибаясь, мучаясь, радуясь, поднимает других и сама поднимается вместе с ними. От первой встречи в райкоме, когда она стоит, потупясь, и молчит, не находя слов, сгорая от стыда и сначала не решаясь сказать правду о приписках-подлогах, до последней, когда она, выступая на

областном совещании, приносит благодарность старику председателю колхоза за то, что «он своим личным примером показал мне, молодому специалисту, как надо бороться за агротехнику и отстаивать правое дело от всяких наскоков», читатель следит за ее судьбой, жалея только, что писатель так мало отвел места этой девушке в своем произведении и вообще многое написал эскизно, торопливо. Надолго запоминающаяся картина, когда комбайны, бункера которых полны зерном, оглашают степь тревожными гудками, подзывая грузовики, показывает, что автору многое дано и поэтому с него многое еще можно спрашивать.

Если бы минувший год ничего нам не принес, кроме названных произведений, то и тогда можно было бы сказать, что это был плодотворный год в развитии нашей прозы. Но он гораздо богаче, урожаем его еще обильнее и разнообразнее. Здесь надо упомянуть оригинальное, романтическое, талантливое повествование Эльмара Грина, всей логикой образов утверждающее, что благо для финского народа заключено в дружбе с великим восточным соседом. Две новые повести Павла Нилина о моральной цельности советского человека, опубликованные в «Знамени», свидетельствуют о том, что у нас не только появляются новые имена, но и созревают таланты писателей, уже давно выступивших на литературную сцену, богаче становится их палитра, мужает мастерство. О разнообразии поиска нашей литературы можно судить и по выросшему на реальном материале роману А. Бека об инженерах-изобретателях «Жизнь Бережкова» и фантастическому роману-памфлету «Атавия Проксима» Л. Лагина.

Но не только тематическим и жанровым разнообразием порадовал нас прошлый год. Даже в пределах одной темы, к примеру в повествованиях о детстве, он показал многообразие аспектов, материала, талантов. Мы получили и поэтический роман Василия Смирнова «Открытие мира» — о деревенском мальчике, чья судьба сливается с судьбой русской деревни, и роман А. Бруштейн «Дорога уходит вдаль» — о девочке, дочке врача в Вильнюсе перед революцией 1905 года, роман, мастерски написанный и каждой своей страницей утверждающий веру в человека. Здесь и «Березовый сок» С. Шипачева, автобиографическая повесть о детстве сына деревенского

бедняка из Зауралья, и повесть В. Кожевникова «Заре навстречу» — о мальчике, сыне ссыльного революционера, врача, глазами которого читатель видит 1917 год в Сибири. Наряду с этими книгами о до-революционных «детствах» в прошлом году появилось несколько несхожих, по-разному интересных повестей о современном детстве, вернее, об отрочестве. Вокруг этих книг, несомненно, возникнут споры. Но разве кто-нибудь доказал преимущество книг, не вызывающих споров, потому что все описанное в них заранее известно?

Не случайно вопросы воспитания подрастающего поколения были для нашей литературы всегда животрепещущими. И не случайно также, что наша литература разрасталась их, не избегая, а, напротив, идя навстречу самым острым конфликтам. «Правонарушители» открыли нам талант Лидии Сейфуллиной, а «Республика Шкид», о которой Максим Горький писал, что значение ее «нельзя переоценить», стала началом благородной литературной деятельности Л. Пантелеева. «Педагогическая поэма» — только наиболее высокая вершина этой горной гряды.

В последние годы тема воспитания подрастающего поколения вспыхнула с новой силой и принесла читателям такие разные книги, как повести О. Неклюдовой и Н. Атарова, Ф. Вигдоровой и С. Матвеева, А. Эрлиха и Н. Дубова. И вот, разбирая в этом ряду вышедшие в минувшем году повести, можно было бы установить, что в них живы лучшие традиции нашей литературы. Многие из этих книг, и особенно повесть Л. Кабо «В трудном походе», на новом историческом этапе продолжают борьбу Макаренко с «соцвосовцами», борьбу за трудовые принципы воспитания, за политехнизацию школы, продолжают борьбу с извращениями советской системы воспитания, выразившимися, в частности, в раздельном обучении, против которого всегда (при молчании специальных педагогических органов печати) вели борьбу передовые литераторы.

Читая повесть Л. Кабо, вспоминаешь замечательные слова великого русского педагога К. Д. Ушинского, могущие послужить эпиграфом к этому произведению: «Если вы хотите сделать дитя негодяем, то приучите его с детства повторять всевозможные нравственные сентенции, и потом они не будут уже производить на него никакого влияния».

Мне выпало великое счастье быть делегатом третьего съезда комсомола и слышать выступление Ленина, в котором он призывал молодежь учиться коммунизму, связывая каждый шаг своего воспитания, образования и учения неразрывно с борьбой, с трудом рабочих и крестьян.

Но когда этот замечательный ленинский призыв проводят в жизнь «человеки в футляре», получается то, о чем говорила на XVI съезде партии Н. К. Крупская. «Восьмилетнему ребенку,— сказала Надежда Константиновна,— начинают с первых дней, когда он приходит в школу, говорить о промфинплане, а он не видел никогда никакой фабрики, не знает, не видел машины, а он должен уже что-то такое учить о промфинплане. Или городские ребята: если взять такой город, как Ленинград, я по старой своей педагогической деятельности знаю,— там бывает так, что ребята-малыши в школе часто толком корову не видели,— а он приходит в школу и сейчас должен прорабатывать вопрос об осенней посевной кампании».

Крупская утверждала, что в таком казенно-лояльном отношении к призывам партии сказывается «нежелание с детства воспитывать из молодежи борцов и строителей...» Пожалуй, не только нежелание, но и неумение...

И лишь тогда, когда по-настоящему идейные люди, принципиально и последовательно, как, к примеру, коммунист учитель Виктор Васильевич Ушаков из повести Кабо, преодолевая всяческое сопротивление, борются с реальными, а не выдуманными трудностями, линия партии побеждает.

Вот какие мысли приходят в голову даже при первом чтении повести «В трудном походе».

Можно бы еще назвать... Но разве того, что мы здесь назвали, недостаточно, чтобы с полным правом сказать, что прошедший год был для нашей литературы годом немалых свершений и еще больших обещаний. Время, конечно, отберет и оставит «уважаемым товарищам потомкам» из книг, которые дал прошлый год, наиболее весомые, значительные и дальнобойные. Но я убежден, что оно подтвердит правоту слов Щипачева:

Чего гадать! Нас всех, наверно,
Не та переживет страна,
Которую высокомерно
Поэты пишут на века.

Еще безлюдны там просторы,
А здесь вся боль и радость вся.
Я верю в строки, без которых
Сегодня людям жить нельзя.

Такие строки есть и во многих названных новых книгах. Но здесь я буду говорить главным образом о тех произведениях, посвященных сегодняшней жизни советской деревни, в которых наиболее ярко намечаются тенденции развития нашей литературы, во многом определяющие сейчас ее лицо, ее новаторство, ее новое качество.

3. ХАРАКТЕРЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

По циклу очерков, начатому «Районными буднями» и завершеному ныне «Трудной весной», и современники и наши дети смогут понять советских людей, работающих в деревне, и изучать сложнейшие процессы, происходящие там в течение целого десятилетия, так как центральный конфликт между Борзовым и Мартыновым, прежде чем он открыто разрешился в столкновении между ними, созрел исподволь не один год. И хотя время действия в очерках как будто и завершается пятьдесят шестым годом, многие намеченные в них проблемы и поднятые вопросы еще не получили разрешения, да и не могли получить, так как сама жизнь этих решений еще не дала. Но разве то, что писатель говорит и о нерешенных вопросах, не скрывая их сложности, не приближает того времени, когда они будут решены? Целое десятилетие, с точным знанием людей и обстоятельств, страстей и агротехники, воплотил автор в этот цикл очерков, создав своеобразную энциклопедию современной сельской жизни.

Уже в 1952 году, в дни, предшествовавшие XIX съезду партии, когда неблагоприятное положение в сельском хозяйстве, бедственное состояние многих колхозов и колхозников было скрыто под пеленой казенных рапортов о «небывалых» успехах, — писатель смело, точно, скупными строками показал реальную картину жизни одного художественно обобщенного сельскохозяйственного района Центральной России. В литературе это было открытием. Новаторством писателя было не только то, что он показал жизнь советской деревни в большем приближении к реальности, чем кто-либо из других писателей тех лет. Ему удалось художественно воплотить образ человека, чей характер формировался

и расцветал в условиях культа личности. Образ Борзова — человека, на первый взгляд самоотверженного, субъективно как будто преданного партии, человека неукоснительно выполняющего все директивы, но по существу бюрократа, думающего только о том, чтобы отличиться в глазах вышестоящих, и равнодушное свое к народу и безыдейность прикрывающего хорошо усвоенной фразеологией, — большая удача литературы социалистического реализма. Не случайно слово «борзовщина» сразу же стало нарицательным, тем самым подтверждая типичность явления, раскрытого писателем. Нашлись, правда, такие «критики», которые объявили очерк нетипичным на том основании, что Мартынов, второй секретарь райкома, сильнее первого — Борзова, в то время как кадры в районах обычно подбираются так, чтобы первый секретарь был крепче второго.

И еще в одном направлении «Районные будни» Овечкина были большим новаторским произведением, проторившим дорогу для многих молодых писателей и, в частности, для москвичей В. Тендрякова и Г. Бакланова, ростовчанина А. Калинина и сибиряка С. Залыгина, ленинградцев М. Жестева и С. Воронина, мордовского писателя Ивана Антонова и украинца С. Жураховича. Впервые в послевоенной художественной литературе Овечкин полным голосом заговорил о стиле руководства.

Вопроски проповедовавшей со многих амвонов теории бесконфликтности, настоящие литераторы в своем творчестве не могли следовать ей. Во-первых, реальная жизнь изобилвала конфликтами. Во-вторых, никому еще в истории литературы не удалось создать подлинно художественное произведение, в котором не было бы большого или малого, острого или сглаженного, бросаемого в глаза или глубоко запрятанного конфликта. Стремление мелкие недоразумения выдать за серьезные конфликты сделало легковесными сдвоенками произведения многих талантливых писателей. Были в этих книгах и конфликты, немало героев ошибалось, совершало неверные шаги. Но странное дело. Среди людей ошибающихся в подавляющем большинстве были председатели колхозов, председатели райисполкомов, заведующие сельхозотделами, директора предприятий, и ошибки их всегда исправлялись или секретарями низовых парторганизаций, или секретарями райко-

мов, или появившимся как «*deus ex machina*» секретарем обкома. А порой конфликт разрешался, зло каралось, добро вознаграждалось Сталиным или как-нибудь «руководящим работником» (так попросту назывались персонажи в некоторых пьесах).

Прочитав несколько подобных произведений, можно было вообразить, что большинство конфликтов происходит между партийными работниками и представителями Советской власти, хотя те и другие были членами одной и той же Коммунистической партии.

Конечно, этого в действительности не было и быть не могло. И партработники, и директора предприятий, и председатели колхозов были людьми одной и той же партии, людьми, чьи действия продиктованы одной и той же идейной направленностью, людьми одного бытия и одинакового быта.

И все же даже и в этой нарочитой схеме, из-за которой полугодная река жизни с ее живописными излучинами отображалась в литературе, как канал с прямыми бетонированными стенами, даже в этой схеме, как в кривом зеркале, находили свое отражение реальные противоречия нашей жизни.

Дело в том, что провозглашенные партией принципы и цели и пути борьбы в те годы в жизни часто вступали в противоречие с бюрократической практикой, при которой развитие производительных сил ограничивалось невниманием к материальной заинтересованности трудящихся. Следуя жизни, писатели стремились изобразить конфликты, протекающие из этого противоречия. Но в многочисленных произведениях этот конфликт «творчески преобразился» в противоречие между колхозником-лентяем, пьяницей и колхозником-тружеником, а когда конфликт касался администраторов, хотя бы в районном масштабе, он приобретал формы столкновения между отсталым председателем райисполкома и передовым секретарем райкома.

Так реально существовавшие противоречия превращались в схему, решительным образом противоречащую жизни.

И когда Валентин Овечкин в «Районных буднях» с большим мужеством показал вдруг реальный конфликт, возникший в недрах одного из райкомов между двумя секретарями, и впервые в нашей послевоенной литературе поставил вопрос о стиле партийного руководства, во многом опреде-

ляющего судьбы миллионов и миллионов людей,— это было новаторским шагом вперед. И то, что все нескрываемые, более того, настойчиво подчеркиваемые всей образной тканью произведения сознательные симпатии писателя принадлежали тому стилю руководства, борцом за который был положительный герой — второй секретарь райкома Мартынов,— стало сильной стороной произведения.

Отставная идейность в литературе, Шедрин писал: «Ничто в такой степени не возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые стороны предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии». И все сознательные антипатии писателя, весь текст и подтекст — весь критический огонь направлен на извращения, на отклонения от ленинского стиля руководства, на ошибки, во многом протекающие из условий, созданных культом личности, и персонафицированные в отлично выпisanном образе первого секретаря райкома Борзова, точно определенная индивидуальность которого с еще большей силой подчеркивала типичность этого образа.

И этот новаторский шаг и точно определенная партийная позиция автора позволили ему создать произведение, прогрессивные тенденции которого с течением времени не только не уменьшаются, но скорее увеличиваются.

Мне могут сказать, что это только теперь, в свете огромнейших сдвигов, произошедших за последние годы, в свете небывалой по размаху созидательной и неразрывно с ней связанной очистительной работы, которая проделана нашей партией, мы можем именно так прочитать произведения Овечкина.

И это, конечно, верно. Древняя поговорка говорит: «Железо острит железо, а друг острит взгляд друга своего». Принципиальная правдивая критика, раздававшаяся с трибуны XX партийного съезда и пленумов ЦК, обобщая коллективный опыт, сделала наше видение действительности глубже и взгляд наш острее, и мы теперь можем увидеть и в литературных явлениях то, что в них есть и первоначально не только не замечалось нами, но, вероятно, до конца не было додумано и самими автором, хотя он вел бой на передней линии.

В те годы, кажется, вся наша литература проповедовала, что все дело в качествах

человека, вне зависимости от тех обстоятельств, в которых ему приходится действовать. Если обстоятельства складываются неблагоприятно, настоящий деятель сумеет их перебороть во что бы то ни стало, сумеет преодолеть, игнорируя их или ломая. Если можно так сказать, это было своего рода волюнтаристское проявление субъективизма. Так, в десятках или даже сотнях произведений показывали, что все зло в председателе колхоза — пьянице, и стоит его заменить трезвым, как все образуется. Вопрос о материальной заинтересованности колхозников в своем труде при этом почти игнорировался. Забывалось, что труд, будучи делом героизма, доблести и славы, вместе с тем есть источник существования трудящихся. Вопросы экономические, вопросы организационные, жгучие, насущные интересы людей подменялись чисто этическими проблемами. И в этом проявлялся субъективизм у одних писателей, так же как у других он проявлялся в лакировке.

«Районные будни» на несколько голов возвышались над этим литературным потоком. Однако и тут читателю могло показаться, что все дело (как, кстати, казалось и главному герою Мартынову) в отрицательных свойствах характера Борзова, в личных его недостатках, а обстоятельства, в которых он действует, — вещь второстепенная.

Но так как Мартынов, по сути дела, боролся за ленинский стиль руководства, то даже эти его иллюзии не смогли исказить реальной картины действительной жизни, а мысль о том, что все дело в личных свойствах людей, помогла писателю создать ярко очерченные и противопоставленные друг другу характеры, само движение которых могло стать пружиной всего повествования. Характер Мартынова не был так определенно закончен в первых главах этого цикла не только потому, что он больше наблюдал и размышлял, чем действовал, а главным образом потому, что в самой жизни ему еще предстояло развиваться, формироваться.

Логика правильно развивающейся партийной жизни привела к поражению Борзова. Но для того, чтобы победа Мартынова не стала формальной, он должен был проявить себя в действии. И вот тут-то он и столкнулся с обстоятельствами, вставшими поперек его законных и благих пожеланий, теми обстоятельствами, в которых с наибольшей силой могли проявиться отри-

цательные свойства характера Борзова, обстоятельствами, которые сами участвовали в формировании такого характера. Если вначале Мартынов, встретившись с недобросовестной работой тракториста, думает, что все дело лишь в недостатке «совести» у тракториста, то вскоре он убеждается, что «нельзя рассчитывать лишь на совесть. Не с ангелами имеем дело — с людьми». Трактористу выгоднее убирать с гектара десять центнеров, чем тридцать. Так была построена система оплаты.

Перед Мартыновым проходят десятки своеобразных, прекрасных людей, умеющих работать и всей душой желающих отдать свой труд на общее дело, но труд их вследствие ряда условий не дает полной отдачи. Обстоятельства и условия встают над людьми.

Мартынов возмущался директором МТС Глотовым, который в ответ на упрек в пассивности отвечал: «Пассивность... А я слушал, Петр Илларионович, как ты с трактористами разговаривал, и удивлялся твоей активности. «Что еще, по вашему мнению, нужно поправить, что еще нужно изменить?» Будто от тебя это все зависит: завтра же последуют нужные решения, и пойдут у нас дела как по маслу. Слушал я тебя и, по правде сказать, посмеивался в душе». И хотя, повторяю, Мартынова эти слова возмущают, но он все больше и больше убеждается, что встающие перед ним противоречия не являются только столкновениями разных характеров и местными неполадками.

Неизвестно, как развивались бы в тех условиях деятельность и характер Мартынова. Превратился бы он — нет, не в Борзова, но, скажем, во все понимающего, однако ставшего равнодушным Глотова? Стал ли бы лишь проповедником, чьи прекрасные слова противоречат каждодневной будничной практике, или чиновником вроде Медведева? Возможно, он сделался бы этаким подвижником, то трагическим, то смешным Дон-Кихотом в борьбе с обстоятельствами, которые он побороть не мог? Сейчас этого мы сказать не можем. Ведь Мартынов только созрел как руководитель, когда в жизни страны произошли огромные живительные перемены, которые вдохновили на борьбу тысячи мартиновых в разных краях, вдохнули новые силы в сердца притомившихся глотовых, воодушевили миллионы и миллионы людей. Осуществилось то, во что верил Мартынов и во

что уже переставал верить Глотов, говоря: «Будто от тебя это все зависит: завтра же последуют нужные решения, и пойдут у нас дела как по маслу».

Последовали нужные решения.

Необходимые стране, сельскому хозяйству, колхозному крестьянству решения сентябрьского Пленума ЦК 1953 года отбросили в сторону многие из сковывающих инициативу правил, создали ряд новых обстоятельств, помогающих развитию тех черт характера, которыми привлекали нас и Мартынов, и старик Ступаков, и бригадир Николай Бережной, и многие другие персонажи книги В. Овечкина.

Но, конечно, было бы наивно думать, что раз приняты «нужные решения», то сразу и пойдут у нас дела как по маслу». Только совершенно оторванный от жизни догматик или закоренелый бюрократ может верить в такую всепасающую силу одной только резолюции. Да и самые решения эти уточнялись, совершенствовались от одного пленума ЦК к другому, творчески отражая опыт каждодневной борьбы народа за их осуществление.

Дела не могли сразу идти как по маслу хотя бы потому, что действовала страшная сила привычки к шаблону, к администрированию, к средней цифре, смазывающей индивидуальные особенности. Без борьбы с носителями этих привычек нужные решения не превратятся в явь.

«Очерку нет пока продолжения, так как пишется он почти с натуры. Он, может быть, вырастет и в повесть, но для этого необходимо развитие событий в жизни», — признавался автор, заканчивая «Районные будни». Как мы видим, в жизни развитие произошло. И очерк стал расти, а вместе с ним выростал писатель, развивая те особенности своего дарования, которые так привлекли к себе читателя еще в рассказе «Гости в Стукачах» (1940) и повести «С фронтовым приветом» (1944).

В борьбе за обилие продуктов, в борьбе за подъем сельского хозяйства партия приняла последовательно одну за другой ряд важнейших мер, чтобы сбросить путы «вредящих обстоятельств» и разбить «вредные привычки», дававшие простор характерам вроде Борзова. Одно только снижение сельхозналога и увеличение заготовительных цен резко повысило доходы колхозов. Эти меры сочетались с новым потоком сельскохозяйственных машин и орудий, с огромной волной людей, хлынувшей из города в

сельское хозяйство. Превращение миллионной армии сельских механизаторов из сезонников в рабочий класс дополнялось борьбой против шаблонной агротехники. Всенародный поход за освоение целины на востоке и юго-востоке Союза сочетался с отменой старой системы планирования сельского хозяйства, тормозившей его развитие.

И вот эта многообразная борьба — то с врагом, который выступал в облике стихии: засухи, дождей, морозов, то с врагом, с которого порой не так-то легко сорвать маску, ибо «бюрократы ловкачи», — борьба и с ошибками хороших людей, не умеющих сделать из своего опыта нужные выводы, борьба за реализацию преимуществ социалистической системы сельского хозяйства и стала содержанием деятельности Мартынова. Он окунулся в нее со всем энтузиазмом человека, ждавшего и дождавшегося «прекрасных решений по сельскому хозяйству — того, о чем мы с тобой могли лишь мечтать несколько лет назад». Эта борьба и составила содержание всех последующих глав последнего произведения Валентина Овечкина.

Вести ее Мартынов может, лишь опираясь на передовых людей, отыскивая их, раздувая у других тот незаметный сразу огонек, который тлеет в глубине души каждого, чтобы, как говорил Толстой, в нужную «роковую минуту» вспыхнуть ярким пламенем. И перед нами проходит целая портретная галерея советских людей. Тут и Марья Сергеевна Борзова, бывшая трактористка, председатель колхоза Опенкин — Демьян Богатый, и дед Ступаков — повар на полевом стане трактористов, и «тадеулянт» — лесничий Дорохов, и предрика Руденко, и много других замечательных, оригинальных, по-своему талантливых людей, опираясь на которых партия может в кратчайшие сроки осуществить поставленные цели. Но наряду с конкретными, живыми образами появляются в книге и такие персонажи, единственная задача которых — сообщить Мартынову, а через него и читателю еще о каком-либо одном мелком или важном обстоятельстве, которое мешает, тормозит, сковывает и т. д. И часто мы, запомнив, о чем шла речь, испытываем недовольство, раздражение и даже негоду на это обстоятельство, обычай, привычку, с трудом припоминаем того человека, который довел до нашего сознания это «вредящее обстоятельство».

Обстоятельства выходят на первый план — характеры как будто на время отступают. Зато агитатор, работник сельского хозяйства, председатель колхоза, да и все читатели, заинтересованные жизнью советской деревни, получают точное описание «вредящих обстоятельств», часто настолько сложных, что только такому вникающему во все мелочи идейному человеку, как Мартынов, под силу разбраться в них. Да и он-то разбирается до конца лишь с помощью советчиков — опытных трактористов, старых шоферов, молодых доярок, секретаря обкома Крылова и т. д.

Обстоятельства обступают его, он их фиксирует одно за другим, анализирует, ищет корни, истоки, думает о средствах, о путях преодоления. Порой целые страницы превращаются в своеобразный перечень, реестр, описание или анализ этих «вредящих обстоятельств». Однако этот анализ не только проникнут подлинным оптимизмом, но и вдохновляюще, приподымающе действует на душу читателя, потому что Мартынов, а с ним и читатели верят и знают, что эти вредящие обстоятельства силой народа, ведомого партией, будут преодолены.

Увлеченный этой аналитической работой, Мартынов мыслит уже главным образом об обстоятельствах. Характерно, что он, по-прежнему нетерпимо относясь к борзовщине, становится как-то снисходительнее к самому Борзову, словно видит в нем не столько активного носителя этих обстоятельств, сколько их порождение.

Начинает уже казаться, что автор вместе с Мартыновым уверовал во всемогущество обстоятельств и стал думать, что характер человека мало что может определить. И это происходит в произведении именно тогда, когда объективные условия начали складываться так, что способны помочь людям по-настоящему партийным, ищущим, инициативным преодолевать встающие на пути развития препоны. Никогда раньше не были так правильны и своевременны слова о том, что застой или неустанное движение вперед в сельском хозяйстве зависят теперь главным образом от личных свойств руководителей.

И вот тут-то силой движения самой жизни на первый план повествования выходит прибывший из Москвы инженер-металлург, старый коммунист Долгушин. Этот пятидесятичетырехлетний человек, бывший директор завода, ни в детстве, ни в зрелом возрасте никакого дела с дерев-

ней не имел и узнал немного деревню лишь в гражданскую войну, когда в отрядах ЧОНа гонялся за бандами.

Большая часть «Трудной весны» посвящена, по сути дела, рассказу о том, как Долгушин, преодолевая свое незнание сельского хозяйства, косность многих аппаратных работников и все те старые, вредящие, не изжитые еще обстоятельства и новые, возникшие на современном этапе, опирается на уже принятые партией решения и, действуя последовательно и энергично, добивается за один год резкого перелома, подъема в зоне недавно самой отсталой Надеждинской МТС.

Читатель видит, как Долгушин последовательно, решительно, в действительности раскрывает те огромные возможности, которые заложены в этих решениях, как он, ни на секунду не переставая быть принципиальным и требовательным, умеет подойти к каждому человеку, как, опираясь на широкую инициативу масс, борется с тем, что мешает движению вперед.

И с каждой страницей читатель все больше и больше убеждается в том, что имеет дело с точно очерченным характером, не сочиненным писателем, а взятым из жизни и творчески преображенным, — характером положительного героя.

Долгушину нелегко, как нелегко и Мартынову, но если порой может показаться, что Мартынов способен превратиться в аскета-подвижника, то все, что мы знаем о Долгушине, все, что он делает с таким талантом, нисколько не рисуясь, говорит нам: нет, не подвижник он. Его образ воплощает в себе лучшие черты передового человека нашей эпохи — коммуниста.

Мысль и действие у него неразрывны. Теория и практика не просто связаны, а нераздельны. Души людей для него так же интересны и важны, как экономические проблемы.

Когда в больнице Борзова говорит лежащему на койке Мартынову: «Сердечный он, Долгушин, широкой души человек. Хватает его и на большое государственное дело, и не пройдет мимо чьей-то нужды», — то читатель знает, что это не декларация, не одно лишь желание автора видеть таким своего героя, — он действительно таков. Идеальный герой? Таких в жизни не встретите? Лакировка? Ничего подобного. Образ Долгушина встает перед читателем реальным и жизненным, наполненным индивидуально неповторимыми свойствами и

качествами, и вместе с тем качествами обобщенными, типическими.

После того как писатель создал тип-характер Борзова — откровенно отрицательный, обобщенно отражающий целое общественное явление, в этом же произведении, в завершающей его части, ему удалось создать другой обобщающий характер, положительный образ коммуниста-руководителя.

По сравнению с Борзовым Мартынов для нас бесконечно симпатичен. Он привлекает нас силой своего анализа, тем, что широко охватывает действительность, умеет связать «мелочи» с общей направленностью движения. Но наблюдательность, отыскивание, фиксирование обстоятельств, тормозящих развитие, начинают казаться несколько утомительными. Иные критики полагали даже, что в этом сказалось пренебрежение автора к испытанным приемам художественного мастерства, тогда как именно в этом и сказывался такт художника, который, создав цельный характер, развивающийся согласно своей внутренней логике, не вмешивается в живущий своей жизнью образ, не подгоняет его к заранее им самим заданным нормативам.

Мартынов — журналист, и профессия эта не случайна. Это — призвание человека, душевное влечение его. Вот почему он так наблюдателен (в этом он попросту талантлив). Вот почему он так стремится дойти до причин, до корней. Вот почему у него так развито чувство анализа (здесь он бесстрашен — поэтому-то он так и нужен и полезен своей партии). Как отличный журналист он не только наблюдатель, оценивающий и осмысливающий факты, но и прекрасный пропагандист. Долгушин не такой силы аналитик, не такой прекрасный пропагандист, но у него, оказывается, есть качества, которых, как потом выясняет для себя Мартынов, не хватает ему самому. Те качества партийного руководителя, организатора, которые Мартынов — возлагая на Долгушину присущи, как дыхание, они естественны, проявляются в каждом его действии.

Мартынова после поездки в колхоз «Борьба», где творились безобразия, несколько дней мучила бессонница, он даже заметно похудел, под глазами легли синие круги, и он долго обдумывал, что делать с такими колхозами, как «Борьба». А в колхозе этом

некоторое время все шло по-прежнему. Долгушин же, директор МТС, приехав в подобный же колхоз «Рассвет» в горячие дни весеннего сева и видя, что в колхозе есть люди, на которых можно опереться, на свой страх и риск (самовольно вмешиваясь не в свое дело) созывает вечером в колхозе открытое партийное собрание. И это необычайное собрание, действующее, как благотворная хирургическая операция, преобразует жизнь колхоза. Если, только очутившись в результате автомобильной катастрофы на больничной койке, Мартынов начинает понимать, что по-настоящему хороший руководитель должен всегда готовить себе замену, то действия Долгушина в этом направлении настолько естественны, что веришь: когда он уйдет из МТС, дела там не пошатнутся.

И вот силой своего талантливого анализа Мартынов, как это ему ни больно, доходит до сознания, что именно Долгушину, а не ему, следует быть секретарем райкома и что он, Мартынов, придя к этому убеждению, должен сделать все от него зависящее, чтобы Долгушин занял его место.

«Его место?»

Объясняя свою позицию секретарю обкома, Мартынов говорит: «Вот я поднял вопрос о Долгушине. Это — не из личных симпатий. Мне, прямо скажу, не очень приятно было, когда я убедился, что Долгушин в своей зоне гораздо лучше руководит колхозами, чем получалось это у меня... Я не за него стою, а за принцип! Партийные органы — выборные органы. И профессионализация здесь, пожалуй, менее всего нужна. Да, вчера я был секретарем райкома в Троицке. А сегодня коммунисты, решив, что в парторганизации есть более подходящая кандидатура, избирают секретарем райкома Долгушину. Что же из того, что он не был никогда на партийной работе? Это, может быть, даже к лучшему...»

Да, Мартынов ведет себя так, как должен вести настоящий коммунист, и если он окажется в новом районе, в Грязновке, то, мне кажется, там он будет еще лучшим секретарем райкома, чем был в Троицке: второй раз «об одну и ту же кочку не споткнется». Но мне кажется, что еще, может быть, лучше, если он станет журналистом, редактором большой газеты, литератором. Здесь его сила, здесь его призвание.

В последнем своем письме, обращенном к

съезду партии, Ленин, думая о том, какими свойствами должен обладать руководящий работник в советском обществе, писал: «Я замечал у некоторых наших товарищей, способных влиять на направление государственных дел решающим образом, преувеличение администраторской стороны, которая, конечно, необходима в своем месте и в своем времени, но которую не надо смешивать со стороной научной, с охватыванием широкой действительности, способностью привлечь людей и т. д.». «Я думаю, — писал далее Ленин, — что здесь одинаково вредно преувеличение «администраторства», как и всякое преувеличение вообще. Руководитель государственного учреждения должен обладать в высшей степени способностью привлечь к себе людей и в достаточной степени солидными научными и техническими знаниями для проверки их работы. Это — как основное. Без него работа не может быть правильной. С другой стороны, очень важно, чтобы он умел администрировать». «...Такое соединение характеров и типов (людей, качеств) безусловно необходимо для правильного функционирования государственных учреждений».

Сочетание этих качеств Ленин считал идеалом для руководящего государственно-го деятеля.

Оставаясь верным жизни, В. Овечкин, как мне думается, в образе Долгушина сумел создать такой живой, достоверный характер, который, являясь выразителем лучших традиций нашей партии, действует сегодня в полную меру своих талантов.

Рядом с образами коммунистов — Павлом Власовым и Павлом Корчагиным, чапаевским комиссаром Клочковым — Фурмановым и Левинсоном, Глебом Чумаловым и героем «Педагогической поэмы», рядом с Давыдовым и Батмановым — ныне встали образы журналиста Мартынова и инженера Долгушина, коммунистов с такими разными характерами и судьбами, но схожих своей убежденностью в неотвратимости победы коммунизма и стремлением «своими руками» победу эту приблизить.

И надо быть очень близоруким, чтобы в то время, когда на страницах «Трудной весны» под пером писателя возникали такие картины, как картина подготовки партийного собрания в колхозе «Рассвет» или разговор Долгушина с трактористами, когда перед глазами читателя шаг за шагом вырастал характер Долгушина, говорить об

«отходе писателя от изображения характеров, от внутреннего мира героев», как это сделала Г. Николаева, а вслед за ней и некоторые другие критики.

4. КИБЕРНЕТИКА И КРИТИКА

В прошлые годы считалось достижением, когда заготавливалось по два с небольшим миллиарда пудов хлеба. В минувшем году сдано в закрома государства более трех миллиардов трехсот миллионов пудов хлеба. Но и эта цифра еще не полностью характеризует все благотворные сдвиги, происшедшие на селе. За каждым пудом хлеба стоят живые люди с их делами и страстями. И нельзя упрекнуть нашу литературу в том, что она не показывает их. Более того, я не побоюсь сказать, что какая-то доля в этих успехах принадлежит и литературе, и как раз не той ее части, которая всегда видела во всем одни лишь успехи.

Однако несомненные успехи по-разному влияют на людей. На одних они действуют, как успокоительное лекарство, демобилизующе, на других — как возбуждающее, зовут к действию, вдохновляют на дальнейшую борьбу.

«— Я недоволен нашей печатью, — говорит секретарь обкома Крылов Мартынову. — Разворачиваешь номер областной газеты — материал на три четверти критический. Там недостатки, там непорядки, там преступления. Нельзя же так односторонне освещать жизнь. Да, скажем прямо, до сентябрьского Пленума трудно было найти в деревне хорошие образцы и партийной работы и хозяйственного руководства. Но с тех пор прошло уже немало времени. Уже есть большие сдвиги. Сейчас нам надо уже не столько бичевать недостатки, сколько утверждать то новое, хорошее, что появилось у нас!»

— Я знаю по своей газетной практике, Алексей Петрович, — сказал Мартынов, — что очень трудно отделить одно от другого — бичевание недостатков от утверждения хорошего. Это взаимосвязано. Мне, например, никогда не удавалось написать статью о чем-нибудь хорошем, чтобы тут же не разозлиться на плохое, которое мешает этому хорошему еще лучше развиваться».

В словах Мартынова, мне кажется, обобщен опыт писательской работы не только самого Овечкина, но и опыт целой плеяды

выступивших сейчас на литературную авансцену молодых талантливых писателей.

Проанализировав слова и позицию Крылова, Мартынов думает, что «его, конечно, можно по-человечески понять. Больше десятка лет работает уже секретарем обкома, в других областях и у нас, и все в трудных условиях. Ему уже хочется поскорей увидеть полный порядок всюду и сплошное довольство. Хочется нового «Кавалера Золотой Звезды» почитать, только лучше написанного и уже про наши дни. А тут опять — о недоработках, неполадках, неурядицах».

Французская поговорка «Понять — значит простить» здесь оказывается недействительной.

Поняв позицию Крылова, Мартынов не только не прощает, а, наоборот, весь внутренне собирает, чтобы противостоять ей. И, может быть, вот эти слова Крылова и становятся той каплей, без которой Мартынов вел бы себя, что называется, «тактичнее» и не устроил бы в кабинете Крылова такой бурной сцены второму секретарю обкома Масленикову.

Во всяком случае, когда речь заходит о несомненных успехах в сельском хозяйстве, Мартынову гораздо ближе позиция Гребенкина, председателя колхоза из «Сибирских встреч» Леонида Иванова.

Журналист, от имени которого ведется здесь повествование, написал хвалебный очерк о председателе колхоза Медведеве — тридцатитысячнике, прибывшем из города. За один год Медведев помог поднять доходы артели в полтора раза. Успех! Но вот журналист встречает другого председателя колхоза, Гребенкина, с которым они вместе учились когда-то в одном институте. Работая уже в обкоме партии, Гребенкин в числе первых подал заявление о том, что хочет поехать в деревню.

И сразу же между старыми друзьями загорается спор. Гребенкин тоже, как и Крылов, недоволен газетами, но совсем по другим причинам.

«— Я зол на вашего брата — корреспондентов!»

И дальше Гребенкин атакует рассказчика за очерк о «хорошем председателе» Медведеве.

«— Миллионеры, видите ли! И все сделал новый председатель».

— Так это же правда, факт!

— Тем хуже для фактов, — неожиданно рассмеялся Гребенкин. — Неужели ты не

мог поглубже заглянуть? Почему, скажем, тот колхоз снизил товарную сдачу продукции?

— А ты как это узнал?

— Из твоих фактов. Пойми, браток: если бы в том колхозе оставался старый председатель и тот за год не двинул бы хозяйство ни на один шаг, то доходы увеличились бы не в полтора, а в два раза! Непонятно? Разъясню... За год тракторный парк удвоился, кадры МТС укрепили, машин двинули в деревню уйму, затем цены на продукты увеличили в несколько раз. И все это в придачу новому председателю. Некоторые новые председатели рапортуют: доходы увеличились в два раза. А ваш брат, корреспондент, тоже раскудахтался — в полтора раза!»

Вот какова позиция Гребенкина: вижу, что дела заметно улучшились, знаю причины, корни этого сдвига, но также знаю, что можно было, нужно было сделать больше, что это только начало. А чтобы сделать больше, надо убрать с пути все, что мешает.

Да, неотделимо бичевание недостатков от утверждения хорошего. И прав не Крылов, а Мартынов. Ведь даже в речах, посвященных такому праздничному событию, как вручение орденов республикам и областям, в речах, прозвучавших недавно во Фрунзе и Воронеже, Ташкенте и Омске, Сталинабаде и Чкалове, Барнауле и Саратове, говорилось о том, что «мы должны и впредь смело вскрывать недостатки в своей работе с тем, чтобы их быстрее устранять».

В этом году собрано в закрома Союза на один миллиард пудов зерна больше, чем в любом, самом урожайном году за всю историю нашего государства. Но для того, чтобы наша страна производила 11 миллиардов пудов хлеба в год, необходимо, чтобы амбарный урожай колосовых достиг в среднем по всей стране 85 пудов с гектара. Этого еще нет. А добиться этого можно и нужно! В Курганской области, в колхозе «Заветы Ленина», где полеводом работает Терентий Мальцев, в последние годы при любой погоде — заморозках, засухах летом, дождях при уборке — меньше чем 114 пудов зерна с гектара не собирали. Орденосная Московская область в прошлом году получила по 10,3 центнера с гектара зерна — почти вдвое больше, чем окружающие ее Калининская, Ярославская, Калужская и Рязанская области. Но ведь

в самой Московской области есть хозяйства, получающие и до 30 центнеров с гектара.

Да, точка зрения Мартынова и Гребенкина точнее, чем крыловская, выражает линию партии. Ведь в Обращении ЦК КПСС и Совета Министров ко всем земледельцам, где во весь голос говорится о тех сдвигах, которые произошли в последние годы, почти нет абзаца без критики отстающих, критики, указывающей ближайшей перспективы развития.

Там можно прочесть и о том, к чему могут привести и приводят настроения успокоенности, так точно выраженные Крыловым. «...Не удивительно, что в 1956 году неожиданно для руководителей некоторых обкомов и даже райкомов партии обнаружилось колхозы, в которых дело не только не поправилось, а стало даже хуже. Это явилось следствием того, что к подбору кадров председателей не везде отнеслись добросовестно, и в ряд колхозов были рекомендованы люди слабые, безынициативные, а порой и просто не желающие честно выполнять порученное им большое и почетное дело».

Об этом самом говорил Леониду Иванову и его старый друг Гребенкин.

Но все дело в пропорциях, утверждают сейчас некоторые литературные критики, разделяющие точку зрения Крылова.

На практике же это почти всегда выглядит как арифметический подсчет: сколько положительных героев в произведении и сколько отрицательных персонажей, на каких ступенях служебной лестницы находятся хорошие люди и какие должности занимают плохие, сколько теневого случая описано автором, а сколько — солнечных. Пожалуй, это даже не арифметика, которая требует конкретных и точных чисел, а уже алгебра с подстановкой в заранее готовую формулу искомым критиком величин. Такой критикой с успехом могли бы заниматься и не очень сложные счетные машины. Подлинную же литературную критику нельзя заменить кибернетикой, потому что в настоящей литературе дело не в алгебраическом соотношении хорошего и плохого, не в соотношении чисел, а в отношении автора, не в пропорции, а в позиции.

В ответ на схожие рассуждения о необходимости пропорции в изображении положительных и отрицательных героев Белинский писал: «Стало быть, по-вашему,

живописец оклеветал бы женщину вообще, если бы представил на картине Медею, убивающую, из чувства ревности, собственных детей? Стало быть, вы будете осуждать его за то, что он не поместил на своей картине фигуры добродетельной женщины, которая бы всем выражением своего лица и взора, всею своею позою протестовала против ужасного действия Меден?»

Если к тендряковским «Ухабам» подойти с меркой арифметических пропорций, то выйдет, что на двадцать хороших, положительных лиц нашлось один бюрократ. Пропорции прекрасны! Но посмотрим соотношение. Один этот бюрократ свел на нет усилия большой группы прекрасных советских людей. Ясные пропорции исказились. И это соотношение, казалось бы, ухудшается еще тем, что мерзавца с работы не прогнали. Как же счетной машине здесь разобраться? А ведь для любого эмоционально грамотного человека ясно, что добро здесь торжествует, а зло наказано отношением к нему писателя, ставшим и читательским отношением.

Когда же Тендряков в заключительной главе повести «Саша отправляется в путь» снимает с должности карьериста Мансурова, то в этом уже нет художественной необходимости. Мансуров, который вначале так импонирует читателям и окружающим его людям, ходом всего повествования окончательно разоблачен писателем, внутренне осужден теми героями, которые вызывают горячее сочувствие читателей, и даже девушкой, которая дольше других была им ослеплена. Позиция автора и увлеченного им читателя ясна и без «оргвыводов» и не нуждается в них.

Концовка рассказа «Кочующий Шматюк» С. Жураховича, где зло остается непокаренным, художественно убедительнее концовки рассказа Троспольского, который на глазах читателя снял с должности и свел на нет аналогичного «кочующего» героя, «Прохора Семнадцатого, корня жестянщиков». В бытовом по замыслу рассказе сатира оказалась значительно глубже и острее, чем в рассказе специально сатирическом.

Позиция С. Жураховича совершенно ясна, поэтому он спокойно может кончить свой острый очерк такими словами: «Я сбавляю ехать, не дожидаясь решения о Шматюке. Мне даже странным показалось, почему я вчера, третьего дня с таким вол-

нением ждал этого решения... в кипении ежедневных дел и забот вопрос этот уже решен самой жизнью».

Позиция писателя воплощается и в тексте, и в подтексте, и в главной мысли, и в мельком ввернутом словечке, в еле уловимых оттенках диалога и в открытой авторской декларации. Даже, к слову, в такой мелочи, в том, как воспринимает Долгушин приход небритых трактористов, и в том, как реагирует секретарь обкома Маслеников на появление в райкоме чисто выбритого Долгушина. Сквозь лукавую усмешку видно отношение писателя к Долгушину, требовательному к другим и к себе, и к Масленикову, который во всех действиях других людей подозревает скрытые, корыстные мотивы.

Позиция автора раскрывается в действиях и характеристиках положительных, отрицательных и нейтральных персонажей произведений.

5. ОБЩАЯ ПОЗИЦИЯ

Девизом к своему «Деревенскому дневнику» Ефим Дорош мог бы взять слова Салтыкова-Щедрина: «Чем пристальнее художник вникает в эти текущие интересы которые он не без презрительной улыбки именует временными, тем более убеждается, что это суть интересы не менее важные... и что в конечном анализе не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным, уже по одному тому, что он интерес человеческий».

Откроем «Деревенский дневник» Ефима Дороша, такой несхожий с «Сибирскими встречами» Леонида Иванова, и увидим, что при всем различии художественных индивидуальностей писателей творческая позиция у них общая.

После хлопотного, жаркого дня писатель, оставшись наедине со своим дневником, записывает:

«Больше всего на дороге пешеходов: баб-ягодниц. Они идут обычно небольшими группами. В гору, с базара, они идут медленно, с порожними корзинами, в которые воткнуты ватники, платки с торчащими на них белыми батонами, иногда надломленными. А под гору, на базар, женщины почти бегут, согнув колени, пригнувшись под тяжелой ношей, двумя корзинами с ягодами на коромысле.

Ягод — вишни и малины — нынче очень много. Ягоды поспевают каждый день, только успевай собирать. Вот и мучаются бабы,— надо и в колхозе работать, на сенокосе, на прополке, надо и домашние дела справить, приготовить обед, подоить корову, надо и ягоды продать, да повыгоднее.

...Эти бегущие под тяжестью корзин женщины вызывают злые мысли о наших деятелях торговли, которые едва ли думают о том, как тяжело приходится такой вот бабе, и о том, что и сено, еще не скошенное или не убранное, и овощи, которые надо полоть, и хлеб, который вот-вот начнут жать,— что все это зависит от них, торговых деятелей, работы. А ведь среди них не мало, надо думать, коммунистов...»

И дальше идет ряд конкретных, легко осуществимых деловых предложений, и сразу становится ясным, как можно сделать так, чтобы и бабы с вишнями не мучились и колхозу и горожанам было выгодно.

Мы привели лишь один из многочисленных примеров, когда автор, наблюдая неполадки (а среди них есть и более сложные), тут же предлагает меры для их преодоления. При этом он исходит из опыта прошлого, из знакомого ему примера других колхозов или из собственных весьма обоснованных соображений.

Точно так же и герой «Сибирских встреч», изучив сельское хозяйство, зная и любя людей советской деревни, обладая широким кругозором, стремится не только назвать обстоятельства, мешающие развитию колхозов, но и помочь устранить их. Он тщательно вглядывается в опыт лучших, чтобы скорее передать его другим. И хотя временами произведение его и напоминает «перечень взаимных болей, бед и обид», оно полно, я бы сказал, энергического оптимизма, потому что, глубоко, страстно переживая боли, беды и обиды, с которыми ему довелось столкнуться, автор много думал и додумался до тех средств, которыми, по его мнению, можно излечить их. И не в отдаленном будущем, а сегодня же, завтра, послезавтра.

Вот это устремление вперед, конкретность критики и ее конструктивность, умение увидеть явления в движении, в развитии роднит очерки Леонида Иванова и с «Дневником» Ефима Дороша, и с «Трудной весной» Валентина Овечкина, и с по-

вестями Владимира Тендрякова, и с очерками Семена Жураховича, хотя взволнованный, нервный язык Иванова несколько не схож ни с плавным, спскойным, обстоятельно живописующим языком «Дневника» Дороша, ни с речью Овечкина, то аналитической, то проникнутой народным юмором, ни с задушевыми интонациями Жураховича.

Они и по творческому темпераменту разные.

У Леонида Иванова при встрече с вредящим делу обстоятельством первая эмоция — негодование. У Дороша — недоумение: почему, мол, существует такое неразумное положение, когда можно устроить гораздо умнее? Внимание же Овечкина сосредоточено на истории раскрытия вредящего обстоятельства, на организации самого процесса его преодоления.

Но при всем разнообразии их художественных индивидуальностей, жизненного опыта, литературной судьбы, степени мастерства — всех писателей этого творческого склада объединяет понимание коммунизма не как отдаленного идеала, а как реально достижимой и уже близкой цели. Поэтому-то они во всей своей литературной деятельности стремятся найти, назвать обстоятельства, которые тормозят, снижают темпы нашего продвижения к этой цели, с тем чтобы быстрее преодолеть их. Здесь уже требуется богатый жизненный опыт. Без него литературные выдумки сразу же обнаружат себя. Не спасет и «умение писать» — абстрактное мастерство. Одна лишь сила воображения породит пустые хлопущки, может быть блестящие, взрывающиеся с шумом, но все же пустышки.

Поэтому в подобных книгах наряду с образами героев в сознании читателя возникает образ самого писателя.

Характерно, что во многих книгах — у Е. Дороша, у Л. Иванова, у С. Жураховича, у С. Залыгина, у И. Антонова, у А. Калининна и у М. Жестева — повествование ведется от первого лица, и это первое лицо — журналист или писатель.

Вот почему Овечкин, выступивший в этой фаланге писателей первым, стал именем собирательным, в котором воплощаются те типические черты, которые народ любит и ценит в советских писателях. Мне довелось слышать, как про иных литера-

торов с ласковой гордостью говорят: «Это наш сибирский Овечкин» или «Это наш волжский Овечкин». А совсем недавно я узнал, что есть и «китайский Овечкин».

Так наряду с обывательским мифом о том, что наши писатели оторваны от народа и превыше всего ставят свой комфорт, что раньше они занимались только лакировкой, а теперь бросились в мелкое критиканство, в сознании читателя возникает образ писателя, живущего вместе с народом в горе его и радостях, не только в одни праздники урожая, но и в страду посевную и уборочную; писателя смелого, не боящегося сказать неприглядную правду и помочь увидеть ее, умеющего вовремя прийти на помощь в самом сложном и щепетильном деле.

6. НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

При создании произведений такого склада, о котором мы говорили, талант художника должен сочетаться со способностями исследователя, твердое знание достигнутого — с постоянной неудовлетворенностью уже достигнутым, чтобы полнее и быстрее можно было реализовать все преимущества, заложенные в социалистической системе, заложенные, но не всегда еще осуществленные и овеществленные.

Вот почему, хотя люди вроде Крылова и считают, что в деревне уже полностью разрешены все противоречия, писатели, о которых мы говорили, увидели, что и люди, прибывшие из города, и те, которые всегда трудились в колхозе, сталкиваются с такими обстоятельствами, которые сильно связывают руки тех, кто искренне и с полной отдачей хочет работать.

Одним из таких весьма сильно действовавших обстоятельств и была прежняя система планирования, сковывавшая творческую инициативу земледельца и создававшая питательную среду для бацилл бюрократизма. В рассказах, очерках и повестях В. Овечкина, М. Жестева, С. Залыгина, Е. Дороша, Г. Бакланова, Г. Николаевой, И. Антонова, в одних ясно и прямо, в других мелко или косвенно, показывалось это еще не названное тогда зло. Можно было с большей или меньшей ясностью увидеть своими глазами, к чему приводит в жизни это зло, как оно воздействует на развитие характеров, давая простор наилучшим качествам, как оно отражается на

отношениях людей, искажая и замутняя их чистоту.

В очерке «Лунная ночь», появившемся в первых номерах журнала «Октябрь» в 1955 году, Анатолий Калинин целиком сосредоточил внимание на этой проблеме. Писатель всем образным строем своего произведения — логикой развития характеров и действия — и прямыми словами доказывал, что необходимо изменить систему планирования.

Некоторые критики уже оттачивали перья, чтобы повергнуть в прах писателя, напавшего — только подумайте! — на систему планирования. Но статьи эти появиться на свет не успели, так как в марте того же года было обнародовано решение партии и правительства об изменении прежней системы планирования, не отвечавшей интересам ни колхозников, ни государства.

« — Главное в этом. — говорил товарищ Микоян 21 января в Ашхабаде, вручая орден Ленина Туркменской республике, — была ликвидация бюрократизма в деле руководства колхозным производством и раскрытие просторов для самостоятельности колхозов, чтобы они работали на благо себе и на благо государства. Были изменены методы планирования... Эта перестройка дала возможность развивать творческую инициативу колхозных масс».

Оказывается, основы Советской власти не в тех или иных способах планирования, которые могут с развитием изменяться, а в творческой инициативе колхозных масс. И правы были не те, кто хотел отстоять старые методы планирования, а писатели — разведчики нового. Однако возможность развивать творческую инициативу, не воплощаемая в действии, остается лишь возможностью. А действие, несомненно, наткнется на противодействие со стороны тех, кому новая система планирования доставляет неудобства. На их стороне будет инерция, неверие рутинеров в то, что новая линия взята всерьез, и, наконец, простое неумение многих работать по-новому. Лишь будучи познаны, эти противодействующие силы будут побеждены.

Надо быть бдительным, ведь «кочующий Шматюк» не спит.

Герой очерка С. Жураховича, председатель колхоза Панас Калистратович, рассказывает автору: «прочитал Шматюк о новом порядке планирования в колхозах и надулся. «Хорошее, — говорит, — постано-

вление, только как бы неразберихи у нас не вышло». Вижу, испугался человек. Самим планировать — так это же отвечать надо. Это ж думать надо! То, бывало, пришло план сверху, выполняй, и все. В случае какой-нибудь неудачи и поплакать можно: «Чужой дядя виноват, вон какой чертовщины напланировал...» А теперь все бери на себя. Спрашиваю его: «Какая же, товарищ Шматюк, неразбериха может быть?» Он только глянул на меня: «Дай вам волю планировать, так вы такой отсебятины нагородите...» Это у него любимое словечко — «отсебятина». «А что оно значит?» — прикинулся я дурачком. Шматюк объясняет: «Это значит от себя, по своему разумению будете мудрить». А я ему: «Так это же хорошо, коли от себя! Конечно, и чужое разумение полезно, а если я к нему прибавлю свое, так и двойная польза будет». Шматюк, замечаю, уже сердится: тебя, мол, всегда на «отсебятину» тянет.

...Я рассмеялся, а Панас Калистратович рассердился:

— Хороши смешки-хаханьки... А мы с нашим планом совсем потеряли голову. Пять раз в район вызывали. Тут подрежут, там подкинут. Еще б немножко — и от моей «отсебятины» и следа бы не осталось... Я говорю так: руководи, направляй, подсказывай, но дай же и мне мозгами пошевелить, послушай и меня, а ежели я не прав, покажи в чем. А от Шматюка я лишь одно слышу: «Выполняй то, что тебе велено».

Не случайно Журахович назвал Шматюка кочующим. Он работает не только на Украине, но и на Кубани. В результате его действий председатель колхоза Оноприенко, как об этом рассказывает Вячеслав Пальман в повести «Раздоры на хуторе Вишняки» («Наш современник» № 2 за 1956 год), узнав о новом методе планирования, «усмехнулся только и подумал в душе: «Э, один разговор. Пошумят, пошумят, да и спустят опять сверху план».

О таких же явлениях рассказывает и в «Сибирских встречах» Леонид Иванов. И если бы решение о новой системе планирования было уже проведено в жизнь, разве была бы возможна та трагедия, свидетелями которой стали читатели в повести Тендрякова «Саша отправляется в путь»?

А в «Деревенском дневнике», спокойно, внимательно и трезво обдумывая то, что происходит перед его глазами в колхозах под Райгородом, Ефим Дорош записыва-

ет: «Из всего этого следует, что новый порядок планирования из-за канцелярских методов, которые губят живое дело, пользы пока что не принес».

Из многочисленных причин, тормозящих развитие инициативы и мешающих внедрять новый порядок планирования, причин, на которые единодушно указывают авторы названных произведений, скажем несколько слов только об одной.

Речь идет об обязательных, диктуемых сверху сроках посева. И, как видим из всех названных и неназванных произведений, в огромном большинстве случаев это бывают ранние, если даже не сверхранные сроки. Так и на Украине (С. Журахович), и в Сибири (Л. Иванов), где, как известно, климат совсем другой. Так и в засушливой центрально-черноземной России, так и в Ярославской мочливой, подзолистой области (Е. Дорош). Такие вещи происходят даже в том районе, откуда не так давно был изгнан Борзов: «Если Медведев очень уж нажимал, чтобы начинали сеять в холодную почву просо или кукурузу, грозя за промедление всяческими карами, — Глотов давал указание бригадирам обойти загоны сеялками по разу и на этом пока прекратить, а сам сообщал в район, что посеяно 30—40 гектаров (чтобы открыть сводку и этим несколько успокоить Медведева), и после этого еще несколько дней не сеял, выжидал теплой погоды. Это уже было — борьба с преступлением методом преступления же, но не столь тяжелого из своим последствиям для урожая, как посев поздних культур в непрогретую почву. Лавируя так и сяк, невозмутимый, спокойный на вид Глотов сумел все же выдержать и хорошее качество обработки земли и наилучшие сроки сева всех культур».

Если некоторые литераторы сообщают о столь настоятельной и требовательной начальственной любви к ранним срокам просто как о факте, то другие стараются отыскать причины такого явления.

Ефим Дорош называет причины психологические. «Это ведь так заманчиво — отрапортовать областному начальству: начали сеять, начали пахать... Это ведь так заманчиво — прочитать о себе в газете: такой-то район первым в области начал уборку, приступил к севу... Зуд этот передается и кое-кому в колхозах, председателям — редко, разве неопытным или карьеристам, агрономам — чаще...»

И в связи с этим, думая о силе привычки, о силе инерции, которая давит и на очень хороших людей, писатель вспоминает о разговоре, свидетелем которого он был прошлой весной. «Было еще очень сыро, земля не поспела, со дня на день ожидали, что она поспеет. И вот секретарь райкома спросил председателя райисполкома, не слышал ли он, говорят — в таком-то районе вроде бы начали сеять. Спросил и тут же рассмеялся, несколько виновато сказал, что вот, мол, как трудно отделаться от этой привычки, так, мол, и подмывает выскочить первым».

Если Ефим Дорош к вопросу о причинах гонки сева каждой весной подходит со стороны «психологической», то Леонид Иванов трактует его со стороны, так сказать, исторической. Председатель колхоза Иван Иванович, этот последний из могикан в районе, самородок без образования, но зато с огромным опытом и организаторским талантом, объясняет дело так: «А насчет сроков, понимаешь, все-таки вину должны взять местные власти, ну и... конечно, областное начальство. Я тоже думал: почему так получается, откуда все началось... А началось это, думается, с первых годов колхозной жизни... Когда объединились, начали посевные площади сильно увеличивать, распахать залежи, а тягла маловато. Вот тогда, действительно, сеять начинали, когда только можно на землю захватить, а кончали, как запрещение придет. А приходило оно где-нибудь в середине июня. Тогда и апрельские посевы давали урожай выше, чем июньские. Да июньские-то часто под заморозки попадали. Вот тогда-то и стали бояться упустить срок сева. И правы были! А потом техника, понимаешь, стала прибывать, сроки сева сокращались, только вот беда: сокращались они не с двух сторон, а с одной. Надо бы начинать с краев да поджимать их к середине, а у нас сжимали от июня к апрелю, середину-то отбросили. Шум с началом сева начинается, как и в те тридцатые годы. А если по-серьезному взглянуть, то тут и шуметь нечего. Посевная теперь — самая легкая работа. Земля вспахана с прошлого года, культивирую да сей. Вот я и говорю: можно за восемь дней отсеяться. А начни мы три дня назад посев, половину уж посеяли бы, а что толку? Ущерб государству и колхозу. А наш Михаил Иванович все равно шумит, как и в тридцатые годы...»

Мне кажется, что огонь, открытый автором против ученых, рекомендуемых ранний сев, не всегда достигает цели. При определенных условиях такой сев может быть и полезен. Здесь правильнее было бы сказать, что земледельцы должны получить возможность в зависимости от погоды, от состояния почвы, от наличия техники, оперируя теми или иными сортами, соотносясь с выводами науки и своим опытом, сами решать в каждом отдельном случае, когда им сеять. Тем более это стало правильным сейчас, когда сельское хозяйство обладает таким большим и все нарастающим количеством специалистов.

К этому выводу подводит читателей и сам автор.

С трибуны областного агротехнического совещания выступает герой очерков тридцатитысячник Гребенкин, в колхозе которого за два года оплата трудодня выросла в восемь раз. Он не только говорит, что успех этот стал возможным, потому что колхоз в полной мере использовал предоставленное ему право самому планировать сельскохозяйственное производство, но и добавок предлагает сделать следующий шаг — предоставить колхозам самим планировать не только площади и культуры, но, к примеру, и сроки сева и применение тех или иных приемов агротехники.

Писатель, выступающий с новаторскими предложениями, всегда должен быть готов к критике со стороны людей, заинтересованных в существе дела, и к окрику со стороны тех, кому кажется, что лучше, чем есть, уже не придумать. В данном случае, к сожалению, вместо критики раздался окрик.

В газете «Советская Сибирь» (за 25 ноября 1956 года) два журналиста — А. Китанник и К. Немира — ополчились на писателя Л. Иванова. Произведение, которым журналу «Сибирские огни» следовало бы гордиться, объявляется путаным, неверным, проповедующим отсталые взгляды, умаляющим роль науки. Об этой статье следует сказать несколько слов потому, что, к сожалению, методы, примененные в ней, в той или иной мере типичны и для многих других критических статей.

Хотя авторы и заверяют читателей в том, что им нравятся произведения Тендря-

кова, Овечкина, Троепольского, они, тем не менее, решительно выступают против молодого литератора, своего земляка, идущего в том же направлении, что и названные писатели.

«Когда начинаешь читать очерк Леонида Иванова «Сибирские встречи», поначалу кажется, что автор идет по тому же пути критического осмысливания нашей колхозной жизни, — пишут А. Китанник и К. Немира. — Больше того, многие наблюдения Л. Иванова вызывают большой интерес, отличаются остротой и злободневностью. Чувствуется, что автор забирался в самую глубину колхозных будней, добросовестно изучал их и рассказывает о них читателю с подлинной заинтересованностью и страстью. Однако постепенно «Сибирские встречи» заставляют насторожиться, а затем все более и более вызывают возражения».

Что же заставило авторов статьи насторожиться?

Богатейший опыт писателя они не могут не признать, но любые попытки осмыслить этот опыт, приводящий к выводам и предложениям, еще не апробированным, такие критики всегда считают спорными, а все спорное — ошибочным, путаным, заставляющим насторожиться.

И когда они слышат, что даже такие меры, как введение новых методов планирования и посылка городских работников в деревню не всегда дают нужные результаты, они «настораживаются» и... затем начинают приписывать литератору то, о чем он и не помышлял: «Л. Иванов считает также, что предпринятые партией и правительством меры по дальнейшему подъему сельского хозяйства в большинстве своем не дают нужных результатов».

Если рецензенты считают, что Иванов не прав, надо поспорить, доказать, убедить в том, что предложение Гребенкина неверное и несвоевременное. Но куда легче бездоказательно назвать его вредным и обругать редколлегия журнала «Сибирские огни» за то, что она «не помогла автору избавиться от этих грубых промахов, не разглядела их». В том-то и дело, что, наверное, разглядела, но не посчитала, что иметь свое мнение по ряду еще не решенных вопросов — это «грубый промах».

Грубый промах совершили, однако, не писатели, которые показывали, с каким трудом воплощается в жизнь правильное постановление, а рецензенты, кои полагают,

что достаточно правильного решения, чтобы все пошло как по маслу.

В январе этого года партия и правительство опубликовали обращение ко всем работникам сельского хозяйства.

Оттеснительно нового порядка планирования, дающего возможность развязать творческую инициативу советских земледельцев, в обращении говорится: «Однако необходимо сказать, что далеко не во всех районах это постановление правильно понимается и правильно проводится в жизнь. Не везде еще в действительности представляются возможности колхозникам с учетом местных особенностей свободно планировать развитие своего хозяйства. В ряде районов все еще продолжают называть планы по 1 виду всяких заданий и тем самым лишают возможности колхозников проявить инициативу, направленную на лучшее использование земель, на увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур и рост продуктивности животноводства. Надо сделать так, чтобы колхозы и колхозники не на словах, а на деле имели бы возможность полностью использовать право свободного планирования, которое предоставлено им постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР».

Прочитав обращение, строгие рецензенты, наверное, спешно дадут амнистию тем писателям, от пытливого глаза которых не ускользнули эти вредящие обстоятельства и которые размышляли, что же следует предпринять, чтобы легче их преодолеть... Но А. Китанник и К. Немира усмотрели в очерке еще одно утверждение, будто бы «неправильно, по мнению автора, увеличиваются у нас посевные площади за счет распашки целинных и залежных земель».

Тем самым, по сути дела, они предъявляют писателю-коммунисту серьезное политическое обвинение в несогласии с линией партии. Но этого в очерках Л. Иванова решительно нет. Зачем же возводить напраслину на писателя?

«Предоставим слово автору «Сибирских встреч», — пишут А. Китанник и К. Немира и далее приводят, кстати, не слова автора, а слова встреченного им председателя колхоза, который сетует (привожу фразу специально выделенную, подчеркнутую рецензентами, по-видимому, за особо криминальные слова): «а другой раз подумаешь, зачем так бьем тракторы, людей мучаем, семена бросаем, горячего реки текут, а вырастет хлеб — даем ему осыпаться».

Видя «ненадежность» приведенной для обвинения цитаты, рецензенты сразу подпирают ее второй:

«— Что же, по-вашему, надо меньше сеять?»

— Не совсем так, понимаешь. Я к тому это говорю, что все-таки планируем мы пока очень плохо. У нас и в прошлом году шумели: сей больше!.. В области должны уметь спланировать посевы так, чтобы и для уборки все машины были».

Слова «в области должны уметь спланировать» рецензенты подчеркнули, вероятно, как положение особо путаное и ошибочное. И сделали из этих цитат вывод, что Л. Иванов предлагает: «планировать сельское хозяйство, равняясь на «узкие места», исходя из наличия уборочной техники».

Но им и на этот раз не повезло. Не прошло и месяца после публикации их статьи, как были обнародованы решения декабрьского Пленума ЦК, в которых говорилось, что не только в области, но и в центре не всегда умели правильно планировать и что необходимо для успешного выполнения планов впредь их обеспечивать материально-техническими возможностями.

Постановление это вышло новое, а произведение осталось охаянным по-старому. Я не думаю, что А. Китанник и К. Немира считают, что решение декабрьского Пленума рекомендует планировать, равняясь на узкие места. Наверное, они изменили сейчас свое мнение, которое с безапелляционностью, сшибающей с ног писателя, так недавно провозглашали. Но я боюсь, что они или их единомышленники вскоре снова выступят со статьей, в которой, между прочим, не в порядке самокритики, а в порядке критики будет сказано и об «отставании» художественной литературы.

7. О ПУБЛИЦИСТИКЕ И «ДУХЕ УНЫНИЯ»

В редакции одного из «толстых» журналов мне привелось быть свидетелем такого разгосора. Молодой критик принес рецензию на новое талантливое произведение. В рецензии, однако, говорилось главным образом о мастерстве писателя, о литературных приемах, о форме произведения. Редактор заметил, что необходимо сказать и о тех идеях, которые заключены в пове-

ческое помещицье,— чтобы выбрать то, которое лучше всего может устроить его душу. И разве без этих поисков не обеднел бы роман, не лишился ли бы образ Левина реально-исторических черт?

Целые главы «Анны Карениной» отведены на разговоры об агротехнике, о сельскохозяйственных машинах, на мучительные для героев споры об организации труда в земледелии, о формах его. В какие детали входят спорщики! И это понятно: Левину «особенно интересно было поговорить, послушать о хозяйстве те самые разговоры об урожае, найме рабочих» и т. д., о том, что делать, чтобы рабочие руки и земля были наиболее производительны для общего благосостояния, разговоры, «которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким (и до сих пор так принято у некоторых критиков.— Г. Ф.), но которые теперь для Левина казались одними важными». И теперь он думал: «это, может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России». Так думал любимый герой Толстого. Но теперь, когда у нас в сельском хозяйстве, земледелии действительно все так «переворотилось» и укладывается по-новому, укладывается так, как еще нигде не было в истории человечества, вопрос о том, как уложатся эти условия во всех их жизненных, бытовых, технических, организационных, психологических деталях,— это важнейший вопрос, и уже не только для одной России. И все же находятся люди, которые считают эти вопросы не важными для художественной литературы и свойственными лишь публицистике. Правильно утверждая, что для литературы важнее всего показ формирования характера, они воображают, что характеры могут развиваться помимо обстоятельств или даже в условиях, неправильно, небрежно изображенных.

Когда Левин рассказал своему брату Николаю о том, как он собирается у себя в поместье вести хозяйство, Николай стал «смешивать его с коммунизмом».

«— Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследствен-

ности, а я не отрицаю этого главного стимула... Хочу только регулировать труд.

— То-то и есть, ты взял чужую мысль, отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое,— сказал Николай, сердито двигаясь в своем галстуке».

Спор продолжался. Левин приводил все новые и новые доводы и наконец, рассердившись, сказал:

«— Я только полагаю, что рабочую силу надо рассматривать с естествоиспытательской точки зрения, то есть изучить ее, признать ее свойства и...

— Да это совершенно напрасно. Эта сила сама находит, по степени своего развития, известный образ деятельности. Везде были рабы, потом *metayers*¹; и у нас есть исполняющая работа, есть аренда, есть батрацкая работа,— чего ж ты ищешь?

Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это была правда,— правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом и определенными формами, и что это едва ли было возможно».

Не исключено, что некоторые наши критики обвинили бы автора цитированных строк в «беллетризации публицистики», если бы они с детства не знали, что творчество Льва Толстого — новый шаг в художественном развитии человечества, а строки эти взяты из *Анны Карениной*, романа, который бесспорно и справедливо считается одной из вершин художественного творчества.

Исторический опыт показал, что Левин был прав, когда в глубине души боялся, что «балансировать между коммунизмом и определенными формами», то есть капитализмом, в сельском хозяйстве невозможно. Все эти так широко рекламируемые сейчас буржуазными учеными и политиками «народные капитализмы» и «национальные коммунизмы» такая же фикция, какой оказалось задуманное Левиным ведение хозяйства, крушение планов которого привело его к богу.

Или капитализм с испольщиной, арендаторами, батраками, капиталистическими фермами и кочующим сельскохозяйственным пролетариатом и крестьянством, которое бежит с земли, как это прекрасно показано в романе «Гроздь гнева» Стейнбеком, или социалистическое сельское хозяйство,

¹ Арендаторы.

каждая правдивая деталь жизни которого существенно важна.

Можно было бы написать большое исследование о том, как публицистика, являясь неразрывной частью, одной из существенных сторон лучших произведений русской литературы, начиная с первой великой поэмы «Слово о полку Игореве», обогащала ее и придала ей такую большую роль в духовной жизни человечества.

В рассказе Владимира Тендрякова «Ухабы» пожилой доктор, в распутицу, босиком пробирающийся по грязи и лужам раскисшей дороги, чтобы спасти жизнь человека, раненного в автомобильной аварии, встречает сани с его трупом. Доктору рассказывают, что раненый умер оттого, что директор МТС по чисто формальным соображениям отказался своевременно дать трактор для перевозки пострадавшего.

«Хирург слушал, жесткие складки появились в углах губ.

— Бюрократ! — произнес он, помолчал и повторил: — До убийцы выросший бюрократ!..»

В редакции вычеркнули эту строку. Зачем такая лобовая публицистическая мораль?

Я был свидетелем того, как автор, возмущенный этой правкой, восстанавливал первоначальный текст. Мне сначала тоже показалась эта фраза «лобовой». Но, поразмыслив, я понял, что прав не редактор, а писатель, желавший с абсолютной ясностью довести до читателя свой приговор, свою позицию. Пусть мораль, пусть публицистика, пусть «в лоб». И в этом еще раз проявилась не только сила, но и свойство таланта Тендрякова.

Вмешательство прямого, публицистического слова вовсе не знаменует несовершенства художественного образа. Кажется, невозможно дать рельефнее характер и облик Чичикова, чем он вырисовался к последним страницам поэмы. Это сознает и сам Гоголь.

«Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть!»

И все же писатель считает нужным добавить прямые слова, публицистически обозначающие, определяющие смысл, замысел образа:

«Кто же он? стало быть, подлец?.. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель... Приобретение — вина всего...»

В мае 1921 года молодой дипломат, коммунист М. Соколов, прислал Ленину проект доклада, который он собирался сделать на партийном собрании в Наркоминделе. Там он, между прочим, писал: «Самодетельность масс возможна лишь тогда, когда мы сотрем с лица земли тот нарыв, который называется бюрократическими главками и центрами». Ленин немедленно ответил ему. Этот ответ настолько важен, значителен и актуален и по сей день, что его следует привести почти полностью.

«Это ошибка. Можно прогнать царя, — прогнать помещиков — прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» бюрократизм в крестьянской стране, нельзя «стереть с лица земли». Можно лишь медленным, упорным трудом его уменьшить.

«Сбросить «бюрократический нарыв», как Вы в другом месте выражаетесь, — это неверно в самой постановке вопроса. Это — непонимание вопроса. «Сбросить» нарыв такого рода нельзя. Его можно лишь лечить. Хирургия в этом случае абсурд, невозможность; только медленное лечение — все остальное шарлатанство или наивность.

Вы именно наивны, извините меня за откровенность. Но Вы сами пишете о своей молодости.

Наивно махать рукой на лечение, ссылаясь на то, что Вы 2—3 раза пробовали бороться с бюрократами и потерпели поражение. Во-первых... надо не 2—3, а 20—30 раз пробовать, повторять, начинать сначала.

Во-2-х, где доказано, что Вы правильно боролись, искусно? Бюрократы ловкачи, многие мерзавцы из них архипройдочи. Правильно ли Вы боролись? по всем ли правилам военного искусства окружили «врага»? Я не знаю...

...Борьба с бюрократизмом в крестьянской и архинищенной стране требует долгого времени, и надо эту борьбу вести настойчиво, не падая духом от первой неудачи.

В заключение Ленин обращался к молодому, обуреваемому благородными чувствами, но наивному по своей молодости коммунисту с двумя просьбами: первая — чтобы Соколов при чтении своего доклада против бюрократизма (а Ленин «абсолютно не возражал против этого») прочитал и это ленинское письмо. А вторая просьба была «не допускать в себя «духа уныния».

И вот когда мы снова с этой позиции

оглядим произведения, посвященные сельской теме, которые мы перечислили в этих заметках, то увидим, что писатели здесь, как советовал Ленин, по всем правилам военного искусства окружают врага, что они, безбоязненно показывая читателям самую суровую правду, не допускают не только «в себя», но и в читателя «духа уныния». Наоборот, открывая перед ним неис-

черпаемые пласты разнообразных талантов советских людей, преодолевающих самые сложные сложности и самые трудные трудности,—людей, вдохновляемых силой всепобеждающих идей, эти писатели делают все, чтобы та благородная искра, которая горит в душе каждого читателя — строителя коммунизма, вспыхнула ярким пламенем и осветила великие дела.



3. ПАПЕРНЫЙ

★

МАЯКОВСКИЙ СЕГОДНЯ

1

Владимиру Маяковскому свойственно одно удивительное ощущение — ясное, сильное, почти физически осязаемое: его, поэта, уже нет, но время идет вперед, катятся годы, и он, оказывается, не умер, продолжает свою большую, жаркую, уже не подверженную смерти жизнь. В поэме «Война и мир» поэта уводят на войну, он идет навстречу смерти, а потом, в конце произведения, где речь идет о счастливом завтра, вдруг оживает и по-прежнему — нет, с еще большей силой — любит, смеется, дышит, радуется. В «Человеке» он как бы пробуждается после многолетнего, многовекового смертного сна и — снова зашумело в груди сердце.

Но если в ранних поэмах, особенно в «Человеке», это испытываемое поэтом ощущение собственной посмертной жизни смутно, неуловимо связано с горестным чувством неизменности окружающего уклада, то затем, в советские годы, оно становится совсем иным. Это не мечта о загробном счастье, не порыв в туманные дали неизвестного. Поэт ощущает далекое, ненаступившее настолько реальным, неизбежным, что кажется —

вот только с этой рифмой развяжись,
и всежишь
по строчке
в изумительную жизнь.

Маяковский знал, что не кончается смертью жизнь того, кто работает для будущего. Он интересовался подробностями и деталями будущего так, как интересуется человек сведениями о доме, в котором ему жить. И это растущее, крепнущее ощущение своей долговечности не обмануло поэта. Трагическая смерть оказалась не итогом, но только фактом биографии поэта, которая продолжается. Пуля не поставила точки в конце.

Мы сегодня спорим о Маяковском, и он спорит с нами, и все это так, будто он не умирал. Естественно, что большая жизнь Маяковского-поэта связана со всем тем, что волнует нас, людей нового поколения.

Маяковский сегодня — это не только то, как звучат сегодня его стихи, но и то, как они изучаются, не только то, что написано поэтом, но и то, что пишут о нем исследователи, критики, литературоведы. Плохо, если возникают два разных образа: поэт, как он есть, и — каким его изображают. Сам Маяковский, думая о будущем, боялся, что его будут выдавать не за того, кем он был на самом деле. Свою автобиографию он недаром назвал «Я сам», а в недописанной последней поэме сказал, обращаясь к нам и к следующим за нами новым поколениям:

Я сам расскажу
о времени
и о себе.

И, говоря, что поэта не обмануло ощущение своего бессмертия, мы должны ради справедливости добавить, что не были лишены известного основания его тревоги, опасения, как бы не предстал он под пером «профессора» как «пезец кипяченой и ярый враг воды сырой».

Маяковский мечтал о встрече с «большелобым тихим химиком», который воскресит его, но остерегался попасть в руки хладнокровного эрудита с «очками-велосипедом», коллеги «старомозгого Плюшкина», который начнет «выкипячивать» из его поэзии самое драгоценное и живое.

Проследивая посмертную жизнь Маяковского, мысленно останавливаешься на том моменте, когда он был назван — в известном высказывании И. В. Сталина — лучшим, талантливейшим поэтом нашей, советской эпохи. Слова эти были сказаны вовремя, потому что за годы, истекшие со дня

смерти поэта, его враги, а то и просто равнодушные деляги, поставили немало рога-ток на пути издания, распространения, пропаганды его произведений.

Не говорим уже о том, что при жизни Маяковский очень часто слышал о себе отзывы людей, пытавшихся доказать, будто он чужд советскому времени, обществу, народу.

Оценка Маяковского в декабре 1935 года как лучшего, талантливейшего поэта нанесла удар по многим его неуспокоившимся противникам и недоброжелателям. Была открыта «зеленая улица» изданиям книг Маяковского и о Маяковском, исполнению его стихов с эстрады, изучению в школе.

Однако в условиях тех лет эта оценка имела не только положительные последствия. Чем больше «приподымался» Маяковский над общим фоном нашей поэзии, чем усерднее искали в нем только то, что прямо и непосредственно иллюстрирует сталинские слова, тем туманнее и отвлеченнее становился образ поэта.

Нечто сходное бывает, когда рассматриваешь предмет сквозь лупу. Сначала, отодвигая ее дальше, вы, увеличивая изображение, улучшаете его. Но затем очертания начинают расплываться, пока не превращаются в неразличимое пятно.

Это происходило не только с Маяковским. Одно из наиболее тяжелых последствий культа личности в литературе состояло в предвзятом, «заданном» отношении к фактам действительности.

Не будем говорить обо всем этом подробно — во многих статьях уже не раз шла речь на эту тему. Важно лишь установить одно: судьба Маяковского не была единичной. Вспомним о недавних призывах к изображению «идеальных героев». Разве не такими же «идеальными», искусно препарированными, манекенно-нарядными героями изображались в книгах, фильмах, пьесах великие люди прошлого? Иным кинокартинам об исторических деятелях не хватало только огромной золоченой рамы. Игра красок в цветных фильмах подчас только подчеркивала олеографичность изображения. Изучение жизненного явления во всей его индивидуальности и сложности все более уступало место хитроумному отбору фактов, из которых по заранее «заданной» канве вышивался примитивный рисунок.

В литературоведении это приводило, в частности, к тому, что в центре внимания

исследователей оказывались лишь немногие, избранные, так сказать «вершинные», представители литературы. В свою очередь у каждого из таких «отобранных» писателей отбирались только наиболее проверенные, «надежные», апробированные произведения. Развернутая библиография по тому или иному писателю или проблеме оказывалась уже ненужной. К чему? На место солидных библиографий типа Мезьер или Владислава становились тошечные рекомендательные брошюры (сами по себе они нужны, но ими не исчерпывается библиография).

Любимым выражением многих редакторов тех лет было: «А надо ли? А стоит ли? Нужно ли все это «тащить» в книгу? Вы говорите, что писатель переживал кризис? Но что это дает? Чему учит? Давайте-ка лучше снимем...»

И вот Белинский, «неистовый Виссарион», становился вполне истовым, уравновешенным и предельно организованным человеком.

Строгий и целомудренный Чехов, всегда предельно настороженный к фразе, к громкому, лишнему слову, к позе, под пером иных исследователей становился этаким словоохотливым бодрячком, нерушимо уверенным в правоте своего дела.

Что же происходило с Маяковским?

Прочитаешь иную книжку тех лет о нем, а потом обратишься к нему самому, к его портрету, к глядящим в упор глазам, к его бездонному голосу и думаешь: нет, не похоже, здесь живое лицо, а там — бледный силуэт; здесь человек, а там — ходячая пропись.

«...приступая к изучению поэта,— писал Белинский,— прежде всего должно уловить, в многообразии и разнообразии его произведений, тайну его личности, т. е. те особенности его духа, которые принадлежат только ему одному».

А во многих книгах о Маяковском тридцатых—сороковых годов авторы, наоборот, спокойно опускали все то, что характерно именно для Маяковского, и набрасывались прежде всего на то, в чем они видели «общезначимое».

Маяковский писал:

И любви
придумаем
слово свое,
из сердца сделанное,
а не из ваты.

А его заставляли изъясняться не своим, из сердца сделанным словом, а пухлыми, неживыми словами «из ваты».

Поэт говорил:

«...я не за рифмованную политграмоту
Уж если Калинин выругал сухую, однообразную агитационку, то мне и бог велел.
Я не за высушивание нашей работы».

А из него пытались извлечь только прописные истины, не имеющую ничего общего с поэзией «однообразную агитационку».

При этом исходили из такого молчаливо подразумеваемого правила: художник выражает общее в частном, особенном. Исследователь же должен перевести писателя назад, с особенного, личного на общий язык, должен уподобить изучаемого поэта более широким общественным явлениям, привести к «общему знаменателю».

Такого рода отвлечение от конкретного, индивидуального содержания характерно для многих и многих работ о Маяковском, начиная с учебных пособий и кончая академическими исследованиями. Начнем с первых.

Глава о Маяковском в учебнике для десятых классов «Русская советская литература» (1956) А. Дементьева, Е. Наумова и Л. Плоткина содержательна и в основном построена на правильных положениях. В то же время есть в этой правильности известная приблизительность. Прочитав главу, испытываешь ощущение: логически рассуждая, все верно, но все-таки изборожденный авторами Маяковский чем-то не очень похож на себя настоящего. Может быть, потому, что авторы пользуются слишком общими определениями? Например:

«...лирика Маяковского отличается высокой идейностью, народностью, тематическим многообразием, богатством и выразительностью средств художественного воплощения». Отличается? В таком случае от чьей лирики? А о Некрасове или о Твардовском разве нельзя сказать того же? Ведь при таком определении напрашивается совсем другой вывод: что лирика Маяковского чем-то очень-то отличается от лирики других передовых поэтов. Стало быть, вывод об идейности, народности, художественном богатстве, сам по себе бесспорный, должен быть доведен до такой характеристики, когда читатель узнает черты данного поэта.

Или такое определение.

«Поэт всегда должник вселенной», — восклицает Маяковский, подчеркивая ответственность поэта перед со-

ветским обществом, его обязанность откликаться в своих произведениях на все значительные явления современности, помогать народу строить коммунизм».

Мысль Маяковского совершенно определена: поэт — должник вселенной, он в неплатном долгу перед всем миром, перед всем человечеством; весь земной шар — поле его деятельности. Этому не только не противоречит, а с этим крепко связана убежденность Маяковского в том, что поэт активно участвует в жизни своей страны, своего народа. Но надо ли всякий раз растворять совершенно определенные мысли поэта в общих выводах? И опять можно сказать, что в основном авторы правы, но правота их — логическая правильность, еще лишенная «естества и плоти».

Тенденция к отвлечению от индивидуально-конкретного, «личного» в угоду схематическому представлению, дающая себя знать в отдельных формулировках главы о Маяковском школьного учебника, достигает в некоторых пособиях размеров просто угрожающих. В печати уже говорилось о книге В. Козловского «В. Маяковский» (1955). Остановимся лишь на одном ее тезисе. Как полагает В. Козловский, творческое развитие поэта сводилось к тому, что «от выражения преимущественно личных переживаний, хотя и обусловленных отрицанием чуждого поэту капиталистического мира» он шел «к стображению чувств и мыслей поработанных народных масс, к гневному протесту в адрес капиталистических хищников». Получается, что Маяковский все меньше и меньше становился лириком. Но разве «гневный протест» — это не «личные переживания»? Разве не в том состоял путь поэта, что «чувства и мысли поработанных народных масс» сливались с его личными «чувствами и мыслями»?

Указанная точка зрения вовсе не выдумана В. Козловским. Она взята им из вторых рук. Речь идет не об отдельной ошибке, но о тенденции извлекать из поэзии общий итог, как бы минуя личное. И хотя все соглашаются, что у Маяковского неразделимо соединились и то и другое, непосредственно обращаются только к одному. Это недоверие к личности поэта, стремление обойти ее в поисках общественного эквивалента по-разному проявляются в статьях и книгах о Маяковском.

В «Истории русской литературы», издаваемой Институтом русской литературы (Пушкинским домом), в главе, посвященной раннему периоду творчества Маяковского, Н. Степанов¹ разбирает цикл стихов «Я».

«...не личная трагедия, а боль за все человечество, сознание несправедливости всего общественного строя вызывают у Маяковского мучительный крик отчаяния:

Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется
дорогою дальней.

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!..»
(«Несколько слов обо мне самом»)

Нельзя не почувствовать несоответствия между тем, что говорит сам поэт и что пишет о нем исследователь. Поэт мечется, страдает, стонет, его собственная душа кажется ему разорванной в клочья, а исследователь с завидным хладнокровием замечает: «не личная трагедия...» В другом месте он подчеркивает: «Основную задачу художника Маяковский видел не в выявлении своей индивидуальности, а в общественной полезности искусства». И в этом утверждении, в общем верном, сквозит в то же время настороженное, недоверчивое отношение к индивидуальности художника, как к чему-то отделенному от больших и важных вопросов общественной роли искусства.

Получается, что личное у лирика это нечто «привходящее», второстепенное, существующее как бы наряду с главным, общественным.

В «Очерке истории русской советской литературы», издаваемом Институтом мировой литературы, читаем:

«Своеобразие лирики Маяковского заключается в том, что действительность показана в ней глазами нового, советского человека. Авторское «я», даже при всей своей автобиографической подчеркнутости, при-

обретает в поэзии Маяковского огромную емкость, сливаясь с сознанием передовых представителей советского народа, строителя коммунизма».

Не будем придирается к мелочам («действительность показана... глазами»). Интереснее другое — все та же пренебрежительная интонация, когда речь заходит о личном, автобиографическом. «Даже при всей своей автобиографической подчеркнутости» это звучит как: «несмотря на автобиографическую подчеркнутость». Почему же значение авторского «я» должно рассматриваться в каком бы то ни было преодолении «автобиографического» начала? Разве полнота раскрытия лирического «я» — вплоть до самых индивидуальных, личных фактов жизни поэта — мешает слиянию с сознанием современников, строителей коммунизма? Разве Маяковский рассказывает по отдельности «о времени» и «о себе», о том, что было «с бойцами или страной» и что «в сердце было в моем»? Так почему же мы, сотни раз повторяя эту неразделимую формулу, начинаем отступать от нее, когда обращаемся к конкретным примерам? Почему так равнодушны к тому, что Белинский называл «особенностями» духа поэта, и своеобразии Маяковского толкуем иногда как обыкновенное тождество личного и общественного?

В этом смысле очень характерна книжка Н. Щеголева «Художественное мастерство В. В. Маяковского в поэме «Хорошо!» (1956), выпущенная, как и книжка В. Козловского, Учгедгизом с подзаголовком «Пособие для учителей». Надо признать, что в отличие от В. Козловского, излагающего в основном общеизвестные вещи, Н. Щеголев стремится самостоятельно истолковать поэтический текст. И это часто ему удается — мы находим здесь интересные, свежие наблюдения. Книжка написана с несомненной любовью к Маяковскому. Но проклятая страсть к необоснованным обобщениям просто одолевает автора. Вот, например, он анализирует седьмую главу поэмы, где изображена встреча у октябрьских костров Маяковского и Блока. Блок — это, конечно, нечто слишком индивидуальное, и поэтому надо немедленно перевести его в план более крупных категорий.

«Полемика с Блоком как с общественным явлением становилась на деле полемикой со многими враждебными элементами, искажавшими сущность Октябрьской революции и на этом основании, конечно, и

¹ В редакционном перечне авторов глава Н. Л. Степанова о Маяковском по ошибке приписана И. С. Эвентову, а глава И. С. Эвентова о Бедном — Н. Л. Степанову.

сущность советской власти и ее строительства».

Нетрудно увидеть, что такое «обобщение» Блока ничем не оправдано. Нельзя отождествлять Блока с «враждебными элементами». Блок искренне устремлялся навстречу Октябрю, искренне говорил революции свое «хорошо», и не вина, а беда поэта, что это «хорошо» звучало трагически.

Но Блок сам по себе вообще мало интересует исследователя, и он хочет уверить нас, что Маяковский тоже не испытывал к Блоку особого интереса: «Не Блок персонально, не его личная позиция, разумеется, интересуют Маяковского в 7-й главе, а гораздо более актуальный вопрос: куда растет, куда уже вырос Блок как общественное явление, кем, какими элементами используются блоковские произведения в 1927 году?»

Если учесть к тому же, что все эти рассуждения о Блоке идут вслед за характеристикой борьбы с троцкистами и другими враждебными течениями, становится понятным, почему живой, «персональный» Блок тонет в таких мрачных и грозных ассоциациях. Вместо того чтобы задаться мыслью о том, что значил Блок для Маяковского, какова его роль в истории нашей поэзии и культуры, исследователь, превращаясь в следователя, ставит беспощадный вопрос: «куда вырос» Блок, в чем его, так сказать, непосредственный общественно-политический «эквивалент» и т. д.

Все это связано со старой вульгарно-социологической привычкой оперировать «сущностями», обесцвечивать неповторимое явление в растворителе схематических псевдообобщений.

Еще резче проступает эта привычка там, где автор обращается к шестнадцатой главе, в которой говорится о разгроме Врангеля. Известно, что Маяковский вводит здесь рассказ П. Лаву́та, очевидца изображаемых событий. Об этом приеме поэт говорит в автобиографии: «введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций». Как пример такой перебивки планов Маяковский называет разговор с Блоком, рассказ П. Лавута.

Перед нами принципиальная черта поэмы, где эпическое повествование о грандиозных событиях слито с «личными ассоциациями» лирического героя.

Но исследователю это кажется недостаточно солидным, малозначительным. И по-

добно тому, как он изыскал эквивалент для Блока, он начинает социологически «осмыслять» образ П. Лавута. Оказывается, что дело вовсе не в «личных ассоциациях», как простодушно полагал сам Маяковский. Все гораздо сложнее и глубже; оказывается, в этой главе поэмы пересекаются две точки зрения: «лавутовская» и «маяковская». Лавут олицетворяет собой «героизацию» Врангеля — «не без элементов мелкобуржуазного объективизма». И вот уже готова концепция: рассказывая о последних днях врангелевской армии, поэт не просто ссылается на свидетельство очевидца, но всем ходом повествования преодолевает «ошибочную» «лавутовскую» трактовку Врангеля. «Искуснейшим пересечением двух плоскостей (лавутовской — документальной, и своей — авторской) Маяковский достигает правильного марксистского освещения всей картины».

Так живой, многоголосый, «объемный» эпизод искусственно раскладывается на «плоскости», личные ассоциации поэта превращаются в отвлеченные понятия, живые образы становятся условно-аллегорическими обозначениями различных сущностей.

Думается, что есть нечто общее в приведенных примерах. Это «нечто» — в подходе к поэтическому тексту как к вспомогательному материалу, который должен лишь подтвердить уже сложившееся мнение. Все, что не «влезает» в схему, отбрасывается. И вот перед нами уже не живой, а «переведенный», адаптированный Маяковский. Он похож не на себя самого, а на те примитивные пятирублевые бюстики поэта, которые одно время заполнили магазинные прилавки. О том, что это бюст именно Маяковского, догадываешься по методу исключения: не Толстой, потому что без бороды, не Пушкин — без бакенбардов, не Чехов — без пенсне, лицо решительное — остается Маяковский.

Поэзия Маяковского агитационна. Он не просто исповедуется перед читателем, но всегда стремится стихом действовать, работать, влиять на читателя, убеждать его, агитировать, увлекать за собой. Однако эта агитационность поэзии Маяковского истолковывается подчас весьма упрощенно. Получается, что поэт всегда и всюду говорил однообразно громким, трескучим голосом, что он обращался только ко всем сразу, не разговаривал, а кричал.

Рисуют его каким-то истошным, надрывным — чуть ли не до хрипоты. А ведь он не такой был!

Разнообразны
души наши.
Для боя гром,
для кровати — шепот.
А у нас
для любви и для боя — марши.
Извольте
под марш
к любимой шлепать!

И вот поэта «разнообразной души» заставляют только «шлепать» под марш.

Что ж, когда требовало время, Маяковский вместе со своим стихом шагал под марш, не боялся вводить в текст лозунги и призывы, каждая его строка гремела. Когда надо было, Маяковский обращался ко всем, ко всему народу. Но разве это единственная интонация в его стихах и поэмах?

Вспомним удивительные стихотворения, где иное звучание: поэт говорит, беседует с другом, товарищем, соратником, предшественником, с любимой. Стих-беседа, стих-письмо, послание, стих, исполненный глубочайшей доверительности. И тогда кажется: вдруг затихает мир, день отходит, «постепенно стемнев», и нет больше никого — только поэт и его собеседник. И стих подымается из артезианской глубины сердца. Так возникает разговор с Лениным — с живым, а не с фотографией на белой стене, разговор с Пушкиным, с Горьким, с Есениным, с пролетарскими поэтами, разговор с фининспектором, разговор с Эйфелевой башней, с любимой, разговор с читателем:

Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай,
как другу,
пару рук
положить
на твое плечо.

Почему же этого Маяковского, который пристально глядится в глаза собеседника, кладет ему на плечо руки, как друг, мы часто заставляем лишь размахивать руками?

Слова о Маяковском как лучшем, талантливейшем поэте нашей эпохи истолковыва-

лись часто так, что всякое сопоставление его с другими поэтами преследовало лишь одну цель — продемонстрировать, что он лучше, а они хуже. По отношению к Маяковскому брали тон адвокатский (как будто он в этом нуждался!), по отношению к литературным современникам — прокурорский. Если Маяковский высказывает какую-то ошибочную мысль, значит виноват не он, его научили, на него дурно повлияли. Ошибки Маяковского переставали быть его ошибками. При этом, желая обелить поэта с одной стороны, исследователи невольно бросали на него тень с другой. Человек исключительно сильного характера, независимости суждений, упрямый, смелый, не считающийся с признанными литературными авторитетами, вдруг превращался в послушное орудие, «играло» каких-то чужих влияний.

«Очевидны вместе с тем и ошибочные идейные тенденции, которые давали себя знать в творчестве Маяковского в первые годы революции, — пишут авторы упоминавшегося «Очерка русской советской литературы», — и были связаны прежде всего с непреодоленным полностью влиянием футуризма: элементы абстрактности и формалистичности в «Нашем марше», неверное отношение к культуре прошлого в стихотворении «Радоваться рано» и др.»

Но трудно разобраться в действительных противоречиях развития Маяковского, если все отрицательное выводить извне — и не из конкретных условий, а из рассматриваемых вне времени литературных влияний. Главная причина абстрактности первых произведений Маяковского после революции гораздо шире, чем это здесь объяснено. Печатью абстрактности отмечены были многие произведения тех лет, чьи авторы никакого отношения к футуризму не имели. Точно так же неверное отношение к культуре прошлого — черта определенного времени, которую надо объяснить, не перекладывая всей ответственности на одних только футуристов.

Маяковский сам, именно он лично, вовсе не как пассивное отражение сторонних футуристических взглядов, вполне убежденно и активно доказывал, что вместе с революцией начинается абсолютно новая жизнь, новый быт, новое искусство — все будет твориться «с самого начала». Весь мир для него возникал заново. Поэт звал «выворачиваться нутром» и вытряхивать из себя все остатки старья.

сиротливым ветлам, кроваво-красным рябинам, к старому клену на одной ноге. Для него все в природе живет, дышит, все чело-вечно, и даже самое выражение «клен на одной ноге» рождается от представления о дереве как живом, одушевленном существе.

Есенин часто называл себя и бродягой и отпетым хулиганом. Если выписать все его самоопределения, картина действительно получится довольно мрачная. Но разве не чувствуем мы, читая его стихи, что поэт тяготится этой своей ролью, хочет вырваться из кабацкого чада, что он устал от себя такого, хочет стать другим. Поэзия Есенина с огромной силой искренности и правды выразила трудность и сложность времени, драматичность перехода от старых, вековых и патриархальных форм жизни к новым, коллективным.

«В стихах Есенина о любви на первом плане «чувственная вьюга», — читаем мы дальше. — Духовное начало с трудом улавливается. Женщина, как правило, показана лишь в примитивной животной сущности. «Молодая, с чувственным оскалом» — это скорее применимо к животному, чем к женщине».

Но вот открываешь стихи самого Есенина, и сразу же звучит тихая, грустная музыка его стиха; любовь у Есенина это не только «чувственная вьюга», это — сиянье волос любимой женщины, ее «незакатные глаза», руки, похожие на лебедей, это тонкая и чистая красота, которая глядится в открытое лицо природы:

На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Немало горечи в этой любви, слитой с сознанием неполучившегося счастья, одинокости, неприласканности. И опять-таки покоряет нас беспощадность поэта к самому себе, готовность судить себя самым суровым судом «за все, в чем был и не был виноват».

Хорошо, что А. Метченко не остановился на этой характеристике С. Есенина, неполной и односторонней. Судя по его последним работам и выступлениям, сейчас он оценивает поэта гораздо объективнее и глубже.

У нас до сих пор нет работы, в которой сопоставлялось бы творчество Маяковского и Есенина. Такое сопоставление нужно вовсе не только для того, чтобы еще раз, на очередном примере продемонстрировать превосходство Маяковского во всех отноше-

ниях. Конечно, автор такой работы покажет, насколько глубже поэтическая формула Маяковского:

Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс,—

чем есенинская:

Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Понимая это отличие, автор покажет непредвзято, не заглядывая поминутно, как школьник, в «решетник», что роднит и что различает двух крупнейших наших поэтов, в чем своеобразие каждого из них. Сравнительный анализ темы любви, природы, проблемы лирического героя, особенностей художественного мышления, структуры стиха у Маяковского и Есенина наполнил бы более живым и конкретным смыслом слова о «поэтах хороших и разных». Это нужно не только для того, чтобы защитить интересы современников Маяковского, но и для него — чем определеннее и богаче будут характеристики тех, кто вместе с ним строил советскую поэзию, тем легче будет показать, в чем сила и особенность его самого.

Маяковский достаточно велик, чтобы выдерживать сравнение с поэтами, не искусственно «пригнутыми», но стоящими в полный рост.

Говоря о том, как необъективно сопоставлялось часто творчество Маяковского и его литературных собратьев, надо остановиться и на тех из них, кто составлял его непосредственное окружение.

На дискуссии 1953 года были подвергнуты критике попытки сглаживать различие между Маяковским и футуристами. И это было правильно. Однако мы часто шарахаемся из одной крайности в другую. И слово «футурист», возносимое одними вровень со словом «революционер», другими низводится до прямо противоположного смысла. При этом деловое и добросовестное изучение заменяется порой просто... ляганьем.

Мы имеем здесь в виду далеко не всех футуристов, но тех, кто был особенно близок Маяковскому, вместе с ним безоговорочно встал на сторону революции. А ведь это далеко не маловажный факт: как отнесся тот или иной литератор к главному событию эпохи — к Октябрю. Мы же часто

не только не учитываем этого факта, но и попросту искажаем его.

Маяковский писал в автобиографии «Я сам»: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция».

А редактор Маяковского, составитель двенадцатого тома собрания сочинений А. Колосков, решив, что ему видней, взял и выкинул слова, заключенные в скобках, иначе говоря, стал на путь прямой подтасовки фактов. То, что А. Колосков сделал с простодушной грубостью, другими делается более завуалированно. Но суть остается одна: обо всем, что делали критики и писатели, окружавшие Маяковского, мы еще судим предубежденно, по известному выражению Щедрина: невиновен, но не заслуживает снисхождения.

Возьмем, например, деятельность О. М. Брика. Маяковский пишет о нем в своей автобиографии с нежностью (видно, А. Колосков недосмотрел!); уже одно это могло бы заставить задуматься, все ли было плохо в том, что делал О. Брик? Речь идет не о том, чтобы его идеализировать, искусственно переоценивать. Вовсе нет. Речь только об элементарной добросовестности.

О. Брика упрекают в неуважении к наследству, к традициям. Верно ли это? Верно. Хотя эти ошибки известное время разделяли многие, в том числе и Маяковский. Но, говоря об ошибках поэта, мы все время подчеркиваем, что потом он их преодолел; когда же речь идет об О. Бrike, его настолько туго привязывают к ошибке, что, кажется, он так и не освободился от нее что называется «до самой смерти». А ведь это не так. Пришло время, и О. Брик трезво оценил свои лефовские заблуждения. Вот что он писал в статье «Маяковский и литературное движение 1917—1930 гг. (материалы к литературной биографии)»:

«Несмотря на стихотворение Маяковского «Юбилейное», в котором он лучше, чем кто бы то ни было, дал высокую оценку пушкинскому гению, — лефы становились в нелепую позу людей, «сбрасывающих Пушкина с парохода современности» вместо того, чтобы помочь широчайшим массам прочесть и освоить Пушкина. Но в этом вопросе лефам было не до масс. Они продолжали сводить счеты со своими литературными противниками, изобличая их в эпитонстве. Естественно, что партийная обще-

ственность не замедлила дать лефам по этой линии решительный отпор».

Непредубежденный историк литературы, конечно же, скажет, ничего не утаивая, о том, что написанная О. Бриком повесть «Непопутчица» заслуживает самой серьезной критики, что в свое время О. Брик явно недооценивал специфику художественной литературы, звал к фактографии («Ближе к факту!») и т. д. и т. п. Но разве правильно говорить только об ошибках литератора, умалчивая об их преодолении, обо всем его пройденном пути?

Все наши оценки и концепции должны строиться на добротном, крепком фундаменте правдивого и всестороннего освещения фактов.

Часто бывает так. Утверждается мысль о том, что Маяковский был не отрицателем и разрушителем традиций, но их преемником и наследником; его новаторство возникло не на голом месте. Мысль совершенно правильная. Но только не надо толковать ее механически и всюду, о каком бы периоде деятельности Маяковского ни шла речь, в одной и той же неизменной пропорции прибавлять к «новаторству» «преемственность». А мы часто сводим новаторство к спокойному, плавному — без резкого скачка, без потрясений — переходу с одного рельсового пути на другой.

В действительности же новатор, «заболевший» идеей нового, не может не отталкиваться, подчас очень резко и страстно, от старого; он не просто примешивает свое к тому, что досталось ему в наследство, но стремится вырваться из привычных представлений, на первых порах допускает полемические крайности, перехлесты. Новое не просто, не мирно «прорастает» на стволе традиций. Идет ожесточенная борьба. Стендаль хорошо сказал устами одного из своих героев: «Есть ли такой подвиг, который не представлялся бы крайностью в тот момент, когда его предпринимаешь!»

Эстетика Маяковского, возникающая в эпоху рождения новых, невиданных в истории человечества отношений, немислима без этого обостренного, порой даже излишне прямолинейного, но всегда страстного, смелого убеждения, что художник должен решительно порвать с литературным «старьем», с каким бы то ни было эпитонством. Трудно назвать второго художника, который бы так любил идти поэтической «целиной», так боялся ступить там, где

ной, переходя к художественным особенностям раннего Маяковского, почему-то начинает стесняться неологизмов и говорить о них только как о неудаче: «Пытался он создавать новые слова...» Это «пытался» просто трогательно: даже жалко становится бедного, незадачливого Маяковского — «. в его дооктябрьских стихах можно встретить много неологизмов, причем далеко не все они удачны». Но хоть один-то пример «удачных» можно было бы привести? Исследователь полагает, что не нужно. «Такие слова, как «овазился», «лавь», «иззахолустничает», «мышиться» и им подобные, не помогали созданию ясного и выразительного поэтического образа, а только усложняли стиль раннего Маяковского».

Но ведь такой перечень еще ничего не доказывает. Если бы исследователь взял, скажем, отрывок из поэмы «Флейта-позвончик» в его контексте и показал бы, что в безнадежном разговоре лирического героя с любимой:

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла! —

слово «лавь» неуместно потому-то и потому-то, — можно было бы спорить, соглашаться или нет. А ведь именно в этом — анализе, разборе — и состоит задача исследователя.

До сих пор еще упрекают Маяковского за то, что его языковые «изобретения» не оставили следа в языке, не вошли в него, не удержались. Но ведь ясно, что поэтический неологизм создается не для обихода, но для данного случая. Закономерно, что новые слова у Маяковского почти никогда не повторяются, рождаются заново, неразрывно связаны с совершенно определенным образно-смысловым контекстом.

А гиперболы? Разве мало было попыток укоротить их, по-бухгалтерски «урезать», объявить грехами юности, детской болезнью, переболев которой Маяковский обрел прочнейший иммунитет против всяких излишеств и крайностей.

И снова сквозило между строк невысказанное представление: раз уж он лучший, талантливейший поэт, олицетворяющий на-

шу эпоху, надо ему быть посolidнее, помонументальнее, посерьезнее как-то.

Интерес читателей к Маяковскому, к его поэзии, жизни, к его личности очень большой, но он еще во многом остается «неутоленным».

Случайно ли, что мы уже долгие-долгие годы не читали воспоминаний о Маяковском? Последние сборники вышли больше пятнадцати лет тому назад. Думается, что и это связано с тем же стремлением поставить поэта на высокий мраморно-холодный пьедестал, обнесенный массивной цепью, превратить его в неподвижное изваяние.

И опять скажем: не такой он был! Страстный до одержимости, чуждый трезвенной уравновешенности, человек крайностей, горячий, азартный, он любил спорить, соревноваться, меряться силами, воевать. Был он по-особому впечатлительный, в настроениях неровный, иногда мнительный, порой даже — о, ужас! — мрачный и всегда в тревоге, в волнении, беспокойстве. Ненавидел старость, не мог представить себя дряхлым и немощным, говорил, что все равно до старости не доживет...

Только подумаешь о том, что об этом будет сказано в воспоминаниях, и сразу видишь редактора, чинного, как «чиновница ангельской лиги», всегда одинакового, «постоянно ясного». И снова слышится знакомый голос:

— А надо ли, стоит ли все это тащить в сборник о лучшем, талантливейшем?.. А как это будет истолковано? Вот узнают, что Маяковский был азартный игрок и начнут дуться в карты. Вот здесь сказано, что Маяковский не любил старость. А ведь мы не так смотрим на это дело — старикам везде у нас почет... и т. д. и т. п.

И так отредактирует сборник, что только и останутся фразы, вроде:

«Я был близким другом Маяковского. Как сейчас помню, он был лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Переходя улицу, первым делом посмотрит, бывало, налево, а уж потом направо. Деньги, поверите ли, хранил только в сберегательной кассе. Не курил, не сорил, не шумел...»

Читая некоторые книги и статьи о Маяковском — да и не только о нем — последних десяти—пятнадцати лет, думаешь о том, что мы подчас не только стремились превращать живых писателей в «памятники»; каждому памятнику отводился строго рассчитанный размер. Определение роли

каждого звучало прямо-таки как служебная должность. И все были пронумерованы. Горький — № 1. Маяковский — № 2. И, стало быть, что бы Маяковский ни делал, он следовал за Горьким. В свою очередь, что бы ни делали другие поэты, они следовали только за Маяковским. Важная мысль о роли Горького в создании литературы социалистического реализма упрощалась, механически прикладывалась к любому конкретному явлению. Получалось нечто вроде искусственной «централизации» литературного процесса.

Взять, к примеру, ту же книгу В. Козловского. С каким однообразием повторяется из страницы в страницу: «Под влиянием Горького...», «под благотворным влиянием Горького...», «...наставничество Горького», «направляемое Горьким дарование Маяковского...», «примкнув под руководством Горького...», «следуя за горьковской традицией...», «Маяковский не расходился с Горьким...» и т. д.

Исследование горьковского действительно большого и благотворного воздействия на Маяковского подменяется заклинаниями, причем создается картина, что Маяковский просто учился в горьковском «классе», что великий писатель был для него чуть ли не репетитором.

Вред таких заклинаний в том, что они приводят к обратному результату: повторением общих слов об ученичестве Маяковского они мешают показать, что конкретно дала юноше Маяковскому дружеская и творческая связь с великим пролетарским писателем.

Характерно, что, когда заходит речь на эту тему, очень часто в самых различных работах повторяются одни и те же примеры. Помнится, в книге Л. И. Тимофеева «Поэтика Маяковского» (1911) было впервые высказано интересное наблюдение о том, что стихи —

душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя, —

перекликается с горьковским образом Данко, вырывающего сердце из груди, чтобы осветить людям дорогу к счастью.

И сколько раз после этого в новых и новых работах повторялся все тот же пример, причем, как правило, без какой-бы то ни было ссылки на того, кто впервые ввел его в оборот.

Вообще говоря, мы как-то разучились ссылаться друг на друга. В литературе о Маяковском масса ничьих, «бесхозных» наблюдений, каждый раз возникающих под новым именем. Не обходится и без курьезов. Буквально в десятках работ авторы приводят слова из «Облака в штанах»:

в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год,

и замечают: поэт ошибся всего лишь на один год. Просто удивительно, как по эстафете передается эта дежурная фраза. Однако, если обратиться к дореволюционным изданиям, оказывается «шестнадцатого года» там не было — был «который-то год». После революции Маяковский, готовя «Облака» к новому изданию, как рассказывает в воспоминаниях его близкие, не захотел оставить «который-то». Теперь это звучало бы странно. Не захотел он поставить «семнадцатый» — получилось бы, что он «щеголяет» своей дальновидностью. И он поставил «шестнадцатый».

Но вернемся к вопросу о расстановке писателей по старшинству. Вместо многообразия литературы перед нами строгая субординация литературных имен, «расчисленных светил».

Старательный ученик по отношению к Горькому, Маяковский изображается как непререкаемый учитель для всех поэтов. То он следовал за авторитетом, теперь другие следуют за ним.

Например: «Следуя за Маяковским, Исаковский уже в те годы (речь идет о двадцатых годах.—З. П.) пришел к ясному пониманию, что поэт «прежде всего должен писать для своего народа» (В. Бузник. «Раннее творчество М. Исаковского и традиции русской поэзии». В сб. «Вопросы советской литературы», вып. III, 1956).

Очень часто это самое «следуя» возникает как штамп, как привычный рефлекс. Раз тема — поэт и народ, значит обязательно должна идти речь о влиянии Маяковского. Причем это влияние оказывается равномерно-повсеместным, без достаточного учета — на кого влиял Маяковский, как в действительности относился к нему «влияемый». Может быть, В. Бузник и прав, но тогда это надо доказывать на материале. А то ведь получается, что раз у нас Маяковский из живой личности превращается в «сумму идей», то каждую сходную идею в творчестве другого поэта поневоле приходится возводить к Маяковскому.

Механически решаем мы вопрос и о влиянии Маяковского на поэзию братских народов, часто искусственно накладываем его традиции на творчество самых разных поэтов, старательно выискиваем черты сходства, обходя различия.

Такое отождествление Маяковского с национальными поэтами дает себя знать в книге Р. Григоряна «Маяковский и армянская литература» (Ереван, 1956). Сопоставляя русскую и армянскую поэзию, автор хочет доказать, что в общем здесь никакой разницы нет: «Сравним поэзию Смбата Шахазиза, Иоаннеса Иоаннисяна, Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна с поэзией Пушкина, Лермонтова, Некрасова — и мы обнаружим такую же народность, те же идеалы, ту же веру в лучшее. Левон — герой поэмы Смбата Шахазиза «Скорбь Левона» — это тот же Чацкий или Рудин русской литературы». Характерно это «Чацкий или Рудин», здесь слышится известное безразличие к герою, как живому лицу, — он становится «знаком», условным носителем идеи. Сравнивая Татьяну Ларину с Ануш — героиней одноименной поэмы Туманяна, — автор приходит к заключению, что хотя внешнего сходства нет, «общественно-моральный пафос обоих произведений одинаковый». С этим можно было бы согласиться только в том случае, если принять, что пафос произведения лишен индивидуального своеобразия. Но ведь это же не так.

Стремление сгладить разницу между сопоставляемыми явлениями литературы дает себя знать на многих страницах книги. О творчестве Вагана Теряна говорится: «...если анализ стихов этого периода обнаруживает лишь отдельные элементы формального сходства с творчеством Маяковского, то полное тождество встречается порой в основном — в идейно-тематической направленности их произведений». Получается, что идейная направленность — это нечто очень общее, безличное, а все «частное», индивидуальное связано только с формой.

В книге Р. Григоряна есть интересные страницы, особенно хочется выделить главу «Маяковский и Чаренц». Но, читая книгу, чувствуешь, как сковывает исследователя принудительная схема, как мешают решению заранее заданные «ответы», с которыми обязательно должно сойтись все, что ты пишешь.

Эта статья — не обзор. В противном случае гораздо подробнее надо было бы сказать о достижениях нашего «маяковедения». Здесь речь идет о другом — лишь об одной тенденции, которая в течение многих лет мешала коллективной работе, по-разному проявляясь в различных работах. Состояла она в невнимании к творчеству поэта как явлению живому, индивидуальному, к его неповторимой личности, в перекладывании того, что выражено поэтическими образами, на язык общих формулировок; отсюда постепенное «закаменение» рисунка облика поэта, превращение его в неподвижную статую на торжественном постаменте.

Поэт, сказавший о себе: «Я — поэт. Этим и интересен», начинал уже интересоваться помимо этого своего основного качества. Прочитав некоторые работы, человека, не знающего, что Маяковский был поэтом, так и не узнал бы об этом, не догадался.

Но Маяковский интересен и дорог нам именно как поэт, такой, каким он был, не лучше и не хуже. И в наших работах он должен быть равен самому себе, а не выдуманному художочному образу «идеального героя», повешенному в угол нашей поэзии, как икона с лампадкой.

2

Однако все это лишь одна тенденция, основанная на пренебрежении к личному во имя односторонне понятого общественного. Есть и другая точка зрения. Ее не встретишь в книгах. Но за последнее время в спорах она потихонечку дает о себе знать. Звучит она примерно так:

— Вот вы говорите: Маяковский, Маяковский... Я всю звонкую силу поэта... я сам себя смирял, становясь... и тэдэ и тэдэ. А может быть, и не стоило «смирать». Такой лирик — и вынужден был накладывать на себя узду. Разве это могло пройти бесследно? Поэзия страдала. Личность утрачивалась. Лирические вспышки гасли. Отсюда и приходила «амортизация души». Поэт надрывался. Да и потом, сами знаете: сколько было допущено ошибок в общественно-политической жизни. Пересмотры, переоценки. Так, может быть, поэт должен поосторожнее себя вести, не связываться слишком коротенькой веревочкой со злобой дня? Все это преходяще. А искусство не терпит суеты. Маяковский решил запрячь Пегаса в «воз повседневности». Но Пегас — не ломовая лошадь, а поэт — не извозчик. Маяков-

ский, конечно, был человек искренний, намерения — самые благие, но, неправильно растративая свои силы, сам своему таланту наносил ущерб. И не герой он вовсе, но жертва. А вы мне говорите: Маяковский, Маяковский...

Если первая тенденция сводилась к одностороннему выскиванию только того, в чем формулируется общее, общественное у Маяковского, взятое в отрыве от него самого, от его личности, то вторая, наоборот, выражается в попытке «защитить» личность поэта от общественного начала.

Если вдуматься, можно обнаружить нечто общее между двумя отмеченными противоположными тенденциями. Сближает их то, что в обоих случаях личное в той или иной форме «страдает» от общественного, оказывается жертвой: в первом случае оно просто сбрасывается со счетов, во втором — окружается страдальческим ореолом. Но и в том и в другом случае личное существует само по себе.

Чтобы убедительнее показать несостоятельность второй точки зрения, надо постараться конкретно проследить, как же шло творческое развитие поэта, как Маяковский, все больше сближаясь с революционной действительностью, все больше обретал себя как личность.

Зададимся прежде всего вопросом: в чем пафос его творчества?

В самом деле, как ни многообразно творчество поэта, оно всеми своими нитями сходится к некоему узловому вопросу. И чем крупнее художник, тем резче проступает в его творчестве эта особенность: сочетание многообразия тем и вопросов с внутренним единством, обусловленным главным, ведущим вопросом времени.

Статьи Ленина о Толстом дают пример того, как следует находить в произведениях художника отклик, ответ на главный вопрос эпохи.

Для Чехова этот вопрос предстал примерно в такой форме: «Жив человек или нет?» Задавила ли его равнодушием собственническая, обывательская жизнь без цели, без «общей идеи», заглушила ли в нем человека, как это случилось с Ионычем, или же он еще может пробудиться — к любви, как герой «Дамы с собачкой», к действию, как героиня «Невесты»?

Конечно, мы сильно упрощаем творчество Чехова уже самой попыткой обозначить его проблематику в нескольких строках. И все-таки реальные основания для такого опре-

деления — пусть общего и предварительного — в творчестве Чехова есть.

Какая же главная, неотступная проблема, выдвинутая действительностью и ставшая пафосом творчества, проходит сквозь все произведение и деятельность Маяковского? Чтобы ближе подойти к ответу, попробуем сначала сформулировать вопрос так: в чем источник трагедии раннего Маяковского, что для него в жизни «самое страшное»?

Если для Чехова самое страшное связано с равнодушием, то для Маяковского нет ничего страшнее человеческого одиночества.

Ужас человека, нужного только себе, существования только себя; поиски человека-друга, людей-друзей, коллектива, товарищества, братства — вот что определяет главную тональность произведений Маяковского, начинающего путь в условиях общества, которое было построено на индивидуализме и собственничестве.

Поистине с какой-то неотвратимой последовательностью молодой Маяковский говорит об одном и том же. Это не означает какого бы то ни было однообразия, монотонных повторений, ибо одна и та же мысль предстает перед нами в самых разных поворотах, но источник здесь один.

Маяковский начинает не с вопросов: «Кто я?» или «Что есть жизнь?», но прежде всего: «Кому я? Для кого? Если «я» только для себя — на чёрта мне такая жизнь?»

Интонация, которая с такой силой звучит в стихотворении «Послушайте!» (1914) — «Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?», — определяет звучание и многих других лирических стихотворений, где речь уже идет не о звездах, а о нем самом, Владимире Маяковском. Поэт как бы говорит:

— Послушайте! Ведь если я есть, значит я кому-нибудь нужен? Значит я не просто так. Есть в этом какая-то необходимость. Я хочу быть нужным для людей. Я ищу человека. Я устал от одиночества. Люди, где вы? Я — не для себя. Я — для вас.

Безысходность поэмы «Человек», венчающей дореволюционное творчество поэта, в том, что он, поэт, остается никчемным, неприкаянным, никому не нужным. «Небо какое теперь? Звезде какой?»

Проклятие одиночеству — вот главная тема раннего Маяковского. Самое ненавистное для него — человек для себя, человек в «скорлупе», в тихом домике, «дач-

ке», человек, отъединившийся от мира и тем самым переставший быть человеком.

Тема — человек и мир — в той или иной форме присутствует в творчестве каждого писателя. Но у Маяковского она раскрывается с особенной остротой. В «Гимне обеду» (1915) поэт произносит полные самой лютой ненависти слова:

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан...

Первое, что определяет поэзию Маяковского, образный строй его произведений, и связано с тем, что, о чем бы он ни писал, за непосредственно изображенным встает картина мира, «пожара» времени. Это дает себя знать не только в таких произведениях ранних лет, как, скажем, «Война и мир», прямо рисующих «картину крови», но и в произведениях, казалось бы, сугубо интимных. И здесь раздвигаются рамки изображения.

Одна из наиболее «личных» поэм раннего Маяковского, на которую особенно охотно ссылались некоторые критики как на образец собственно лирики, от которой, мол, поэт ушел к «агиткам», — «Флейта-позвоночник». Это поэма о любви, о ревности, доводящей до отчаяния. Мучимый, отравленный любовью, неизлечимой и безысходной, поэт шагает по улицам, непрерывно терзает себя жестокими мыслями о «ней» и о том, другом, которому она принадлежит. Мрачные, трагические образы страдания, боли, адских мучений, смерти переплетаются друг с другом: любимая — проклятая, мысли — крови сгустки, поэт мечется и «выгранивает» крики в строки, молит бога о любой пытке, даже казни, — только бы избавиться от гнета любви. Казалось бы, лирический герой не видит, не чувствует ничего, кроме этой всепоглощающей «любовной пытки», замкнулся в своем страдании.

Но в том-то и дело, что это не так. За непосредственно изображенным, условно говоря «личным», встают мир и время. За стенами страдающего героя мы слышим шум жизни, разрывы снарядов, чувствуем, что это действительно происходит в 1915 году, когда бушует война и смерть бродит по земле.

Неотступность поэтического образа у Маяковского в том, что он возникает даже тогда, когда «не о нем речь».

И небо,
в дымах забывшее, что голубь,

и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

В стих врываюся война, страдания других людей, дым от снарядов, покрывающий небо, как облака. Действующие лица «Флейты» это не только «он» и «она», это и тучи-беженцы, и люди в окопах, и «милые немцы» с Гретхен на губах, и умирающий на штыке француз, и подстреленный авиатор, с улыбкой вспоминающий в последние секунды «в поцелуе рот твой, Травиата».

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия...

пишет Малковский, и это сравнение, связываясь с «тучами-беженцами» и другими подобными образами, воссоздает перед нами страшную картину времени, ужасов войны, трагедии уже не одного человека, но человечества.

Маяковский с огромной смелостью разрывает привычный поэтический ряд. Его образная система строится на преодолении какой бы то ни было замкнутости, смелых прорывах в большой мир.

Он не может говорить только о себе, не может не выходить за рамки узко личного существования.

Когда беспокойно в мире, нет для поэта «спокойненького» места. О чем бы он ни подумал — его мысль во власти неотвязных ассоциаций, на что бы ни посмотрел — его обступают тревожные образы страдающего, израненного войной мира.

Маяковский по самой природе своей, по мироощущению, видению, образному восприятию не в состоянии замкнуться в теме «личной и мелкой», властная сила вырывает его из замкнутого круга, уводит от «спокойненьких» и «тихоньких» мест к мировому «пожару», в круговорот больших событий, вовлекающих многие и многие судьбы.

Однако многое из того, что было заложено в природе Маяковского, не могло развернуться, осуществиться в те, ранние годы. Лирический герой устремляется к людям, но каждый раз наталкивается на «хохотливое «Ага!», на «сытые морды», на безглазые, безухие «желудки в панаме», «меднорожие, потные геликоны». У него нет главного — дела. Даже на небе все чем-то заняты — «кто тучи чинит, кто жар надбавляет солнцу в печи, а ему, человеку «для сердца», нечего делать, нет никакого применения.

Мы говорили, что Маяковский начинает не с вопроса «Кто я?», но «Кому я, для кого?» В то же время нельзя не видеть, что оба эти вопроса связаны. Человек, лишенный возможности действовать, не ощущающий своей необходимости, не может не терять в себе чего-то, как утрачивает что-то сила, не реализующая себя.

Вот почему можно сказать, что ранний Маяковский еще не до конца обрел себя как личность в полном смысле этого слова, его облик лишен той внутренней определенности, которая придет позже. Нельзя не обратить внимания на то, что во многих ранних стихах и поэмах лирический герой как бы двоится. Один говорит о себе, о своем страдании:

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!

Другой дразнит едким, вызывающим смехом:

По Невскому мира, по лощеным полосам
его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Один пишет о своей любви, как о сокровище, тем более драгоценном, что это, может быть, последняя в мире любовь. Другой, наплевав на все самое дорогое и святое, восклицает:

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Характерно название одного стихотворения: «Теплое слово кое-каким порокам».

Но все это кажущийся цинизм. Нет двух лирических героев в раннем творчестве Маяковского: один — «хороший», другой — «плохой». Есть один сложный, противоречивый образ поэта, который иногда, словно устав от ощущения своей ненужности, в отчаянии надевает на себя маску пошляка и циника, с тем чтобы потом с еще большей яростью отбросить ее. Эта противоречивость и внутренняя неустойчивость образа лирического героя связана с той же первоосновой причиной — с проклятием одиночества, когда вдруг начинает казаться, что ничего не нужно, «ничего не будет» («Облако»), все никчемно и бессмысленно. Вот он кричит:

глухой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот¹
(«Кто всему»)

Но уже в одном из следующих стихотворений возникают слова — «Надежда сияет сердцу глупому», и поэт «без позы, без маски» по-прежнему ищет человека.

Часто поэт надевает на себя «маску» даже не столько от отчаяния, сколько демонстративно — в знак протеста. Он как бы восклицает, разъярившись:

— Да лучше быть последним гулякой,
шулером, кем угодно, только не таким,
как вы, обыватели. Да лучше я в баре буду
подавать ананасную воду, нежели отдавать
жизнь в угоду вам.

Ясно, что нельзя понимать эти строки буквально. Так же строится переход от разоблачительной интонации к «маске» в стихотворении «Братья писатели»:

Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Конечно же, смысл стихотворения вовсе не в том, что поэт здесь просто «плюет» на всякое искусство.

Демонстративный «цинизм» лирического героя не что иное, как оборотная сторона его протестующего, воинствующего одиночества; окрашенный трагически, он является одним из моментов поисков настоящего, свободного человека и вместе с тем обретения собственного «я».

Все дело в том, что не мог еще проявиться с подлинной глубиной, определенностью и устойчивостью образ лирического героя, пока он был обречен на бездействие, пока он был одинок и порой предпочитал отказываться от всего, лишь бы не участвовать в пошлой, «засаленной» жизни.

¹ Можно только подивиться тому, как грубо толковались порой эти строки. Так, например, В. Козловский в упомянутой книге видит в них почему-то разрыв с футуризмом. Но если разбирать строки изолированно от образа лирического героя в целом, можно в них еще не то вычитать.

И, думается, есть известная перекличка молодого Маяковского с Лермонтовым, с трагедией одиночества, выраженной во многих его стихах и поэмах, начиная от «дубового листка», что «оторвался от ветки родимой», и кончая «Демоном». Лермонтовский герой порывает с чуждой и враждебной ему действительностью, остается один и тяготеет к одиночеству, мучается, чувствуя, что слабеют его связи с жизнью, что он, подобно дубовому листку, сохнет и увядает. Нечто сходное было и у Маяковского — вот почему он так ожесточенно вырывался из одиночества.

Большой поэт не может жить только «самим собой». Маяковский писал:

И чувствую —
«я»
для меня мало.

Революция освободила его от проклятия одиночества. Вместе с ней для него возвратилось всё — и жизнь и любовь. В первое время он даже забывает о себе. Лирический образ самого поэта как будто даже исчезает со страниц стихотворений. Сравните названия в ранние годы: «Я», «Несколько слов обо мне самом», «Я и Наполеон», «Вот так я сделался собакой», «Себе, любимому, посвящает эти строки автор» и — в первые годы Октября: «Наш марш», «Левый марш», «Потрясающие факты», «Мы идем».

Но в действительности это было не исчезновение, а второе рождение лирического героя; в пламени революции он не сгорел, напротив, очистившись и закалившись, он стал еще сильнее, крепче, стал более ясным и определенным.

Сравним четыре произведения о революции: Поэтохроника, «150 000 000», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Перед нами четыре ступени все более глубокого и полнокровного изображения революционной действительности и вместе с тем четыре ступени все более живого и выразительного раскрытия лирического героя.

В «Революции (Поэтохронике)» автор начинает с действительно хроникальной передачи событий, чуть ли не репортажа, а затем мы как бы слышим голос Поселян Земли, «народа огромного громовое: — Верую величию сердца человеческого!». В этом едином монолитном хоре еще не выделился голос самого поэта. О нем вообще не говорится ни слова.

В «150 000 000» поэт несколько раз упоминает о себе. Например, в описании Вильсона:

Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.

Мне
платить не хотят построчной платы.

Нетрудно увидеть, что здесь «я» играет пока роль простой иллюстрации, лишено каких-либо индивидуальных примет, кроме указания на поэтическую профессию.

В поэме «Владимир Ильич Ленин» лирический герой не просто упоминается. Он неотъемлемая часть всего строя вещи.

Уже первая строка определяла тональность «поэмы об Иване»:

150 000 000 мастера этой поэмы имя..

Отсюда, как это не раз отмечалось в критической литературе, — безыменный, «безличный» характер повествования. Наоборот, теперь автор сам предстает перед читателем, открывая поэму:

Время —
начинаю
про Ленина рассказ..

И на протяжении всей поэмы этот рассказ о вожде переплетается с признаниями о самом себе: поэт себя «под Лениным» чистит, он тревожится, чтобы не залили «приторным елеем» образ вождя, ради Ленина он готов, «глупея от восторга», отдать жизнь; вот он шагает с тысячами других людей к Большому театру вослед за красным гробом, застывает в последних минутах молчания, а потом в «звенящем марше» сливается с общим бурным потоком.

В «Хорошо!» образ лирического героя дан еще полнее, живее, непосредственнее, с многими сугубо личными, автобиографическими подробностями, черточками быта, воспоминаниями о личных встречах.

И уже невозможно сказать, о чем говорит поэт: о себе или о «весне человечества». Лирическое «я» сливается с большим миром Родины, не переставая быть собой, ничего не утрачивая, наоборот, обретая жизненную почву.

Самые, казалось бы, громкие слова произносятся не «безлично», но с непрерывно ощущаемой «маяковской» интонацией:

Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.

«Маяковское» здесь и в грубоватом «прет», которое как бы прикрывает душевную растроганность, и в смелом сочетании таких слов, как «прет» и «прекрасна», в ощущении непринужденной разговорности, и в неизменно присущей поэту готовности «уделить» все, чем владеет душа, людям, отдать, подарить им что только есть в тебе хорошего.

Таким образом, не говоря пока о многих лирических стихотворениях, поэме «Про это» и многом другом, если брать поэмы, непосредственно посвященные теме революции, борьбы за социализм, мы видим, как постепенно рассказ «о времени» сливается с рассказом «о себе», одно не противоречит другому. Больше того, чем полнее и глубже раскрывается под пером Маяковского образ революции, тем благотворнее сказывалось это на изображении лирического героя, все более обретавшего неповторимо индивидуальные характерные черты.

Уже одно это опрокидывает схему, согласной которой в поэзии Маяковского лирические «вспышки» заглушались «общественной» струей. Мы видели, что ранние произведения, например «Флейту-позвоночник», никак нельзя безоговорочно относить к узко лирическим; молодому Маяковскому все время за «блюдом студня» мерещились «косые скулы океана». Точно так же нельзя не видеть и того, что в крупнейших вещах, посвященных революционной теме, рос и развивался образ лирического героя. А это значит, что Маяковский все больше обретал себя в революции. В советские годы мы не найдем в его произведениях трагической «маски»; образ лирического героя не двоится, не переходит с вызывающей демонстративной полемичностью в свою противоположность. Это значит, что поэт, слившись с народом, больше находит себя, чем ему удавалось найти себя, когда он был одинок.

Но тут мы снова слышим голос оппонента:

— А что вы скажете о «Про это»? Допустим, что в других вещах образ поэта действительно вырос в тесной связи с развитием «эпической», революционной темы. Но разве в «Про это» Маяковский не ушел в личный, замкнутый мир любовных переживаний, разве не отдал он здесь дань теме «личной и мелкой»? А ведь именно

эту поэму он называл вещью «наибольшей и наилучшей обработки». Так почему же надо считать, что Маяковский по-настоящему раскрылся как личность именно в революции? Кто знает, может быть, он был призван к тому, чтобы писать о любви и напрасно себя «смирять, становясь на горло собственной песне»?

Однако весь этот монолог теряет свою убедительность, как только мы обращаемся к самой поэме. Весь ее пафос как раз в том и состоит, чтобы жить не для себя только.

— Ведь это для всех...

для самих...

для вас же...

Ну, скажем, «Мистерия» —

ведь не для себя ж?..

Поэт там и прочее...

ведь каждому важен.

Не только себе ж —

ведь не личная блажь...

В этих горячих, сбивчивых, как будто «задыхающихся» словах — «нерв» всей поэмы. Ее главный конфликт, определяющий всю структуру, движение образов, можно определить примерно так: жить для себя, в своей норе, кормушке, конуре или — жить в дружбе со всем миром; жить так, чтобы «день да ночь, сутки прочь», попивая чай, не вылезая из своего логовища, или — жить, откинув «будничную чушь», связавшись со всеми людьми одной большой, чистой любовью-товариществом. Такова линия конфликтного развития: от «дома дыр» — к родству со всем миром.

Эта ведущая тема уже звучит во вступлении, как всегда у Маяковского, намечающем главное в «разворачивающемся» образе.

В этой теме,

и личной

и мелкой,

перепетой не раз

и не пять,

я кружил поэтической белкой

и хочу кружиться опять.

Как будто тема предстает и узкой и замкнутой, и поэт не в силах вырваться за ее пределы, «кружится» в ней. Но сразу же такое представление преодолевается другим, прямо противоположным:

Эта тема

сейчас

и молитвой у Будды,

и у негра вострит на хозяев нож.

Если Марс,

и на нем хоть один сердцелюдый,

Все предметы видны отчетливо, но они сжались. Все кажется мельче, чем в жизни.

И дальше начинается последовательная, все нарастающая в своей контрастности смена образов: с одной стороны, комнатные норы, с другой — раздолье, простор жизни.

Образ лирического героя поэмы предстает перед нами в разных проявлениях: наряду с главным образом мы сталкиваемся и с его карикатурными отражениями, которые окрашены гневной и трагической иронией, обращенной к самому себе. В этих образных «отражениях» воплощалось стремление поэта преодолеть в себе узкое и мелкое, все то, что мешает идти по земле знаменосцем, взмывая к солнцу строчками стихов.

Вместе с тем есть в поэме и другое, лирическое, отражение образа поэта-героя: «Человек из-за семи лет». Это сам Маяковский, каким он был в молодости, в пору «Человека»: мальчишески-чистый, неподкупный, непримиримый. Это он звал «ее» порвать с лысым и жирным повелителем всего, королем пошлости, «хозяином».

Зечем тебе?
Остановись!
Я знаю радость слаже!
Надменно лес ресниц навис.
Остановись!
Ушла уже...

И вот молодой, неприкаянный, неуступчивый в любви и ненависти поэт из «Человека» входит в поэму «Про это», неотрывно-пристальным, настороженным, требовательным взглядом смотрит на самого себя, каким он стал семь лет спустя.

Гневная ирония поэта в собственный адрес сочетается со стремлением опереться на то лучшее, что в нем есть, прислушаться к голосу совести, больше того, сделать совесть действующим лицом поэмы!

В начале поэмы «Человек из-за семи лет» говорит поэту, что, пока не настанет высокая, свободная от грязи «рабьего», настоящая «спаситель-любовь», он будет

¹ Прав А. Метченко, говоря в своей монографии, что «Человек из-за семи лет» воплощает этические принципы, предостерегает героя «Про это» об опасности омещанивания. И никак нельзя согласиться с В. Перцовым, который всячески акцентирует «преодоление «проклятой» или «ужасной» фигуры с моста», пассивной и жертвенной. (В. Перцов. Маяковский Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции. 1956).

стоять, пригвожденный к мосту над Невой. Поэт бросается к нему на помощь. Он бежит к родным, друзьям, к любимой для того, чтобы уговорить их спасти «Человека» на мосту. И в тот момент, когда он заклинает любимую «разотозваться» на стих, пойти вместе с ним на помощь к тому, ожидающему любви-освобождения человеку, в этот момент и начинается вдруг грозное гуденье, шум: это пришел «Человек из-за семи лет»—

пришел приказать:
Нет!
Пришел повелеть:
Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!
Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.

Вот что связывает «Человека из-за семи лет» и героя «Про это»: ощущение, говоря словами Маяковского, что «я» для меня мало», что судьба человеческой личности и ее любви не может быть решена в рамках одной личности. «Про это» — поэма, органичная для творчества Маяковского с его пафосом преодоления одиночества, стремления к товариществу со всем миром.

«Что толку—тебе одному удалось бы?!»— вот лейтмотив поэмы, то мерило, с которым подходит Маяковский к человеку и к самому себе, вот та мораль, которая характерна для людей нового строя отношений.

Поэма, о которой так часто говорили как о «срыве», «отходе», «возврате к старому», «рецидиве индивидуализма» и т. д. — при всей трагической нерешенности многих вопросов, при всей тревожной неуравновешенности повествования,— по замыслу, по структуре и движению образов является поэмой преодоления индивидуализма, сытого, мещанского себялюбия.

Могут сказать, какое же это преодоление одиночества, когда в конце поэмы обывательщина расправляется с поэтом? Это так; но венчает поэму не тема смерти, а, напротив, тема воскресения человека в будущем, в «рассиявшейся» изумительной «мастерской человеческих воскрешений». И страш-

хватает на все собрания и он «раздвояется»; это — учреждения, превратившиеся в «канцелярские баррикады», бумажка, которая начинает повелевать человеком, бывший революционер, коммунист, который, как птица, обзавелся «бумажным хвостом» —

В течение дня
страну наводня
потопом
ненужной бумажности
в машину
живот
уложит
и вот —
на дачу
стремится в важности.

Это искусственный человек, точно сошедший с конвейера, привыкший к однообразным автоматическим телодвижениям; у него «вместо голоса — аппарат для рожений некоторых выражений». Секретарша, шипящая у «завоуской двери драконом-гадом», «разужасно деловой» парень, который нагружен так, что ему некогда работать; служака, трудящийся без отрыва от стула, для него циркуляр — единственный в жизни компас, от коммунизма для него остался один только вызубренный «изм»; это столп, «совдурак», помпадур, претелдующий на право «экстерриториальности» в рабочей массе, на личную неприкосновенность; волокитчик, который тянет, тянет каждое дело до бесконечности — главное, не брать ответственности на душу; «хозяйствующие чиновники», перегородившие дорогу рабочему-изобретателю.

К нам сегодня обращается Маяковский:

Достань
бюрократа
рабочей под кипой бумаг,
ярости
бич,—
так
бороться
велел Ильич.

Но, обрушивая удары своей сатиры на прозаседавшегося совчиновника, Маяковский не упускает из виду и другого, не менее опасного врага — стоящего в сторонке обывателя, хихикающего шептуна: каждая трудность вызывает у него тайное удовлетворение: «Вот видите... я же говорил. Нет, моя позиция самая верная. Плюй на все и береги свое здоровье». И он плюет...

Маяковский говорил о бюрократе, не понижая голоса. Но обывателю это не может доставить никакой радости. Во-первых, по-

тому, что каждая строка дышит уверенностью: «Мы их всех, конечно, скрутим...»; во-вторых, потому, что поэт тут же наносит удар по обывателю, мешанину, который пытается найти себе в этой критике какую-нибудь поживу.

В «Хорошо!»:

— Замрите, враги!
Отойдите, лишенькие!
Обыватели!
Смирно!
У очага!—

Воюя с врагами, поэт не дает спуска и этим «лишеньким», холоднокровным созерцателям, пытающимся встать «над схваткой».

Пережил революцию,
до нэпа дбжил
и дальше
приспособится,
хитёр на уловки...
Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то
пули
рвут
знаменный шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуя,
а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.

Обыватель переменчив. Когда-то он увлекался канарейками. Потом завел граммофон. Кто знает, может быть, сегодня он уже с магнитофоном. Но дело не в этом — не в мебели, а во внутренней «обстановке», в бестревожном душевном уюте, защищенном от холодов и ветров.

Есть и другая разновидность обывателя: «болельщик», который сам на поле не выходит, но переживает на скамейке. Ему все равно, в чьи ворота забьют мяч, главное, чтобы был шум, столкновение, сенсация. Сплетни для него как пища — в день он должен получать ее минимум в три раза. Или же он сразу начнет хиреть.

В сущности, обывательское равнодушие и любовь к сенсациям — явления вовсе не полярные. Человеку действительно большого сердца не надо себя специально разжигать, щекотать любопытство.

Обыватель же любит ходить сбоку жизни, с любопытством поглядывая на

то, что происходит на главных путях и дорогах. Сам он ни во что не верит — считает себя «стреляным воробьем».

Огромные вопросыци,
страна огромней слоних,
решает
миллионнолобая.
А сбоку
ходят индивидуумы,
мнение обо всем а у них
особое.

Так начинается стихотворение «Особое мнение» — о тех, кто всегда сбоку, в стороне, поодаль. Маяковский называет их «индивидуумы». Это звучит иронически. Хотя обыватель и претендует на «что-то особенное», неповторимое, но неминуемо попадает в объятия самой затасканной пошлости.

Ирония Маяковского связана именно с тем, что личное для такого «индивидуума» — всегда нечто особое, вернее, обособленное, отделенное от окружающей жизни, от «огромных вопросов», от всего того, над чем бьется страна «миллионнолобая».

В этом — особенность сатиры Маяковского: когда он бьет одного из врагов, другим он на это время тоже не дает передышки. Его сатира — своего рода поэтическая «комбинированная атака», массивные удары и по тем, кто злоупотребляет своим служебным положением, и по тем, кто, услышав о злоупотреблениях, начинает истерически обличать всё, сверху донизу.

Критикуя наши недостатки, делая это громко, убежденно, во весь голос, Маяковский все время следит за тем, чтобы к его критике не примазались нытики, маловеры, паникеры, шептуны, обыватели; смотрит — кто с ним шагает рядом. Не верящим в наше дело Маяковский говорит:

Послушайте,
вы, товарищ Фома!
У вас повадка плохая,
Не надо очень
чтоб все большого ума,
отвергать и хаять.

Маяковский помогает нам понять еще одну важную психологическую особенность обывателя, который любит говорить, что у

нас все плохо, потому что это оправдывает его собственное безделье. Конечно же, легче «все отвергать и хаять», жаловаться на то, что нет условий, а то бы он, мол, покал себя, чем действительно засучив рукава, без болтовни, без суетливого ажиотажа класть кирпичи в «коммунову стройку».

Сегодня, когда мы спорим о том, каким должно быть критическое начало социалистического реализма, опыт Маяковского особенно ценен. Не в том дело, чтобы уравнивать плюсы и минусы, и не в том, чтобы ставить — предосторожности ради — перестраховочные «ограничители». И не тем измеряется смелость сатиры, каков чин изображаемого персонажа — районный это или областной масштаб. И, конечно же, не благополучного «хеппи энда» требуем мы, чтобы добродетель восторжествовала, порок был наказан или, говоря более современным языком, все виновные были привлечены к ответственности.

В стихотворении Маяковского «Помпадур» вообще не говорится о том, что помпадур наказан. Но смысл стихотворения в том, что помпадур выглядит как чуждое, враждебное нашему строю явление. Формула «за партию, за коммунизм, на помпаду-ров!» двуедина. Ее нельзя свести только к отрицанию или только к утверждению. Здесь не «равновесие» плюсов и минусов, а неразрывное сочетание в борьбе за коммунизм преодоления зла и созидания нового.

Бюрократ против самокритики. Обыватель, наоборот, страшно рад каждому новому «разоблачению». Но оба они сходятся на том, что критика и самокритика, дескать, подрывает «государственные устои».

Товарищ Попов из стихотворения «Столп» ужасается:

«Кого критикуют? —
вопит, возомня,
аж голос визжит
тенорком. —
Вчера —
Иванова,
сегодня —
меня,
а завтра —
Совнарком!»

А некто из «любителей затруднений», услышав голос критики, потирает ручки от радости — ему уже мерещится в каждой трудности «начало конца»:

Ус
закручивает,
весел и лих:

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Книпович. Дыхание времени.— **А. Берзер.** Конь в яблоках...— **Ф. Вигдорова.** В трудные дни.— **И. Рахтанов.** Лодман Кембрийского моря.— **Ел. Ржевская.** Повесть о детстве.— **А. Илупина.** Хмелев-режиссер.— **А. Письменный.** Симфония большого города.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Петровский. Жизнь, отданная борьбе рабочего класса.— Кандидат исторических наук **А. Байкова.** Ирландия борется за независимость.— **Д. Заславский.** Газетная армия «холодной войны».— **Д. Данин.** Верный путь нового журнала.— **Я. Свет.** На Коморском архипелаге.

Литература и искусство

Дыхание времени

Учитель географии Кучин — один из героев давней повести Н. Тихонова «Анофелес» — с горечью рассматривает старую карту мира, многие утверждения которой стали ложью в послеоктябрьские годы.

Российская империя? Но она перестала быть империей. И она не граничит с Австро-Венгрией, которой вообще больше нет. Зато появились на карте диковинные области — Танну-Тува, Бадахшан, — и столицы европейских и азиатских стран изменили свои названия.

История взяла на себя в те годы обязанности профессора географии, бесконечно ускорила, сжала во времени медленный процесс изменения карты мира.

Если же бедный старый «анофелес» дожил бы до наших дней, он окончательно сошел бы с ума при виде карты, где раскинулось столько невиданных стран — Демократическая Республика Вьетнам, Лаос, Таиланд, Пакистан, Родезия, Гана. Текучесть, изменяемость мира, которая становится особенно наглядной в годы великих исторических сдвигов, ощущается, как катастрофа, как «конец мира» старыми ограниченными людьми вроде Кучина.

Но совсем иное чувство возбуждает все это у активных и сознательных участников тех событий, которые прямо или косвенно определяют эти изменения.

Ответственность человека — борца и строителя — за сегодняшний день рождает в нем, гогоря словами Н. Тихонова из последнего его рассказа «Возвращение», «чувство времени... такое чувство, которое тогда сильнее живет, когда вы знаете, что было, и что может быть, и что должно быть». Эта «историческая сознательность» советского человека в высшей степени свойственна всему творчеству Н. Тихонова, говорит ли оно о прошлом, настоящем или будущем. Она с новой остротой ощущается в стихах и прозе последних лет — повести «Белое чудо», в рассказах о Пакистане, «Рассказах горной страны», в цикле стихов «Два потока».

Рассказ «Возвращение» как бы замыкает этот азиатский цикл. В нем есть темы и образы, уже знакомые нам, — ночной путь через пустыню, когда путешественники точно «проваливаются в мир прошлого, где нет воспоминаний и нет ничего живого»; «золотые огни» Термеза, вдруг вставшие перед глазами советских людей, вышедших на афганский берег Аму-Дарьи; острое счастье встречи с Родиной после долгих странствий.

Затем «зимний солнечный маленький Термез», где «дыхание эпохи чувствуется с особенной силой, потому что это граница миров». И первые дни на Родине, встреча трех старых друзей, разговор, в котором три современника, три солдата революции — историк, поэт и кадровый военный, — касаясь судьбы малого города Термеза, размышляют о том, «что было», «что может быть», «что должно быть».

В повести «Белое чудо» — очень многогранной — есть одна тема, тесно связанная с основным содержанием рассказа «Возвращение». Это тема мертвого города Мохенджо-Даро, который пять тысяч лет пролежал под землей возле Лахора и в наши дни поднялся из могилы благодаря работе археологов. Мохенджо-Даро лежит «в осколках» в музее. И осколки культуры народа, который пять тысяч лет тому назад знал золото и серебро, медь и железо, хлопок и пшеницу, вызывают разные чувства у людей, занимающих разные позиции по отношению к современности. Американский разведчик Фуст — порождение исторически обреченных сил империализма и колониализма — видит в этих «осколках» лишь доказательство излюбленных положений декадентской философии о круговороте истории, о бесконечной и бессмысленной повторяемости рождающихся и гибнущих цивилизаций. Совсем иное чувство вызывает вставший из-под земли древний город у передовых людей Пакистана, у молодых и совсем юных патриотов, борцов за мир и культуру родной страны.

Для них, по гениальному определению Герцена, «былое пророчествует».

Высокая культура жителей Мохенджо-Даро, которые «умели строить и делать прекрасные вещи», — это предмет гордости для патриотов Пакистана, это — доказательство единства и непрерывности исторического творчества народов. Если история начинается не вчера, если «наши далекие предки были не глупее нас», это — лишнее доказательство того, что борьба сегодняшнего дня не останется бесплодной.

Тема времени, безрассудства или мудрости истории, разной функции прошлого в настоящем стоит и в рассказе «Возвращение». Что для нас маленький солнечный Термез? Как выясняется в разговоре трех друзей, в царское время он был «человеческим захолустьем, напоминающим стоянку пещерного человека».

А чем дальше идти в глубь веков, тем более странные и диковинные превращения претерпевает облик этого прелестного советского городка. Историк Арсений Иванович Карский на основании точных научных данных реконструировал на стеклянных пластинках для волшебного фонаря облик Термеза в различные эпохи. В течение двух тысяч лет Термез был и греческим городом, где совершился брак Александра Македонского с бактрийской царевной Роксаной, Термез принимал облик индийский и китайский, арабский и византийский, он расцветал и снова падал в развалинах под ударами скифов, монголов и других завоевателей.

Картины волшебного фонаря — серия реконструкций Карского — ошеломляют его собеседников, как наглядное и страшноватое свидетельство полной бессмыслицы «предыстории человечества».

В дальнейшем течении разговора тема времени поворачивается по-иному. Речь заходит уже об истории человечества, о становлении Советской власти в наших среднеазиатских республиках, об осмысленных жертвах, о разрушении старого во имя победы нового.

И как концовка к этой теме победы нового в жизни и сознании всех граждан Советской Средней Азии звучит последний эпизод рассказа — встреча со старым садоводом из пограничного колхоза.

Жизнь старого Алима подчинена одному стремлению — засадить садами всю сурхандарьинскую долину, «вернуть земле красоту, которую она заслуживает». И, беседуя с Алимом, рассказчик вспоминает картины-реконструкции Карского — «такие страшные в сопоставлении веков».

«Вот такие Алимы сколько раз восстанавливали уже разрушенное, сколько тратили сил, чтобы снова подымались сады на месте истребленных, сколько раз возводили города на руинах их предшественников, из века в век строили вечный Термез, потом изнемогали и исчезали! И снова лежали руины, которые пугали прохожих и ужасали новые поколения».

Что же из этого следует? Что жизнь Алимов на протяжении тысячелетий, пережитых человечеством, была подобна жизни коралловых моллюсков? Правда, Алим, встреченный в сурхандарьинской долине, Алим советской эпохи, естественно, оказывается не похожим на своих предков — он человек сегодняшнего дня, он живет инте-

ресами современности, он чувствует связь свою с тружениками всего мира.

Все это справедливо, но неужели абсолютизм грань между человеческой историей и человеческой предысторией? Ведь и Алим, строивший все Термезы прошлого, украшавший землю трудом рук своих, был причастен единому, несмотря на все провалы и перерывы, и бессмертному, несмотря на все разрушения, делу строительства человеческой культуры.

И правы были молодые герои «Белого

чуда», испытывавшие по отношению к строителям Мохенджо-Даро не жалость за то, что дело рук их легло «в осколках», а гордость за то, что пять тысяч лет тому назад они умели строить и создавать прекрасные вещи. И когда речь пойдет о судьбе Термеза при коммунизме — «будущего миллионного города, лучшего из всех Термезов прошлого», — не надо забывать, что торжество его строителей будет и торжеством всех труженников человеческой предыстории.

Е. КНИПОВИЧ.

★

Конь в яблоках...

С первой строчки, уже с названия автобиографической повести Александра Довженко «Зачарованная Десна» мы попадаем под обаяние этого неисчерпаемо поэтического произведения.

Совсем маленькая повесть о детстве... Даже не повесть, а набросок повести, как скромно назвал ее автор во вступлении. Здесь нет плавного, неторопливого погружения в старину, подробного воспроизведения характеров, исторических обстоятельств, хронологически последовательного рассказа о жизни.

Но есть здесь сама жизнь, раскрывающаяся стремительно, страстно, резко, — мир волшебный и одновременно реальный, во всем его бесконечном богатстве и неисчислимой нищете. Это мир, полный звуков, запахов, зримый, вещественный мир, где все цветет, благоухает, переливается на солнце, искрится живыми, неповторимыми красками.

Это не скуповатая, строгая прелесть среднерусских пейзажей, а щедрость, солнечность, буйство красок именно украинской природы, именно украинской деревни.

Маленький герой хорошо знает, как щечечут птицы в саду и в поле, как пахнут семена, как скрипят колеса «под тяжелыми возами в жнивье», знает, как «приятно обнимать лошонка с курчавым хвостиком», «ловить руками карасей и щучек, замутив воду, или смотреть, как тянут в озере бредень». Он бродит в густых зарослях дремучего табака, кукурузных стеблей, он высасывает мед из табачных цветов, пробует «белый, еще в молоке, мак» и вишневый

клей. Он чувствует себя как дома в царстве таинственных озер, «вялой травы и цветов». Он видит, как прихотливо и вольно плывут по небу тучи, как летят перелетные птицы.

«Жили мы, — рассказывает писатель, — в полной гармонии с силами природы. Зимой мерзли, летом жарились на солнце, осенью месили грязь, а весной нас заливало водой. А кто этого не знает, тот не знает радости и полноты жизни».

Эти слова хорошо передают своеобразие повести. Природа в ней — не фон, на котором развивается действие, не отдельные превосходно написанные картины, не цепь пейзажей или зарисовок, — это вся полнота жизни в ее движении, в ее течении. И показывает ее писатель не со стороны, а как бы изнутри — «в полной гармонии с силами природы». Мальчик как будто составляет частицу этой вечно живой природы, он связан с ней одной жизнью, одной судьбой.

Поэтому в самом тоне, в манере повествования нерасторжимо сочетаются сказочность, поэтичность, фантастичность с особой осязаемостью описаний, их взраваданней, реальной зримостью, «плотностью» и вещественностью. Здесь даже хата кажется частью окружающей природы — будто «ее никто не строил, а выросла она сама, как гриб, между грушей и погребом, и похожа была она тоже на старую белую сыроежку. Любили мы ее, как пчелы улей».

Образный строй речи целиком определяется этим нерасторжимым единством с природой, потому так естественны сравнения, идущие из самых глубин окружающего мира. И хотя речь писателя необычайно красочна, живописна, нигде не найдем мы выспренности или украшения — так

закономерно вытекает эта форма из характера жизни героя и его отношения к ней.

И это не только восприятие действительности, обусловленное возрастом крестьянского мальчика. Повесть А. Довженко имеет гораздо более широкое и обобщающее значение, так как воссоздает атмосферу народной жизни, народной мудрости и поэзии.

«Ничего на свете так я не люблю, как сажать что-нибудь в землю, чтоб произрастало. Когда вылезает из нее всякая былиночка, вот то моя радость»,— любила приговаривать мать мальчика.

Ощущение трудовой, а потому и душевной связи с землей пронизывает эту повесть, определяет ее поэтику, лексику, образный и ритмический строй. Поэтому кожаный переплет псалтыря кажется мальчику коричневым, как гречневый мед, поэтому мать называет он зозулей, поэтому бог на иконе, очень похожий на деда, «держал в одной руке круглую солонку, а тремя пальцами другой как будто собирался взять зубок чеснока».

В будничном, деловом отношении к богу, «окрестьянивании» его, как и в отношении к явлениям природы, чувствуется соединение, скрещение детского и народного взгляда на жизнь. Это соединение вообще постоянно чувствуется в повести «Зачарованная Десна».

«Домовой жил у нас на печке и в печной трубе в дымоходе. Голоса он не подавал никогда и очень был похож, говорили, на вывернутый черным мехом вверх тулуп»,— рассказывает герой.

Конечно, это — детское, сказочное отношение к миру. Но не случайно в описании внешнего вида домового вставлено, казалось бы, незаметное слово «говорили». И мы понимаем, что точно так же относились к домовому и взрослые, что это — их представление, выраженное только с детской конкретностью и непрекаемостью.

Это особенно полно раскрывается в описании висевшей в хате «картины страшного божьего суда». Весь этот эпизод написан с неповторимой живописной силой — так рельефно, отчетливо предстает и сама картина и место ее в жизни людей. Это была «страшная, поучительная картина», на которой был изображен весь загробный мир. Наверху «дед и все святые». А внизу было намалевано что-то «вроде преискуранта кар за грехи». Все члены семьи имели на этой картине свои «насиженные места» в

соответствии со своей грешной жизнью. И, глядя на эту картину, они уверенно сочиняли свою будущую, потустороннюю жизнь.

Темнота народной жизни переплетается здесь с яркостью фантазии, стремлением выйти за пределы убогой бедности, скудости существования.

Писатель умеет показать, как «прорываю» народные силы повседневные темные пути, тягостную беспросветность. С подлинно богатырской силой написана картина наводнения, когда во время пасхи разлившаяся Десна залила село Загребелье. Это было зрелище и страшное и величественное. Все было «прекрасным, могучим, веселым... все плыло, все безудержно несло вперед, шумело, сверкало на солнце». А на крышах хат сидели крестьяне с «несвяченными пасхами». И когда появились на лодке пьяные служители церкви и полетели в воду, то «как же засмеется утопленное село». «Чтобы так смеяться над пасхой святою, над собою, над всем на свете, и где?.. На крышах, в окружении окоченевших коней, коров, что только головы торчат из холодной воды».

Эта стремительная, вольная картина написана широко, размашисто. Она насыщена действием, мыслью, красками, движением. Как и везде, в ней нерасторжимо соединяются резкие крайности — бедствия народного и веселья, горя и ликования.

И совсем неожидан конец этой истории. «Погибло и исчезло с лица земли это веселое село не от воды, а от огня. И тоже весною через полстолетия. В огне село мое сгорело за помощь партизанам. И свободолюбивые люди, кто не был убит, кидались в воду, объята пламенем».

Резкий трагический переход, даже не переход, а рывок в будущее,— тоже весьма характерен для повести. Детский голосок маленького героя вдруг прерывается, сменяется то скорбным, то задумчивым, то звучащим с затаенным юмором голосом умудренного жизнью большого художника. Связь времен, пути от прошлого к будущему становятся осязаемыми, отчетливыми.

Эти мгновенные переходы помогают полнее представить и судьбу действующих лиц. В повести нет последовательной истории их жизни. Мы не можем, например, пересказать события жизни отца героя, который, пожалуй, занимает в произведении наибольшее место. Но есть здесь его образ, его судьба. Сначала несколько штрихов, характеризующих этого щедрого, доброго

человека. Спасение людей во время наводнения, разговор с сыном в косовицу, плач над погибшими от эпидемии сыновьями... Отдельные эпизоды, зарисовки, сделанные без последовательной связи, казалось бы, невзначай выхваченные из жизни куски. Но из них вырисовывается образ поистине богатырской силы.

«Сколько он земли напахал, сколько хлеба накосил! Как красиво работал, какой был сильный, чистый! Тело бело, без единого пятнышка! Волосы блестящие, волнистые, руки широкие, щедрые. И как красиво ложку нес ко рту, поддерживая снизу корочкой хлеба, чтоб не покропить скатерть над самою Десною на траве!..»

Когда, покинутый всеми на свете восьмидесятилетний старец, стоял он на площади, беспризорный, в фашистской неволе и люди уже за нищего его принимали, он и тогда был прекрасен. С него можно было писать образы рыцарей, богов, апостолов, великих ученых или сеятелей; он годился на все.

Много заготовил он хлеба, накормил, спас от беды, много земли перепахал, пока не освободился от своей грусти. Во исполнение вечного закона жизни, склонивши седую голову под северным небом, шапку сняв и мысли осветив молчанием, обращаю я невеселый талант свой к нему, пусть сам продиктует мне свою заповедь!..»

Значение образа постепенно расширяется, все большей силой, мощью, болью наполняется он. И под конец как будто все горе народное выливается в этом величественном образе.

Атмосфера талантливости, полета народной фантазии отличает повесть. Это не только рассказ о детстве, о далекой жизни народа, это и повесть об искусстве...

Есть в произведении два эпизода, следующие друг за другом. Сначала рассказывается о лошадях, о том, какие они были невеселые, обиженные. Покрытых коростой, замученных работой коней люто избивал хозяин, и был он даже и не их, «а недолюю свою». Горькие, полные жестокой правды строки, в которых замученные кони становятся олицетворением непосильного, бесконечного труда, бездонного страдания.

А сейчас же вслед за этим идет веселая девичья колядка. И сразу же «весь мир стал таким удивительным, что у меня аж дух захватило!» И кажется мальчику, будто стал он сказочным богатырем и должен на торгу продать своего красавца коня

в яблоках. А конь просит не продавать его. Все шире раздвигаются горизонты, все таинственнее, волшебнее делается мир. «Потом меня перенесли, совсем уже сонного, на печку. Там и засыпал я во ржи среди песен, крепко обняв за шею коня в яблоках. Там я слово давал не продавать его ни за какую цену, ни за сокровище. Так и не продал я его по сей день...» И только после этих слов писатель как бы заключает свой рассказ: «Вот такие у нас были кони».

Значит, не только те бедные, избитые, неласковые кони, а и такой сказочный красавец тоже необходим, реален. Без него, без этой мечты, без веры в нее нельзя жить. Поэтому и поклялся маленький Сашко никогда не продавать своего коня в яблоках, поэтому уже в конце жизни А. Довженко с полным правом мог спокойно добавить: «Так и не продал я его по сей день».

Повесть показывает рождение мечты, рождение художника, его фантазии, его воображения. С необычайной тонкостью в ней запечатлено, как именно на этой, со всей конкретностью изображенной писателем народной почве — с ее обычаями, природой, людьми, бытом — рождается поэтическое мышление. По существу это произведение о том, как из народа выходят его певцы. Эта мысль нигде не декларирована в общей прямой форме. Но она постоянно ощущается в «Зачарованной Десне» — в том, что самой прекрасной музыкой мальчику кажется «высокий, чистый звон косы», в том, как образы родной природы переходят в сказочные, таинственные картины. Мы видим, как мир реальности вызывает в воображении мальчика иной, поэтический, озаренный мечтой мир.

Временами кажется, что писатель раскрыл перед нами самое сокровенное — первые ростки искусства в еще не оформившейся детской душе, их движение в будущее, в мир радостей и страданий большого художника. «Я художник,— пишет А. Довженко,— и воображение всегда составляло мою радость и мое проклятие».

Великую силу воображения, его радость и его боль — все это сумел передать писатель в своей «Зачарованной Десне» и тогда, когда он рассказывает о смерти своих братьев: «бросился батько к нам, а мы уже мертвые лежим, один лишь я живой», и тогда, когда пишет о гибели родного села в фашистском огне: «горел и я в том огне, погибал всеми смертями человеческими...»

Всей своей повестью А. Довженко утвер-

ждает, иногда даже полемически, право художника на эту великую силу перевоплощения, сопереживания, свободный полет фантазии, образность, гиперболность мышления. И когда маленький Сашко начинает мечтать о львах на берегу Десны, писатель А. Довженко с грустью ведет воображаемый спор со своими редакторами, которые воскликнут, что это неправдоподобно:

«Но я же маленький был и не имел еще тогда здравого смысла. Я чувствовал тогда, что, может быть, оно пригодится.

★

В трудные дни

Время действия—зима сурового 1941 года. Место действия — Сибирь, пятый класс в маленькой школе на приске.

Сюжет очень прост: второгодник Дима Пуртов решил уйти на фронт. Он не хочет учиться, грубит учителям, резок с товарищами, ему все нипочем, море по колено. Отец на войне, мать почти не бывает дома. Дима предоставлен самому себе, учится кое-как, одержимый только одной мыслью—уйти, убежать.

Сколько раз в наших книгах дети бежали на фронт? Кажется, сколько книг о войне, столько и побегов. Но когда читаешь «Мою Чалдонку», об этом забываешь, потому что все увиденное писателем увиденно им как бы впервые. И дело не в сюжетном ходе, а в том, как ведут себя люди в минуту великого противостояния, в трудный час, в дни, которые перерезали всю нашу жизнь надвое, повернули каждую судьбу, заставили каждого человека по-новому приглядеться к себе и к другим.

Вот об этом и рассказывает повесть — о том, как грозное событие застало врасплох маленький поселок, школу, учителей, подростков и как раскрылись на этом характеры, мысли, поступки.

Может быть, ни одна из судеб, о которых мы узнаем, не завершена, ни об одном из характеров мы не скажем: «Ну, тут все ясно, с этим все в порядке»,—мы расстаемся с героями книги на новом крутом повороте и знаем, что им предстоит еще многое перенести, во многом ошибаться, но ни один из них не остался неподвижен, каждый характер предстает в конце повести новым: одни смягчились, другие стали тверже, третьи задумались над своим местом в жизни.

О. Хавкина Моя Чалдонка. Повесть. Редакторы З. Карманова и Л. Чуковская. 232 стр. Детгиз. М. 1956.

— Для чего?

— Не знаю. Может быть, для счастья».

Через все произведение проходит эта мысль об окрыленности творчества, о его вольном движении, широком разливе чувств, мыслей, о щедрости души художника, о его коренных кровных связях с народной жизнью.

Очень большое содержание заключено в этой маленькой повести.

А. БЕРЗЕР.

ни. Разные это перемены, не все они одинаково глубоки и важны, однако каждый из героев обогатился опытом, мыслью, чувством.

В книге О. Хавкина есть глава, рассказывающая о том, как ледоходом с озера сорвало плоты и надо было увести драгу. Школьники, а среди них и Дима, неутомимо, отважно помогали старшим, и драгу удалось спасти.

Один из взрослых говорит Диме: «—Вот, брат, все как на фронте! Выходит, когда сердце-то готово к подвигу, подвиг рядом..»

И он глубоко-глубоко, до самой души, заглянул в блестевшие под большим, надвинутым лбом упрямые Димины глаза».

Эта мысль — сердце всегда должно быть готово к подвигу! — составляет, в сущности, основу идейного замысла книги.

Глава о драге написана очень хорошо и убедительно. Но если бы перерождение, перевоспитание Димы было сведено к борьбе за драгу,—перед нами было бы облегченное решение, отписка, и читатель не поверил бы ей.

Думается, в любой книге самое важное — разрешение драматического узла. Горе, потеря, разочарование лечатся временем, участием, обстоятельствами — по-разному это бывает в жизни. Во многих книгах, к сожалению, чаще всего существовал один рецепт: автор давал своему герою новую трудную работу, и он забывал о своем несчастье. Иногда герой совершал подвиг, и это тоже быстро лечило раны.

После того как приходит похоронная на отца, Дима убегает из родного города. Читаешь и думаешь — вернется ли он? И что вернет его? Как развяжет писатель этот узел?

В пути Дима встречает Тюкина — друга и однополчанина прежнего своего учителя,

пропавшего без вести. Тюкин — инвалид, он едет жить в Чалдонку. Кто ему поможет на первых порах? Кто станет его другом, его поддержкой? Ведь он едет в чужой край, у него пикого нет... «Как он будет без меня? Он пропадет...» — думает Дима и решает вернуться на прииск. Последняя страница книги рассказывает о том, как новыми глазами смотрит он на родную Чалдонку, как летит она ему навстречу со всем дорогим, что он хотел было покинуть. Подвиг, который предстоит Диме, потребует от него больше душевных и физических сил, нежели борьба за драгу, — это будет повседневный, ежечасный и поэтому самый трудный из подвигов.

В повести много ребят — и все они живые. И стоящий в центре повествования Дима Пуртов — натура властная, самолюбивая, горячая и благородная. И Володя Сухоревый — персонаж совершенно живой. В нем высоко развито чувство чести и правды. Володя — хороший товарищ, он добр и мягок. Решение бежать на фронт вместе с Димой хотя и безрассудно, однако оправдано всем ходом действия. Очень хорошо написаны и маленький враль Веня Отмахов, и вертлявая Тамара Бобылкова, и неуклюжий и мужественный Ерема Любушкин. Во всех этих ребят веришь, с тревогой и интересом следишь, как складываются их отношения между собой. Смело и разнообразно нарисованы характеры взрослых. В этой книге взрослые и дети занимают равное место, и это равенство помогает почувствовать и увидеть жизнь поселка полно, с разных сторон, а не только через школьное окошко.

В «Моей Чалдонке» есть характеры, которые в детской литературе до сих пор, пожалуй, не изображались. Вот учительница Анна Никитична, занесенная войной на прииск. Поначалу она замкнута в себе, в своем горе, и не видит, не хочет видеть ничего вокруг. Ребята только досаждают ей, посылы ей и школа и дети. Все ее мысли на Украине, где она оставила родителей, о которых ничего не знает. Образ этой учительницы дан в движении, в росте. И в перемени, которая в ней происходит, которая обещает и открытое сердце и любовь к людям, веришь.

В повести есть учитель Кайдалов, который с горя заливает. Образ Кайдалова из тех, что позволяют видеть жизнь в ее сложности, а иногда и неприглядности. Хорошо поступило издательство, не смягчая эту тему, не убирая ее: мы и так подчас лакируем жизнь в детских книгах, создаем порой образы, в которые дети не верят, иногда рисуем жизнь так, что она кажется раскрашенной или попросту напоминает дистиллированную воду.

Первая повесть О. Хавкина «Всегда вместе» получила высокую оценку прессы, но, мне кажется, в повести было много риторичности, мыслей, раскрытых не художественно, а с помощью деклараций и лобовых рассуждений. В новой книге О. Хавкина нет слова, которое звучало бы фальшиво, нет чувства, которое казалось бы натянутым. Читаешь — и веришь всему, о чем рассказывает писатель, читаешь — и любишь, и осуждаешь, и негодуешь, и раздумываешь вместе с героями.

Ф. ВИГДОРОВА.



Лоцман Кембрийского моря

Необычно уже само название этой книги: «Лоцман Кембрийского моря».

Где оно. это море?

Тщетно стали бы вы искать его в самом подробном атласе или на глобусе. Там оно не обозначено. Но море это все же существовало, и простирали его было значительно шире, чем у морей сегодняшних. Сотни миллионов лет тому назад оно заливало собой нашу планету. Значит, море это, так сказать, историческое...

Но что же за лоцман мог быть на этом море? Откуда он взялся и какие мог бы водить корабли, если, как известно, само человечество возникло лишь миллионы лет спустя?

А вот, оказывается, есть такой лоцман, и книга Ф. Пудалова доказывает это со всей убедительностью. Жил этот лоцман отнюдь не во времена незапамятные, а почти что сегодня. И действие в книге происходит не в отдаленнейшие эпохи, а в те годы, когда и многим из нас довелось жить и работать.

Время действия датировано в книге точно, даже по годам. Более того, они вынесены в названия отдельных частей — это «1932 год»,

Ф. Пудалов. *Лоцман Кембрийского моря*. Редактор Н. Мансимова. 488 стр. Детгиз. М. 1956.

«1933 год», «1934 год», «1935 год», «1936 год» и «1937 год».

Итак, выражаясь геологическим термином, в книге взят «разрез» совсем недавнего времени. Не зря мы только что прибегли к такой терминологии. Дело в том, что в этой повести по преимуществу действуют геологи. Им, людям вполне современному, важно знать, что происходило в отдаленнейшую эпоху Кембрийского моря, как образовывались тогда различные осадочные породы. От этого знания зависит решение вполне актуального вопроса о залегании в тех или других местах угольных, рудоносных или, скажем, нефтеносных пластов.

Об этом и думает на протяжении всей книги ее главный герой Василий Зырянов. Его-то автор и назвал «лоцманом Кембрийского моря». В отрочестве Вася Зырянов действительно был лоцманом. Вместе с отцом гонял плоты по северным порожистым речкам. Позднее он много учился, затем попал в Москву, в нефтяной институт. Начало повествования застает его студентом второго курса; он проходит практику в геологической экспедиции и старается понять тайну озера Байкал. По его представлениям, под этим озером-морем в пластах кембрийских пород должна залегать неисчислимая по количеству нефти.

Это 1932 год, завершающий год первой пятилетки. Молодой геолог Василий Зырянов — представитель того поколения советской интеллигенции, которое мужало на лесах новостроек, закалялось в трудном походе, предпринятом, чтобы добиться коренного перелома в народном хозяйстве.

Наша литература показала людей многих профессий. Но о геологах можно сказать, что им особенно не везло. Пожалуй, ни об одной из областей знания не было написано так много, но вместе с тем о профессии геолога литераторы рассказали и множество неблизких. Уже сама фигура человека с длинным геологическим молотком, отправляющегося на разведку в горы, — на взгляд авторов, не склонных тратить время, чтобы вникнуть в суть дела, — таила в себе возможности для всяческих приключений. Все может случиться в горах. Здесь мотивировки отпадают сами собой, таков уж, по-видимому, разреженный горный воздух. Герой с геологическим молотком способен и клад отыскать и с тигром повстречаться, а потом как-то мимоходом найти в непроходимых дебрях и ту руду или минерал, за которыми и была снаряжена экспедиция.

К счастью, Василий Зырянов в отличие от других своих литературных собратьев наделен не столько приключениями, сколько характером. Это своенравный, очень настойчивый, то что называется в народе — настырный парень. Он с истинной страстью добивается осуществления своей цели, своей иди.

Наука считает, что нефти во времена Кембрия еще не существовало. Никаких точных данных для такого утверждения нет, но, по американским источникам, «в кембрийский период животный материал для образования нефти имелся в незначительных количествах и не мог послужить для больших залежей, которые выгодно было бы разведывать и эксплуатировать».

Это и опровергает Василий Зырянов. Его цель — разобраться в особенностях Кембрийского моря. На протяжении книги он из речного лоцмана становится лоцманом моря, кагившего свои воды сотни миллионов лет тому назад. С Байкала он переезжает в Якутию, где кембрийские породы выходят на поверхность.

Автор отлично знает то, о чем пишет, речь его наполнена драгоценными художественными подробностями, из которых ни одна не лежит в створе автоматической ручки. Вот почему мы не перестаем верить в подлинность и самого Василия Зырянова и тех людей, с которыми сталкивает его повествование. А людей этих множество. Тут и московские академики и профессора, тут и студенты — товарищи молодого геолога, тут и зыряне, среди которых он провел детство, и эвенки, к которым он едет разведывать тайны Кембрийского моря...

За свою идею большой сибирской нефти, родившейся в самой глубокой древности, Василий Зырянов не страшится отдать жизнь. Книга Ф. Пудалова кончается сценой, в которой действует Серго Орджоникидзе.

— Таран.

Этим словом, вложенным в уста наркома, автор определил характер «лоцмана Кембрийского моря» Василия Зырянова.

Не только в создании центрального образа удача этой книги. Начав читать ее, вы уже не отложите роман до последней страницы. Пестрой по своим краскам словесной тканью очаровывает он читателя. У каждого из героев свой строй мысли, каждый поступает по-своему, как подсказывают ему естественное положение и характер.

Лидия Максимовна Цветаева — участни-

ца экспедиции Зырянова, верящая в его дело,— находит в тайге источник природного газа гелия. Так оказывается, что разведка древнейшей кембрийской нефти обогащает нашу страну находкой побочного, но не менее ценного продукта. Ситуация эта имеет значение не только прямое: в ней скрыт один из многочисленных подтекстов книги, заключающийся в том, что усилия, затраченные во имя большой цели, всегда приносят пользу.

Лощман Кембрийского моря разведает якутскую нефть поначалу чисто теоретически. Проверив затем свою идею, Зырянов увидел отложения Кембрийского периода в Якутии только через много лет. Эти годы прослежены автором с большой тщательностью. Он как бы вводит нас в сокровенную лабораторию исследователя, показывает и работу научной мысли и технику геологических разведок. Даже отправляющий телеграмму о находке Зырянова маленький телеграфист из Черендея, которому, казалось бы, нет никакого дела до

процессов горообразования, ощущает гордость оттого, что и он может вместе с другими обрадовать Москву важной вестью. Так мелким штрихом Ф. Пудалов показывает, что в нашей стране нет людей, равнодушных к большим целям.

«Лощман Кембрийского моря» — первая большая книга Ф. Пудалова.

Отсутствие литературного опыта сказывается в ней в том, что при всех ее высоких качествах она несколько растянута. Так, экспозиция могла бы быть короче. Можно было бы стремительнее дать предысторию Зырянова. Сведения о русском поселении времен Ивана Грозного, затерянном в тайге, можно было бы рассказать более энергично. Вряд ли стоило бы так долго останавливаться и на так называемой «Берестяной Сказке», которая к сюжету имеет отношение весьма стороннее.

Но это частности. Учтете их, конечно, следует при повторном издании.

И. РАХТАНОВ.

★

Повесть о детстве

Несколько лет тому назад мне пришлось побывать в Карелии, в поселке лесозаготовителей. За отсутствием мест в доме приехав, я жила в пустующей летом школе.

По утрам в школу покупать учебники приходили поселковые ребята и ребята из отдаленных лесных кварталов. Пройдя длинный путь вырубками, просекой в глухой чащобе, где, выбросив кверху колоссальные причудливые корни, лежат поваленные ветром деревья, где земля вдруг обрывается голубой озерной водой, подъехав по узкоколейке, они неожиданно появлялись у темной стены леса, едва отступившей от поселка. Гурьбой направлялись в школу, не торопясь вдыхали едкий запах свежей масляной краски и, нагрузив плетеные сумки, а чаще отцовские потертые вещмешки новыми учебниками и тетрадами, отправлялись в обратный путь. На их нелегкой дороге порой лишь колокольчик отбившейся от стада и плутающей по лесу коровы напомнит о жилье человека. И хотя в старый пейзаж влетает незнакомая здесь прежде мелодия передвижной элек-

трянстанции на лесосеке, все же и в наши дни может невзначай выйти на дорогу дремучий медведь.

Но никому и в голову не придет, чтобы ребята из отдаленных лесных кварталов не посещали школу. С начала учебного года они селились в отведенных им в поселке домах, а теперь, после известного постановления, будут, должно быть, жить в интернатах.

Мне вспомнились эти ребята, когда я читала книгу о их земляке — сыне лесоруба Ваське Буйдине, полвека назад первым из своей деревни Спирово окончившем училище.

В книге «Детские странствия» В. Абрамов с помощью писателя Е. Герасимова рассказал о своем детстве.

Оживает северный край, край лесов и озер. Здесь сила «уважалась как богатство». Но самый сильный мужик в деревне — Буйдин (прозвище отца В. Абрамова) — бедняк-погорелец. Его сынишка, Васька, увидев однажды, как псаломщик съел полную тарелку пшенной каши, решил: «Выучусь и буду есть, как псаломщик».

Рассказчика не смущает такая примитивность первоначального стимула, решившего дальнейшую судьбу героя.

В. Абрамов. Детские странствия. Литературная запись Е. Герасимова. Редактор С. Миримский. 160 стр. Детгиз. М. 1956.

На таких вот достоверных деталях, с большим доверием к жизни герой-рассказчик строит повесть, не греша против правды, не насилюя детскую психологию.

Грубый мир урядника, кулака Холопова, пытавшегося учинить расправу над Васькой-пастухом за утонувшую в омуте овцу, сельских священников, цинично подстрекающих мальчика бежать наперегонки с бричкой; невежественные учителя, ожесточенность голодных и битых учеников, тупая зубрежка — все это как будто уже хорошо и давно знакомо по многим книгам, но как свежо, словно впервые, это звучит в повести «Детские странствия»!

Быть может, секрет этой свежести в бескорыстии книги, в отсутствии назидательности, предвзятости, иллюстративности, — повесть просто вводит нас в жизнь, которая встает перед нами в ярких непомеркших красках.

Из груди воспоминаний о детстве, которую у каждого из нас хранит память, Е. Герасимов помог В. Абрамову отобразить то существенное, что доносит образ времени и людей. Повесть экономна, она написана со строгим чувством формы, здесь нет лишних подробностей, нет описательства, часто разьедающего книги о детстве.

Вот чудесная глава «Лучистые глаза» о первой любви героя к девочке Тани и дальше глава о том, как Вася ходил с товарищем в рождественские каникулы по деревням «христославить» с мечтой набрать денег на красивую рубашку и обратить на себя внимание Тани. Все здесь правдиво и жизненно. Каждая глава приоткрывает какую-то новую черту в герое и движет повествование.

От страницы к странице возникает образ паренька, живого, пытливого, упорного, постигающего мир с душевной ясностью, чистосердечностью и при этом с крестьянской приметливостью, с лукавинкой.

Незгоды сыплются на него. Он вечно голоден...

«— Не тужи, Васька! Помни, что свет не без добрых людей».

Этот наказ отца — бедняка Буйдина — своего рода рефрен повести.

Соседская девочка Клаша, оттащившая маленького Ваську от горевшего дома; мужик, приволокший на лошади первое брезно погорельцам на постройку новой избы; старик бурлак Печенка, у которого по дороге в школу обогрелся Васька; ссыльный Ахмет, не позволивший кулаку расправиться

с мальчиком; новый учитель Иван Емельянович, от которого ребята впервые услышали о Ломоносове; крестьяне, усадившие маленького путника к своему котлу, — вместе с этими образами входит в повесть противостоящий миру ожесточенности и духовного невежества образ народа, участливого, великодушного, доверчивого, он и составляет поэтическую основу произведения. Нравственным здоровьем, силой и чистотой веет от образа народа.

В книге нет никакой умильности, потому что рассказчику присуще чувство мягкого юмора и трезвое умение видеть в своих героях и смешное и ограниченное, но книга согрета ясной верой в светлую душу, в безграничные возможности народа, выделяющего из своей среды упорных, талантливых «ломоносовых».

Где-то в такой дали, что о ней и никакого представления нет, началась первая русская революция. Естественно, ненавязчиво входит она на страницы книги присутствием здесь, на Севере, ссыльных, разговорами о каких-то неведомых баррикадах, где драки нет, а кровь льется рекой, песнями, отчего-то запрещенными стражником Еремой, светлеющим взглядом отца, который говорит тоже о чем-то запретном, а потом оборачивается к сыну: «Слушаешь, Васька? Ну и слушай! Чего нам, Буйдиным, бояться?» Ребята еще не очень понимают, что все это значит, хотя само слово «революция» при них теперь произнесено и пожары ее бросили уже свой отблеск на их судьбу.

Так и не довелось еще ни разу досыта наесться, но уже не пшенная каша псаломщика манит Ваську и его друга, а жажда знаний и неизведанные дороги, по которым надо еще шагать и шагать.

И вот мальчишка на четырнадцатом году жизни, с мешком за плечами, с палкой в руке, шагает в уездное училище — двести двадцать четыре версты. Полосатые столбы — все реже, все длиннее версты. «Лес стоял по обе стороны дороги сплошной стеной, и все в нем было чужое».

Но он идет по следу, проложенному неделю назад его другом («ведь Потапов прошел здесь один, так неужели же я не пройду!»), идет, твердя, как стихи, слова извещения земской управы о принятии его в училище: «С прибытием поспешите».

На этой долгой дороге как в жизни: народ накормит и пустит переночевать, с ува-

жительным сочувствием и удивлением глядя на «ученого» паренька. И, как в жизни, натолкнешься на окрик староверки: «Ступай мимо, у других поганя посуду!», а пьяный чиновник на улице собьет с ног «мужицкого сына» Ваську, явившегося в город учиться. И на экзаменах подстерегает загвоздка — злой протопоп, по милости которого оба друга потеряют целый учебный год.

Но ни препятствия, ни соблазна занять место писаря с окладом в пять рублей не собьют Ваську с пути. Не падая духом, не унывая, с заразительным упорством и жизнелюбием шагает он.

Закрывая книгу, вспоминаешь: в предисловии говорилось о том, что в годы Отечественной войны В. Абрамов, генерал-майор, командовал корпусом. Предисловие как бы раздвигает рамки книги и выводит героя на простор, открытый ему революцией. Радуетесь за героя и веришь в судьбу его. Нет в ней ничего неожиданного; народ, образ которого рисует повесть, должен был совершить революцию, и Васька Буйдин-Абрамов должен был занять в ней свое место.

Веришь в это потому, что книга воспроизводит живой характер героя.

В том, как бесстрашно проходит Васька Буйдин под водой в омуте, не умея плавать, или самоотверженно кидается с ножом на волка, спасая стадо; в том, как он верен в дружбе, упорен в своих стремлениях, возникают черты, сформировавшие будущего комкора.

Часто в основе литературной записи лежат события, имеющие большую истори-

ческую значимость. В этой книге основой являются не события, а характеры.

Герой-рассказчик, то есть герой литературной записи, не может прямо описывать себя, свою походку, свои манеры, не может слишком долго сосредоточиваться на себе, не рискуя показаться нескромным и нарушить правду своего характера.

Поэтому интонация, в которой и восприятие героем мира, и его отношение к миру, и способ выражения этого отношения, — основное средство художественной характеристики героя-рассказчика. Этим средством удачно пользуется Е. Герасимов. Рассказ выдержан в точно взятом тоне, поэтическом и лиричном.

Выразительна прямая речь героев.

«— Прогоним лень из нашего виноградника, а ленивца обрежем, как увядшую лозу», — неукоснительно начинается урок протопоп, жестокий ханжа и педант. «И каждый из нас чувствовал себя увядшей лозой, которую протопоп сейчас будет обрезать».

Интонация, в которой выдержана книга, определяет ее единый образный строй. По весне «снег, как заплаты на зипуне» или: «далеко на низком горизонте сверкали под солнцем купола церкви — будто стояли в позолоченных шлемах богатыри: один — большой, а вокруг него — тесной кучкой несколько поменьше».

Чуткость к слову и тону определяет собой достоинство этой хорошей книги. Читая ее, еще раз убеждаешься — прошлое нашей страны, жизнь наших старших современников способны вызвать не хрестоматийный, а живой интерес и живое чувство.

Ел. РЖЕВСКАЯ.

★

Хмелев-режиссер

Интересную и во многом поучительную книгу «Хмелев за режиссерским столом» написал В. Комиссаржевский. В пору, когда наше сценическое искусство ищет пути к яркой, радостной и увлекательной театральности, такая книга особенно полезна.

Приемы режиссерской работы Хмелева — гонителя серого и обедняющего театр бытовизма, — его ненависть к натуралистичности, принижающей высокое искусство сце-

ны до пошлости и скуки, должны быть изучены и осмыслены нашей художественной интеллигенцией, особенно молодежью, которая приходит ныне в театр.

«Актером пламенеющего интеллекта» называет Николая Хмелева В. Комиссаржевский.

Над чем бы ни работал Хмелев — режиссер и артист, — в его творчестве всегда преобладала одна и та же задача: возбудить у зрителя «мысли, нужные современности». Поэтому такую горячую любовь зрителя снискал он в роли большевика Пеклеванова («Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова); поэтому такую ненависть вызвал его

В. Комиссаржевский. Хмелев за режиссерским столом. Редактор И. Кузнецова. 298 стр. «Искусство». М. 1956.

кулак Сторожев («Земля Н. Вирты»), его Скроботов во «Врагах» М. Горького, его Каренин в «Анне Карениной».

К сожалению, Комиссаржевский несколько схематично знакомит читателя с актерскими созданиями Хмелева. В книге о режиссуре такой схематизм, может быть, и оправдан: Хмелев-артист — это большая, специальная тема. И все-таки, расставаясь с главами, где говорится о созданных им образах, мы испытываем активное желание раздвинуть рамки этих глав, услышать более подробный и доказательный рассказ о великих созданиях актерского мастерства Хмелева.

Хмелев же режиссер предстает перед нами во весь рост. Мы знакомимся с ним в молодежной студии, ютившейся в помещении сберкассы, что в Настасьинском переулке, в дни работы над пьесой Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

Хмелев учит пришедшую к нему молодежь и, уча ее, учится сам: режиссуре, жизни, взаимоотношениям с людьми. Но мне кажется, что в этих страницах самое главное даже не рассказ о первой — столь острой и интересной — режиссерской работе Хмелева, а тот «воздух» студии, та атмосфера товарищества, трудных ночных репетиций, горения одной идеей, одной мечтой, которая так хорошо передана автором. Речь идет о тех вещах, о которых стоит напомнить нашей театральной молодежи, чтобы воспитать в ней отвращение к делягам от искусства, к бесстрастным ремесленникам, ищущим лишь кратчайших путей к славе... Автор прав, восклицая в своей книге: «Но почему, думаю я, студия стала у нас только уделом воспоминаний? Не должны ли быть использованы многие начала студийной работы и сейчас, тем более что они так во многом совпадают с живительными для любой отрасли человеческой деятельности принципами социалистического труда?»

Читая рецензируемую книгу, нельзя пройти мимо поисков Хмелевым самых ярких (и самых скупых!) выразительных средств для воплощения пьесы Островского. «Мы будем играть без грима. Со своими лицами. Да! Да! Даже вы, играющий старика. Старость не в парике и наклейках — она в глазах. Мы будем играть почти без декораций — никакой кустодиевской яркости в оформлении. Только холст как фон для актера, только необходимые детали, помогающие

вам в роли. Суковатое, сухое дерево, на котором потом повесится Крутицкий, тонкая березка, как Настенька, гнувшаяся под ударами судьбы, забор, бочка, крыльцо лавки купца Епишкина — вот и все. Никаких украшений, никаких завитушек». Так раскрывал Хмелев свое решение спектакля «Не было ни гроша...»

Напомним как курьез (не лишенный, впрочем, поучительности), что спустя почти четверть века после этой работы Хмелева (и многих других работ того времени, в которых советский театр следовал тем же принципам) в той же Москве нашлось немало людей, объявивших гастролировавший у нас французский театр Жана Виллара, с его почти пустой сценой и минимумом аксессуаров, чуть ли не откровением и новым словом в искусстве... Виллар — глубокий и талантливый режиссер. Это очевидно для всех, видевших его театр. Но многие элементы его решений давно уже знакомы нашему театру, и забывать то, что уже было найдено у нас, нам не следовало бы.

...Вскоре после огромного успеха «Не было ни гроша...» студия была преобразована в театр. Ему присвоили имя великой русской актрисы, поборницы реализма Марии Николаевны Ермоловой. Не случайно первой работой театра оказалась поставленная Хмелевым советская пьеса — драма В. Н. Билль-Белоцерковского «Шторм».

Героическая драма о первых днях революции готовилась к двадцатилетию Великого Октября. Но дело было не только в знаменательной и торжественной дате, а в серьезной внутренней потребности советского художника Хмелева быть всегда современным и постоянно работать над произведениями наших драматургов. В этом, наверное, причина того подъема, с которым режиссер ставил «Шторм», и его успеха у публики.

Автор рецензируемой книги показывает все этапы постановки этой пьесы. Перед нами предстают поиски наиболее убедительных решений каждого «куска», всех характеров, даже безмолвных персонажей. Описания того, как создавались бессловесные роли, хороши своей предметностью и, я не боюсь сказать, — назидательностью для некоторых современных режиссеров.

Что греха таить, сегодня на сцене не так уж часто можно встретить по-настоящему

сделанный «эпизод»: серые и безликие «массовки» приходят подчас на смену мастерски вылепленным, живым персонажам, играющим свою ответственную, необходимую в спектакле роль, безотносительно к количеству слов, произносимых данным лицом на сцене... И, конечно, не менее значимы, актуальны описания Комиссаржевским того, как работал Хмелев и чего он достигал, создавая образы главных героев «Шторма»: в этих страницах множество ценнейших указаний, которые и сегодня могут и должны подсказать не одному молодому (а может быть, и опытному) постановщику, с какой настойчивостью надо искать оригинальные и органичные решения в современном героическом и романтическом спектакле.

Нет возможности (да и необходимости) в короткой рецензии проанализировать всю работу режиссера и то, как ее описал автор. Но нельзя не сказать, что, работая и над драмой Билль-Белоцерковского и ставя Горького, Шекспира и Островского (к которому он, кстати сказать, подходил как к русскому Шекспиру), Хмелев всегда был полон исканий, всегда шел вперед, к наиболее полному воплощению замысла драматурга.

Комиссаржевский правильно отмечает, что «даже образы шекспировской комедии... были освещены для него глубоко современ-

ным, рожденным самым духом нашего времени, чувством радостного освобождения, распрямления человека, сбросившего с себя путы золотого рабства».

«Золотое рабство» — зависимость от золотого мешка, от капитала, желание освободиться от его растлевающего влияния, тема человека и золота, человека, одолевшего силу золота или во всяком случае вступающего с этой силой пусть даже в неравную борьбу, — решалась Хмелевым и в «Не было ни гроша...», и в «Детях солнца», и в «Последней жертве».

Разбор последней работы — лучшие страницы книги Комиссаржевского. По актам, мизансцену за мизансценой показывает нам автор. Написанная так ярко, что порой создается иллюзия, будто смотришь живой спектакль, глава о «Последней жертве» в МХАТ со всей возможной тщательностью показывает различные этапы работы режиссера в пору, когда он уже стал зрелым мастером.

По сей день живы лучшие работы Хмелева. И сегодня он помогает нам в становлении, в совершенствовании искусства советского театра. И книга Комиссаржевского сыграет свою роль в передаче нашей сценической молодежи живых и животворных традиций Хмелева — артиста и режиссера.

А. ИЛУПИНА.



Симфония большого города

Известный кинорежиссер Карло Лидзани в своей книге «Итальянское кино» пишет, что «многие итальянские писатели, художники, поэты нового поколения иной раз были «открыты»... благодаря тому интересу, который вызывала молодая итальянская кинематография». С другой стороны, он же неоднократно подчеркивает, что молодая итальянская литература оказала большое влияние на формирование кинематографии в духе неореализма.

Как видно, и то и другое утверждение К. Лидзани справедливо. Как видно, литература и кинематограф Италии после освобождения от «черного двадцатилетия» влия-

ли друг на друга, с взаимной пользой одинаково обогащаясь благодаря острому вниманию к социальным проблемам, великому человеколюбию и той сердечности и проникновенной чуткости, которые так поразили нас в кинокартинах «Похитители велосипедов», «Два гроша надежды», «Мечты на дорогах», «Неаполь — город миллионеров», пришедших к нам раньше итальянской прозы.

Читая книгу Васко Пратолини «Повесть о бедных влюбленных», чувствуешь себя в стихии самобытного, вдохновенного искусства и вместе с тем все время вспоминаешь чудесные итальянские кинокартины. Видимо, это происходит потому, что и у кинофильмов прогрессивных мастеров и у произведений передовых писателей общий источник — жизнь итальянского народа во всей ее неприкрашенной сложности.

Васко Пратолини. Повесть о бедных влюбленных. Перевод с итальянского Л. Вершинина, З. Потаповой и Р. Холодовского. 382 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

Кто-то из критиков назвал книгу Васко Пратолини «народным романом современной итальянской литературы». Это высокое определение вполне оправдано. Народность романа В. Пратолини сказывается в предмете изображения, в его идейной направленности, в выборе героев, в манере авторского письма, во всех элементах стиля.

Маленькая улочка во Флоренции — пятьдесят метров в длину, пять в ширину. Это крошечная виа дель Корно, где дома так тесно прижаты друг к другу, что лунный свет проникает только в окна самых верхних этажей. Мусор из домов выметают здесь прямо на мостовую. Кошки роются в кучах отбросов. В ночные часы полицейский патруль проверяет, на месте ли поднадзорные уголовники.

На маленькой виа дель Корно, существовавшей во Флоренции еще до того, как родился Данте, живут и действуют — всякий по-своему — герои романа Васко Пратолини. И, словно по кругам Дантова ада, сквозь круги чистилища к райским сферам ведет автор своего читателя.

Четверо молодых девушек на виа дель Корно изведали счастье и беду, радость и печаль. Их возлюбленные начинали здесь борьбу за существование. Здесь они расставались с детством. У одних естественное желание счастья столкнулось здесь с жестокой действительностью и оказалось разбитым. У других оправдались надежды. Так ведь и бывает в жизни. Но «Повесть о бедных влюбленных» (в оригинале точнее — «Хроника бедных влюбленных») не ограничивается историей, обозначенной в заглавии. Это скорее предлог, чтобы рассказать о судьбах многих жителей виа дель Корно. И писатель рассказывает и о судьбе зеленщика Уго, и о ссоре, происшедшей у него с лучшим другом, и о его будущей жене Джезуине, о том, как они нашли друг друга; писатель рассказывает о жизни землекопа Антонио, сапожника Стадерини, мусорщика Чекки; рассказывает о незадачливом воре Джулио, не сумевшем воспользоваться своей добычей, и о воре Нанни, связанном с полицией и посылающем свою сожительницу Элизу на панель: ведь это такая неверная работа — воровство.

Здесь, на виа дель Корно, живет и работает кузнец Коррадо, за силу и отвагу прозванный именем популярного силача-киноактера Мачисте (Мачист по старой транскрипции). Мачисте-Коррадо, в сущности, является центром всех душевных притяже-

ний корнокейцев. Он ведет отважную борьбу не только за свое существование, но и за жизнь своих соседей, сограждан, всего народа. Он коммунист, старый участник рабочих дружин, носивших название «Народные смельчаки», член подпольной коммунистической группы.

Рядом со всеми этими простыми людьми обитает парочка фашистов, убийц и насильников, мечтающих о захвате власти. Обитают здесь и немногочисленные представители зажиточных слоев населения — торговец углем Нези, не брезгающий укрыть краденое и спудить фашистским бандам свои грузовики. Приютился на маленькой улице и владелец гостиницы Ристори, ставший для проституток чем-то вроде сборщика налогов. Наконец, здесь доживает свой век Синьора, зловещая старуха, бывшая дама полусвета, тайно властвующая теперь над судьбами корнокейцев.

В «Повести о бедных влюбленных» нет того, что принято называть сквозным сюжетом. Автор легко и просто, с подкупающей естественностью уходит и возвращается к теме, сюжетной коллизии, к судьбе героев. Сила Васко Пратолини — в смелой оркестровке, яркой симфоничности, в покоряющей читателя сложной партитуре романа.

Рассказ о бедных влюбленных переплетается с историей гнусного торговца углем Нези, соблазнившего юную Аурору и погибшего из-за собственной жадности и жестокости. А умирает старик Нези, и таким же, как он, постепенно становится его сын, Отелло, некогда бунтовавший против отца, — и это не закон наследственности, не идея повторяемости страстей и судеб, а закон социального положения. Но вот на первый план выступает Синьора, злой гений виа дель Корно. Это страшная, омерзительная старуха, и, кто знает, может быть, в ее зловещем образе автор показывает нравственное растление сильных мира сего, обреченных на бесславный конец?

Но все сильнее, все значительнее начинает звучать тема Мачисте-Коррадо и его друга — зеленщика Уго. Проститутки, разносчики, рабочие, мелкие ремесленники и торговцы борются за кусок хлеба, за чашку кофе, за кров над головой. Мачисте ведет политическую борьбу с фашистами, борьбу не на жизнь, а на смерть.

Все сильнее и драматичнее звучит тема Мачисте с виа дель Корно, отзываясь на судьбах многих людей. И после трагиче-

ской его гибели долго помнят на маленькой флорентийской улице светлый образ этого человека.

Писатель, знающий, как велик подвиг самопожертвования, не забывающий того, как выглядит квартира бедняка, как страдает он от зимнего холода и из чего сварена его похлебка, не боится плоских обвинений в натурализме и рисует аксессуары простого и трудного быта в их естественном и типичном обличье. Засоренный, отравляющий воздух общественный писсуар, грудной ребенок, которого опаивают на ночь маковым отваром, чтобы он своим криком не мешал развратничать угольному торговцу, проститутка Элиза с ее мучительной болезнью сердца, — все краски идут в дело. И тут же — трогательный, простодушно-наивный лепет влюбленных. И тут же — немногословная верность товариществу простых корнокейцев, их бескорыстная готовность прийти на помощь жене убитого друга. И здесь же — собрание группы коммунистов, вынужденных уйти в подполье и знающих, на какие жертвы они идут. И ночь фашистского путча, полная драматизма, когда Уго, сбившийся было с пути, возвращается к Мачисте, чтобы быть вместе с ним в суровый час. И серьезный политический анализ того, что в те годы происходило в стране...

Это жизнь, и писатель все охватывает своим взором, все включает в партитуру своего романа. Бушующие политические страсти вызываются иной раз не сознательными идейными побуждениями, а теми чувствами, которые диктует житейский опыт. Что же, писателю и в этом интересно разобратся. И он дает слово молодой женщине, ничего не ведающей о том, что творится в мире. Но эта женщина знает: «...если черные творят такие дела (то есть преследуют и убивают честных людей.—А. П.), значит, правы красные!» Она это знает тем более, что «Мачисте был единственным человеком на виа дель Корно, которого я уважала».

Правдиво отражая живую действительность, Васко Пратолини несколько не грешит банальной фотографичностью, так портящей иной раз превосходно задуманные произведения. «Повесть о бедных влюбленных» — произведение литературы, в котором лицо жизни художественно осмыслено и преобразено в той степени, в какой требовал тонкий и требовательный вкус писателя, достигшего в своем мастер-

стве высокой простоты. И, может быть, только в обрисовке Синьоры писателю несколько изменяет чувство меры — уж слишком грязной, эстетически отвратительной выглядит эта циничная, а под конец обезумевшая старуха.

Но в том-то и состоит искусство художника, что при всем многообразии событий он не страшится о чем-то важном сказать скороговоркой, не стесняется иной раз обратиться к читателю с прямой авторской речью, перейти на откровенно хроникально-информационный язык, не гнушается наивно-народных интонаций в духе старого флорентийца Боккаччо, крепкого соленого словечка, простонародно-грубоватого юмора. И при всей, можно сказать, «приземленности» произведения на многих, очень многих страницах роман поднимается до большого эмоционального накала.

И поистине трагедийного звучания достигает патетическая сцена, когда Коррадо мчится на мотоцикле через весь город, чтобы предупредить товарищей о грозящей опасности. Фашисты гонятся за ним по латам. Вот он уже сделал почти все, что мог. И тогда его настигает пуля. Мачисте падает, мотоцикл его перевертывается. Один из фашистов «наклонился над Мачисте; за волосы поднял его голову; в каком-то тумане увидел искаженное агонией лицо. Он был, как пьяный, он ударил ногой тело Мачисте». Другой фашист поджег машину, «бензин вспыхнул, языки огня лизнули мотоцикл, и он превратился в костер, раздуваемый ветром».

Церковная площадь от лунного света казалась еще больше и шире; кучка людей, размахивая руками, прыгала на ней вокруг костра. Мачисте лежал у паперти поперек лестницы, раскинув руки, разжав кулаки; широко раскрытыми глазами он смотрел в небо, которое больше ему не принадлежало».

Как большинство книг, широко изображающих жизнь, полных поэзии и глубины познания, роман Васко Пратолини нелегко пересказать. С какой бы тщательностью ни пытаться передать содержание такого романа, не удастся сохранить представление о его художественном богатстве и разнообразии.

Простая и патетическая, грустная и веселая, сердечная и жестокая — вот какие слова хотелось бы сказать о хронике флорентийской жизни двадцатых годов нынешнего столетия, какой является роман

Васко Пратолини. И человеческие судьбы описаны в ней счастливые и трагические, никчемные и яркие, пошлые и героические.

И, важно отметить, в этом сложном, полифоническом произведении начисто отсутствует набившая оскомину пресловутая иллюстративность. В романе нет ничего умозрительного. Все в нем конкретно и вещественно.

А что касается композиционных сложностей, перебивки сюжетных линий, самого темпа романа — иногда убыстренного, иногда замедленного, — то все это имеет внутреннюю логику и подчинено одному закону: естественности отношений между героями, внутренней закономерности развития образов.

В манере письма, в разговорности авторской интонации (не зная языка оригинала, трудно судить о точности перевода, но, с точки зрения русского языка, он звучит безукоризненно), в отсутствии литературных побрякушек, во всем том, что объединяется понятием «стиль», проступает в этом романе такая непосредственность, возникает такая степень достоверности, что у читателя рождается ощущение: на виа дель Корно вместе со своими героями, наверно, жил и сам автор. Так оно и есть! На сотой или двухсотой странице читатель находит пря-

мое признание писателя: да, он знает нравы своих героев, потому что жил среди них.

Но если бы и не авторское признание, у читателя не осталось бы сомнений, что «Полесть о бедных влюбленных» принадлежит к числу тех произведений, которые не выдумываются за письменным столом.

Когда уходишь из кинозала после таких картин, как «Похитители велосипедов», «Рим в 11 часов», «Дорога надежды», одно чувство, одна мысль перекрывает все остальное: каким поразительным проникновением в психологию простых людей, какой любовью к маленьким бесправным труженикам преисполнены эти фильмы и с какой поразительной беспощадностью осужден в них, морально уничтожен мир душителей свободы, мир капитализма с его волчьими порядками и подлыми нравами. Эти же мысли и чувства испытываешь при чтении романа Васко Пратолини.

И, закрыв книгу, думаешь о безграничной способности человека к постижению истины, о счастливой эмоциональной выразительности писателя, о высоте, какой достигает талант мастера, когда он вырывается из-под пресса двадцатилетнего фашистского угнетения в Италии, обрекавшего на паралич живую мысль и живые чувства.

А. ПИСЬМЕННЫЙ.

★

Политика и наука

Жизнь, отданная борьбе рабочего класса

В книге М. Ольминского «Из эпохи «Звезды» и «Правды» собраны статьи старого партийного литератора, профессионального революционера, опубликованные в большевистских газетах в 1911—1914 годах.

Михаил Степанович Ольминский (его настоящая фамилия Александров) участвовал в революционном движении с восьмидесятых годов прошлого века. Он, как и многие другие представители революционной молодежи его времени, отдал дань увлечению народничеством. По делу народовольцев он и был привлечен к суду и в 1894 году арестован. Но Ольминский попал в кружки народовольцев уже в тот период, когда все меньше оставалось там

подлинных революционеров и все больше появлялось людей, настроенных соглашательски, либерально. Народничество в тот период уже не могло надолго привлечь тех, кто жаждал революционной борьбы, кто умел видеть и понимать явления окружающей действительности.

Еще до тюрьмы, в тюрьме и особенно после нее Михаил Степанович начал знакомиться с марксистской литературой. Вначале это были книги, случайно попавшие в его руки, а потом он стал их разыскивать и тщательнейшим образом изучать. Его потянуло к новым людям, работавшим в рабочих кружках, к тем, кто мог разобратся в ходе политической борьбы, кто мужественно вел борьбу за великие цели.

Ольминский стал посещать кружки социал-демократов, участвовать в их яростных спорах с народниками. Не сразу, ко-

М. С. Ольминский. Из эпохи «Звезды» и «Правды» (Статьи 1911—1914 гг.). Редактор С. Иванов. Госполитиздат. М. 1956.

нечно, удалось ему отрешиться от старого. Даже много лет спустя в некоторых его статьях звучали еще отголоски прошлого, отзвуки идеализма народничества.

Но в самом основном, главном — в понимании роли пролетариата в революции и исторической неизбежности диктатуры пролетариата, в понимании цели и задачи партии пролетариата, в готовности бороться за избавление рабочих и крестьян России от гнета самодержавия, от капиталистической кабалы — он был марксистом всегда. В 1898 году Ольминский вступил в РСДРП, а в 1903 году примкнул к большевикам.

Я познакомился с Михаилом Степановичем в более поздние годы. Но уже в период первой русской революции мы, большевики, работавшие на местах, знали его острое перо по статьям в газетах и журналах «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь», «Вестник жизни», «Волна» и других. Писал он много и ярко, но был всегда не только партийным литератором, а и организатором партийной работы. В годы столыпинской реакции Ольминский работал в Баку, с начала нового революционного подъема он перебрался в Петроград и стал активным сотрудником большевистских газет «Звезда» и «Правда». В них он работал с 1911 по 1914 год.

Статьи Ольминского за подписью «Галерка», направленные против меньшевистской газеты «Луч», которую он называл «грязным листком» и о которой говорил с отвращением: «Я не могу эту гадость держать в руках», очень помогали нам в борьбе с меньшевиками. Вообще роль Ольминского как одного из основных сотрудников большевистских газет очень велика. Его статьи (он подписывал их «А. Витимский», «М. Ольм». «А. Вит», «Пешеход», «Петр», а иногда «А. В.», «М. О.») были острыми, бьющими в цель. Они умело разоблачали наших врагов, рисовали яркую картину исторических событий, взаимоотношений разных классов и партий, а это — суть исторического материализма и классовой борьбы рабочего класса с капитализмом.

Своими предложениями, советами Ольминский не раз помогал нам, большевикам — депутатам IV Государственной думы, бороться с меньшевиками — депутатами Думы. Он писал декларации, составлял резолюции, но больше всего внимания уделял рабочим-корреспондентам: учил их, воспитывал,

тщательно, с любовью обрабатывал рабочие письма в газету. Этой заботе о творческом росте рабочих-корреспондентов, этому вниманию к письмам с мест следует учиться и теперь многим нашим редакционным работникам.

Михаил Степанович был прозорливым человеком. Чутье никогда его не обманывало. Он всячески избегал депутата Думы от рабочих Малиновского и, оказалось, не зря: Малиновский был разоблачен как провокатор. Ольминский говорил мне, что сотрудник редакции «Правды» Черномазов — «грязный человек». По его настоянию Черномазов был отстранен от работы. В дальнейшем выяснилось, что и он был провокатором.

Статьи М. Ольминского, собранные в книге «Из эпохи «Звезды» и «Правды», написаны более сорока лет назад. Но они не потеряли своей остроты не только для старых большевиков, у которых каждая строчка этой книги вызывает в памяти целый поток событий, живые картины прошлого, но и для нынешнего поколения, живо интересующегося историей борьбы нашего народа, историей великой Коммунистической партии.

Многие статьи Ольминского могут быть взяты и сейчас на вооружение советскими людьми, так как они направлены против буржуазных партий Запада, разоблачают реакционных политиков, которые теперь, как и раньше, прикрываясь маской либерализма, на деле усиливают репрессии по отношению к рабочим. «Капиталистическая буржуазия, — писал он, — недозволительна правительственным курсом в значительной мере именно потому, что этот курс оказывается не в силах бороться против «тяжелых потрясений», выражающихся в движении пролетарской и крестьянской демократии».

Русская буржуазия, указывал М. Ольминский, хотела бы, пользуясь услугами меньшевиков, ввести рабочее движение в «законные» рамки, чтобы спокойно и безмятежно эксплуатировать рабочих. Но у русской буржуазии не доставало опыта, она была еще слаба экономически, а меньшевики и другие мелкобуржуазные партии не пользовались широким влиянием среди рабочих. Поэтому буржуазия обращалась за помощью к царскому правительству, доводя до власти, а кусочком власти, ведя торги и переторжки с царизмом, чтобы

получить выгодные условия для себя, и прикрывая это «борьбой» за интересы народа.

Разоблачая лицемерие буржуазии, Ольминский одновременно показывал истинную природу различных партий, защищающих интересы буржуазии: кадетов, меньшевиков, эсеров и других.

Не было такого важного политического события, на которое не откликнулся бы Ольминский. Он умел из маленького, незначительного, на первый взгляд, факта сделать важный политический вывод, а когда его нельзя было сделать прямо, то всем ходом своих рассуждений он наталкивал на это читателей.

Ольминский был талантливым популяризатором марксистских идей. Его статьи «Крутой поворот», «Организация торгово-промышленного класса в России» и другие показывают борьбу буржуазии за сохранение своего господства, роль царского самодержавия, возглавляющего армию помещиков и бездушных чиновников-бюрократов, угнетавших рабочих, крестьян, городскую бедноту. Он показал появление в стране широкого слоя паразитирующих элементов, что свидетельствовало о приближении конца феодально-буржуазного общества.

В статьях «Я вас арестую», «Бакинские дела», «Министры о забастовках», «Интересное разоблачение», «Экономическое развитие и борьба рабочих» Ольминский приводит целый ряд фактов, свидетельствующих о бесправии рабочих, невыносимых условиях их труда, о бесчеловечной эксплуатации, которой они подвергались. Он разоблачал объединение всех сил реакции — от либералов до черносотенцев — для борьбы с рабочим движением.

Полные гнева статьи Ольминского, направленные против буржуазии и монархистов, будили сознание рабочего класса, помогали борьбе за торжество ленинизма в рабочем движении. Возвращаясь в своих статьях к истории революционного прошлого рабочего класса России («Братская могила», «19 февраля и крепостное право», «Могила 9 января» и другие), он, говоря о прошлом, напоминал о современном, призывал к усилению революционной борьбы.

В одной из реакционных газет того времени — газете «Россия» — появилась статья, прославляющая тюрьмы как школы труда. Автор статьи надеялся на то, что тюрьма отучит забастовщиков от стачек. Наряду с

этим мракобесы вроде князя Меншикова предлагали не строить школ в России, потому что безграмотный рабочий и крестьянин бунтует меньше, «не звереет». Ольминский в статье «Школы труда», написанной очень остро, показал, кому выгодно загонять рабочих и крестьян в тюрьмы.

Ряд статей Ольминского посвящен положению крестьян. За последние двадцать лет, писал он, благодаря переобременению крестьян поборами и хищническому хозяйничанию помещиков и правительства основная масса крестьянства пришла к полному обнищанию. Ольминский характеризует политику правительства в области сельского хозяйства как политику разбазаривания общественного фонда земли.

Ольминский в своих статьях призывал рабочих прийти на помощь миллионам голодающих крестьян. Эту помощь, писал он, надо оказать не через бюрократические правительственные учреждения, где будет присвоена значительная часть собранных денег, а через самодеятельные рабочие организации. Так партийный литератор учил рабочих пролетарской солидарности, пробуждал рабочую инициативу.

В книге есть раздел «Газета «Правда», где собраны статьи, посвященные работе газеты, созданной на средства рабочих. Эти статьи направлены против ликвидаторской газеты «Луч». Ольминский зло бичует соглашательскую линию меньшевиков, резко выступает против их попытки объединить рабочих под своим знаменем и скрыть от рабочих контрреволюционную сущность своей линии.

Несколько статей Ольминского посвящено Государственной думе, разногласиям в социал-демократической фракции Думы, хотя об этом можно было говорить только «эзоповским» языком. Эти статьи помогали рабочим разобраться в политике ликвидаторов, не верящих в революцию, не замечающих нового революционного подъема, героической борьбы рабочего класса, видящих во всем этом только «вспышкопустельство» большевиков.

В моей памяти сохранился образ Ольминского как скромного, отзывчивого, мягкого человека. Он никогда не думал о себе. Помню его плохонький костюм, старенькое пальто, помню его до предела загруженного работой. Тяжело больной, он всегда проявлял неустанную заботу о здоровье других.

Его любовь к Владимиру Ильичу Ленину была беспредельна. Он нам говорил не раз: «Мы, соратники Ленина, должны окружить Владимира Ильича теплом, преданностью, заботой, как вождя, и помочь пережить все трудности, все тягости, с которыми партии приходится сталкиваться».

Михаил Степанович Ольминский вел большую партийную работу. В годы первой мировой войны он был одним из организаторов социал-демократической работы в Саратове, с августа 1916 года спланировал большевистские ячейки Москвы, а с 1917 года стал снова одним из активных работников центрального органа партии газеты «Правда».

Ольминский был делегатом VI съезда РСДРП (б) и как один из старейших членов партии был удостоен большой чести — открыть съезд.

Михаил Степанович принимал активное участие в Октябрьской революции, а после Октября возглавлял Истпарт, был редакто-

ром журнала «Пролетарская революция». Партия посылала его на разные участки работы, и всегда он был верным ленинцем, всегда выступал ярким борцом против врагов партии. Его жизнь является прекрасным примером служения родной стране.

За несколько дней до смерти Михаила Степановича мне довелось беседовать с ним. Он сказал, что отобрал материалы для будущей своей биографии. Ольминский был очень скромным человеком, и если он хотел, чтобы его жизнь была кем-нибудь описана, то только потому, что считал свою биографию биографией служения рабочему классу и трудовому крестьянству, биографией целого поколения революционеров, пришедших к марксизму на заре рабочего движения в России.

Советские читатели должны получить достойное описание жизни и деятельности большевика-ленинца Михаила Степановича Ольминского.

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

★

Ирландия борется за независимость

На территории Ирландии не прекращается вооруженная борьба ирландских патриотов с английскими войсками. Повстанцы добиваются осуществления насущного требования всего народа — воссоединения северных областей страны (Ольстера) с остальной частью Ирландии в едином независимом государстве.

Нападения на английские казармы и полицейские участки, засады на дорогах, взрывы мостов и поджоги административных зданий, смелые атаки «летучих отрядов» и другие отважные действия патриотов английская влиятельная пресса называет партизанской войной, невольно воскрешая тем самым неприятные для колонизаторов воспоминания о борьбе Ирландии за независимость в 1919—1921 годах.

В то время добровольцы ирландской республиканской армии (ИРА) очистили большую часть страны от двухсоттысячной оккупационной армии, свели на нет английскую систему управления и застали ан-

глийское правительство просить о мире повстанцев, которых оно презрительно именовало «преступниками» и «убийцами». Тогда, вследствие соглашательской политики руководства освободительным движением борьба не была доведена до конца. В наши дни она разгорается с новой силой. Вместе с молодыми патриотами сражаются и ветераны партизанских боев двадцатых годов.

Книга активнейшего участника движения за независимость, одного из первых командиров ИРА — Тома Барри, рассказывает о начальном этапе героической вооруженной борьбы ирландского народа за независимость. У всех, кому дорога свобода Ирландии, эта книга вызовет большой интерес и горячее сочувствие. Автор не только вспоминает о событиях тридцатипятилетней давности; на опыте прошлого он помогает глубже оценить современную ситуацию в Ирландии, извлечь из фактов успехов и поражений войны начала двадцатых годов необходимые выводы.

Патриоты будут умирать на эшафотах, массовые собрания ирландцев — выносить резолюции о единстве и независимости их родины, поэты — проклинать тиранню, пишет Барри, но все это еще не заставит английские правящие круги удовлетворить за-

Tom Barry. *Guerilla days in Ireland. A first hand account of Ireland's War for Independence*. New York, 1956 (Том Барри. Дни партизанской войны в Ирландии. Правдивый рассказ о войне за независимость. Нью-Йорк. 1956).

конные требования Ирландии. Не надо забывать, напоминает он молодым участникам освободительной борьбы, что большинство своих «побед» Англия добыла посредством кровавого насилия над невооруженными народами. И, как показывает опыт, единственный язык, к которому прислушиваются колонизаторы, это язык винтовки и револьвера повстанца, это взрыв бомбы и пламя пожара. Поэтому на вероломство и террор английского империализма нужно ответить самым решительным образом.

Вспоминая историю освободительной борьбы, Барри приводит ряд красноречивых фактов о тех типичных методах угнетения, которые использовались ранее и применяются ныне английскими оккупантами. Автор был очевидцем уничтожения англичанами ирландских селений и городов, когда сотни обездоленных стариков, детей и женщин должны были, спасая жизнь, искать убежища в лесах и болотах. Барри свидетельствует об ужасах «чрезвычайного» положения, распространяемого на большие районы Ирландии и сопровождаемого массовыми арестами и расстрелами мирного населения. Он называет людей, которых английские каратели подвергали изощренным пыткам, чтобы получить информацию о движении за независимость.

Народ непокоренной Ирландии ответил на террор созданием своей, народной армии. Барри стал членом одного из отрядов, действовавших на юге страны. Отряды ИРА формировались преимущественно из мелких фермеров, батраков; о своем желании вступить в организацию заявляли тысячи рабочих. Несмотря на массовый характер республиканской армии, она не обладала большим военным опытом, не располагала ни стратегическими укреплениями, ни деньгами, ни транспортными средствами. Постоянно ощущался острый недостаток в вооружении. Из мелких отрядов вырастали батальоны и бригады, которые становились фактической властью в городах и сельских местностях своей страны.

В течение веков англичанам удавалось властвовать над Ирландией, используя религиозные противоречия, натравливание друг на друга протестантской и католической частей населения. Барри доказывает, что религиозной нетерпимости, как плоду невежества, должна быть противопоставлена гарантия свободы веры, дающая людям

возможность объединиться под знаменем борьбы за независимость.

Ирландская республиканская армия содействовала распределению земли английских помещиков-лендлордов между ирландским крестьянством. Ликвидируя аппарат английского управления страной, ИРА освобождала население от тяжкого налогового бремени. Барри рассказывает о героических действиях организации ирландских женщин, примыкавшей к ИРА. Они спасали жизнь раненым бойцам, обеспечивали солдат народной армии питанием и одеждой, проводили сборы денежных средств в пользу повстанцев. Напоминая об этом, Барри тем самым говорит о необходимости привлечь эту важную силу партизанского движения в помощь ИРА и на современном этапе освободительной борьбы.

С возмущением пишет Барри о неспособности мелкобуржуазного руководства освободительным движением объединить партизанскую борьбу в разных районах и направить ее по пути окончательной ликвидации империалистического ига.

Автор предостерегает об опасности предательства со стороны тех «руководителей», которые предпочитают политическую болтовню смелым и открытым действиям в интересах народа. Барри разоблачает лживую версию, рожденную соглашателями, будто бы ирландский народ истощил свои силы в неравной борьбе. Напротив, доказывает он, именно из низовых отрядов исходило требование продолжать войну до победы.

Компромисс между верхушкой повстанческого движения и английским правительством повлек за собой раздел Ирландии и сохранение Ольстера под властью англичан. Договором 1921 года завершился один из этапов борьбы за независимость, но не закончилась сама борьба.

Заключительные страницы книги полны веры в непобедимость народа, сражающегося с оружием в руках за свою национальную независимость. Образы мужественных сынов и дочерей ирландского народа, нарисованные Томом Барри, заставляют верить его словам о том, что волю народа к свободе «не уничтожат английские пушки, не подкупят английские деньги, не отпугнут английское вероломство и террор».

Кандидат исторических наук
А. БАЙКОВА.

Газетная армия «холодной войны»

Холодная война» ведется империалистическим лагерем как подготовка к войне подлинной, кровопролитной, атомной. Чернила и типографская краска предшествуют крови. В древние времена воины раскрашивали себя, чтобы устрашить врага. Они устраивали воинственные пляски, пели дикие песни, потрясали копьями. Ныне эту задачу выполняют буржуазные журналисты, а роль ударного отряда и авангарда — вдохновители и работники прессы и радио США.

Н. Живейнов в своей книге «Капиталистическая пресса США» знакомит советского читателя со строем, вооружением, с нравами и законами этой прессы. В книге собран богатый фактический материал. Рассказано, как возникла, как развивалась американская капиталистическая печать, как складывались ее своеобразные черты и как она стала тем, чем является в наши дни: орудием воинствующего империализма, одним из средств, благодаря которым монополии США стремятся завоевать мировое господство, угрозой миру и свободе народов.

Газеты в США, как и в Европе, возникли в качестве оружия буржуазии в ее борьбе за политическую власть. Правда, на первых порах революционная война североамериканских колоний за независимость от Англии придала первым американским листкам отблеск вольнолюбия. Провозглашение свободы печати дало могучий толчок развитию журналистики. Газетное дело расцветало. Оно не требовало больших капиталов, было доступно мелким предпринимателям, создавало талантливых и сравнительно свободных журналистов.

Затем американская журналистика проделала вместе с буржуазией путь к империализму и неограниченной власти монополий. Гигантские концерны подчинили себе всю промышленность. Банки стали хозяевами республики. Независимость мелкого ремесленника стала мифом, преданием, легендой. Легендой стала и свобода печати. Газетные великаны поглотили карликов. Без миллионов долларов не могла уже возникнуть газета. Крупнейшие концерны печати поставили издательское дело на рельсы индустрии.

Н. Живейнов. Капиталистическая пресса США. Редантор О. Вадеев 408 стр. Госполитиздат. М. 1956.

Громкие слова о независимости печати американские большие газеты повторяют как заклинание. Они изо всех сил скрывают от народа тайну, которая уже давно стала «секретом полишинеля»: свобода печати в США — это свобода Моргана, Дюпона, Рокфеллера обманывать народ. Превратившись в крупнейшие предприятия, развернув обширную торговлю словом, буржуазные газеты США служат только интересам крупной, монополистической индустрии и прежде всего интересам военной промышленности. Их основная задача — подготовка и разжигание войны. Промышленность, банки и журналистика теснейшим образом переплелись.

Недавно в газете «Нейес Дейчланд» была напечатана схема одной из крупнейших газетных «империй» США — концерна Херста.

В центре схемы — правление концерна. От него нити ведут вверх — к банкам, к некоронованным монархам США: к Моргану, Рокфеллеру, Джанини, к банку «Нэшнл сити бэнк». С левой стороны схемы линии идут к горнорудным предприятиям — к золотым, серебряным и медным рудникам в США, Мексике, Перу, к колоссальным плантациям в Калифорнии и Мексике. И тут же, рядом с золотом и серебром, восемнадцать газет Херста в двенадцати городах США с пятиллионным ежедневным и семимиллионным воскресным тиражами. С правой стороны схемы линии протянулись к обширным лесам, бумажным фабрикам, киностудиям, радиостанциям. Внизу схемы расположились огромные конторы рекламы, издательства «комиксов» и журналов с шести-семимиллионными тиражами.

Книга «Капиталистическая пресса США» показывает нам такие же «империи» Скриппс-Говарда, Маккормиков, Люса, ведет по этажам небоскреба, в котором разместились редакция и контора газеты «Нью-Йорк таймс».

Капиталистическая печать США — большая общественная сила, реакционная, вредная, злая. Она открыто делает ставку на читателя, который читает, но не думает. Задача, поставленная монополиями перед газетами и радио, требует сохранения и углубления того одичания, в которое ввергнут американский гражданин годами

неограниченного господства самой реакционной формы буржуазной диктатуры.

Особенно воинствующей, милитаристской американская печать стала после первой мировой войны, когда империализм США своей основной задачей сделал экспансию на мировом рынке и когда в образовании первого в мире социалистического государства — Советского Союза — и в бурно развивающемся национально-освободительном движении народов Азии и Африки американские монополии увидели серьезнейшее препятствие для своих необузданных аппетитов. Американская капиталистическая печать освободила себя от последних остатков правдивости, честности, объективности. Антисоветская клевета, фантастическая ложь становятся стилем всех больших газет.

«Нью-Йорк таймс» больше, чем другие органы Уолл-стрита, пытается придать себе внешний вид газетной порядочности. Но и эта газета за трехлетие — 1918—1920 годы — девяносто один раз сообщала о падении, уже совершившемся или близком, Москвы, два раза о ее сожжении, пять раз о взятии Петрограда белыми войсками, шесть раз о восстаниях в нем и т. п. Так было около сорока лет назад. Такие же газетные нравы сохранились в США и теперь.

Под флагом мнимой беспартийности вся капиталистическая печать служит одной партии — партии крупного капитала. Деление на органы «республиканские» и «демократические» формально и не имеет существенного значения. Можно говорить лишь об оттенках реакционности: одни газеты откровенно циничны и разнузданы; другие ханжески лицемерны.

Правительство США широко пользуется печатью и радно в своей подрывной деятельности за рубежом. Газеты срстаются с разведкой. «Свободная Европа» с главным центром в Мюнхене — это не только радиостанция, не только главный штаб заведомо лживой информации, но и обслуживаемая печатью сеть шпionско-диверсантских организаций. События в Венгрии показали американских журналистов в роли подстрекателей контрреволюционного мятежа.

Но, превратившись в отрасль крупной индустрии США, печать испытывает на себе все противоречия американского капитализма. Его загнивание и неизбежный

упадок всего больше сказываются именно в мире печати.

Начать с того, что, изолгавшись насквозь, печать теряет силу воздействия на широкие массы. Она не отражает их подлинного мнения. Она все в меньшей степени способна формировать это мнение. Правящие круги смотрят на свою печать как на необходимое орудие пропаганды для народа. Для себя они создают новый вид печати — так называемые «ньюс-леттер». Это бюллетени с весьма ограниченным тиражом и с весьма высокой подписной ценой. Они не поступают в розничную продажу и распространяются по подписке только в финансовых кругах. В них — сравнительно объективная информация, необходимая дельцам промышленности и банков.

Другое примечательное явление — кризисные признаки в газетном мире. В нем идет ожесточенная борьба. Газетные хищники дерутся между собой не на жизнь, а на смерть. В своей книге Н. Живейнов пишет о пошатнувшемся положении одного из крупнейших издательских концернов, компании Кроуэл-Кольерс. Среди ее основных периодических изданий — старейшие еженедельники: журнал «Кольерс» (издающийся с 1888 г.) с четырехмиллионным тиражом, журнал для женщин (с 1873 г.) «Уименс хоум компаньон» с почти пяти миллионным тиражом.

Эти журналы, несмотря на огромные тиражи, за последние годы приносили издателям серьезные убытки. «Кольерс» стал двухнедельным изданием. Была сделана попытка привлечь новые капиталы, но ничего не помогло. Уже после выхода в свет книги Н. Живейнова послышался злобный треск в США: в январе журналы прекратили свое существование, оставив семь с половиной миллионов долларов убытка. В тяжелом финансовом положении находятся журналы «Ридерс дайджест», «Американ мэгэзин» и другие крупнейшие предприятия.

В журнале «Нэйшн» (от 5 января 1957 г.) журналист Милтон Московиц, хорошо знакомый с издательским делом, останавливается на этих явлениях в статье «Кто виновен в закрытии «Кольерс»?». Ответ такой: виновны рекламодатели. Говоря шире, виновен капитализм.

Капитализм сделал источником существования органов печати не подписку, не розницу, а коммерческие объявления. Это убило всякую возможность независимости

печати. Были сделаны попытки издавать газеты без платной рекламы. В книге Н. Живейнова мы находим плачевную историю этих изданий — они погибали.

Капиталисты, по данным Москвича, тратят на объявления до десяти миллиардов долларов в год. Из-за дележа этой гигантской суммы идет бешеная грызня.

Наиболее сильными в финансовом отношении оказываются те издания, которые распространяются преимущественно среди деловых кругов. Тираж их не велик, но они пользуются поддержкой монополий, контролирующих тяжелую индустрию, производство оружия. В худшем положении находятся издания с большим тиражом, рассчитанные на широкого читателя. Издатели не заинтересованы в расширении тиража, который сам по себе приносит убытки. А рекламодатели как раз заинтересованы в максимальном тираже и отдают предпочтение тем газетам и журналам, у которых он больше. Создается заколдованный круг, из которого не могут вырваться и в котором терпят крах отдаленные издания.

Известно, что погибший журнал «Кольерс» пытался вырваться из тисков финансового кризиса при помощи антикоммунистической истерии. В 1951 году журнал выпустил шумевший номер с лубочной «страшной» картиной «разрушения» Америки советскими атомными снарядами. Эффект получился как раз противоположный. Не только всюду за рубежом США этот номер вызвал резкий протест, но и в США общественное мнение заклеило его как грубо агрессивную вылазку. Эта спекуляция на низменных чувствах не задержала падения журнала. Напротив, ускорила.

В последнем номере «Кольерс», так сказать на его могиле, главный редактор

Теодор Уайт скорбно написал: «При том положении, когда печатные издания растут в объеме и уменьшаются в количестве, закрытие этих журналов бьет по каждому человеку. Огни в доме, в котором живет Америка, гаснут один за другим».

Вряд ли эта скорбь потерпевшего поражение журнального дельца будет разделена американским народом. Огни изданий, подобных «Кольерс», — это зловещие языки пламени очагов мировой войны. Когда они гаснут, на земле становится светлее.

Книга Н. Живейнова убедительно показывает, что капиталистическая пресса США — большое мировое зло. Нельзя недооценивать ее воздействие в «холодной войне». Но надо отметить и то, что эффект, производимый этой печатью, никак не соответствует тем колоссальным средствам, которые на нее затрачиваются. Этому способствует ряд причин.

Территория, на которой действует эта печать, непрерывно сокращается на земном шаре. Свыше миллиарда людей вырвано из зоны, отравленной ядовитыми газами лжи и фальсификации. Монополия капиталистической печати, еще сорок лет назад полная и не ограниченная местом, ликвидирована установленным социалистического и народно-демократического строя во многих странах Европы и Азии. Здесь успешно развивается печать нового типа, принадлежащая народу и только народу, не зависящая от корыстных интересов, печать честная и правдивая.

И каким бы преследованиям ни подвергалась немногочисленная, поллино свободная, подлинно рабочая печать в США и в других капиталистических странах, влияние ее растет.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

★

Верный путь нового журнала

Среди книг нашего детства, память о которых не вытесняется с годами даже самыми яркими последующими духовными приобретениями, незабываемое место занимают книги, впервые приобщившие нас к миру ищущей человеческой мысли — к могуществу разума, постигающего природу и творящего технику.

Журнал «Юный техник». Главный редактор В. Болховитинов. «Молодая гвардия». М. 1956—1957.

Фламарион заставлял нас мечтать о торжественной тишине обсерваторий. Следи за собой в малую Вселенную атома.

Тимирязев распахивал перед каждым двери в зеленую лабораторию земных полей и лесов. Для скольких подростков с этого начинался их путь в будущее! Начинался и начинается.

Но еще чаще бывает так, что сложные обстоятельства жизни уведут человека с

дороги, когда-то в детстве казавшейся единственной и как бы только для него и предназначенной. Человек не становится ни астрономом, ни атомником, ни ботаником. Однако и в этом случае остается бесценным богатство, приобретенное в те годы, когда каждый из нас с такой жадностью набрасывался на новые знания и так живо рисовал себе свои собственные будущие — ничего, если и несостоявшиеся! — открытия и подвиги...

Пусть не покажется слишком пышным это предисловие к короткому разговору о новом журнале «Юный техник». В самом деле, если двухсоттысячный тираж первого же номера разошелся чуть ли не в ту минуту, как появился он в книжных киосках, если сейчас ни одна из шести уже вышедших книжек этого журнала ни на час не застывает на полках юношеских библиотек, то это — свидетельство не только его собственных несомненных достоинств, но и прекрасных человеческих качеств миллионов наших ребят. «Юный техник» потому и нашел своего читателя сразу, что страна полна юных техников и юных ученых. Журнал нашел читателя потому, что читатель искал его!

И каждый номер этого маленького журнала карманного формата имеет завидно большое будущее: это — будущее тех юнцов, которые, вчитываясь сегодня в его страницы, впервые почувствуют за плечами зуд отрастающих крыльев.

Ради этого стоит трудиться, стоит делать, не жалея времени и усилий, этот трудоемкий, требующий остроумной выдумки и популяризаторской изобретательности научно-технический журнал для юношества.

Всего более привлекает в новом журнале широта его интересов. Можно ли остаться равнодушным и не почувствовать острого приступа любознательности, когда тебе четырнадцать или семнадцать лет, а с многоцветной обложки журнала и с его красочно оформленных страниц смотрят на тебя поражающие воображение слова:

«...Вещество звездных недр изготовлено в лаборатории... Самолет углубляется в термическую чашу... Ферриты сказали только первое слово... Познакомьтесь с филеменией... По ту сторону фокуса... Искусственный спутник Земли... Антинейтрон обнаружен!»

Уже одно это перечисление показывает, что между содержанием журнала и его названием нет, как говорят математики,

взаимно однозначного соответствия: журнал шире тех границ, какие невольно очерчиваются словами «юный техник». Хорошо это или плохо? Казалось бы, и спорить не о чем. Разумеется, хорошо. Однако порой на читательских обсуждениях журнала выясняется, что дело не так просто.

Среди взрослых читателей «Юного техника» — преподавателей десятилеток и ремесленных училищ, организаторов и проводников политехнизации нашей школы — нам доводилось встречать людей с разными точками зрения по поводу нового издания. Оно не всех удовлетворяет. Иным из этих критиков хочется возразить.

Все на свете можно понимать узко и широко. Можно вслед за Маяковским «ревновать к Копернику». А можно и не делать этого... Можно рисовать себе образ юного техника в виде малыша с надутыми губами, который сопит над выпиливанием фанерной детали к очередной модели планера. А можно представлять себе и отроческую голову, склонившуюся над наивным, но соблазнительным расчетом ракеты со световым двигателем для полета не к соседним планетам, а к Альфе Центавра.

Нелепо противопоставлять один другому два этих образа. Нелепо думать, что первый из них — законное дитя политехнизации, а второй — нет.

«Юный техник» рассматривает своего читателя с обеих точек зрения. Многие критики «Юного техника» — только с одной. Журнал предлагает ребятам познакомиться с принципами работы современного ускорителя атомных частиц и в том же номере наглядно показывает, как смастерить паяльную лампу. Для создания космотрона нужны и электромагнит весом этак в 36 тысяч тонн, и высочайшая техника управления на расстоянии, и бессонная деятельность громадного коллектива физиков, инженеров, строителей. Для изготовления паяльной лампы нужны пустяковые детали вроде волейбольной камеры, школьные инструменты и старания одного-двух юных дружков-умельцев. Построить космотрон под силу далеко не каждому из европейских государств. Сработать паяльную лампу под силу любому из ребят... Но правильно ли из всего этого делать вывод, что рассказ о паяльной лампе служит делу политехнического воспитания юношей, а рассказ о космотроне — нет?

В журнале много места посвящается рассказу о современных заводах, о всевозмож-

ных рабочих профессиях, о романтике, казалось бы, совсем не романтического труда стоящего за станком человека, о творчестве новаторов производства. Идущему в жизнь юноше журнал рассказывает, куда идти, заинтересовывает юного техника самыми разнообразными формами простого и сложного производительного труда.

Мы ощущаем на страницах журнала и своеобразный моральный пафос трудолюбия. Он борется против белоручек и верхоглядов. Он хочет, чтобы его читатель полюбил обыкновеннейший молоток. И пилу. И столярный клей. И плоскогубцы. И станиолевую фольгу для конденсатора...

Но вместе с тем журнал знает, что надо и ревновать к Копернику! Надо постоянно показывать ребятам изменяющиеся очертания переднего края современной науки и техники. Иначе политехническое воспитание вырождается в ремесленничество вне реального времени и пространства.

Журнал «Юный техник» противится такому вырождению замечательной идеи. А критики журнала не видят в этом его достоинства и силы. Одни из них хотят, чтобы журнал был только помощником мальчика с лобзиком в руках. Другие хотят, чтобы он только пособлял учителю сделать интересным то, чего сам учитель сделать интересным почему-то не старается или не умеет, — прохождение школьной программы по физике. Третьи хотят, чтобы «Юный техник» был только юным техником и не стремился быть еще и юным ученым... Но все эти «только» тем и плохи, что ставят ограничения ребячьей любознательности, сдерживают ребячью инициативу, обуздывают творческое воображение будущих командиров и рядовых нашей науки и техники.

Верный путь, сразу же избранный журналом, — путь наибольшего сопротивления. И, читая журнал, просто физически ощущаешь это сопротивление материала, с которым приходится сталкиваться и авторам и редакции «Юного техника» в их стремлении сделать доступным почти недоступное.

Прежде популяризаторы любили говорить о тайнах, загадках и чудесах природы. Сегодня они все чаще вынуждены прибегать к этим же завлекательным, но, в сущности, беспомощным словам и тогда, когда речь идет о создании человеческого разума — о научных теориях и плодах современной техники. А «тайн» самой природы не становится меньше — познание бесконечно.

И вот получается так, что для простого смертного мир «загадочного» все время как бы утраивается. Но для популяризатора — тоже! И теперь все чаще вместо рассказа о сути сложных явлений, сложных теорий и сложных машин популяризатор довольствуется лишь каким-нибудь образным уподоблением, то есть просто сравнением «непонятного» с удобопонятным.

Так, физик Р. Лэпп, пытаясь разъяснить, что происходит в циклотроне, где заряженные частицы ускоряются до приобретения огромных энергий, придумал образ в чисто американском вкусе: «Это очень похоже на то, как если бы мальчик на карусели, проезжая мимо зрителя, при каждом обороте вытягивал руку и хватал у него бумажку в 100 долларов (совершенно невероятный случай!), пока не становился бы после множества оборотов карусели миллионером».

Совершенно невероятный случай, изображенный Лэппом, в то же время совершенно понятен любому читателю. Однако помогает ли он действительно понять события, происходящие в циклотроне? Он иллюстрирует только тот факт, что частица в ускорителе постепенно обогащается энергией. Но это как раз то, что менее всего нуждается в пояснении. А сам циклотрон так и остается загадкой.

Ясно, что такого рода популяризацией журнал «Юный техник» ограничиться не может. Не имеет права! Кажется, Лев Толстой сказал, что итоги науки без объяснения пути, на котором они получены, «хуже иконы Иверской богородицы», в чью чудотворную силу можно только верить, ибо постигнуть ее заведомо невозможно. Чтобы не превращать для своего читателя успехи научно-технического гения в чудотворную икону, журнал стремится показать пути открытий и суть вещей.

Но пока с этой труднейшей задачей он далеко не всегда справляется успешно. Часто, к сожалению, на страницах своего журнала юные техники встречаются с довольно утомительными описаниями и перечислениями вместо живого объясняющего рассказа. Всего нагляднее этот порок проявился, например, в статье с очень располагающим названием — «Путешествие по станку». Беда не только в том, что на деле это путешествие оказывается скучным, но и в том, что пускаться в него может рискнуть лишь тот, кто уже немало знает о металлорежущих станках. «...Сливные ма-

гистралы продольного и поперечного суп-порта...» Когда с тобой разговаривают запросто на таком языке, очевидно, предполагают, что ты и сам можешь на нем запросто беседовать. Но тогда зачем тебе быть читателем «Юного техника»?

Статья об открытии антинейтрона (перевод с французского) помещена под рубрикой «Для учителя». Заранее, следовательно, предполагается, что школьники сами ее не поймут. Но разве не поставит и любого учителя в тупик такая фраза: «...пучок антипротонов порождает на некотором экране пучок антинейтронов, которые можно узнать по характерному для них отсутствию заряда и по освобождению при этом энергии, которое происходит на другом экране?»

Тут проявляется другой порок, свойственный иногда материалам, помещаемым в «Юном технике», — порок мнимой популярности. Редакция в противоречии с собственным стремлением словно бы закрывает уши, не желая слышать те десятки вопросов, которые неизбежно возникают у читателя и нуждаются в ответе. Она спешит проинформировать ребят о многих важных и интересных вещах, но забывает, что ребята не могут лезть в специальные источники, дабы докопаться до смысла этих вещей.

А ведь столь же легко соблазнить юнца красотой науки, как и отпугнуть его подчёркнутой сложностью ее построений, ее аппарата, ее «сектантского» языка. Тут нужна осторожность. Вспоминается, как покойный декан химического факультета МГУ Адам Раковский сказал одному студенту, сделавшему мудреный и запутанный доклад по волновой механике: «Бывают лекции, после которых студенты говорят: какой умница этот профессор, мы ничего не поняли. А бывают лекции, после которых студенты говорят: какие мы умницы и как глуп этот профессор, мы все поняли». Раковский добавил: «Лавры второго предпочтительней!»

Это же хочется иногда сказать «Юному технику». Нужно, чтобы ребята, его читающие, всегда чувствовали себя умницами. Поэтому лучше опускать даже важные подробности, чем нагромождать их без объяснений.

Так что же, может быть, и не следовало, например, Олегу Писаржевскому даже пытаться рассказать юным техникам о том, «Как было изготовлено звездное вещество»? Ведь растолковать популярно, чем

академик Курчатов год тому назад поразил многолюдное собрание английских атомников, можно только в том случае, если неподготовленный читатель молча согласится не задавать автору своих бесчисленных «почему». Как тут выйти из положения?

Легче всего отступить. Но Олег Писаржевский «рискнул». И он нашел верный путь: он написал очерк, в котором на каждом шагу сам подсказывает читателю неизбежно возникающие вопросы, сам удивляется там, где не сможет не удивиться читатель, сам «переживает» открытие наших физиков, поражаясь его сложности и одновременно простоте: «В описываемом мною эксперименте причудливо переплетаются самые новейшие атомные чудеса с обыденной школьной механикой...» Если он и не дает ответов на все «почему», то он и не делает вида, что при желании мог бы дать их немедленно. Он увлекает читателя за собой, потому что сам полон неподдельного интереса к тому, о чем рассказывает. И хотя читатель поймет далеко не все в его очерке, он испытает чувство радости от соприкосновения с красотой замечательного физического эксперимента и с красотой глубоких идей, лежащих в его основе.

В очерке ощущается писательская рука. И на этом примере видно, как много приобрел бы молодой журнал, если бы он сумел чаще привлекать в качестве авторов не только специалистов науки и техники, но и специалистов научной популяризации и мастеров научно-художественного жанра. Журнал может и должен стать, кроме всего прочего, школой для молодых литературных сил, работающих в этом направлении и уже печатающихся на страницах «Юного техника». Нужно только побольше требовательности!

С течением времени «Юный техник», конечно, будет избавляться от нынешних слабостей и просчетов, неизбежных на первых порах. Залог этого — тот энтузиазм, с каким он делается. Но всего важнее, как мне кажется, чтобы молодой журнал твердо держал свой курс на широкий и крылатый разговор с нашим юношеством о проблемах и событиях современной, сегодняшней, науки и техники, не страшась трудностей, какие еще будут ждать его на этом пути.

Д. ДАНИН.

На Коморском архипелаге

Не ищите этого названия на географических картах: земли Лемурии нет ни в одной части света. И тем не менее путешествие в Лемурию действительно было недавно совершено.

«Как и на все достойные острова, на Занзибар можно попасть, следуя туда либо морем, либо небом...»

Так начинается одна из глав книги молодого итальянского зоолога Франко Проспери, книги о далеких островах, которые прерывистой гирляндой соединяют берега Африки с Мадагаскаром.

На эти острова вечного лета в начале 1953 года прибыло четверо итальянских зоологов.

Из Дар-эс-Салама — «гавани мира», белого города, лежащего на африканском берегу, — они переправились на остров Занзибар. Затем путешественники направились на Коморские острова — небольшой архипелаг в Мозамбикском проливе. Оттуда они перебрались на Мадагаскар, пересекли этот остров с запада на восток и вернулись в Африку. Их путешествие закончилось на вершине африканского Эвереста — горы Килиманджаро, в самом сердце Кении.

Пять месяцев провели они на суше в рыбацких селениях Коморских островов, в лесах Мадагаскара, в саваннах Кении, три месяца плавали они на борту моторной шхуны «Маурсин» и под белым парусом «нгалавы», легкой и быстрой туземной пироги.

На первый взгляд кажется странным, что книга одного из участников этой экспедиции — Франко Проспери — посвящена не Мадагаскару и не Африке, а Занзибару и четырем маленьким островкам Коморского архипелага. Но вот Франко Проспери развертывает перед нами палеогеографические карты, на которых нанесены контуры материков и островов юрского и третичного периодов, и мы сразу догадываемся, что привлекло в казуариновые роши и на песчаные пляжи этих островов четверку неутомимых натуралистов.

Острова Коморского архипелага — это устои гигантского моста, который в юрское время соединял Африку с Мадагаскаром; это остатки древней страны Лемурии,

Атлантиды Индийского океана, ушедшей в морские глубины совсем еще «недавно», с точки зрения геолога, — всего лишь пятнадцать миллионов лет назад, в миоценовую эпоху третичного периода. Лемурия затонула, но ее животный мир, своеобразный, хотя и не очень богатый, словно в неовом ковчеге, сохранился на Коморских островах, отдаленных от великого Африканского материка широким Мозамбикским проливом.

Здесь, на Гран Коморе, Майотте, Мокели, Анжуане, нет ни слонов, ни жирафов, ни крокодилов, но зато встречаются странные ночные полуобезьяны-лемуры, по которым получил свое название древний затонувший перешеек. Здесь живут одетые в чешуйчатую броню ящеры, греются на гжучем солнце бесчисленные хамелеоны.

Одним словом, Коморские острова — это естественный заповедник, в котором обитают животные, большей частью вымершие на африканской земле, и которые развились на этих крохотных островах совсем не в таких условиях, как их континентальные сородичи.

«Фауна Коморских островов, — пишет Проспери, — не богата разнообразиями, но те немногие животные, которые здесь сохранились, удивительно интересны и почти о каждом из них обитатели этой земли с благословенным климатом создали легенды, полные либо глубокой ненависти, либо слепого обожания. Странный облик, привычка к ночной жизни, голос, в котором слышатся звуки человеческой речи, фосфоресцирующие глаза — все это создает здешним лемурам репутацию «исчадий ада».

И Франко Проспери вводит читателей в это необычное звериное царство. Ученый-энтузиаст, тонкий наблюдатель, он обладает счастливым даром «многовиденья». Описывая города и селения этого далекого архипелага, он развертывает перед читателем красочную и емкую панораму страны Лемурии. В поле его зрения оказываются и рыбацьи деревушки на Гран Коморе, и шумные рынки Занзибара, и тихие гавани Майотты, и лавовые поля вулкана Картала.

Он много пишет о трудной жизни коренных жителей этой островной гряды, утративших свободу в те далекие времена, когда в водах Индийского океана появились португальские корабли, когда гавани Мо-

Франко Проспери. Гран Комора. Милано, 1955 (Франко Проспери. Гран Комор. Милан, 1955).

замбикского пролива стали опорными базами на великом пути из Европы в Индию.

Вот перед нами Дар-эс-Салам — кипучий город, «скорее арабский, чем африканский, больше индийский, чем арабский», ворота в английскую колонию Танганьйку.

Гетто для черных и «индийский квартал» отрезаны от моря широкой полосой европейского сэттльмента. В этом уголке «тропической Англии» великолепные виллы, утопающие в густой зелени садов, широкие тенистые бульвары, парки, фонтаны, великолепные набережные...

Занзибар. Британский протекторат, где на 264 тысячи жителей насчитывается три сотни европейцев. Гран Комор, Анжуан, Майотта, «острова земного рая», рая для горсти французских чиновников и купцов, чистилище, если не ад, для многотысячного темнокожего населения Коморского архипелага.

С горячей симпатией пишет Франко Проспери о радушных и приветливых обитателях Коморских островов и Занзибара. С ними поднимается он на вершину вулкана Картала, с ними охотится за моллюском-

убийцей — гигантской тридакной, с ними рыбачит на песчаных отмелях лазурного моря. Со страниц книги встает образ занзибарского гамена Шемизи, бойкого, смуглого и курчавого паренька, который у лесного костра всю ночь напролет готов рассказывать любознательным путешественникам о своей солнечной земле и о ее отважном народе — народе мореходов и рыбаков. Чередой проходят зеленые селения Гран Комора, запоминается красочное описание города Марони с его древними бастионами и белой мечетью и ловля гигантских черепах на горячем песке острова Алдабра.

Очаровывает язык этой книги — сочный, красочный, далекий от академической сухости, столь свойственной многим натуралистам — чужеземным и отечественным, пленяет мягкий и тонкий юмор автора, его вольная яркая манера изложения.

Знойным дыханием тропиков, соленым морским ветром веет от этой превосходной, щедро проиллюстрированной книги, которую, несомненно, следует издать в русском переводе.

Я. СВЕТ.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

телеграммы, сделанные по газетам и дублирующие ТАСС...

Моя книга! Беда, никак не доберусь до книги. Такая уж моя незавидная судьба. К тому же мне, кажется, придется

ПИСЬМО
М. КОЛЬЦОВА Издательство «Советский писатель» выпускает из печати широко известную книгу Михаила Кольцова «Испанский дневник». Публикуемое ниже письмо М. Кольцова относится к тому периоду, когда Кольцов только приступал к созданию «Испанского дневника». Это письмо, написанное во время освободительной войны испанского народа с фашизмом, в дни осады Мадрида, содержит некоторые сведения о деятельности Кольцова — корреспондента «Правды» — на фронтах Испании, о его понимании работы «газетного писателя», о его творческих планах.

Письмо адресовано старому другу Кольцова, писателю Е. Д. Зозуле (1891—1941). «Мадрид, 14.VIII—37

Дорогой Зозулечка!

Еще раз большое, большое Вам спасибо за Ваши письма. Я читаю их с большим интересом и даже перечитываю.

Вы на 120% правы в своих замечаниях о необходимости писать непрерывно. Если я этого не делаю, то только по независящим причинам. Во-первых, у меня много работы и некорреспондентской¹. Во-вторых, работа над очерками и подвалами, которые я в этот период считаю тоже важными, всегда отрывает целые куски времени (разезды, беседы на фронте, в частях и прочее, что я считаю обязательным для этого рода вещей, вне зависимости от того, заметил или не заметил читатель эти старания автора быть сведущим), и это, конечно, отражается на текущих телеграммах. Наконец, третье: в моменты затишья или операций на участках, где я лично отсутствую, — не хочется барабанить мелкие

¹ Кольцов, очевидно, имеет в виду деятельность, связанную с подготовкой и проведением Второго Международного конгресса писателей, посвященного борьбе с угрозой войны и фашизма, проходившего в Валенсии, Мадриде, Барселоне и Париже в июле 1937 года, и свою большую политическую работу, о которой он рассказывает в «Испанском дневнике», описывая деятельность бригадного комиссара Мигеля Мартинеса.

вне очереди написать небольшую книжку — ответ Андрэ Жиду² (об этом пока не надо разглашать!) — а потом уже браться за большую книгу. То ли дело Эренбург. Уже сидит под Парижем на даче и рубает испанский роман³.

А Вы как, Зозулечка? Что Вы пишете? Пишется ли? Почему не ездите? Почему бы Вам (что я уже предлагал Вам) — не поехать в какое-нибудь место и не написать небольшую книжку или повесть об этом месте? Это не только имело бы успех само по себе, но и Вас самого подтолкнуло бы на дальнейшие затеи.

О Китае мы здесь тоже много читаем и думаем⁴. И немного ревнуем ваше всех там внимание к Китаю. Но, конечно, внимание абсолютно правильное.

Как Сима, Ниночка? Часто очень скучаю по Москве. Скучать более сильно препятствует то обстоятельство, что здесь в обстановке — много московского и мысли — тоже московские.

Обнимаю Вас, Зозулечка
Ваш Мих. К.».

В этом письме М. Кольцова отразилась, хотя и не в полной мере, та кипучая жизнь,

¹ Речь идет об «Испанском дневнике», который Кольцов начал писать, вернувшись из Испании, в конце 1937 года. «Испанский дневник» (книга первая, вторая и начало третьей) был опубликован в журнале «Новый мир» (№№ 4—8 за 1938 год).

² Имеются в виду антисоветские выступления фашиствующего французского писателя Андрэ Жида.

Замысел Кольцова написать книжку — ответ Андрэ Жиду — остался неосуществленным.

³ Роман, о котором говорит Кольцов, был закончен Эренбургом в сентябре 1937 года и получил название «Что человеку надо». Напечатан в журнале «Знамя» (№ 11 за 1937 год). Роман был тепло встречен критикой, как представляющий огромный интерес для советского читателя.

⁴ 7 июля 1937 года китайский народ начал освободительную борьбу с японскими захватчиками. Отважные операции китайских войск широко освещались всей советской печатью.

та широта интересов, которыми жил писатель, сражаясь бок о бок с испанскими республиканцами, ведшими героическую борьбу против фашистских мятежников и вооруженной интервенции Германии и Италии.

Г. СКОРОХОДОВ.

★

В. В. СТАСОВ Среди многочисленных творческих замыслов В. В. **И Л. Н. ТОЛСТОЙ**

Л. Н. Толстой был один, особенно заветный и дорогой его сердцу. Он мечтал написать книгу о Льве Толстом — книгу не критическую, не литературоведческую, а глубоко личную, — книгу о своей дружбе с писателем, о посещениях Ясной Поляны, о беседах с Толстым, о любви и преклонении перед «Львом-Великим».

Со своей стороны, и Лев Толстой лелеял мысль запечатлеть образ Владимира Стасова. Зимой 1900 года, после одной из особенно теплых встреч в Москве, когда они, почти не расставаясь, провели вместе пять дней, Толстой записал в дневнике:

«Сейчас простился и уехал Стасов. Образцовый тип у м а. Как хотелось бы изобразить это. Это совсем ново».

К сожалению, ни замыслу Стасова, ни замыслу Толстого не суждено было осуществиться. История их 28-летней дружбы так и не была ими написана.

В архиве Л. Н. Толстого сохранилось, однако, одно еще не опубликованное письмо Стасова, в котором он обстоятельно рассказывает о своем знакомстве с Толстым. Письмо это адресовано одному из биографов Толстого — известному литератору П. А. Сергеевко, автору ряда книг о Толстом. Вот оно:

«С. П. Б. Импер. Публ. Б-ка
13 сент. 1905

Многоуважаемый Петр Алексеевич,

Несколько времени тому назад Вы крайне любезно прислали мне фотографию Вашей работы, маленькую ростом, но для меня очень дорогую и прекрасную, потому что она изображает мне нашу с Вами поездку в ту церковку деревенскую¹, где похоронены предки и родственники Льва-Великого. Мне тот день был очень приятен по множеству наших с Вами разнообразных разговоров, и все это я очень живо помню.

¹ Кочани, близ Ясной Поляны.

Но вы тут же говорите мне, что не встретили в моих печатных «Сочинениях» ничего относящегося к Льву Николаевичу и к моему знакомству с ним. Это не совсем верно. Конечно, особой статьи у меня и не было, чтобы я рассказывал про мое с ним знакомство, но я могу Вам указать одну статью, которая была одной из отдаленных причин знакомства моего с Толстым.

В апрельской книжке «Русского вестника» 1877 была напечатана значительная порция «Анны Карениной». Суворин¹ пришел в восхищение от того, что тут прочитал, и написал в «Новом времени» восторженную статью про «Анну Каренину». Статья Суворина (с которым я был тогда в близких сношениях, равно как и с его газетой) очень понравилась мне, и я на другой же день напечатал в «Новом времени» статью свою про Суворина. От редакции было прибавлено тут примечание, где говорилось: «Помещаем это письмо одного из наших известных писателей, который на этот раз скрывает свое имя. Мы помещаем это письмо потому, что придаем значение тому вопросу, которого он касается. Помните, как отнеслись к роману «Анна Каренина» наши консервативные критики...» (и т. д.). А в конце примечания Суворин прибавлял: «Автор этого письма совершенно справедливо говорит, что даже у Пушкина и Гоголя любовь и страсть не были выражены с такой глубиной и поразительной правдой...»

Эта моя статья имела тот результат, что со мною очень сблизился и подружился один из моих сослуживцев в Императорской публ. б-ке, известный Ник. Ник. Страхов, фанатический поклонник Л. Н. Толстого и его великий приятель. В первый раз, как Л. Н. приехал потом в Петербург, Страхов заговорил с ним о том, что у нас, дескать, в импер. Публ. б-ке «есть глубочайший обожатель Ваш, которому страшно хотелось бы познакомиться с Вами», — вот так и так.

Л. Н. согласился, вместе со Страховым пришел в мое отделение изящных искусств, и мы познакомились. Я когда-нибудь, может быть, расскажу наши разговоры и знакомство. С тех пор всякий раз, когда потом Л. Н. приезжал в Петербург, он заходил в Б-ку и беседовал со мною (несмотря на то малое время, которое всегда проводил в Петербурге — он его не любил). Иногда

¹ А. С. Суворин (1834—1912) — публицист, редактор газеты «Новое время».

он садился за мой стол и работал, сброженный книгами, которых потребовал. Тогда в мое отделение уже никто не имел право прийти и мешать ему — мы никого не пускали. Но многие тайком окольными дорогами пробирались на верхнюю первую галерею этой залы и оттуда украдкой, в полном молчании рассматривали издали Толстого. Несколько десятков людей сменялось таким образом, и все это — в полном молчании.

Один раз (не помню хорошенько в каком году) пришел ко мне в б-ку В. В. Верещагин¹, и, услышав, что у меня сидит Л. Н., написал мне на карточке, что нельзя ли ему тоже прийти, повидаться с Л. Н., но Л. Н. ни за что не захотел, словно испугался, и зашел даже за один шкаф, сказав поспешно шепотом: «Пожалуйста, скажите, скажите, что меня здесь нет...»

В другой раз тоже случайно пришел ко мне фотограф Шапиро², и, услышав, что в Б-ке у меня Лев Толстой, вызвал меня в сени через солдата и просил меня уговорить Л. Н., чтобы он позволил снять с себя фотографию, одну или несколько. Это было в такое время, когда Л. Н. еще никому не позволял снимать с себя портреты, и всем отказывал. Он и ему тоже через меня отказал, и даже не захотел видаться с ним и говорить хоть слово.

Однажды Л. Н. не застал меня в Б-ке, и оставил мне визитную карточку (сохраняемую у меня до сих пор в целости), где написал карандашом: «Я приехал сегодня в Петербург, и прямо с дороги — к Вам в Б-ку. Уж увидимся. Я остановился у графа Олсуфьева, на Фонтанке рядом с III-м отделением». И действительно мы в то же утро увиделись и провели несколько часов вместе.

В течение нашего знакомства мне удалось послать из Б-ки Льву Николаевичу в разное время громадную массу (сотни, может быть тысячи) книг русских и иностран-

ных, также рукописных статей и сочинений. В Москве же и Ясной Поляне я бывал много, очень много раз, — наши беседы бывали и в доме, и на прогулках по полям и лугам — бесконечны. О чем только мы не говорили!

Писать о Л. Н. мне случалось много раз. Если бы Вам, Петр Алексеевич, почему-нибудь это было интересно знать, Вам стоило бы только развернуть «Указатель лиц и предметов» в конце III-го тома моих «Сочинений», и Вы бы тотчас нашли там мои упоминания о Толстом. Замечу мимоходом, что кажется один я указывал русской публике на то, что только один Лев Великий, из всех русских писателей — и очевидцев, написал картины Севастопольской войны. Кроме него никто не догадался, никто не нашел этого нужным!!

Скажу еще: мне удалось направить к Л. Н., в разное время, двух истинно талантливых людей: Элиаса Гинцбурга (который по моей просьбе и указанию сделал с него один прекрасный бюст и 2 превосходных статуэтки) и Александра Верещагина¹ который читал ему свои чудесные рассказы из Болгарской войны. Оба с большим талантом написали «воспоминания» о своем знакомстве с Л. Н. Я же сам напечатал в 1891 г., в «Новом времени» (26 июля) статью о бюсте и статуэтке Л. Н. Толстого, работы Гинцбурга. (Бюст Беренштейна — куда не годен!)

Вот Вам, покуда, Петр Алексеевич, несколько слов: в другой раз авось напишется побольше.

До свиданья

Ваш В. Стасов».

«Другой раз», к сожалению, не наступил. Стасову не довелось написать на эту тему «побольше». Через год — 30 сентября 1906 года — он умер. Тем больший интерес представляет это его собственноручное свидетельство о знакомстве и дружбе с Толстым.

Научный сотрудник Музея Л. Н. Толстого
А. ШИФМАН.

¹ В. В. Верещагин (1842—1904) — художник.

² К. А. Шапиро — автор фотопортретов Глеба Успенского, Гаршина, Чехова, Римско-Корсакова и других деятелей искусств.

¹ А. В. Верещагин (1850—1909) — писатель, брат художника В. В. Верещагина.

РЕПЛИКИ

О ФАСОНАХ ПЛАТЬЕВ

Недавно в Центральном доме литераторов был организован просмотр новых фасонов женских платьев, разработанных художниками Всесоюзного дома моделей. Перед зрителями одна за другой проходили милые девушки-манекшницы, демонстрируя нарядные, отлично сшитые платья самых разнообразных фасонов и покроев, чудесных сочетаний и расцветок на все возрасты и комплекции — от девочек-школьниц до полнеющих дам.

Следует отметить, что художники Всесоюзного дома моделей достигли за последний год значительных успехов. В покроях платьев, в их цветовых сочетаниях было проявлено много хорошей выдумки, вкуса и той настоящей художественной простоты, которая всегда украшает человека.

Но вот вечер закончился, публика наградила авторов заслуженными аплодисментами, а мы решили поинтересоваться: чем же наши торгующие организации собираются украсить москвичек к празднику наступающей весны?

Приходилось ли вам бывать в магазинах женских платьев и головных уборов? Загляните. Зрелище весьма любопытное. Устойки длинная очередь: здесь женщины всех воз-

растов и положений — москвички и приезжие, молодые и старые, работницы и служащие, но все они мечтают приобрести для себя что-нибудь красивое и элегантное.

А в витринах и шкафах магазина по большей части висят непривлекательные изделия унылых тонов и устаревших фасонов.

Мы решили побеседовать с одним из авторов просмотренных нами моделей на вечере в Центральном доме литераторов, художницей Аллой Александровной Левашевой.

— Общесоюзный дом моделей подготовил несколько десятков новых фасонов платьев и костюмов, — ответила нам Алла Александровна. — Но беда заключается в том, что у нас слишком увлекаются показами и просмотрами, а дело с места пока не двигается. Естественно, на каждой демонстрации моделей к нам обращаются с вопросами: «Где можно приобрести такие платья?» На это мы молча пожимаем плечами.

К Всемирному фестивалю молодежи нами разработаны интересные модели из ситца и других недорогих материалов. Стоимость такого платья — от пятидесяти до ста рублей.

Русские ситцы и в прежние времена славилась по всему миру. Несомненно, и сейчас многие из приехавших на фестиваль молодежи гостей, помимо, конечно наших москвичек, захотят купить платье-сувенир из русского ситца. Но пока нашей легкой промышленностью запланировано вы-

пустить по восьмидесяти шести моделям всего... сто пятьдесят тысяч платьев, да еще двести тысяч собираются изготовить предприятия местной промышленности.

— Только и всего?

— Да, но это пока только запланировано. И боюсь, что к фестивалю и с этим опоздают...

И когда мы попробовали поинтересоваться на наших швейных фабриках проведением в жизнь этих планов, то поняли, что опасения нашей собеседницы были не напрасны.

До открытия фестиваля остались считанные дни. Товарищи из Министерства легкой промышленности, неужели это вас не беспокоит? Почему бы все платья не шить по новым моделям? Фестивальная Москва должна выгладеть праздничной и веселой.

Ив. РАХИЛЛО.

★

ПОКУПАЙТЕ МОРОЖЕНОЕ!..

Я подъезжал к Москве на машине по Можайскому шоссе. Первое, что сразу бросилось в глаза при въезде в столицу, — это огромный, красиво разрисованный щит, на котором написано: «Покупайте мороженое».

Коротко и ясно. Покупайте мороженое!

Нет, это не реклама. Это приказ. Хотя и не добавлено, что за невыполнение — штраф три рубля.

А я человек дисциплинированный. Остановил машину и пошел искать мороженщицу. К сожалению, мои поиски не увенчались

успехом. Дело в том, что в тот день был сильный мороз.

Удрученный, я поехал дальше. Сами понимаете, что на душе было погано. Совесть скребла: я совершил упущение по линии мороженого.

Вдруг я увидел новый щит. Тут уж не Главхладпром, а Ювелирторг, спасибо ему, позаботился обо мне. Читаю с упоением приказ: «Покупайте ювелирные изделия».

Я давно чувствовал, что моей семье не хватает бриллиантов, этак тысяч на пятнадцать — двадцать. Надо будет сейчас же выполнить приказ Ювелирторга. Станет легче и на душе и в кармане.

Кстати, о кармане. Я тут же вспомнил, что в моих карманах есть только мелочь. Не придется выполнять и этот приказ. Очень досадно.

Еду дальше. И вот передо мной еще один приказ: «Пейте сидр». Почему? Зачем? Что это за напиток? Об этом ничего не сказано.

А мне хочется чаю. Смотрю по сторонам. Нет такого приказа: «Пейте чай». Почему?

Почему в это морозное утро я обязан есть мороженое, покупать бриллианты, приобретать ткани из натурального шелка, пить сидр и не могу выпить чашку горячего чаю?

Но шутки в сторону. Давайте серьезно (хотя и коротко) поговорим о нелепостях нашей торговой рекламы.

Когда-то купец Шустов рекламировал свой коньяк такими плакатами: «Не пейте сырой воды, а пейте шустовский коньяк».

Это, во-первых, остроумно и запоминается. Во-вторых, купец рекламировал себя, свою фамилию, свою фирму. Его коньяк конкурировал с другими не менее уважаемыми коньяками. И реклама призывала: «Пейте шустовский коньяк».

А с кем, позвольте узнать, конкурирует Главхладпром? С Ювелирторгом? С Табакторгом?

Зачем же такое большое расходование государственных средств на пустую, на неумную рекламу?

Вполне понятно, если бы реклама говорила о каком-то новом сорте мороженого, если бы реклама помогала внедрять какой-то новый товар: «Покупайте лимонное мороженое», «Покупайте клубничные брикеты». «Покупайте болгарский конфитюр. Очень вкусен и полезен к чаю».

Но вообще призывать покупать мороженое — это, мягко выражаясь, нелепо.

А еще более нелепы рекламы Ювелирторга. Кого они убеждают? Кому они нужны? Никому, кроме тех, которые сделали своим заработком эти пустопорожние световые и несветовые приказы: «покупайте!», «пейте!», «кушайте!».

Еще недавно на всех путях и перепутьях и даже среди болот и в голой степи торчал плакат, на котором густо накрашенная девица приказывала всем, всем, всем: «Пейте шампанское!» Исчезла девица, исчез плакат, и население даже не почувствовало этой тяжкой утраты. А количество потребляемого шампанского, ей-ей, не уменьшилось.

Реклама, конечно, нужна. Против этого никто не возражает. Но это должна быть деловая, разумная и — пусть не пугает это слово — остроумная пропаганда новых товаров, новых продуктов, новых сортов папирос и сигарет, новых сортов кондитерских изделий и т. д.

Коротко и ясно, четко и выразительно надо сказать в рекламе, что это за товар, чем он хорош, его отличительные качества, где его можно приобрести.

Рекламный щит — это не украшение улицы или площади. И главное, это не повод для разбазаривания государственных средств.

Г. РЫКЛИН.

★

ПОЕЗДКА В ДУБРОВИЦЫ

Отдыхая в Суханове — доме отдыха Союза архитекторов, — мы совершили поездку в Дубровицы, около Подольска. Нашей целью было полюбоваться на знаменитую церковь в Дубровицах, построенную при Петре Великом и представляющую собой одно из главных сокровищ русской архитектуры той эпохи. Действительно, это удивительное, единственное в своем роде сооружение, полное причудливой фантазии и смелой выдумки, досгойно не только глубокого восхищения, но и того, чтобы быть музейным заповедником, местом, постоянно посещаемым многочисленными зрителями, желющими изучать выдающиеся памятники старого русского зодчества.

Нам было больно и стыдно увидеть ту мерзость запустения, в которой пребывает Дубровицкая церковь. Ее нынешнее состояние свидетельствует не об уважении к ценнейшему и прекрасному созданию русского художественного гения, а о глубочайшем пренебрежении к нему, о возмутительном равнодушии тех людей или учреждений, которым поручена охрана этого архитектурного памятника. Крыша проржавела насквозь; все, без единого исключения, стекла выбиты; внутри церкви лежит снег; резной золоченый иконостас искалечен и изломан; статуи, окружающие церковь, побиты или вовсе исчезли; резной белокаменный парапет наполовину обвалился; многие детали сложнейшей каменной резьбы оббиты и испорчены; ступени каменных лестниц, украшенные тончайшим орнаментом, по-

ломаны и покривились и т. д. — без конца можно перечислять всевозможные увечья, нанесенные Дубровицкой церкви. Не удивительно, что бесчисленные фотографии с нее, помещаемые во всех книгах, имеющих какое-либо отношение к истории русского искусства, восходят к временам весьма отдаленным: было бы не очень-то приличным печатать более новые фотографии!

Над входом в церковь висит проржавленная и облезлая вывеска: «Памятник архитектуры. Охраняется государством. Повреждение памятника карается законом». Может быть, Министерство культуры СССР проверит, как выполняется эта совершенно ясная и понятная надпись? Надо полагать, она повешена не для проформы и не для украшения. Нужно как можно скорее передать Дубровицкую цер-

ковь в ведение Музея архитектуры или Исторического музея, привести ее в порядок и сделать соответствующее внушение тем, кто ее портил и кто про нее забыл. И не откладывать это на будущее — и так уже достаточно много времни упущено.

Ю. Пименов,
художник,

А. Чегодаев,
историк искусств,

Д. Аркин,
историк искусств,

М. Минц,
архитектор,

Б. Яковлев,
художник,

Н. Пименова,
художник,

А. Степанова,
скульптор,

А. Буров,
архитектор.

Л. Бумажный,
архитектор.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ЗАМЕЧАНИЯ О ПРИМЕЧАНИЯХ

*Дангл. Ей-богу,
мне кажется, тол-
кователя труднее
понять, чем автора.
(Шеридан. „Критик“)*

Надо думать, что выражение «комментарии излишни» менее всего относится к изданию западных классиков в русском переводе — здесь комментарии положительно необходимы. Отсутствие таковых ведет к частичному непониманию прочитанного, а это дурно влияет на характер и настроение читающего, вызывая в нем сомнение в своей читательской полноценности и даже такое низкое чувство, как зависть (к соплеменнику и современнику писателя: «Тот небось все понимал...»).

Вот почему люди, претендующие на звание советского читателя, чрезвычайно благодарны авторам предисловий, послесловий, сносок и примечаний, которыми снабжены издания зарубежной, в особенности классической, литературы. Эти авторы — наши друзья и наставники. При этом мы, читатели, понимаем, что комментирование текста — дело нелегкое: чтобы сказать все, что нужно, коротко и ясно, требуются знания и умение, а порой и мастерство.

Как правило, наши издания последних лет в этом отношении удовлетворяют читателя. Но хотя исклю-

чения, как известно, подтверждают правила, хотелось бы, чтобы исключений было как можно меньше.

Автор этих строк пришел на основе многолетнего читательского опыта к выводу, что эти «исключения» (то есть неудовлетворительные комментарии) бывают трех родов:

- а) нужные, но отсутствующие;
- б) ненужные, но присутствующие;
- в) ничего по существу не объясняющие.

Возьмем для примера двухтомник О. Генри (ГИХЛ, 1954). В нем можно обнаружить немало иллюстраций к вышеприведенной классификации. Вот некоторые из них, относящиеся к пункту «а» (разрядка везде наша. — В. Т.).

«...Дай мне сейчас волю — и сенатора Бэвриджа прозовут юным сфинксом Уобаша» («Трест, который лопнул»).

«Вэзи был смесью из Дэниэля Вебстера, лорда Честерфилда, Бо Брюммеля и Джека Хорнера...» («Негодное правило»).

«...Житель Запада... должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона» («Младенцы в джунглях»).

«Без провожатого вы обречены блуждать в них, как потерянная душа в голололомке Сэма Ллойда» («Святыня»).

«Я очень рад, что Уильям А. Брэди не видел этой небольшой массовой сценки на котесах; я ему зла не желаю, а беднягу, верно, хватил бы удар от

зависти» («Золото и любовь»).

Очень неловко сознаваться в собственном невежестве, но поскольку ни к одной из этих и им подобных фраз примечаний нет, мы «обречены блуждать в них, как потерянная душа в голололомке Сэма Ллойда». Мы боимся, как бы нас, подобно Уильяму А. Брэди, не хватил удар от зависти... к американскому читателю, которому, очевидно, известно, кто такой Уильям А. Брэди и прочие вышеназванные лица. Это тем более досадно, что тут же имеется множество хороших, помогающих нам, читателям, примечаний.

Вот еще любопытный пример. В рассказе «Рука, которая терзает весь мир» небы известный Джефф Питерс называет в числе других «замечательных женщин прошлого» мадам Иэл и миссис Кодл. О второй мы узнаем из примечания, что это «сварливая жена, персонаж американской юмористики»; помещенная между Жанной д'Арк и Евой, она не может не рассмешить нас. Но почему нет ни слова о первой? Неужели редакция полагает, что мадам Иэл намного популярнее в нашей стране, чем миссис Кодл, и что по отношению к ней «комментарии излишни»?

Чтобы не быть заподозренными в пристрастии к хорошему в целом изданию произведений О. Генри, мы приведем два примера из других книг.

В очерке «Жозеф Фуше» (С. Цвейг. ГИХЛ. 1956) на одной и той же странице объясняется, кто такие были Баррас и Луи Блан, и не объяс-

няется, кто такие были Ламартини и Мишле. По какому принципу?

В рассказе «В обсерватории Аву» Г. Дж. Уэллса (Издательство Академии наук Украинской ССР. 1956) описывается схватка человека со зверем: «Тайм!» — крикнул Будхауз в порыве внезапного веселья, но зверь больше не напал на него». Непонятно! Мы позволяем себе предложить примечание собственного сочинения: «Тайм!» («Время!») — спортивный термин: возглас, которым судья приглашает боксеров возобновить бой после перерыва.

Переходим к пункту «б».

«Роман биржевого маклера» (О. Генри) заканчивается следующей фразой геронни: «Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера в Маленькой церкви за углом». Читателю все ясно: м-р Максуэл, погруженный с головой в биржевые спекуляции, забыл о том, что накануне женился. Никакой потребности узнать название и месторасположение церкви читатель не испытывает. Между тем сноски дает ему именно эти ненужные сведения: «Маленькая церковь за углом — церковь «Преображения» близ Пятой авеню, в одном из богатейших кварталов Нью-Йорка». Зачем?

В романе «Роб Рой» В. Скотта (Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство. 1953) герой (рассказ ведется от первого лица) сообщает, что некто Твайнол «познакомился с двумя-тремя стихотворениями, которые я успел к тому времени прочитать в кофейне Баттона, или же с отзывами крити-

ков, посещавших это скромное пристанище остроумия и изящного вкуса...» Примечание гласит: «Кофейня Баттона — одна из лондонских кофеен в XVIII веке». Читателю известно, что действие этой части романа происходит в Лондоне, в XVIII веке. Более того, из вышеприведенного текста он узнал, что речь идет о «литературном кафе», где читались и обсуждались стихи. Таким образом, примечание повторяет имеющиеся в романе сведения, да и то не полностью. Зачем?

Эти и им подобные «ненужные, но присутствующие» комментарии могли бы с успехом уступить место «нужным, но отсутствующим».

Пункт «в» объединяет примечания, «ничего не объясняющие».

Пример первый: «Но, будучи гибсоновским фараоном нового толка, он прэшел мимо, притворяясь, что ничего не замечает» (О. Генри, то же издание. «Горящий светильник»). В сноске сообщается: «Гибсон (1850—1896) — американский писатель и художник-иллюстратор». Ни даты рождения и смерти Гибсона, ни перечень его профессий ни на шаг не приближают нас к пониманию того, почему фараон (полицейский) назван «гибсоновским», да еще «нового толка».

Пример второй: «значит, он был подобен лицензиату Педро Гарсия, чья душа лежала среди дукатов в его кожаном кошельке» (Вальтер Скотт, то же издание. «Роб Рой»). Примечание: «Лицензиат (или лицензиат) — ученая степень в зарубежных

университетах». Оно не дает читателю ответа на интересующий его вопрос: кто такой Гарсия и что случилось с его душой? А был ли он лицензиатом (лицензиатом) или не был, не так уж существенно.

В обоих случаях комментарии нужны. Но не эти. Эти ничего не объясняют. Они написаны не по существу.

В заключение нам остается пожелать, чтобы в будущих изданиях было побольше толковых, нужных, помогающих нам, читателям, примечаний и поменьше комментариев, которые излишни.

Виктор ТИПОТ.

★

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Издательство «Иностранная литература» сделало хорошее и полезное дело, выпустив в русском переводе книгу известного французского режиссера Жана Вилара «О театральной традиции». Это тем более интересно, что спектакли в его постановке и с его участием мы недавно видели во время гастролей Национального народного театра.

Однако, несмотря на присутствие переводчика, двух редакторов и автора предисловия и примечаний, в книгу вкрались досадные небрежности, свидетельствующие о неуважении издательства к читателю.

На странице 62 появляется упоминание о фильмах некоего таинственного режиссера «Мюрно». Очень жаль, что переводчик и редакторы книги не обратили внимания на общеизвестный факт, что транскрипция иностранных

имен во французских книгах воспроизводится по оригиналу, таким образом, загадочный «Мюрно» есть не кто иной, как известный немецкий режиссер Мурнау, автор таких фильмов, как «Фауст», «Гартюф», и немого фильма, широко известного советским зрителям, «Последний человек» (или «Человек и ливрея»).

На страницах 112—113 Жан Вилар много говорит о драматурге Пишетт. Однако авторы примечаний не дают никакой сноски, разъясняющей, о ком идет речь. Это тем более досадно, что Пишетт — видный современный французский поэт, пишущий стихи классическим размером (что является редкостью для современной французской поэзии, гораздо чаще обращаясь к традициям свободного стиха), автор единственной современной пьесы, поставленной на сцене театра Вилара. Она называется «Нюклеа» и посвящена актуальной теме об угрозе атомной войны. Кроме того, этот спектакль интересен тем, что поставлен он не самим Виларом, а известным актером Жераром Филипом. Обо всем этом советский читатель, к сожалению, не узнает из книги.

В примечаниях на странице 151, в описании твор-

ческого пути французского режиссера и актера Жана Луи Барро, указывается, что он «увлекается искусством мима Декру». Следовало упомянуть и о знаменитом французском актере-миме Дебюро, роль которого актер Барро исполнял в фильме Марселя Карне «Дети райка» и пантомиму которого он поставил на сцене своего театра.

В примечании на странице 154, характеризующем творчество художника Фернана Леже, сказано, что «его искусство отмечено печатью модернизма». Определение неточное и неправильное, так как «модернизм» — термин расплывчатый и вряд ли подходящий даже для краткой характеристики такого крупного художника, каким был Леже, о котором так хорошо писал Владимир Маяковский в своих впечатлениях о Париже.

О нем же сказано, что в десятых годах он «примыкает к кубизму». Это тоже неточно, ибо Леже ни к чему не «примыкал», а являлся сам одним из создателей школы современного французского искусства.

На странице 48 Вилар пишет, что он «лично с большим вниманием выслушивал и изучал режиссер-

ские замечания Владимира Соколова и его точный метод работы».

Следовало бы пояснить, что речь идет о русском актере и режиссере, хорошо известном советскому зрителю по его работе в двадцатых годах в Камерном театре, впоследствии игравшем в театре Рейнгардта и работавшем в прогрессивных театрах Парижа, в частности в театре «Ателье» Дюллена, где, очевидно, с ним и познакомился автор книги.

На странице 127 упоминается некий Фресней, высказывающийся о трактовке роли Гамлета. Речь идет, очевидно, об известном театральном и кинематографическом актере Пьере Френэ (знакомом советскому зрителю по исполнению главной роли в фильме «Беглецы» режиссера Ле Шануа), фамилия которого пишется Frenay, но произносится во всем мире Френэ.

Все эти небрежности возникли, очевидно, потому, что издательство из-за непонятной гордыни не обратилось вовремя к советским театроведам и искусствоведам, хорошо знающим современное состояние французского искусства.

Сергей ЮТКЕВИЧ.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

Н. К. КРУПСКАЯ. Ленин — редактор и организатор партийной печати. Госполитиздат. М. 1956. 64 стр. Цена 70 к.

Собранные в этом сборнике выступления Н. К. Крупской, трактующие взгляды Владимира Ильича Ленина на партийную прессу, должны стать поистине настольной книгой для работников нашей печати.

В одном из писем Владимир Ильич говорит: «Я ничего так не желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих». В своих воспоминаниях Н. К. Крупская пишет: «У кого учился Ленин говорить и писать популярно? Учился у Писарева, которого в свое время много читал, учился у Чернышевского, но больше всего учился у рабочих, с которыми он часами говорил, расспрашивая их о всех мелочах их жизни на заводе, внимательно прислушиваясь к их случайно бросаемым замечаниям, к постановке ими вопросов...»

Н. К. Крупская отмечает поразительное умение Ленина наблюдать, видеть ростки новой жизни, растущие силы, видеть силу и гнет старого. Она пишет: «Мы все должны учиться наблюдать у Ильича. Вооружившись этим умением, мы сможем лучше проводить в жизнь в новых условиях его идеи».

Л. ФОТИЕВА. Из жизни Ленина. Госполитиздат. М. 1956. 84 стр. Цена 1 р.

Рассказ Л. А. Фотиевой начинается с описания жизни и кипучей деятельности В. И. Ленина в Женеве, в годы эмиграции. Здесь в конце 1904 года был окончательно решен вопрос об издании новой большевистской газеты «Вперед». В состав редакции вошли Ленин, Воровский, Ольминский и Луначарский.

В следующих главах автор знакомит нас с некоторыми особенностями стиля работы Владимира Ильича. Многому учат страницы, где показано, как неустанно боролся Ленин за улучшение работы государственного аппарата, добиваясь быстро и точно выполнения всех законов и распоряжений Советской власти и решительно пресекая случаи формально-бюрократической бумажной волокиты. «Винозным Владимир Ильич считал не только того, кто не выполнил дела, непосредственно ему порученного, но и безучастного руководителя того учреждения, работа которого страдала от невыполнения решения правительства». Он установил порядок докладов ему обо

всех жалобах, поступающих в письменном виде, в течение двадцати четырех часов, а об устных жалобах — в течение сорока восьми часов и требовал тщательного контроля за исполнением его резолюций по этим жалобам.

Забота Ленина о людях, пишет Л. А. Фотиева, была «не только большой, но и тонкой, нежной и необыкновенно отзывчивой на самые различные нужды людей».

Свои воспоминания Л. А. Фотиева заключает так: «Сколько бы мы ни говорили о В. И. Ленине, никогда не удастся исчерпать эту тему. Так многогранна была его личность, так значителен и обаятелен был весь его духовный облик. Это был человек будущего. Коммунист в самом лучшем, самом возвышенном смысле слова».

М. МОСКАЛЕВ. В. И. Ленин в Сибири. Госполитиздат. М. 1957. 168 стр. Цена 2 р.

В настоящем, дополненном и переработанном издании читатели познакомятся с новыми источниками, рисующими жизнь и многообразную теоретическую работу Владимира Ильича во время сибирской ссылки в 1897—1900 годах.

Книга открывается главой «Деятельность В. И. Ленина в Петербурге и его арест». Затем следуют главы «На пути в сибирскую ссылку», «В. И. Ленин в Красноярске» и другие, подробно рассказывающие о работе, отдыхе и встречах Ленина в Шушенском. Из далекой Сибири, из старинного села, где отбывал в свое время ссылку известный социалист-утопист Буташевич-Петрашевский, В. И. Ленин зорко следил за развертыванием политической борьбы в России и в Западной Европе, готовил сокрушительный отпор ревизионистам и вынашивал планы создания общерусской политической газеты. Ленинская «Искра» и искровские организации в России заложили фундамент той партии нового типа, которая привела рабочий класс и всех трудящихся России к великой победе в Октябре.

А. ЛЕБЕДЕНКО. Восстание на «Св. Анне». Повесть. Детгиз. Л. 1957. 168 стр. Цена 3 р. 75 к.

Событие, о котором рассказывает автор этой книги, произошло в годы гражданской войны. Грузовое судно «Св. Анна» направлялось с оружием для белой армии

в Архангельск. Однако выгрузить оружие не удалось — город заняли красные. Корабль идет в Мурманск, но еще в дороге пришло известие, что Мурманск стал советским. Капитан судна, обманув команду, решает плыть в Южную Америку, чтобы продать там и оружие и корабль. Но в пути команда разгадала намерения капитана.

После трудной и долгой борьбы «Св. Анна», возглавляемая вторым помощником капитана, от лица которого ведется повествование, берет курс к берегам Советской России. Нелегкий был это путь. Но в конце концов корабль, подняв красный флаг, вошел в советский порт Одесса; на его борту свежей краской было выведено слово «Революция».

Книга написана живо, увлекательно. В ней много интересных эпизодов, рисующих находчивость, храбрость, сметку матросов. Запоминаются образы героев книги: Андрея Быстрова — одного из организаторов восстания, младшего штурмана Кованько, героя-рассказчика Николая Львовича и других.

Автор воскресил в своей книге еще один славный эпизод из незабываемых дней борьбы за дело Октябрьской революции.

НГУЕН ВАН БОНГ. Буйвол. Повесть. Перевод с вьетнамского. Издательство иностранной литературы. Москва. 1956. 160 стр. Цена 4 р. 25 к.

Вьетнам — страна замечательной народной литературы. Потребность в художественном слове исконна и органична для вьетнамца. После дневных трудов вьетнамские крестьяне нередко собираются в кружок и ведут беседы стихами; почти в каждой деревне есть свои сказители и импровизаторы.

В годы освободительной войны против колонизаторов в стране появилось много новых прозаиков и поэтов; они выросли и созрели в огне борьбы, они писали о народной борьбе и помогали своим личным участием достижению победы в этой борьбе.

Автор повести «Буйвол» — молодой партийный работник. Он писал о том, что хорошо знал, что видел собственными глазами, пережил собственным сердцем. Нгуен Ван Бонг рисует картины жизни вьетнамских крестьян-партизан, отвоевавших у противника целый район; он показывает их мужество и стойкость. Деревни общины Хонг-Фонг восстали против колонизаторов. Двадцать семь раз жгли оккупанты непокорные деревни, убивали их жителей, отбирали главную ценность вьетнамского крестьянина — буйволов. Но люди не склоняли головы, продолжали борьбу и дождались победы. Новая народная власть принесла вьетнамским крестьянам новую жизнь.

Советский читатель с интересом и пользой прочитает эту первую переведенную на русский язык вьетнамскую повесть.

ОЛЬГА СЛЕЗКИНА. Оловянная рука. Повесть о Гутенберге. «Советский писатель». М. 1956. 228 стр. Цена 4 р. 20 к.

Много трудов, много сил, здоровья отдал Гутенберг, уроженец немецкого города Майнца, прежде чем получил то, чему посвятил свою жизнь, — печатную книгу. О том, как зародилась мысль о печатании в голове у любознательного юноши, и о счастье первооткрывателя, и о том, сколько невзгод пришлось претерпеть Гутенбергу, рассказывает эта повесть.

Читатель найдет в ней интересные сведения о нравах людей XV века, о цехах ремесленников, о жизни дворян и зарождавшейся буржуазии. Но главное — повесть знакомит с выдающимся изобретателем, создателем печатной книги, о которой один из героев повести сказал: «Новое искусство — книга — научит человека жить иначе!»

Р. КИНЖАЛОВ и А. БЕЛОВ. Падение Теночтитлана. Детиздат. Л. 1956. 264 стр. Цена 7 р. 30 к.

Наши юные читатели уже много лет не получали новых книг о древней культуре Мексики. Обширная литература, посвященная эпохе великих открытий, у нас не переиздается. К тому же в большинстве детских книг о конквистадорских походах основное место уделялось подвигам и злодеяниям завоевателей, а жизнь и культура побежденных народов описывались бегло, в этаких «экзотических» тонах. Поэтому вдвойне отраден выход в свет научно-художественного очерка ученого Р. Кинжалова и писателя А. Белова, в котором рассказ о завоевании ацтеков служит основой для описания древней индейской культуры майя и ацтеков.

Искусство, государственное устройство, труд, религия ацтеков описаны в книге с возможной полнотой, на солидном научном материале.

Все разделы книги иллюстрированы рисунками из индейских рукописей и изображениями памятников ацтекского искусства.

Несмотря на некоторую перегрузку историческим и научным материалом и вызванную этим рыхлость композиции, «Падение Теночтитлана» читается с большим интересом и, несомненно, завоеует широкий круг читателей.

В. БОГДАНОВ-БЕРЕЗОВСКИЙ. Советский дирижер. Очерк деятельности Е. А. Мравинского. Музгиз. Л. 1956. 284 стр. Цена 10 р. 85 к.

Вышедшая в конце 1956 года книга В. Богданова-Березовского интересна тем, что она, по справедливым словам ее автора, является «почином в разработке проблем советского дирижерского искусства», искусства необычайно сложного, о котором Н. А. Римский-Корсаков шуточно говорил: «Дирижерство — темное дело...»

Автор в двух больших разделах дает подробную характеристику творческого

пути одного из лучших дирижеров страны — Е. А. Мравинского. Но Богданов-Березовский не просто описывает творческий путь артиста, — он пытается раскрыть особенности, индивидуальные черты его искусства. В качестве приложения — «Из опытов исполнительского анализа» — дан конкретный, с рядом примеров, анализ исполнения Мравинским Седьмой симфонии Бетховена, Пятой симфонии Чайковского и Восьмой симфонии Шостаковича.

М. М. ДЪЯКОНОВ. У истоков древней культуры Таджикистана. Таджикгосиздат. Сталинабад. 1956. 140 стр. Цена 3 р. 85 к.

Если бы на карте Таджикистана заштриховать районы, которые были обследованы археологами — этими разведчиками истории — до Октябрьской революции, то карта почти сплошь была бы «белым пятном». Подавляющее количество археологических исследований было проведено в советское время.

Профессор МГУ М. М. Дьяконов (умер в 1954 г.) на протяжении почти четверти века занимался изучением проблем истории и культуры Востока. Ему принадлежит более пятидесяти научных работ. Одна из них — «У истоков древней культуры Таджикистана» — знакомит читателя с некоторыми результатами раскопок на территории республики. Книга состоит из двух частей: «В древней Бактрии» и «В древнем Согде» (Бактрия и Согдиана — древние области Средней Азии). В книге множество рисунков: реконструкции и остатки храмов, настенные росписи, изображения предметов домашнего обихода, пролежавших тысячи лет под землей и сидеть в земле, о высокой культуре далеких предков таджикского народа, их труде и быте.

В конце книги приведен список литературы по археологии Таджикистана, который очень пригодится читателю, заинтересовавшемуся работой и достижениями археологов.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Исполняющаяся в этом году великая годовщина — сорокалетие Октябрьской социалистической революции — находит широкое отражение в планах Государственного издательства политической литературы. Книги, посвященные основателю Коммунистической партии и Советского государства В. И. Ленину, избранные произведения видных деятелей КПСС, воспоминания участников Октябрьских событий, книги по истории советского общества воскрешают в памяти славный и трудный путь, пройденный нашей страной за четыре десятилетия. Назовем некоторые книги, сдающиеся Госполитиздатом в производство.

В первом томе избранных произведений Я. М. Свердлова помещены статьи, речи, документы, письма за 1904—1917 годы. Значительное число материалов публикуется впервые. В книге печатаются статьи: «Что такое рабочая партия?» «Туруханский бунт». «Массовая ссылка. За десять лет (1906—1916)». «Очерки по истории международного рабочего движения». Читатель познакомится с выступлениями Якова Михайловича в 1905 году в Екатеринбурге (Свердловске) на народных митингах.

Избранные произведения Ф. Э. Дзержинского выходят в двух томах. Первый том охватывает годы 1897—1923, второй — годы 1924—1926. Составляющие первый том статьи, письма, дневник и другие документы рассказывают о деятельности Дзержинского в рядах СДПил (Социал-демократия Польши и Литвы), а также в первые годы Советской власти.

Статьи и письма дооктябрьского периода пронизаны идеей интернационализма, призывают к совместной борьбе польского

и русского пролетариата против самодержавия. Ряд материалов, относящихся к советскому времени, показывает борьбу Феликса Эдмундовича против врагов молодой Советской республики — внешних и внутренних, против контрреволюции и саботажа. Другие материалы посвящены вопросам восстановления народного хозяйства и строительства социалистической промышленности.

Вряд ли есть в нашей стране человек, который не знал бы имени старейшего члена КПСС, академика Глеба Максимилиановича Кржижановского. Книга, содержащая его избранные произведения, выходит в связи с 85-летием мажнтого ученого. Огромный интерес представляют воспоминания Кржижановского о Владимире Ильиче, верным и долготетним соратником которого он был, о Н. К. Крупской. Дзержинском, Красине и других выдающихся общественных, партийных, государственных деятелях и ученых, произведения, связанные с разработкой плана электрификации страны и первого пятилетнего плана.

Находящаяся в производстве книга Н. К. Крупской «Воспоминания о Ленине» представляет собой наиболее полное отдельное издание воспоминаний жены, верного друга и ближайшего помощника Владимира Ильича. В настоящем издании помещены материалы двух книг Н. К. Крупской о В. И. Ленине, вышедших в 1933 году, а также опубликованные в журнале «Большевик» (1936—1938) отдельные статьи.

Мемуарная литература о Великом Октябре пополнится и книгами, выходящими в Гослитиздате.

Первая — «Воспоминания активных участников Октябрьской революции» (в двух частях) — подготовлена к печати Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (об этом сообщалось в «Новом мире» № 11 за 1956 год).

В книге «Говорят участники Великого Октября» читатель познакомится с ранее не известными фактами из истории борьбы за власть Советов в Петрограде, Москве, Нижнем Новгороде, Иваново-Вознесенске, в Сибири, на Украине, в Белоруссии и в других районах страны. Воспоминания Г. Петровского «В Якутске и Питере», И. Животова «Беседы с Владимиром Ильичем», В. Антонова-Саратовского «Октябрьские дни в Саратове» и многие другие (всего в сборнике участвует более тридцати авторов) расширяют наши представления об Октябрьских днях.

Воспоминания одного из старейших членов нашей партии, Елены Дмитриевны Стасовой, собранные в книге «Страницы

жизни и борьбы», охватывают период с девяностых годов прошлого столетия, то есть с начала ее революционной деятельности, до наших дней. Борьба революционеров-подпольщиков против царизма, рассказ о тюрьмах и ссылке, о встречах с В. И. Лениным и рядом выдающихся революционных деятелей — таково содержание книги Е. Д. Стасовой. Немалое место в ней отведено советскому времени.

В июле этого года исполняется сто лет со дня рождения Клары Цеткин — соратницы Энгельса, а затем Ленина. О богатом событиями жизненном пути ветерана германского и международного революционного движения рассказывает президент ГДР Вильгельм Пик в своей книге «Клара Цеткин. Жизнь и борьба». При ее участии складывалось социал-демократическое рабочее движение, шла борьба за победу социалистической революции. Ей довелось увидеть рождение первого в мире государства рабочих и крестьян.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством. Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу тов. Хрущева Н. С., принятое 14 февраля 1957 года. 16 стр. Цена 20 к.

В. Антонов-Овсеенко. В революции. 188 стр. Цена 2 р. 30 к.

И. Я. Блинов. О культуре речи. 56 стр. Цена 70 к.

И. Г. Блюмин, И. Н. Дворкин. Миф о «народном капитализме». 120 стр. Цена 1 р. 40 к.

Грузинская ССР. Краткий историко-экономический очерк. 160 стр. Цена 2 р.

В. Т. Кирюхин. Налоги капиталистических государств — орудие дополнительной эксплуатации трудящихся и обогащения монополий. 148 стр. Цена 1 р. 75 к.

Материалы третьей сессии Всекитайского Собрания народных представителей. 248 стр. Цена 4 р. 50 к.

Б. М. Морозов. Создание и укрепление советского государственного аппарата (ноябрь 1917 г.— март 1919 г.). 216 стр. Цена 2 р. 65 к.

Под знаменем пролетарского интернационализма. Сборник материалов. 312 стр. Цена 5 р. 70 к.

С. Г. Струмилин. Из пережитого. 1897 — 1917 гг. 283 стр. Цена 5 р. 50 к.

С. Г. Струмилин. Проблемы экономики труда. 736 стр. Цена 14 р. 50 к.

Третья конференция Социалистической единой партии Германии 24—30 марта 1956 года. 360 стр. Цена 6 р. 50 к.

П. А. Хромов. Очерки экономики феодализма в России. 368 стр. Цена 7 р. 50 к.

XIV съезд Французской коммунистической партии (18—21 июля 1956 года). 216 стр. Цена 4 р. 50 к.

Д. Шмелев Киргизская ССР. 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бек. Жизнь Бережкова. Роман. 536 стр. Цена 9 р. 50 к.

А. Броделе. Кровью сердца. Роман. Перевод с латышского. 351 стр. Цена 6 р. 20 к.

И. Ибрагимов. Освежающий ветер. Поэма. Перевод с азербайджанского. 136 стр. Цена 2 р. 85 к.

А. Кулешов. Грозная пуца. Белорусская хроника. Перевод с белорусского. 190 стр. Цена 3 р. 85 к.

И. Ле. Роман Межгорья. Роман. Переработанное и дополненное издание. Перевод с украинского. 628 стр. Цена 12 р. 10 к.

И. Лурье. Лесная тишина. История одного поселка. Повесть. Перевод с еврейского. 315 стр. Цена 5 р. 65 к.

Т. Мотылева. О мировом значении А. Н. Толстого. 726 стр. Цена 15 р. 10 к.

Ю. Смуул. Письмо из деревни. Сыгедате. Очерки. Перевод с эстонского. 224 стр. Цена 4 р. 20 к.

М. Чарный. Жизнь и литература. Сборник критических статей. 504 стр. 11 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

А. Бабаев. Назым Хикмет. 168 стр. Цена 3 р. 70 к.

Карел Гавличек-Боровский. Избранное. Перевод с чешского. 207 стр. Цена 4 р. 90 к.

Ноз Зомлетели. Стихотворения. Перевод с грузинского. 199 стр. Цена 3 р.

Дмитрий Кедрин. Избранное. 479 стр. Цена 11 р. 15 к.

Кубинские рассказы. Перевод с испанского. 127 стр. Цена 1 р. 60 к.

Василий Курочкин. Стихотворения. Статьи. Фельетоны. 714 стр. Цена 9 р. 85 к.

Ли Во. Избранная лирика. Перевод с китайского. 175 стр. Цена 2 р. 60 к.

Нико Лордкипанидзе. Избранное. Перевод с грузинского. 495 стр. Цена 9 р. 20 к.

Амман Мир. Сад и весна. История четырех дerviшей. Перевод с урду. 315 стр. Цена 2 р. 80 к.

Константин Негруци. Избранное. Перевод с молдавского. 247 стр. Цена 2 р.

Пу Сун-лин (Ляо-Чжай). Монахи-волшебники. Рассказы о людях необычайных. Перевод с китайского. 563 стр. Цена 8 р. 30 к.

А. С. Пушкин. Сочинения. В трех томах. Том 1. 511 стр. Цена 7 р. 60 к. Том 2. 503 стр. Цена 7 р. Том 3. 621 стр. Цена 9 р. 10 к.

Христо Радевский. Стихи и басни. Перевод с болгарского. 190 стр. Цена 3 р. 50 к.

Хачим Теунов. Избранное. Авторизованный перевод с кабардинского. 224 стр. Цена 5 р. 65 к.

Коста Хетагуров. Избранное. Перевод с осетинского. 479 стр. Цена 10 р.

Шолом Алейхем. С ярмарки. Повесть. Рассказы. Перевод с еврейского. 691 стр. Цена 10 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Б. Александров. Цветы к фестивалю. 48 стр. Цена 80 к.

Анатолий Алексин. Два почерка. 96 стр. Цена 1 р. 40 к.

С. К. Гиль. Шесть лет с В. И. Лениным. 2-е переработанное и дополненное издание. 104 стр. Цена 1 р. 40 к.

Юрий Гончаров. Повесть о ровеснике. 184 стр. Цена 4 р. 20 к.

Иван Зыков. Хозяин родины своей. 504 стр. Цена 8 р. 70 к.

А. Конан-Дойл. Избранные научно-фантастические произведения. 368 стр. Цена 8 р. 35 к.

А. Тимашев. Воейков. 287 стр. Цена 5 р. 80 к.

В. Шульман. Экономика твоего предприятия. 96 стр. Цена 1 р. 40 к.

Юность, воля, мастерство (о спартакиаде народов СССР). 120 стр. Цена 1 р. 70 к.

Евг. Яцун. На льдине через полюс. 257 стр. Цена 5 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы истории народного хозяйства СССР. Сборник статей. 568 стр. Цена 22 р. 75 к.

Э. Я. Граевский и Н. И. Шапиро. Современные вопросы радиобиологии. 94 стр. Цена 1 р. 55 к.

Г. М. Идлис. Космическая материя. 125 стр. Цена 2 р.

Исследование доменного процесса. Сборник статей. 255 стр. Цена 15 р.

Б. П. Козьмин. Русская секция 1-го Интернационала. 410 стр. Цена 14 р. 85 к.

Б. Г. Кузнецов. Основы теории относительности и квантовой механики. 327 стр. Цена 13 р. 50 к.

В. Протопопов и Н. Туманина. Оперное творчество Чайковского. 369 стр. Цена 28 р. 70 к.

Н. М. Сикорский. Журнал «Современник» и крестьянская реформа 1861 г. 195 стр. Цена 4 р. 15 к.

«ИСКУССТВО»

Высокое призвание советского художника. Сборник критических статей. 516 стр. Цена 13 р. 65 к.

Х. Кристерсон. Танец в спектакле драматического театра. 174 стр. Цена 9 р. 85 к.

В. Курильцева, Н. Яворская. Искусств Советской Украины. 298 стр. Цена 25 р. 70 к

МЕДГИЗ

Антибиотики. Экспериментально-клиническое изучение. 416 стр. Цена 12 р. 50 к.

В. И. Бахман и С. С. Крапивина. Анализ минеральных вод. 168 стр. Цена 5 р. 15 к.

Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. Том I. 636 стр. Цена 32 р.

Вопросы физиологии труда. 256 стр. Цена 8 р. 60 к.

Н. Ф. Гамалея. Собрание сочинений. Том I. 424 стр. Цена 18 р. 70 к.

Н. А. Краевский. Очерки патологической анатомии лучевой болезни. 232 стр. Цена 8 р. 80 к

М. Е. Маршак. Физиологические основы закаливания организма человека. 128 стр. Цена 3 р. 30 к.

А. С. Павлов, Г. А. Зубовский. Профилактика и лечение лучевой болезни. Обзор зарубежной литературы. 72 стр. Цена 2 р.

Химия и медицина. Химиотерапия. 232 стр. Цена 7 р. 10 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

А. Аракелян, К. Клименко. Технический прогресс в промышленности СССР. 87 стр. Цена 1 р.

С. Вальдгард. Беседы о Вселенной. 175 стр. Цена 2 р. 15 к.

Славные традиции. (К 100-летию завода «Красный пролетарий» им. А. И. Ефремова). Сборник статей. 420 стр. Цена 7 р. 25 к.

В. Сорокин. Будни сельского Совета. 47 стр. Цена 60 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1 Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 8.III-57 г.

А 04101. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 683.

Подписано к печати 12/IV-57 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.